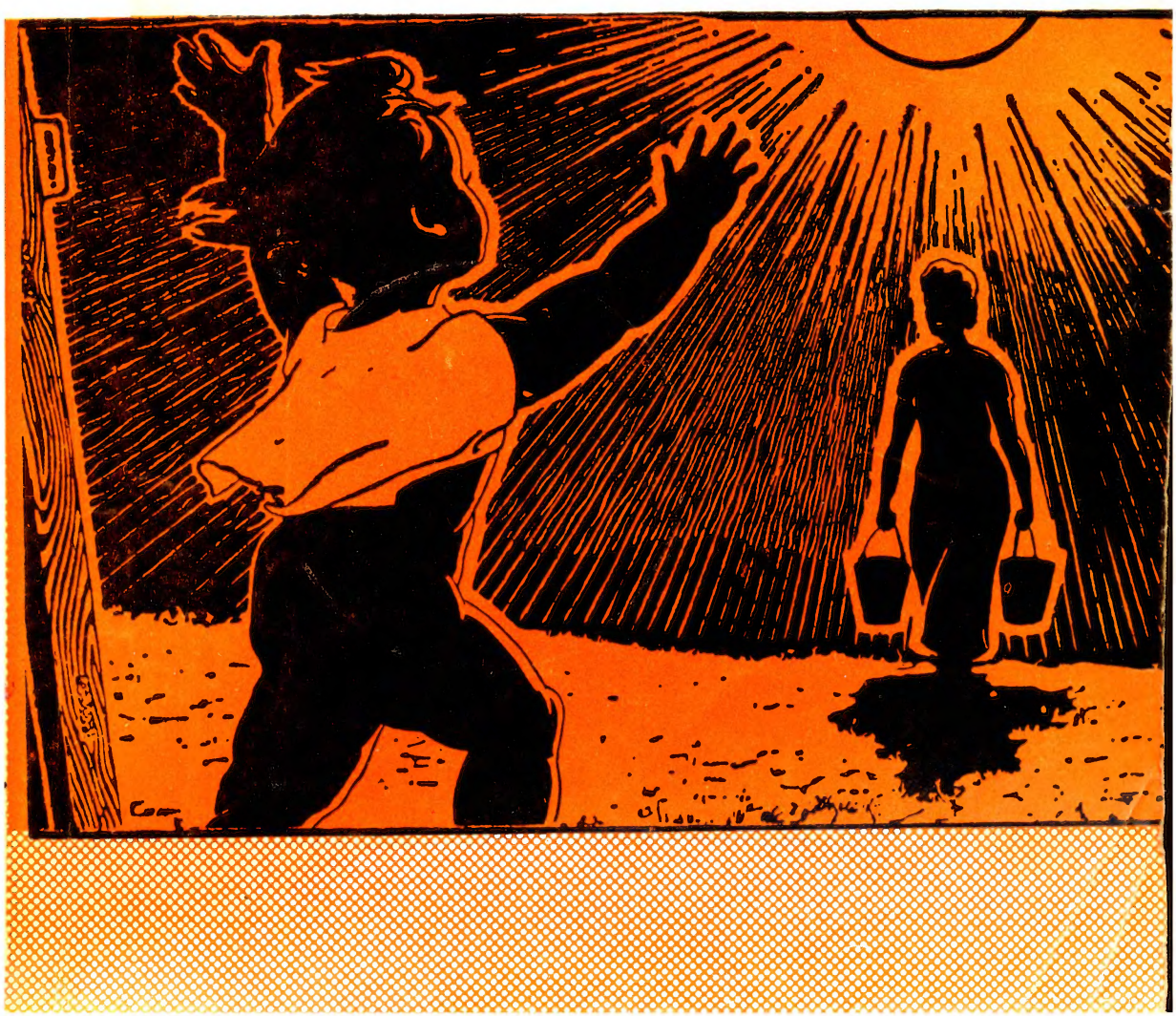
Иностранная литература

5

1964



Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ВАСКО ПРАТОЛИНИ — Постоянство разума . 26

РАССКАЗЫ. НОВЕЛЛЫ

ЙОРДАН РАДИЧКОВ — Жаркий полдень . . 3
ПАТРАС — Кумир города Муридпура . . . 111
САДАТ ХАСАН МАНТО — Новый закон . . 119

СТИХИ

АНДРЕС ЭЛОЙ БЛАНКО — Рифмы гнева 108

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ «4 МАЯ» 125

ЮМОР

ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ СМЕЮТСЯ . 134

КРИТИКА

Е. ГАЛЬПЕРИНА — Жак Румэн 189
ИОГАННЕС Р. БЕХЕР — Литература и общество 200

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

МАРЬЯН ЮРКОВИЧ — Писатели и книги (Письмо из Белграда) 212

5

МАЙ

1964

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ПОЛЕМИКА

А. ЕЛИСТРАТОВА — Американский Бальзак, или Об одной литературной подделке . . 217

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 223

ПУБЛИЦИСТИКА

ЭЛИЗАБЕТ МАНЬЯН — Голос французской интеллигенции (Несколько коротких интервью) 227

МАЙК НЬЮБЕРРИ — Йеху со снайперскими винтовками (Главы из книги) 231

НА КИНОЭКРАНАХ

ХОДЖА АХМАД АББАС — Никаких уступок! 244

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

В. ЗАЧИНЯЕВ — В народном Вьетнаме . . 248

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

П. АНТОКОЛЬСКИЙ — Жан-Ришар Блок (К 80-летию со дня рождения) 253

ВИКТОР ПОЛТОРАЦКИЙ — У Войнич в Нью-Йорке (К 100-летию со дня рождения Этель Лилиан Войнич) 256

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

И. Кудрявцева, И. Рабинович — Эпопея о лжи и правде. ◇ В. Волжанин — Книга о нашем друге. ◇ Педру Мотта Лима — Сила — в солидарности. ◇ Н. Орлинская — Говорят малайские писатели. ◇ С. Емельянников — Наш современник — Хосе Марти 259

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

И. Млечина — Судьба поколения. ◇ М. Злобина — Он выбрал дорогу борьбы. Галина Ронская — Рассказы о Хиросиме 266

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

. 271

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

. 287

На обложке рисунок монгольского художника Л АМАГАЛАМА «Утро, солнце и мама».

ЙОРДАН РАДИЧКОВ

Жаркий полдень

НОВЕЛЛА

■

Перевод с болгарского
Н. ГЛЕН

Я поверю в солнце,
Если и оно верит в меня.

Летом 1963 года на железнодорожной станции города Н. поднялась тревога. Дежурный принял сообщение — поезд номер 704 вышел с соседней станции и прибудет через пятнадцать минут. Семафор был открыт, поезд должен был остановиться на третьем — центральном — пути и после восьмиминутной стоянки следовать дальше на восток, где на очередной остановке два прямых вагона из этого состава прицепляли к софийскому скорому.

Пассажиры на перроне, не выпуская чемоданов из рук, смотрели вдоль линии на запад, милиционер свистел, наводя порядок, а дежурный по станции то и дело поглядывал на часы.

Но поезд опаздывал, и дежурный думал о том, что это задержит армейские перевозки: на четвертом пути стоял воинский эшелон, и два паровоза, готовые вести его на запад, пыхтели под парами. Здесь, на станции Н., был разъезд. Машинисты, высунувшись из окошек, глядели, прищурившись, на перрон, как глядят все машинисты, привыкшие и зимой и летом, и в дождь и в холод, и днем и ночью прощупывать взглядом убегающие вдаль пути, высматривая зеленые огоньки семафоров. На платформе стояли орудия в зеленых чехлах, пузатые прожекторы, всякая непонятная военная техника; солдаты, пытаясь спрятаться в тень, пересаживались с места на место. Солнце, остановившись в зените, плавило воздух, плавило мазут на перроне, усиливая его терпкий запах, и все вокруг колыхалось и дрожало, как прозрачная вода, обливалось потом, исходило нетерпением.

Дежурный, едва удерживаясь от желания расстегнуть китель, поглядывал на воинский эшелон и с досадой думал, что придется писать докладную о его опоздании. Один из паровозов открыл предохранитель и выдохнул на перрон огромное облако пара. Горячий воздух быстро всосал его, не переставая колыхаться и дрожать над звонким металлом рельсов. Прошло десять минут.

Дежурный побежал к начальнику и позвонил на соседнюю станцию. Там лаконично подтвердили, что 704-й вышел по расписанию. Решили подождать еще десять минут.

Пассажиры на перроне опустили на землю чемоданы и уселись на них. Некоторые отошли в тень, заработал насос — люди пили, плескали водой в лицо.

Прошло еще двадцать минут.

Капитан из эшелона отправился к начальнику станции требовать объяснений. Начальник никаких объяснений дать не мог, он сказал только, что с соседней станции поезд вышел по расписанию.

Капитан вернулся к своему эшелону, солдаты на открытых платформах снова заерзали, стараясь хоть как-то укрыться от палящих лучей. Ожидание делало жару невыносимой.

Начальник станции, человек лет пятидесяти, жизнь которого прошла среди грохота составов, так что и во сне он видел огромные, черные, пыхтящие паровозы, изрыгающие снопы искр, впервые оказался в таком положении. Разумеется, абсурдно было бы предполагать, что поезд исчез, — вероятно, что-то случилось, и ждать больше нельзя. Как все железнодорожники, он был человеком действия — ведь вся его жизнь была непрерывным движением среди встречных и обгоняющих друг друга составов.

Он надел фуражку, и через минуту пассажиры, ожидающие поезд номер 704, солдаты из воинского эшелона увидели, как из-за складского помещения вышла моторная дрезина. Начальник станции сидел впереди. Подкатив к дежурному, мотодрезина стала, начальник дал какие-то распоряжения, дежурный козырнул, и мотодрезина, ускоряя ход, устремилась на запад. В воздухе пронесся шум ее мотора — пу, пу, пу, —и это внесло некоторое оживление. У пассажиров появилась надежда, что дрезина приведет поезд.

Станционные часы снова педантично отсчитали двадцать минут, но мотодрезина не показывалась. Дежурный начал нервничать.

Капитан опять сошел с эшелона, и пассажиры на перроне видели, как он раздраженно требовал у дежурного объяснений, горячо жестикулировал, трогал кобуру своего револьвера и смотрел то на толпу, то на рельсы. Дежурный только пожимал плечами. Подошли еще офицеры, ниже чином, и все говорили что-то, глядя на запад. Несколько солдат соскочили с платформы и стали прохаживаться, посматривая на перрон. На перроне, само собой, были и молоденькие девушки, а один взгляд, одна беглая улыбка, пойманная на лету, для солдата не такой уж пустяк.

Милиционер давно опустил свой свисток: и без того никто больше не рвался к третьему пути, где должен был остановиться этот загадочно исчезнувший 704-й.

Кто-то из пассажиров сказал, что как раз в этом районе проводятся военные маневры, и ничего удивительного, если какой-нибудь танк налетел на поезд. Стоит танку выйти на полотно, он все в порошок сотрет, говорил пассажир, и толпа окружила его. Капитан, который то подходил к дежурному, то возвращался к эшелону, издерганный, потный, сказал, что это детские рассуждения. Все согласовано, военные знают точное расписание поездов, и любые происшествия исключаются, абсурдно даже думать о них.

Однако пассажиры думали про себя, что, может быть, танки и пересекали железнодорожное полотно, а в это время шел пассажирский поезд.

— Исключено, — сердился капитан. — Но все-таки надо что-то предпринимать! Нельзя же торчать здесь просто так!

Дежурный — теперь он остался на станции один — сказал офицерам, что ничего предпринять не может. Тут со скрипом растянулись пружины, зазвенел колокольчик — вызывали к телефону или к аппарату Морзе.

Железнодорожник помчался на звонок, оставив офицеров на солнцепеке. Он вбежал в аппаратную и снял трубку. Звонили с соседней станции — там вынуждены были задерживать скорый поезд. Спрашивали, когда придет 704-й.

Дежурный объяснил, что поезд еще не пришел, что он вышел с предыдущей станции больше часа назад, что начальник станции выехал на моторной дрезине, но что и он пока не вернулся и все это очень тревожно.

— Черт возьми, неразбериха какая-то! — кричал в трубку голос с соседней станции.

— Так точно! — ответил дежурный.

Но сосед пропал. Дежурный слышал в трубке какие-то далекие голоса, паровозные гудки и потом — новый голос, немного осипший и почему-то очень строгий, хотя, может быть, строгим он показался дежурному из-за жары и волненья.

— У вас есть ручная дрезина? — спросил сиплый голос.

— Есть,— ответил дежурный.— Двухрычажная.

— Так возьмите ее! — сказал сиплый голос.— Двигайте на дрезине, надо же выяснить, что случилось. Вдруг там катастрофа? Как вы можете сидеть сложа руки и ждать? Вы слышите?

— Да, слышу,— ответил сразу упавшим голосом дежурный.

Он выскочил из аппаратной и стал объяснять офицерам, что, видно, произошло несчастье и надо ехать на ручной дрезине. Просто загадка — это исчезновение поезда; да еще и мотодрезина не возвращается.

Вскоре несколько солдат, выкатив из-за склада дрезину, поставили ее на центральный путь, и в нее сели дежурный по станции и трое офицеров. Двое из них начали тянуть на себя и толкать рычаги, и дрезина, лениво и сонно постукивая, покатила на запад. Капитан, сидевший впереди, то и дело подносил к глазам бинокль, но, кроме венца Черказских гор и расплавленного воздуха, ничего не видел.

— Все-таки выясним, в чем дело,— сказал капитан.— Состав не мог испариться, он или на линии, или, если случилось несчастье, возле линии.

Офицеры, сидевшие сзади, работали рычагами, дрезина наконец проснулась и, набирая скорость, живее затарахтела на стыках раскаленных рельсов.

Капитан смотрел в бинокль, но нигде не было даже малейших следов дыма. Если бы поезд жил, они увидели бы, как дымит его душа.

Станция Н. притихла, все уселись в тени на перроне, солдаты легли под платформы, машинисты обоих паровозов открыли клапаны, топки гасли. Солнце передвинулось на небе и начало своей страшной линзой скручивать листья на деревьях, сверкая в антраците открытых складов топлива,— в этот жаркий полдень оно одно властвовало над пустой станцией, притихшей, растерянной, озадаченной, исполненной ожидания.

Колокольчики на станционном здании, раскачивая языками, призывно звенели, где-то спускались пружины, аппарат непрерывно стрекотал, и любопытные, заглядывавшие в открытую дверь, видели, как двигается и наматывается лента, как механический карандаш пишет свои тире и точки, но никто не понимал этой постукивающей азбуки. Аппарат на минуту-две умолкал, потом опять начинал стучать нервно, отчаянно, словно кого-то звал, но кто мог откликнуться на его призыв?

Та, та, та, та-та! Та-та, та!

Колокольчики дергались и звенели, около аппаратной толпилось все больше людей, они все пристальней всматривались в ленту, и автомат словно стучал у них в висках, как стучала в висках жара, стучала тишина и нарастало ожидание — мотодрезины, дрезины с дежурным и офицерами, пассажирского состава, пропавшего в пути между двумя станциями,— нарастало, накручиваясь, как лента на диск.

Та, та, та-та, та!

Ожидание набухало, набухала загадка, и все громче звенели колокольчики, стучал аппарат Морзе, не получая ответа.

Только жара ленивым облаком висела над станцией, раскаленная и зыбкая, как пустыня, еще усиливая ощущение пустоты и бессмысленности ожидания.

Кочегары изредка бросали в топку по лопате угля, еле-еле поддер-

живая ленивое попыхиванье огня. Паровозы устали, кипящий пот высыхал на их телах, и казалось, они теперь спали, застыв по сторонам платформы, лишь время от времени испуская протяжный вздох.

Живой бег дрезины уносил ее от ленивого и жаркого покоя станции Н. Офицеры в одних майках работали рычагами, и сквозь жгучую пелену пота дорога перед ними колыхалась и розовела от соли. Колеса, радуясь жизни, весело тарахтели.

Железнодорожное полотно два раза пересекло шоссе и побежало рядом. Движения на шоссе не было, асфальт блестел и грозил растечься по кюветам, залить поля, затопить дубовые рощицы. Пассажиры дрезины смотрели то на шоссе, то на поля, местами сжатые, местами обремененные тяжестью колосьев; черные проселочные дороги дремали, утонув в раскаленной пыли.

— Словно вымерло все! — сказал капитан и снова поднял бинокль.

Горы придвинулись, и он увидел, как над ними серым чубом клубится туча; быть может, шла гроза.

Сзади завыла сирена. Вой нарастал, взвивался над полями, снова прижимался к земле и снова взмывал вверх, точно пытался, изгибаясь, пробить себе путь сквозь этот зной.

Люди в дрезине обернулись. По шоссе с включенной сиреной мчалась пожарная машина. Пожарники стояли, прильнув к цистерне, их блестящие медные каски покачивались. Машина прошла мимо дрезины, оглушив людей своей сиреной, и они увидели, как хлопают на ветру куртки пожарников.

— Пожар в такую жару — страшное дело! — сказал капитан.

— Страшная жарища! — отозвались сзади.

Офицеры сняли уже и майки и работали голые до пояса, но прохладней от этого не становилось.

Капитан стал рассказывать, как в прошлом году во время осенних маневров из-за непогашенной спички вспыхнул пожар, и вся армия и население полночи боролись с огнем: вот что может наделать одна спичка!

— Вполне вероятно, что поезд стоит в поле,— сказал дежурный.— От искр иногда возникает пожар. Глядите, какая пшеница пересохшая. Если пожар, поезд останавливается и пассажиры бегут тушить.

— Это возможно,— обернулся к нему капитан.— Вот и пожарная команда проехала. Да, да, наверно, они тушат пожар.

Офицеры сильнее налегли на рычаги, и раскаленное поле с пшеницей и дубовыми рощицами быстрее побежало вдоль полотна.

Рельсы входили в густую тень канадских тополей.

— Там река,— сказал дежурный.

Полотно выгнулось, подыскивая место, где удобней было пересечь реку. Вот и мост, высоко поднявший свои металлические ребра, заброшенный, заросший травой домик военного караула и возле него маленькая пристройка, сколоченная еще во время второй мировой войны.

Пока дрезина с грохотом шла по мосту, капитан смотрел вниз на воду, прозрачную и тихую.

— Эх, искупаться бы в такую жару,— сказал капитан.

В реке отражался мост и бегущая по рельсам дрезина. У краев прохладного потока можно было разглядеть птах, которые низко проносились над водой, задевая ее грудью.

За мостом офицеры и дежурный вдруг увидели остановившийся поезд; паровоз был нем, а впереди него, словно чему-то удивившись, застыла мотодрезина.

Все повскакали, офицеры стали натягивать на себя одежду, а капитан, на ходу одергивая гимнастерку, сбежал с насыпи и на своих длинных кривоватых ногах зашагал к паровозу. Он остановился у лесенки и, всматриваясь в полумрак за топкой, крикнул:

— Алло!

Никто не отзывался.

— Эй, алло! — повторил капитан.

Товарищи уже стояли сзади него.

— Никого нет? — спросил дежурный.

— Похоже, что никого. Эй, алло!

Вместо ответа паровоз выбросил из-под поршней облачко пара. Дежурный вскарабкался по лесенке, но наверху, если не считать замасленной куртки, висевшей возле манометров, никаких следов присутствия человека не было.

Офицеры и дежурный пошли вдоль вагонов. Зияли распахнутые двери, окна были открыты, в купе на сетках лежали чемоданы и корзины, тут же висели плащи и сумки. Один из офицеров поднялся в вагон и прошел по всему коридору.

— Пусто,— сказал он.— Пусто, как во время воздушной тревоги.

В поле кричали дергачи.

— Когда-то мы так спасались из Софии,— вспомнил капитан.— Поезда довозили нас до тоннелей в Искырском ущелье, и мы прятались в этих тоннелях. Но тогда была война, бомбежки, а тут я ничего не понимаю!

Они покрутились около мертвого поезда, капитан что-то обдумывал, потом решительно двинулся к паровозу. Поднимаясь по лесенке, он сказал товарищам, что надо кого-то позвать — не могут же они целый день торчать здесь, необходимо доставить военные материалы, не то все маневры полетят кувырком.

Продолжая думать о маневрах, он карабкался по лесенке, а дежурный думал в это время о своем. Он вспомнил, что оставил все на станции открытым, что все двери распахнуты и аппараты стоят на виду. Надо было хоть аппаратную запереть!

Капитан дернул несколько раз паровозную сирену. Над примолкшим полем понеслись прерывистые гудки. Тит, тит, тит, тит — так гудели паровозы при тревоге или когда теряли терпение, промаявшись слишком долго перед семафорами перегруженных станций. Призыв разнесся по округе еще несколько раз, и капитан спрыгнул на землю.

Он снова поднес к глазам бинокль и стал рассматривать окрестные холмы. Над одним из холмов он увидел маленького комара. Комар отвесно спустился на землю, поднял облачко пыли и замер на холме.

— Вижу вертолет генерала,— сказал капитан и передал бинокль другому офицеру.

Тот направил бинокль туда, куда показывал капитан.

— Там вышка номер три,— объяснил ему капитан.— С этого пункта наблюдают за маневрами.

— И завтра с этой вышки будут наблюдать,— сказал третий офицер.— В низине завтра состоится контратака танковых частей. А сегодня главная операция — форсирование Черказской реки.

— Так это и есть Черказская река,— сказал дежурный.

— Именно,— сказал капитан.— Сегодня ее будут форсировать.

— А где же тогда воинские части? — спросил дежурный.— Никаких частей вокруг нет.

— Действительно нет, — сказал капитан — Зато есть дубовые рощицы. Вы видели по дороге дубовые рощицы?

Дежурный улыбнулся, он понял.

— Вертолет поднялся, — сказал офицер с биноклем. — Вон там.

Он отдал бинокль капитану, но и без бинокля все четверо увидели, как маленький комар взмыл в побелевшее небо и начал расти.

— Ничего во всей этой истории не понимаю, — сказал капитан.

Они сели у полотна, всматриваясь в вертолет, который продолжал расти. Зной колыхался, еще сильнее сгущаясь от крика дергачей; где-то подавал голос и перепел, точно играл на окарине.

Второй день у подножия Черказских гор и на равнине шли большие военные маневры. Вчера, перейдя в контратаку, танковые части, поддержанные авиацией и артиллерией, вступили на полигон и разнесли в щепки четыреста мишеней — артиллерия, авиация и танковые части пленных не берут.

В это утро все уже выглядело так, словно боя и не было. Только земля зияла разверстыми ранами. Проехали крестьяне на телегах, груженных снопами; прогнали лошадей на луга; кузнечики выбрались из своих норок и прыгали, купаясь в горячем воздухе. И роса выпала ночью, и солнце напилось росы, прежде чем, собравшись с силами, подняться в небо и докалить зерно в издолах и низинах — на холмах хлеб был уже убран. Тракторы, заурчав, принялись переворачивать землю. Их гусеницы прошли по следам танков и тягачей, отлично укладываясь в широкие отпечатки танковых гусениц. Перепела, выскочившие на волю под надежным прикрытием темноты, теперь перекликались, словно уверяя друг друга, что вчерашние ад и громыханье не повторятся.

Земля восстанавливала силы и дышала, созревая в зное плодоносного лета. Но она еще и лечила свои раны и укрывала в глубине своих недр, как укрывают сокровище, все громыханье и жестокость вчерашних маневров, ибо она знала, что эту стихию, спокойную, но не уснувшую, она должна удержать в себе; так спокойно лежит лев, небрежно опустив на лапы золотистую гриву, устремив взгляд куда-то вдаль. Спокойствие щедрого лета чувствовалось и на аэродроме. Вертя задами, маленькие самолеты подкатывали к ангарам, точно лошадки, готовые хоть сейчас помчаться по скаковой дорожке. Им словно еще жгло колеса, как вчера, когда они касались бетона взлетных площадок, выложенных вдоль поля огромными ромбами. Ромб к ромбу — до самого края поля, они похожи были на панцирь черепахи. Стада овец бродили по траве, поглядывая на локаторы, установленные на желтых пригорках. Локаторы обыскивали небо, обрабатывали его, прощупывая каждый квадрат, но там было только солнце и небесная синева — она плавилась и стекала на землю, как смола, и земля еще сильней благоухала созреванием.

Командиры частей ехали на открытых машинах к вышке номер три, чтобы после полудня наблюдать оттуда форсирование Черказской реки и перегруппировку армии для нового удара.

Вышка была построена на холме. Позади нее, на самой маковке холма, темнела рощица, между деревьями торчали антенны радиостанции. Командиры, подъезжая, принимались ходить взад-вперед по плеши возле вышки, из рощицы то и дело выскакивали солдаты и офицеры связи, докладывая генералу о поступивших к ним сообщениях. Генерал, похудевший и загорелый, с покрасневшими глазами, прохаживался, окруженный офицерами. Вот уже несколько дней напряжение этих маневров словно держало его под током — все его сознание было поглощено боевыми операциями частей, движением и перегруппировкой сил, которые в этот мирный полдень проходили проверку перед лицом своей страны.

Эта сила, думал генерал, должна соответствовать жизненным силам Отечества, должна быть в состоянии защитить его богатства. Ведь чем больше растет богатство, тем больше становятся аппетиты тех, кто на него зарится.

Генерал смотрел на север, где вчера его части прошлись огнем. Север был исполнен тишины и спокойствия.

Со стороны рощицы показался вертолет и, внеся разлад и путаницу в работу радистов, сел на макушку холма. В воздух взметнулись пыль и сухая трава.

Вертолет был в личном пользовании генерала, и, с тех пор как начались маневры, он то и дело оседлывал его, точно велосипед. Летчики не вылезали из кабины, ожидая приказаний.

Офицер связи подбежал к генералу и доложил, что на мосту через Черказскую реку образовалась пробка и форсирование приостановлено.

— Как на мосту? — удивился генерал.

Ему сказали, что колонны на мосту и что все шоссе забито.

— Быть этого не может! — Генерал начал нервничать.— Какое же это форсирование, если им нужен мост?

Он хлопнул себя рукой по бедру.

— Какая нелепость! Форсировать реку через мост!

Генерал уже шагал на своих крепких ногах к вертолету. Лопасти винта снова дрогнули, и генерал, усаживаясь, приказал лететь к мосту на Черказской реке. Винт выпрямился, его крест растворился в большом сером круге, потом этот круг чуть прогнулся. Двигатели быстро работали, железное брюхо машины наполнилось треском; вертолет, легко оторвавшись от земли, пролетел, пригибая деревья, над рощицей и, прежде чем взять курс на мост, описал полукруг над холмом.

Второй пилот развернул карту, определяя квадрат полета. Генерал, сидя в тесном брюхе машины, испытывал такое ощущение, точно мотор работал в нем самом, в его сердце — так сильны были вибрация и треск. Он смотрел в иллюминатор. Земля наклонилась, угрожая все стряхнуть с себя, потом выровнялась и побежала под вертолетом, то собираясь в складки, то расправляясь, вся разбитая на квадраты, прорезанная каналами, словно ее вылепили дети.

Генерал встал и принялся расхаживать по тесной кабине, нервно поглядывая в иллюминаторы... Вот наконец шоссе, черное и блестящее. Оно извивалось под ними, как черный канат, брошенный чьей-то рукой среди полей и рощ.

Параллельно шоссе, но спрямляя его изгибы, шло железнодорожное полотно. Генерал увидел сверху застывший на рельсах поезд и удивился, что поезд стоит именно здесь, где нет ни станции, ни разъезда. Не поверив своим глазам, генерал поглядел с другой стороны, но поезд действительно стоял, черный и неподвижный. Ему показалось, что где-то впереди, около паровоза, мелькнули человеческие фигуры и как будто кто-то даже махал руками, но канадские тополя закрыли вагоны и паровоз, и поле снова стало пустынным.

Генерал сидел в своем моторизованном карцере, и поезд быстро исчез из его сознания, вытесненный воинскими частями, парализованными при форсировании реки.

«Искать мост во время маневров!» — с гневом думал генерал.

И вот наконец река и мост.

«Какая нелепость!» — выходил из себя генерал, глядя на застрявшую колонну. Она казалась мертвой, из-под танков не сочился дым, моторы не работали. Видны были пустые люки с откинутыми крышками.

Вертолет наклонился, колонна сдвинулась, и тут, после поворота, генералу сразу открылась вся картина. Его армия стояла у реки, солдаты и офицеры толпились по обе стороны моста, некоторые зашли в воду; генерал увидел и много штатских — мужчин, женщин, увидел детей на обоих берегах, увидел людей и на мосту, они висели гроздьями, а некоторые даже забрались на перила. В самом начале моста стояла пожарная машина, пожарники бегали вокруг, ловко разматывая шланги.

Вертолет развернулся, низко опустился рядом с мостом и полетел над водой; пилот, определив, что наклон берега не превышает четырнадцати градусов, пошел на посадку. Столб воды поднялся навстречу машине, она скользнула вбок, словно боясь намочить брюшко, и колеса ее мягко ушли в песок.

Генерал выпрыгнул из кабины, потный от гнева.

Группа офицеров кинулась к нему, на ходу оправляя кители. Генерал стал к ним вполоборота — так он делал всегда, когда сердился.

Однако, обернувшись, генерал увидел, что люди под мостом, закатав штаны, ходят по воде, солдаты шлепают прямо в сапогах, все что-то обсуждают, кто-то кричит... И генерал, ступая по размякшему песку, сделал несколько шагов к мосту.

В эту минуту он увидел в воде маленькую голову. Это была детская головка, русая, остриженная ножницами. Голова тоже смотрела на генерала испуганными глазами, повернулась налево, потом направо, моргнула и снова на него уставилась.

Круг около ребенка разомкнулся, давая генералу дорогу. Главнокомандующий нервно зашагал в ту сторону, спрашивая на ходу:

— Почему этот мальчик сидит в воде?

Сбоку и немного сзади шли офицеры из танковой колонны, приостановившие форсирование реки. Танки застыли у воды, а некоторые стояли уже на другом берегу, едва вытащив на песок зады, и за ними тянулся мокрый след, словно это были какие-то огромные водяные животные, выбравшиеся на сушу, чтобы пожариться на солнышке.

— Не отсюда, а оттуда! — кричал кто-то.

Мальчик смотрел на генерала испуганными глазами. Генерал смотрел на мальчика строгими глазами генерала, у которого остановили армию. Мальчик, пытаясь улыбнуться, раздвинул посиневшие губы. Улыбка получилась чуть кривая. Генерал тоже попытался улыбнуться, но и его улыбка на усталом лице тоже выглядела кривой.

— Но почему он сидит в воде? — спросил генерал, смутно предчувствуя ответ.

И тогда все, и военные, и штатские, оба берега Черказской реки, мост, перила моста — все, кто здесь был, начали разом объяснять генералу, почему этот мальчик сидит в воде. Больше пятисот глоток, перекрикивая друг друга, объясняли генералу, и, можете мне поверить, эти людские голоса гремели не хуже вертолета, когда генерал сидел в его брюхе. Сам господь бог ничего не мог бы понять в объяснениях пятисот человек, так где уж было понять генералу! Все старались перекричать друг друга, потому что каждый считал, что именно он лучше всех объяснит, в чем дело, и потому-то генерал и не мог понять, в чем же тут дело.

А дело было вот в чем.

В этот самый день трое мальчишек из села Черказки пасли у реки буйволов. Неподалеку гудела молотилка, и ребята бегали туда — поглядеть. Молотилка работала на другом берегу, за вербами, во дворе бывшей Харитоновой усадьбы. Эта усадьба была теперь собственностью объединенного кооператива, и летом Черказки и еще одно соседнее село, входившее в кооператив, устраивали на усадьбе ток, чтобы не приходилось далеко возить снопы.

Молотилка тоже была национализированная, марки «Николай Фехер», крестьяне называли ее «Феферка» и знали, что она дает хорошую мелкую солому для лошадей. На молотилке работали несколько мужчин, а солому отгребали четверо или пятеро женщин. Пара волов на длинных веревках, протянутых через большой стог, втаскивала копны соломы наверх. Такой способ сберегал много труда, да и меньше народу требова-

лось на укладку соломы. Стог рос, как египетская пирамида, молотилка гудела без передышки.

Была самая страда, люди не присаживались с утра до вечера, поэтому, когда мальчишки стали кататься со стога (а солома сухая, гладкая, словно отполированная — чистое золото, и только на нее сядешь, так и заскользишь вниз, пока не шлепнешься на землю, а сверху тебя накроет огромный пласт, обдавая душным запахом пшеницы и половы), так вот, когда мальчишки стали кататься со стога, им тут же влетело от крестьян, и они, опасливо косясь на их вилы, побежали обратно к молотилке, покрасовались там немножко своей храбростью, шмыгая взад и вперед под бегущей трансмиссией, но и оттуда их прогнали («Вот сорвется ремень и отрежет вам голову!»), и они снова вернулись к реке.

Буйволы уже наелись и теперь смотрели на воду, раздумывая, не пора ли купаться. Мухи, подстрекаемые жарой, кусали их немилосердно, и буйволы решили, что они не могут сделать ничего лучшего, как войти в воду и утопить всех мух.

Мальчики покидали немного плоские камешки, стараясь, чтоб они подольше прыгали над водой, но это им быстро надоело, они стащили рубашонки и бросились в воду. В воде мальчишки плескались, пока по коже не пошли мурашки, и они снова вылезли на берег пожариться на песке.

Тогда-то один из мальчиков — он был в красной майке — сказал, что, если пойти к мосту, можно наловить хорошей рыбы. Там водится боек, сказал мальчик, он отсиживается в норах, под пролетами моста. Бойком они называли речного кленя, потому что он бьется и плещется на перекатах, словно сердится на них за то, что они такие мелкие. Рыба эта совсем дикая и, когда ее вытаскиваешь на берег, смотрит глупыми глазами.

Младший из мальчиков не умел плавать, он остался на берегу, а двое других поплыли под мост ловить бойков. Мост был длинный, в два пролета, построенный еще до войны. Как все железобетонные конструкции, посередине он не был сварен, чтобы при усадке опор, которая рано или поздно должна произойти, мост не рухнул. Пластичность нужна, даже когда в дело идет бетон; правда, этот-то мост со времени постройки еще не двинулся.

Ребята выбросили на берег несколько рыбок, а младший подобрал их, сломал прутик и нанизал их за жабры.

— Тут подводная пещера! — крикнул один из мальчиков. — Забраться бы, знаешь, сколько рыбы возьмем!

— Давай,— сказал другой.— Только это под водой надо.

Старший нырнул, не закрывая глаз, пошарил под водой и снова высунул голову.

— Есть, — сказал он. — Воздуху мне не хватило.

Второй мальчишка лежал на воде, как лягушонок, шевеля ногами, чтобы не потонуть. Он тоже захотел посмотреть, подплыл к стенке опоры и, болтаясь в воде, стал ощупывать руками каменную кладку — огромные глыбы камня и бетонные пояса, покрытые скользкой зеленью, — но пещеры не нашел. Попадались только щели, совсем узкие, такие, что и пальца не сунешь. Медленно двигаясь вдоль стены, он продолжал исследовать кладку.

Самый младший из ребят сидел на корточках у воды и смотрел на пловцов, а на его рыбу налетела оса и присосалась к рыбьему глазу. Мальчик махнул рукой, оса, трепеща крылышками, изогнула тельце, но от глаза не оторвалась. Мальчик нажал пальцем на ее спинку, и оса затихла. Он снова поглядел на пловцов и на реку. Мальки проносились в воде, несколько головастиков крутилось в лужице — не то у них закружилась голова, не то лужица их чем-то рассмешила. Перепел крикнул с

лугов, мальчик повернул голову, чтоб посмотреть, кто кричит, но догадался, что это перепел, и снова засмотрелся на реку.

А река между тем так притихла, точно уснула в зелени своих берегов. Она и вправду спала, истомленная жарой,— реки умеют спать на бегу,— укрывшись тенями вербы и черной ольхи. Вербы и ольха всегда были с ней, потому что река их кормила. В летнем сне своем река видела свои истоки, большие каменные чаши, из которых грозы пьют воду, видела пену горных потоков, отражения диких коз, склонившихся над ней, чтобы утолить жажду и тотчас отбежать своими дробными шажками по мягкой траве; и во сне видела река усыпанные красной малиной берега, а потом увидала, как купается тяжко раненный кем-то медведь; он лежал навзничь в холодной воде, он стонал, и вода становилась красной; медведь задирал кверху лапы, словно молился небу. Холодная река напоила медведя, и он выпил так много, и так понравилась ему эта студеная вода и эта прохлада, приникшая к огненной ране, что там он и остался, уткнувшись в дно головой, и река вспомнила, что на губах его осели песчинки. Песок казался светлым, почти прозрачным на черной морде животного, и река кинула горсть и ему в глаза, чтоб не смотрел он больше на Черказские горы, чтобы забыл их... И он их забыл. Потом ей снились грудки птиц, проносившихся над самой водой, прикосновенье сухих перьев, а потом еще другая птица — она неподвижно стояла на длинных красных ногах, опустив красный клюв, уйдя в свои мысли.

И еще реке снились обнаженные черказские девушки; они выбегали из ольшаника, широко раскинув руки, до локтей загорелые, а выше локтей белые и гладкие. Девушки искали укрытия в ольшанике, как вода старалась укрыться в тени, чтоб уберечься от солнца. Река выкупала их, обдала брызгами, одарила их запахом дикой малины, запахом гор, наделила их чем-то, что взяла у диких коз, пивших ее воду, и унесла с собой девичье дыханье; оно было так приятно на вкус, что даже камни и песок проснулись и по дороге разобрали все себе, оставив воде только воспоминание о девушках.

Но река не жалела об этом — она знала, что встретит по дороге других девушек и украдет себе немножко их дыхания, пока они будут купаться, или брызгать друг другу в лицо, или визжать, коли их защекочет прозрачная, прогретая вода.

Река бежала сейчас легко, почти на цыпочках, и бережно поддерживала на своей спине мальчишку, с остриженной ножницами головой, веснушчатого, как лягушонок. Мальчик едва научился плавать, и реке приходилось быть осторожной — любая маленькая волна могла хлестнуть ему в рот, открытый от напряжения

— Нашел, здесь! — закричал мальчик, остриженный ножницами.— Здесь, здесь!

Его товарищ пополз к нему по прозрачной спине реки.

— Тут большой камень, а под ним полно рыбы. Кишмя кишит.

— Да где? — спрашивал товарищ.

— Вот здесь,— отвечал мальчик с веснушками.— Здесь, здесь!

— И верно, полно!

— Полно, и шевелятся все. Вон брюхо — видишь, как бьется.

— Надо снизу чем-нибудь подпереть, а то как бы не ушла.

— Зайди с другой стороны.

Мальчик оттолкнулся от камня, чтобы заплыть с другой стороны, а первый рыболов все шлепал по воде одной рукой и болтал ногами; другую руку он сунул в отверстие и чувствовал между пальцами притихшую рыбу: в каменном гнезде моста рыбы и правда было много.

В то время как его товарищ плыл у него за спиной, под мостом вдруг пронесся какой-то странный звук. Он был похож на треск льда на реке зимой. Лед, набухая, трескается, и тогда звук бежит вдоль реки вместе с тонкой, почти прозрачной дорожкой трещины. Мост передвинул каменные глыбы и железобетонные пояса своих опор — произошел сдвиг, предусмотренный конструктором еще при строительстве. Конструктор не знал, когда произойдет усадка, когда именно почва ощутит усталость от давления моста, но он это предусмотрел; на средней опоре на месте стыка железобетон, чуть двинувшись, со скрежетом сомкнулся.

— Что это? — спросил мальчик с берега.

— С мостом что-то,— сказал стриженый, все еще держа руку в каменном гнезде, у рыб.

— Ну-ка подайся, я тоже залезу,— сказал тот, что огибал его сзади и теперь снова подплыл к стене.

— Не могу,— сказал первый.

— Как не можешь? Подвинься чуток, здесь никакой пещеры нету.

— Да не могу,— сказал мальчик.— Раньше шевелил, как хотел, а теперь чего-то руку сжимает.

— Может, камень сдвинулся?

— Откуда я знаю,— сказал мальчик.— Сжало руку вот здесь, повыше запястка.

Товарищ его стал нащупывать, где прижало руку. В сущности ее не прижало, ею можно было даже свободно двигать в подводном гнезде, но вытащить ее было нельзя. Мальчик держался на поверхности воды, помогая себе другой рукой и ногами.

— Попробуй еще,— советовал товарищ.

— Да я пробую, не идет,— говорил первый, пытаясь вырвать руку.

— Потяни ее,— подал голос тот, что был на берегу с рыбой.

— Не идет,— отвечал мальчик из воды.

— Как же быть-то? — сказал его товарищ.

Они помолчали, а в это время первый все пытался выдернуть руку, но ничего не выходило. Усадка поймала его в подводный капкан, каменные глыбы уходили вверх, огромные, скользкие, и, когда мальчишка поднял глаза, он увидел, какие они громадные и как они вздымаются над ним, холодные, угрюмые, молчаливые. И мост стоял спокойный, неподвижный, холодный, как всякий железобетонный мост. Прилепившаяся к камню улитка спала во мраке своей раковинки.

— Я тону! — вдруг крикнул мальчик.— Ой, я тону!

Товарищ его быстро поплыл к берегу. Он колотил по воде руками и ногами и, добравшись до песка, закричал:

— Ты держись там, держись, слышишь, держись! Сейчас людей позову.

— Я тону! — плакал мальчик под мостом.

Ууу-ууу — ответило эхо.

Малыш с рыбой, озираясь, попятился от воды.

— Стой! — крикнул ему тот, что вылез на берег.

— Ребята, не убегайте! — кричал мальчик под мостом, испуганно вертя головой.

— Слушай! — сказал старший малышу с рыбой.— Беги в усадьбу, на молотилку. Ну?

Малыш бросил прут с бойком под ноги товарищу, и его голые пятки так и засверкали. Он по мелководью перебежал реку, одним духом взлетел на откос, продрался через вербы и, не жалея ног, помчался дальше к усадьбе. Молотилка, окутанная пылью, все так же ревела, волы все так же тянули пласты соломы; мелькали деревянные вилы. «Утонул, утонул!» — закричал мальчик. Один крестьянин цыкнул на него: «Эй ты, не верещи!» — и бросил сноп на стол, но тут же остановился — маль-

чик с воплем «Утонул!» продолжал бегать вокруг молотилки. Молотильщики кинулись к нему, стали спрашивать, кто утонул, малыш ответил, как мог — он ревел, вытирал слезы, всхлипывал и объяснял, что они были у моста, а мост вдруг затрещал, загремел и схватил одного мальчишку, за руку его схватил, и теперь он остался в воде. Молотильщики соскочили с площадки, пустой барабан испустил голодный вой, трансмиссия захлопала сильней, и машинист побежал выключать мотор. Трансмиссия, просвистев в воздухе, упала на землю. С большого стога слезли орудовавшие там мужчины, и на току стало так тихо, что можно было услышать, как шуршит и потрескивает разогретая солома и зерно в колосьях. Тогда все, прямо как были, с вилами в руках, бросились к реке, один кричал: «Багор, багор возьмите!» — другой подбирал на бегу веревки. На гумне остались одни волы, успевшие поднять на веревках копну до середины соломенной пирамиды. Мужчины и женщины — все бежали, но женщины начали отставать, и некоторые успели уже заплакать. Мужчины бежали молча, сжимая вилы, веревки и багор, который взял один из молотильщиков. «Держись!» — закричали мужчины, когда перед ними открылся мост и сизая вода. Они издали увидели мальчика, он был под мостом один, и головенка его покачивалась на воде, как тыква. «Мама, мама!» — увидев людей, заплакал мальчик. Одна из женщин рухнула на песок и две другие, подтащив ее к воде, принялись смачивать ей лоб. «А где второй парнишка?» — спрашивал молотильщик, притащивший багор. «Может, испугался и сбежал»,— сказал кто-то. «Ясно, испугался,— сказал малыш, который привел людей с тока,— они вместе плавали». «Ох уж эта ребятня!» — приговаривал машинист. Он вбежал в воду, подняв завесу брызг, и поплыл прямо к каменной стене, приковавшей к себе мальчика. Тот ничего не мог сказать, только всхлипывал, и его посиневшие губы дрожали. «А вдруг и второй утонул?» — спрашивали мужчины. Но мальчик мотал стриженой головой и, все еще не в силах ничего сказать, по-прежнему всхлипывал, едва переводя дыхание. «Он мне сказал — беги на ток,— объяснял мальчишка, собиравший перед тем рыбу на берегу,— он мне сказал, и я побег». Ничего больше о третьем мальчике крестьяне с тока не сумели узнать, да и не до него сейчас было — надо было спасать паренька под мостом. Может быть, тот испугался, может, сбежал, мало ли что могло стрястись, да и кто ж потребует от ребенка, чтобы он стоял у воды, если каждую минуту он может увидеть в воде утопленника!

Но мальчик не испугался и не сбежал.

Когда ребята остались вдвоем, он заметался по песку, голый и мокрый, и все прислушивался к гудению молотилки с Харитоновой усадьбы.

— Не бойся! — кричал он товарищу под мостом.— Сейчас с тока прибегут. Ты только держись!

Зубы его стучали от холода.

— Я тону,— всхлипывал второй.

— Держись! — кричал мальчик с берега и все метался, как полевая мышь, попавшая в капкан.— Сейчас придут. Ну, правда же, придут.

Подбадривая товарища, он почувствовал, что у самого горло перехватило, и заплакал, не выдавая себя ни звуком. Мокрыми ладошками вытирая слезы, он топтался на берегу и тут вдруг услышал далекий паровозный гудок. Он остановился, посмотрел, наморщив лоб, на одежку, сваленную на песке, увидел прут с нанизанной за жабры рыбой. В кучке одежды краснела его майка. Мальчик быстро-быстро привязал ее к пруту с рыбой и, как был нагишом, бросился к железнодорожному полотну. «Постой! — слышал он позади крик товарища.— Тону!»

Но он не остановился, а все бежал к железнодорожному полотну,

добежал до насыпи, забрался на рельсы и припустил по линии, стараясь попадать на шпалы, потому что острая щебенка резала босые пятки. Он бежал, выставив вперед прут с красной майкой. Вдали он увидел струю дыма, она быстро приближалась, из-за деревьев вынырнул паровоз, но мальчик не сошел с полотна, а все бежал, потом, наконец, замедлил шаг и стал размахивать своим красным флагом, а локомотив все рос и гул рельсов все громче отдавался в ушах.

Мальчик спрыгнул на насыпь, не переставая размахивать майкой, и услышал пронзительный гудок: тит-ти-ти... С паровоза его заметили. Раздался скрежет, воздух задрожал, паровоз выбросил на мальчика облако пара и, продолжая протяжно скрипеть тормозами и гудеть, стал, обдав его жаром своего тела.

В окошке показалась промасленная куртка.

— Что случилось, пацан? — спросила куртка.

— Почему поезд остановился? — спрашивали пассажиры, высовываясь из окон, а кое-кто успел уже открыть двери.

Мальчик вдруг вспомнил, что он голый, и прикрылся майкой.

— Мальчишка остановил поезд,— сказал кто-то.— Рыбу продает.

Пассажиры, глядя на прут с привязанной к нему майкой и несколькими высохшими на солнце рыбешками, засмеялись.

— Тонет! — сказал мальчишка.— Под мостом!

— Кто тонет? — спросил машинист.

— Мальчик под мостом тонет!

— Мальчик тонет в реке! — передали по вагонам.

— Мальчик, где мальчик?

— В реке!

— А где река?

— Наверно, вон там, где ольшаник виден.

Машинист уже спускался по лесенке.

— Давайте скорей,— сказал он.— Что мы стоим?

— Скорей, скорей! — закричали из вагонов.

— Мальчик тонет! В реке!

Первые уже бежали к мосту, и мальчик, не выпуская из рук майки и рыбешек, бежал с ними, а из окошка в окошко переговаривались две женщины — нельзя оставлять детей без надзора.

Полпоезда уже неслось к реке. Потом и остальные пассажиры потянулись через луга, по плотным и душистым отвалам скошенной травы, туда же, к реке, к зарослям ольшаника.

Добежав до моста, первые увидели крестьян и мальчика, лежащего на поверхности воды. Крестьяне носили большие камни и валили их на дно, чтобы мальчик мог на них встать. Один из мужчин поддерживал его в воде на руках, а другие таскали камни и сваливали их к нему под ноги.

Пассажиры с поезда тоже принялись носить камни, некоторые вошли в воду, пустились в расспросы, как это все случилось, и успокаивали, что сейчас, мол, все будет в порядке, руку мальчика высвободят, ничего страшного — ребенок-то ведь жив. Но когда им объяснили, что рука схвачена каменным капканом, а сверху давят опоры и весь мост, пассажиры тут же стали обсуждать, что надо сделать, чтобы высвободить руку. Однако рассчитывать на то, что можно будет сдвинуть каменные глыбы и железобетонные пояса или приподнять весь мост, было бы абсурдом.

И вот больше пятисот человек, пассажиры целого поезда, толкались под мостом, на мосту, на обоих берегах, и никто ничего не мог сделать, чтоб вытащить мальчика из реки. Мальчик, посинев, болтался в воде и испуганно смотрел на огромную толпу, запрудившую берега и мост.

Страшно-то ведь все равно, страшно даже когда вокруг люди.

Рядом, уйдя в воду почти по плечи, стоял крестьянин с тока; он поддерживал мальчика на поверхности реки, подложив ему ладони под грудь, хотя на дно уже были навалены камни. И чтобы пареньку не было грустно и не думалось о страшном, крестьянин старался с ним разговаривать. О чем говорить, значения не имело, важно было говорить, говорить все, что приходит в голову, лишь бы не молчать, ни секунды не молчать, не то мальчик тут же расплачется.

А тогда и крестьянин, пожалуй, заревет, и, не успеешь оглянуться, все заревут. Особенно женщины, конечно, им только и дела что плакать.

— Ну, ты как, молодцом? — спросил крестьянин.

Мальчик попробовал улыбнуться и почти улыбнулся.

— Молодцом, это видно, что ты молодец, тут и толковать нечего, а ты вот мне скажи... скажи мне, ты улиток боишься?

Мальчик сказал, что не боится улиток.

— Как же это ты не боишься? — удивился крестьянин.— У них знаешь какие рога!

— Они мягкие,— сказал мальчик.

— Мягкие-то они мягкие, а все-таки кто ее разберет, улитку эту. Кольнет рогами, подцепит да и забросит метров за сто.

Мальчик блеснул в ответ своими белыми зубами.

Крестьянин все поглядывал наверх, на каменные и бетонные пояса моста и на раковинку улитки, прилепившейся к стене, к одному из поясов.

— Видишь, куда забралась, и страх ее не берет, что сорвется и утонет. Выходит, она храбрее тебя. Храбрее, храбрее, так и знай,— оживился вдруг крестьянин, словно открыв что-то очень важное.

В ответ ему снова блеснула улыбка мальчика.

— Мы сколько раз весной улиток собирали,— сказал мальчик.

Он сказал «собирали», потому что дети собирали их в траве, как собирают грибы, или снимали с деревьев, как яблоки. Улитки, пустившиеся было куда-то в путь, вдруг засыпают прямо на ходу, повисая на деревьях. Тогда-то дети их и собирают, целыми корзинами и кошелками.

— Верно, вы их и ели? — спросил крестьянин.

— Ага,— сказал мальчик.

— Я знаю,— снова оживился крестьянин.— На костре пекли. Бросишь ее в огонь, а она как запищит. И пищит, пищит, пищит.

— Пищит,— согласился мальчик.

— Пищит, пищит, пищит. И пузыри пускает, а они лопаются.

— Лопаются.

— Вот видишь, знаю. Я сколько раз их пек. А еще мы их варили, улиток-то. Целый котелок пены набегает.

— С рисом,— сказал мальчик.

— С рисом. Ты, видать, и про это знаешь. Дошлый ты парень, все знаешь.

Крестьянин с тока со значением покачал головой и заулыбался так, точно мальчик его в чем-то перехитрил. Он умел и любить и волноваться, но не умел этого выразить; и не то чтоб все крестьяне не умели, есть крестьяне, которые умеют, и многие черкасцы красиво эдак говорят, только дай случай, особенно о политике, о разных событиях мировых, и говорят все такое замысловатое, мудреное. Они учились говорить, на то и школы есть, хотя иногда он думал про себя, что кабы все руками так-то работали, как языком, каких бы только дел не переделали. Но сейчас он понимал, что надо работать языком. Он не был этому обучен, зато умел кормить барабан молотилки. Он очень хорошо, рав-

номерно кормил молотилку, ловко разрезая перевясла и расстилая снопы, и барабан всегда пел у него ровно, не хрипел и не задыхался. В этом краю молотильщика, который стоит на барабане, называют багатором: он был багатор.

Крестьянин продолжал разговаривать с мальчиком, опять вернувшись к тому, что улитка может подцепить кого хочешь своими рогами и отбросить на сто метров...

А река, бесшумно колышась, омывала их и уносила с собой запах мальчика и крестьянина и снова вспоминала медведя, песчинки, осевшие у него на губах и в глазах, диких коз на водопое, черкасских девушек, сухие перья птиц, которые пролетали, касаясь своих отражений. Река текла с ленивым спокойствием, чуждая смятенью, нараставшему на ее берегах, отраженному в ее водах, деятельному и в то же время беспомощному.

Появление пожарной машины, выехавшей на учения, вселило новые надежды. Командир ее живо соскочил на мост и спросил, что случилось. Ему объяснили. Дальше стали слышны одни команды, пожарные бегали, шлемы блестели, шланги разматывались, затарахтел мотор; шланги спустили под мост, и, пока пожарные копошились там, насос работал вовсю, выбрасывая огромную струю воды.

Пожарники были люди деловые, они вытащили топоры, шесты, полотнища — все, чем бывает вооружена пожарная команда, но не прошло и десяти минут, как стало ясно, что это совершенно бессмысленно. Насосом одной пожарной машины реку не выкачаешь. Да если бы даже и можно было это сделать, все равно мальчик остался бы в каменной ловушке моста.

Половина толпы стояла, мокрая, в реке; кто-то спросил, не лучше ли позвать отца мальчика, но крестьяне с тока сказали, что отец мальчика работает обходчиком на главном шоссе, в селе его сейчас нет и вообще кто знает, где его искать.

Мальчик по-прежнему стоял на сваленных у него под ногами камнях. Сначала, когда он увидел столько людей, он успокоился, потому что столько людей, конечно, тут же его выручат, вытащат его из воды. Ему было холодно, у него стучали зубы, но он сжимал их и испуганно поводил глазами, ошеломленный толпой, чувствуя себя перед этой толпой виноватым.

Но когда все попытки ни к чему не привели, поток предложений стал иссякать и разговоры стихли, когда пожарники выключили насос, когда оба берега и мост умолкли и стало так тихо, что послышались голоса перепелов на лугу и дергачей, укрывавшихся под вербами, мальчик, испуганный этой неожиданной тишиной, содрогнулся и скорее почувствовал, чем понял, что помочь ему никто не может. И он заплакал, затрясся, прижимаясь к стене, заплакал беззвучно, скривив лицо. Лицо его, искаженное гримасой, стало похоже на лицо старика, кое-как остриженного ножницами, прикованного к этой стене и осужденного умереть под взглядами стольких пар глаз, умереть на виду у всех этих людей, которых привела сюда тревога за его жизнь. Мальчик рыдал, и, хотя ему начали кричать: «Не плачь! Не плачь! Сейчас все будет хорошо, ничего страшного», он продолжал рыдать. К тому же он видел, что и на берегах реки женщины уже плачут, и под самим мостом плачут, и даже командир пожарной команды, глядя на гроздья людей на мосту, вытирает глаза. Крестьяне, точно у них затекли мышцы, переступали с ноги на ногу, неловко и виновато. Одна из женщин плакала, уткнувшись в ладони, и плач ее то затихал, приглушенный, то снова раздавался, точно скулила собака.

Улитка по-прежнему спала во мраке своей раковины.

Только крик перепелов все крепчал на притихших берегах, накатывался на реку, бился о мост, словно все на свете птицы слетались с лугов и стерни, выскакивали из межей и ольшаника, устремляясь к мосту, и в каждом, кто стоял у реки, все сильней отдавался их крик:

— Подь-полоть!

— Полоть!

— Подь-полоть!

— Подь-подь-полоть!

— Подь-полоть!

И постепенно все пространство до самого побелевшего неба заполнилось криками птиц, загустело, натянулось, и все стояли в этом распятом криками птиц пространстве, и каждый чувствовал себя распятым, и никто не знал, как все это разбить, как выйти из этого ужаса.

Но напряжение было разбито.

Оно лопнуло, и мир снова обрел реальность, и люди снова зашевелились на берегах реки. Мать мальчика бежала босиком по дороге, и толпа расступилась перед ней. Крики перепелов исчезли, их уничтожили крики женщины. Она стремглав сбежала с откоса, бросилась в воду и, ощупывая мальчика, заголосила: «Сыночек мой! Сыночек мой! Ох, боже, что же это стряслось, сыночек мой!» Крестьянка, захлебываясь, заглатывая воду, голосила под сводами моста, и люди опять повалили в реку, вытащили ее на песок, а она упиралась, смотрела на своего сыночка и хотела снова кинуться в воду, хотела выпить всю эту тихую, прозрачную воду, не отпускавшую маленького пленника.

Внезапно женщина вырвалась из рук людей и, дико озираясь по сторонам, пошла как-то боком, пристально всматриваясь в лица, сплошь незнакомые, почти лишаясь рассудка; потом она начала дергать людей за одежду, бить их кулаками; она спотыкалась, хваталась за чьи-то плечи, молила: «Спасите моего ребеночка! Люди, ребеночка моего, люди! Ох, боже! Спасите его!» А люди смотрели в землю, смотрели в песок, смотрели на реку и переступали с ноги на ногу. Послышались голоса: «Да сейчас, ты только успокойся! Сейчас все сделают!»

И хотя на самом деле никто не знал, что еще можно сделать, толпа снова загудела, и люди снова хлынули под мост — их было так много, что почти не видно стало воды, и они стояли там, все такие же беспомощные, пытаясь несвязными словами успокоить посиневшего, обессиленного водой ребенка...

Мать упала на берег, разрывая пальцами песок, мышцы лица свела судорога. Несколько человек кинулись ее растирать, обливали водой, долго возились с ней, пока привели ее в чувство, и она снова села на песок, тупо глядя перед собой, слегка покачиваясь и рыдая.

Страшно было смотреть в пустые глаза этой крестьянки, лишенные надежды. «Господи, спаси!» — кричала женщина, раскачиваясь взад и вперед, и видно было, что она вот-вот снова рухнет на песок.

Люди на берегах и на мосту опять зашевелились, стали переходить с места на место, сливаясь в группы и разбредаясь снова, спускались с моста или поднимались на самую его середину, двигались безо всякого смысла, потому что надо же было что-то делать; они смотрели, как мучается мать, смотрели, как она снова встает, и снова идет к мосту, и расталкивает всех, и бьется о каменную стену, и потом вдруг находит в себе силы утешать своего мальчика, своего сыночка, который смотрит на нее сухими, вернее, высохшими уже глазами. Она нежно утешает его, словно уговаривает проснуться, как она уговаривала его утром,

когда нужно было поднять его с теплой, сонной постели, чтобы он выгнал буйволицу на луга.

Так разговаривала с ним мать. И все люди на реке стояли, выпрямившись, и слушали речи матери. Понемногу и другие женщины стали подходить к ней и тоже успокаивать мальчика. Но чем больше говорила мать, тем острее ощущалась безнадежность, потому что все это были только слова, а до камня слова не доходили, и он не отпускал ребенка.

И до реки не доходили слова.

«Господи, спаси!»

Можно ли растрогать словами эту холодную, каменную глыбу? Можно ли растрогать эту массу бетона и железа, наступившую на реку? К кому же обратиться за помощью? И сам бог может ли здесь помочь? «Господи, господи!» — снова заголосила мать, потому что силы снова оставили ее, и двое мужчин, поддерживая, повели ее на берег. Она искала опоры в пустоте молитвы... Так другая женщина молилась всю ночь о спасении жизни одного человека, а утро принесло ей его смерть. Вы помните Хулиана Гримау, испанского патриота, в канун его казни той весной? Вы помните его детей и его жену в ту ночь, когда она растревожила телефонный кабель, проложенный под океаном, умоляя президента Соединенных Штатов Америки спасти жизнь ее мужа? Вы помните — в ту ночь Соединенные Штаты спали, и единственным ответом жене Гримау было, что Штаты спят. И потом, вы помните, как в ту же ночь эта женщина взывала к кардиналу Мадрида и как отчаяние заставило ее потревожить Ватикан и просить самого папу о вмешательстве и как она услышала в ответ, что она должна верить и искать опору в боге? Она искала опоры в пустоте этого мира, и ей посоветовали обратиться к богу. Искать опоры в пустоте, в бездне! Но кто опирается на бездну? Сам папа? Когда он опирался на нее, католические соборы гремели молебнами о спасении папы. Бездна ответила на молитвы католиков, как католики ответили жене Гримау. Папа умер. Континенты, допивая утренний чай, выразили телеграммами свое соболезнование. Мрак и холод!.. Аве Мария!

Двигаться, двигаться! Страшно стоять в бездействии, страшно, когда руки повисают вдоль тела! Страшно, когда глаза неподвижно глядят на неподвижное пятно на воде! Если все это сон, страшен сон этого моста! Проснитесь! Проснитесь! Нужно движение, нужно дело — неподвижность и бездействие гибельны для человека!

Пространство наполнил рев моторов и лязг гусениц. Берега увидели пыль, вздымающуюся к небесам, а рев моторов и лязг гусениц все приближался к реке. Среди деревьев показались танки, выставившие вперед стволы своих семидесятишести- и стомиллиметровых орудий. Танковый полк разворачивался, готовясь форсировать Черкасскую реку. Первые машины уже входили в воду. К ним сразу кинулась мать. Она бежала прямо на машины, оглушенная их треском и грохотом, и люди на берегах, глядя на нее, тоже сорвались с места, крича и размахивая руками, пытаясь перекричать моторы и остановить эту армию.

Часть танков уже перешла реку, с них стекала вода. В выхлопных трубах появился синий дым, несколько машин замерли и даже повернулись к людям, словно удивляясь, что их остановили голыми руками и криком.

Из люков выскакивали солдаты, офицеры совещались о чем-то, а с полей подходили все новые и новые машины, застывали на берегу, экипажи их спрыгивали на землю, и мать мальчика металась от одной группы к другой и молила, дергая танкистов за кожаные ремни. Вот уже вся танковая часть оказалась у реки, и все танкисты столпились

под мостом. Солдаты повторили все то, что другие пытались делать раньше.

Попытки их ни к чему не привели.

Армия была беспомощна, словно попала в плен. Танки на берегах молчали, их орудия глупо разинули пасти. Мертвое железо! Разве может мертвое железо кого-нибудь спасти!

В это-то самое время генерал, поднявшись на вертолете от вышки номер три и не переставая честить образовавшуюся на мосту пробку и срыв форсирования Черкасской реки, прибыл к месту происшествия.

Приземление вертолета воскресило в людях надежду.

Ступая по размякшему песку, генерал зашагал к мосту. Группа офицеров, одергивая кители, спешила за ним. Мальчик смотрел на генерала испуганными глазами. Генерал смотрел на мальчика строгими глазами генерала, у которого остановили армию. Мальчик, пытаясь улыбнуться, раздвинул посиневшие губы. Улыбка получилась кривая. Генерал тоже попытался улыбнуться, но улыбка, застывшая на его усталом лице, тоже была кривой.

— Но почему он сидит в воде? — спросил генерал, смутно предчувствуя, каким будет ответ.

И тогда все, и военные, и штатские, оба берега Черкасской реки, мост, перила моста — все, кто здесь только был, начали разом объяснять генералу, почему этот мальчик сидит в воде. Больше пятисот глоток, перекрикивая друг друга, объясняли генералу, и, можете мне поверить, эти голоса гремели не хуже вертолета, когда генерал сидел в его брюхе. Все кричали, потому что каждый считал, что именно он лучше всех объяснит генералу, в чем тут дело.

Генерал стоял на песке, глядя то на мальчика, то на толпу, то на онемевшие танки, офицеров, солдат. Что могут сделать эти танки, их орудия, свирепо уставившиеся на горизонт? Что может сделать его армия? Воспоминания о вчерашних маневрах были еще свежи в его сознании, но сила армии была создана, чтобы разрушать, она могла действовать только там, где идет сражение. А здесь — какое же здесь сражение? Уснувшая река, уснувшие берега, зной, огромный мост — с кем здесь сражаться армии, на кого бросить ее генералу?

И все-таки надо было действовать. Решили запрудить реку. Если задержать течение и пожарники выкачают насосами воду, мальчик окажется на отмели.

«На отмели, на отмели!» — думал генерал, и жилка билась у него на виске.

Он вызвал летчиков и приказал доставить военного врача. Вертолет поднялся в воздух и, обдав толпу песком и пылью, полетел обратно к вышке номер три, где расположилась медицинская часть. Необходимо было доставить врача, и генерал знал, зачем нужен врач.

Танки стали разворачиваться и входить в воду, туда же двинулись и тягачи из подсобного подразделения. Разматывались стальные тросы, их привязывали к стволам ольхи, и тягачи, выворачивая деревья с корнем, стаскивали их в воду, чтобы можно было начать перекрытие реки.

Крестьяне сбегали на Харитонову усадьбу и взяли там все, что могло пригодиться при сооружении запруды. Их инструмент был ближе к земле и лучше приспособлен для работы с землей. Засверкали лопаты, захрустел под ними песок. Люди таскали сучья, дерн, и с обоих берегов начала расти плотина, заползая все дальше в реку, грозя преградить ее течение. Генерал рассчитывал на свою армию и был уверен, что она выиграет это маленькое сражение, что, если понадобится, его бойцы выпьют всю воду, на руках поднимут реку, в воздух ее подымут.

(Но и река текла спокойно — она верила в непресыхающие свои источники. Она чувствовала их биенье даже здесь, вдалеке от них, и, играючи, плескалась у плотины, в ногах людей, подмывала пласты дерна, окатывала гусеницы танков. Наверху, в Черказских горах, собирались тучи, черные и хмурые. Они громоздились одна на другую и тяжело расползались, накапливая в себе электрические заряды. Небо отобрало у земли немало влаги и, пресыщенное ею, готовилось теперь обрушить ее на землю; и тогда земля, изнемогая под тяжестью вод, забурлит потоками рек, а тучи будут швырять молнии, крушить деревья и сотрясать небеса громами.)

Танки, глядя на тучи, вертели своими стомиллиметровыми стволами. А тучи спускались все ниже и ниже, загремели первые далекие раскаты, и непрерывный грозный гул надвигался из-за гор; все поняли, что наверху, у истоков Черказской реки, начался дождь. Крестьяне сказали, что при сильных ливнях река поднимается до самых пролетов моста.

— До тех пор успеем, — сказал генерал.

И чем ниже к земле спускались тучи, чем громче звучал их гул и дикое пение, тем напряженней становился ритм стройки, тем быстрее двигались ноги.

Генерал оглядел фронт работ, оглядел небо, потом мост и увидел, что пожарники уже возятся со шлангами, чтобы, как только плотина будет готова, начать выкачивать воду. Главнокомандующий сделал несколько шагов по песку, вошел в реку и, хотя жилка на его виске билась все сильнее, попытался улыбнуться мальчику, притихшему на воде.

— Ну, ты как, молодцом? — спросил генерал, закурив и с такой жадностью втягивая в себя дым, что западали щеки.

(То же самое спрашивал у мальчика и багатор.)

Мальчик моргнул и покачал головой, но совсем слабо, потому что вода доходила ему до подбородка; он хотел улыбнуться генералу, и эта улыбка значила бы: «Молодцом!»

— А на танке ты ездил?

Генерал смотрел, как три тягача маневрировали, чтобы стать перпендикулярно к реке.

— Нет, — сказал мальчик.

Он тоже смотрел на танки.

— Но на буйволе-то ездил?

Мальчик засмеялся.

— Ездил.

— Вот видишь, так я и думал, — подхватил генерал. — И я ездил. Только на буйволах плохо ездить. Трясет.

— Трясет, — сказал мальчик.

Генерал и правда ездил когда-то на буйволах и в мальчике видел сейчас, вероятно, себя самого — вот такого росточка, острижен ножницами, какими стригут овец, пятки утыканы колючками; вечером мать поливает тлеющие угли водой и заставляет его держать пятки над паром, чтоб не загноились и чтоб вышли колючки; и он держал, хоть пятки жгло и из глаз текли слезы.

— Потерпи еще немножко,— сказал генерал.— Остановим воду и тогда покатаемся на танке. Вот на том, большом.

Мальчик обрадовался, что его покатают на танке.

— А можно и на вертолете, — сказал генерал. — Хочешь?

— Хочу, — сказал мальчик. — А нас пустят?

— Куда? — не понял генерал.

— На вертолет, — сказал мальчик.

Теперь улыбнулся генерал.

— Пустят, — сказал он. — Летчик — мой друг. Только ты не трусь!

Генерал смотрел, как тягачи корчуют ольху и на канатах стаскивают деревья в воду. Ухали топоры — тесали колья и забивали их в грунт.

Мальчик тоже смотрел, как падают деревья, корни их взлетают вверх, дрожат и колышатся в воздухе, а потом ложатся в воду, и сверху их заваливают дерном и песком, чтобы запрудить реку. Вода под мальчиком потемнела, терпко запахла корнями и мезгой.

— Я не струшу,— сказал мальчик.

— Посмотрим, — покачал головой генерал.

— Да нет же! — сказал мальчик.

Он был уверен, что не струсит, если его посадят на вертолет. Да не струсит он, ну ни за что!

— Вот сейчас прилетит, тогда посмотрим, храбрый ты или нет, — сказал генерал и закурил третью сигарету, нервно поглядывая в небо.

Он ждал вертолет.

И думал, что человечество создало религии, дипломатию, Организацию Объединенных Наций, атомную бомбу, а вот как спасти ребенка — оно еще не придумало. Ни религия, ни дипломатия, ни ООН не могли тут помочь.

Ну, а раз так, то поможем мы. Если надо, мы подымем в воздух реку, и шоссе, и мост, мы заставим все, весь мир, всю мертвую и живую природу двигаться только в том направлении, какое нужно, чтобы спасти ребенка. Если надо, мы и грозу, нависшую над Черказскими горами, пустим по небу в другом направлении. Все, все устремится к одной только цели, в одном направлении, как земля вертится только на восток, и днем, и ночью, и в адском грохоте войны, и в спокойствии мира.

Только на восток, всегда за солнцем, чтобы спастись, чтоб убежать из темноты своей собственной тени.

...Но вертолет еще не показывался, и небо на востоке было все таким же белым, раскаленным — летнее небо, под которым созревают плоды земли.

— Я вижу, ты молодец, — сказал генерал. — Вырастешь, будешь у меня служить. Хочешь?

— Ага! — сказал мальчик.

Зубы его сверкнули под мостом — такая широкая получилась улыбка, что все его зубы обнажились и засверкали.

Он будет служить у генерала!

Реку остановили.

Она ткнулась в преграду, ощупала ее мордой, отыскивая щели и надеясь, что где-нибудь да найдет трещину, вся вытянется в струнку и протолкнет в эту трещину свое тело, раздвигая ее и разрушая плотину; так бывало всегда.

Но щелей не нашлось, и река отвернула морду, выползла на берега, легла на траву, ощупала дно, съежилась и снова стала кружить, толкаясь туда и сюда. Она была похожа на змею, которая неспешно, исподволь сворачивается спиралью, напрягая позвоночник и готовясь к броску или удару. Она верила в силы своего тела, надеялась, что рано или поздно почувствует, что накопила их достаточно, и тогда все разлетится вдребезги и исчезнет в посвисте и метаниях ее туловища.

Но и люди стояли у запруды со своим инструментом, сбившись в плотную толпу, тягачи гудели на берегах, корчуя деревья, в воздухе мелькали топоры. Люди стояли на страже, в любую минуту готовые вступить в борьбу с этой громадной змеей, которая билась головой о пре-

граду, а туловище ее терялось вдали, вверх по течению, и пучилось, и росло, как дракон.

Она была страшна, эта змея!

А что, если придется убить реку?

Пусть мир увидит, как убивают реку!

Но она не спешила, еще ленивая и сонная, она собирала силы, будила свои сочленения. Проснувшаяся река — это сам гнев реки.

Небо шло реке на помощь. Оно трещало и обрушивалось на горы своим холодным водопадом, и потоп мчался по скатам, бурлил в каменных чашах, опустошая все на своем пути. Это неправда, будто сила реки — в ее горных истоках. Сила реки — в небе, ее истоки там. Сейчас небо спускалось все ниже и ниже, и ад небесный готов был перелиться в реку.

Тучи, уходите в горы! Не гневайтесь, тучи, ведь гнев — это злоба души... Есть ли злоба в душе у туч? Или это протест против того, что мы силой остановили реку в ее течении? Мы не могли ее убедить, потому мы пошли на принуждение. Чтобы добиться успеха, нам нужно было много помощников. Мы прибегли к насилию, потому что сознавали, что убедить реку мы не в силах. Мы заставили ее остановиться и знаем, что за это-то она нас и ненавидит.

Но если стихия — это сила, то и остановить ее можно только силой.

Тучи, вернитесь в горы!

Река, утихомирься в своем русле!

Змея, не раздувайся и не готовься к броску — все равно мы высушим твою холодную кровь до последней капли!

Змея, сиди в своем логове!

Сиди и не вылезай, исчадие адово!

Танки мрачно стояли на берегу, мрачными стволами оглядывая реку. Мрачность, висевшая в воздухе, проникала в их металл. Из какой эры выползли эти животные, бессмысленно застывшие на берегу реки? Что могут сделать их механические сердца, в которых таится сила тысяч лошадей?..

Маленький мотор тарахтел на мосту — пожарный насос выкачивал из-под моста остатки воды. Мальчик стоял на камнях, почти уже сухих; капкан все держал его руку. Насос пыхтел, хрипел, давился, но тарахтенье мотора не позволяло шлангам оставаться без дела. Внизу уже показывалась тина, в ней прыгала рыба, задыхаясь на воздухе.

Пустоты и пазы в каменных сводах клокотали, вода вытекала из них со свистом и храпом. Вода, что застоялась в пазах и лабиринтах каменных блоков и поясов, никогда не видела солнца; сейчас она выливалась на волю и тут же уходила в мутную жижу.

Опоры, выступая из воды, обнажали зазеленевшие бока.

Принесли одежду мальчика. Мать надевала на него штанишки и обнимала его, чтобы согреть, и говорила ему что-то тихо и очень спокойно; но спокойные ее слова звучали горько — ведь мать знала то, чего мальчик не знал, и все смотрела на небо. И другие смотрели на небо, только не в сторону гор, а туда, где было светло, и чего-то ждали.

Тяжкое предчувствие свивало гнездо под сердцем у каждого и томило, томило, а говор толпы делался все тише и тише.

И вот наконец послышалось жужжание вертолета. Он летел низко над вербами, повис над мостом, качнулся и стал спускаться. Толпа раздалась, и, еще прежде чем винт замер, из железной кабины выпрыгнули три человека. Впереди шел военный врач в белом халате, из-под которого выглядывали сапоги. Ассистенты несли чемоданчики и легкие носилки.

Винт перестал свистеть, наступила тишина, в толпе раздался вопль.

— Эй, молодец! — крикнул генерал. — Держись, сейчас будем кататься на вертолете!

Почему генерал отворачивается от «молодца»?

Мальчик смотрел на врача, на людей с носилками, на генерала и слышал, как хрипят опоры моста и как воздух входит в последние пазы и лабиринты большого каменного гнезда.

А вопль в толпе нарастал — это плакала мать.

И вдруг над мостом пронесся чей-то крик:

— Руку отрежут! Не давай! Не дава-а-ай!

Кричал мальчик, который остановил поезд. Он бежал по мосту, по живому коридору, и кричал изо всех сил:

— Не дав-а-а-ай!

Его схватили, заткнули ему рот. Он брыкался, рвался из рук, но людей было много, и много пар рук крепко его держали.

Люди стали отворачиваться от реки, чтобы не смотреть на работу хирурга.

Река заволновалась за плотиной, словно хотела заглянуть за ее гребень, и дрожь прошла по ее телу, когда она откинулась назад в свое логово. Рыбы высоко подпрыгивали, хватая ртом воздух, доставали до ног мальчика и шлепались обратно на камни или тину.

Не служить мальчику у генерала!

Однорукие не берут в солдаты.

— А! — вскрикнул мальчик.

Ему было очень страшно, и вдруг он почувствовал какую-то легкость, словно стал пустым, как раковинка улитки. Это ощущение появилось от пота, покрывшего вдруг все тело. Легкий и весь обмякший, ребенок опустился на мокрые камни, а врач и ассистенты уже открывали чемоданчики, стоявшие на носилках.

Опоры моста перестали хрипеть.

В одно мгновение мир опустел, точно скованный холодом.

И в этом холоде, в этой ледяной тишине пронесся какой-то звук. Он был похож на треск льда на реке зимой. Лед, набухая, трескается, и тогда звук бежит вдоль реки вместе с тонкой, прозрачной дорожкой трещины. Мост во второй раз передвинул каменные глыбы и железобетонные пояса своих опор. Те, кто стояли на мосту, почувствовали, как он дрогнул у них под ногами.

— Что это? — закричали люди.

— Мост! Мост!

Мальчик держал обе руки на коленях, еще не в состоянии понять, что обе его руки свободны, что он вырвался из каменного капкана. Первое, что он почувствовал, было прикосновение рук генерала. Тот подбросил его и стал целовать, а вся толпа, избавленная от напряжения, закричала разом, и тут поднялся такой гам, что впору было оглохнуть.

— Воздух вошел в опоры! — кричали голоса.

Возможно, новый сдвиг действительно произошел оттого, что в глубокие темные лабиринты опор вошел воздух.

Люди понесли мальчика, передавая его из объятий в объятья, а мальчик переходил с рук на руки, растерянный, ошеломленный этим ликующим народом, этой веселой, смеющейся пестротой, кружившейся у него перед глазами... И мать целовала его щеки, глаза, шею, целовала руки, обе руки, но особенно ту, что была под водой, эту маленькую детскую руку, на которой еще недавно были сосредоточены мысли и чувства пассажиров целого поезда, и бойцов целой пожарной команды, и крестьян с тока, и генерала, и танкового полка, двинувшегося на форсирование Черкасской реки.

А люди стояли, густо гомоня, на берегах и на мосту, и всем было

странно, что они здесь, что все это разноликое множество остановил в его беге и собрал тут этот маленький мальчик, кое-как остриженный ножницами, босой, веснушчатый, ни дать ни взять лягушонок на горячем песке. И это казалось теперь всем ребяческой глупостью, но такой сладостной глупостью, что от сладости этой можно было ну просто упасть без чувств.

Первые танки разбудили свои моторы и двинулись с места.

— А ну-ка посмотрим, какой ты молодец! — сказал генерал.

Он повел мальчика по песчаному берегу к вертолету.

Летчик открыл дверцу и подхватил мальчика под мышки, помогая ему влезть в прохладное брюхо машины. Генерал обернулся и увидел в толпе мать, которая еще плакала, не вытирая слез, крестьян с топорами, баграми и веревками, пассажиров с поезда, офицеров, отдававших честь, людей на мосту, свесившихся через перила. И там, в толпе, он заметил второго мальчишку, того, что в красной майке. Он сделал ему знак рукой, а тот не стал ждать, чтоб его позвали еще раз, и пустился бегом, так высоко подбрасывая ноги, что ударял себя голыми пятками по ягодицам.

Запыхавшись, он забрался в машину, моторы уже работали, и генерал сел между мальчиками. Винт разметал песок, кабинка подпрыгнула и вдруг повисла в воздухе. Под брюшком машины блеснула река, приподнялась со своего логова, точно хотела укусить эту потрескивающую над ней стрекозу, потом мелькнули вербы, и вдруг земля наклонилась, и мост наклонился, и люди, и река, и армия, еще чуть-чуть — и покатятся под горку.

Вертолет сделал еще один круг и, треща все громче, понесся над полями. Мальчишки смотрели, прижавшись лбами к иллюминаторам, и, можете мне поверить, им ни капельки не было страшно.

Генерал сидел, пожевывая незажженную сигарету — в вертолете нельзя курить, — и думал о своем. Может быть, о цене одной жизни, может быть, о маневрах, может быть, о войне. О многом может думать генерал, и заботы немалые у каждого генерала, а у этого генерала, кроме всех других, была еще в сердце забота о мальчишке.

Если судьба одного ребенка может остановить часть человечества, то ради судьбы мира человечество должно остановить бег всей вселенной и дать ей то направление, которое нужно, чтобы спасти мир.

По сути дела, это ведь единственно возможное направление.

Генерал посмотрел на часы. Через пятнадцать минут форсирование реки должно быть окончено. Танки шли на юг, все на юг, и туда смотрели их стволы, вглядываясь в простор. Простору этому ничто не угрожало, и орудия молчали, но машины все шли вперед, отпустив поводья тысяч лошадей в своих сердцах-моторах, шли сквозь этот жаркий полдень, раскаленный полдень мира.

Тысячи лошадей, тысячи копыт мчатся с ревом и скрежетом стали; стальные гусеницы вращаются и наступают, оставляя позади тишину и покой; они видят перед собой, за этим простором, змею, которая корчится в своем логове, набухает ядом, злобно тычется мордой в берега зеленой земли, пытаясь найти расщелину, как металась и билась о плотину преграженная река, а в небе неслись и сверкали тучи, стремясь влить в нее свою адскую силу.

Змея, сиди в своем логове, слышишь, змея!

Сиди и не вылезай, исчадие адово!

ВАСКО ПРАТОЛИНИ

Постоянство разума

РОМАН

Перевод с итальянского
Г. БРЕЙТБУРДА и ЕВГ. СОЛОНОВИЧА

Я вспоминал... все по порядку, и сердце мое начало мучительно раскаиваться в желании, что овладело им по его же попустительству, наперекор постоянству разума.

Данте «Новая жизнь», XXXIX

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Глава I

Тут я и родился, теперь это моя комната — прежде была гостиная С потолка над круглым столом свисала люстра — гроздь сверкающих капель; фарфоровый пес стоял на страже буфета с выдвижными ящиками и стеклянными дверцами; стены были украшены фаянсовыми тарелками.

Как меж створок раковины, жила здесь моя мать... Камыши тогда — не то, что нынче,— тянулись от берега обмелевшей за лето Терцолле до самого дома... «В этот день она мыла полы. А духота была...» — внезапная боль пронзила ей поясницу... Еле дотащившись до дивана, мама свалилась.

— Солнце тогда затопило всю комнату,— вспоминает она. — По лазурной обивке дивана расползлось кровавое пятно... — Она было поднялась, но снова упала, родила меня в обмороке. Много часов мы с ней пробыли одни. Лишь свет, бивший прямо в глаза, привел ее в себя. Теперь она краснеет от неловкости, если ей напомнить, что в ту пору дверь была только прикрыта и на стон тотчас прибежала синьора Каппуджи.

— Кто?! Эта растяпа? У нее и тогда уже мозги были не на месте. Склероз. Одна дурь в голове. И вовсе не она, а бабушка твоя, зайдя, как обычно, утром, чудом застала нас с тобой в живых... — Мать и не знала, что роды на носу, не то не занялась бы уборкой. Но откуда было ей знать обо всем в свои девятнадцать лет, ей, женщине другого поколения... Тогда ей было столько, сколько мне теперь... — К обеду отец нашел нас обоих в полном порядке. А уж растроган был...

— И плакал и смеялся — знаю... — говорю я ей.

— Ты, глупенький, спал. Как родился, так и уснул. Даю тебе грудь, а ты знай посапываешь. Лишь на другой день разглядели, какого цвета у тебя глазки... Отец на радостях и на завод не пошел. Выскочил из до-

му, потом примчался вот с таким букетом жасмина и бирюзовым халатиком, сердце его привело прямо к витрине магазина у заставы Санта-Мария. Ну, подошел ко мне и спрашивает: «Угодил? (Бирюзовый всегда был ее цветом, тогда она была блондинкой и теперь бы ею осталась, если б не вмешался парикмахер. «Разве ты не заметил, какие у меня волосы, когда я долго не крашусь? Черный да голубой — нет лучше цвета для блондинки»...) Как раз то, что надо!» — сказал он и сел на краешек кровати. Глядел — наглядеться не мог. А я ему: «Ты с ума сошел, Морено!» Помог мне надеть обновку, в лоб поцеловал, как больную, а сам — такой уж был шутник! — заявляет: «Снимай! Раз говоришь, с ума я сошел, давай обратно снесу». И хохочет себе, заливается. Весь он в этом смехе...

— Теперь, наверно, про квартиру будешь рассказывать?

— И ты надо мной смеешься? Что делать? Память у меня — будто по шатким мосткам над пропастью идешь, вот-вот сорвешься.

Сюда они приехали на велосипеде воскресным утром. Он был в куртке на молнии, в мокасинах.

— Тогда мокасины были в новинку. Вообще-то он, как и ты, за собой не слишком следил, на первый взгляд мог показаться неряхой.

На ней был бирюзовый костюм — еще, помнит, чуть не измазала его о свежевыкрашенную дверь ванной. Дом был совсем новехонький — лучшего не сыскать во всей округе, до завода — рукой подать и, подумайте, всего в пять этажей! «Не то что огромные коробки, которые начали в моду входить». Адрес им дал Миллоски. Плата тоже оказалась подходящей. «И солнечного света не занимать — уж он-то никуда не денется», разве что надумают осушить Терцолле и построить на ее месте дома, как на бывших понтийских болотах. Кухня оказалась крохотной, с перекошенными стенами, но этого она сгоряча и не приметила... Осмотрев помещение, они тотчас же решили снять его. Квартирка, правда, кукольных размеров, всего в три комнатки, но зато как все продумано! Они, должно быть, вошли в нее, словно в волшебный грот со сталактитами, и бродили по ней, как завороженные, держась за руки. Маме хотелось, чтобы я их видел такими. Такими они, должно быть, и были.

— Здесь будет спальня...

— А тут — только не спорь! — гостиная!

— Гляди, гляди — розетка для утюга!

— И ванна, а вот душ, совсем как в городской купальне...

— Подумай, даже стенной шкаф!

— Сэкономим на гардеробе, тоже не пустяк...

А войдя в самую маленькую клетушку, должно быть предназначенную для кладовой, решили:

— Здесь будет комната малыша. Окно большое, много воздуха. Мы его скоро приучим спать одного. Правда, Морено?

— Конечно, вырастим спартанцем.

— А квартирку обставим по моему вкусу. И эту комнату, а главное гостиную. Я много не потрачу, ты уж мне разреши, пожалуйста!

Несмотря на побелку, круглый след так и остался посреди потолка; лишь в ее воспоминаниях люстра по-прежнему висела на месте.

— Мы поженились, когда я еще была на учительских курсах,— говорит она.— Занятия, конечно, пришлось бросить, так и осталась без диплома... Разве замужней женщине пристало сидеть за партой? Отец твой зарабатывал сто двадцать девять лир в неделю, а настоящего приданого за мной не было. Так, из вещей кое-что да тысяча лир, которые родители скопили, откладывая пятую часть заработка. Деда с бабкой ты, верно, хоть немного помнишь. Они тоже учительствовали, как и я собиралась, и настоящих сбережений у них и быть не могло. И все же свадьбу сыграли на диво...— Сыграли, да еще как! Всем очень понра-

вилось, а ей самой — больше всех! Еще бы — ковровая дорожка от входа в церковь до главного алтаря, обед у Распанти во Фьезоле, тридцать человек за столом.— Неужели Миллоски тебе не рассказывал? — Потом поездка в Рим во втором классе, там, когда на третий день рассчитались в гостинице, на руках оказалось всего две лиры, едва хватило, чтоб перекусить у стойки перед обратной дорогой. Война уже началась, но они твердо верили, что Морено не призовут и он останется на заводе у своего большого фрезерного станка, который он тогда освоил.— Обрабатывал какие-то трубки, помнится, он мне как-то сказал, что делает гильзы для пулеметных лент, весь «Гали» * был тогда военизирован. Я тебя уже носила под сердцем, но была, представь, такая крепкая, здоровая, даже стирала его комбинезоны, хоть он мне и запрещал.— Однажды ей захотелось какого-то особого меда, такой она когда-то в детстве пробовала на даче в Бивильно, он, словно волшебник, поставил ей на стол в гостиной две полные банки. А на другой день в магазине Маньелли, что на Виа-деи-Кальцайоли, она купила ему самый красивый за всю его жизнь галстук, синий с красным, бабочкой. Все их радовало. Как бы они ни экономили каждый грош, но субботним вечером непременно ходили в кино или на танцы. По воскресеньям, возвращаясь с футбола, он подавал ей сигнал, свистел под самым окном, и не успевал оглянуться, а она уже тут как тут: собралась на прогулку.— Жили одним воздухом, а казалось нам, что мы богаче всех!

— Еще бы, раз вы любили друг друга...

— И не такие уж, поверь, были ужасные времена. Словом, не все еще было так страшно. К примеру, женится рабочий, так ему в конторе выдают листок, по которому можно со скидкой купить все, необходимое для обзаведенья. Выберешь себе магазин по списку — хоть в центре, хоть на окраине... Так мы и люстру купили — почти за полцены. Помню, отправились за ней вечером — в любую минуту могла завыть сирена.

То был сигнал страха, они тогда прятались в погреба и подвалы, которые прозвали убежищами.

— Нам приходилось бежать через всю улицу, из конца в конец, а сердце колотилось, можешь себе представить как! — Попади бомба в дом, их раздавило бы в лепешку — вместе с мышами. Миллоски рассказывал мне, что многие на заводе были травмированы бомбежками. Даже через год или два после войны стоило, бывало, заслышать сирену — и люди подскакивали у станка, рискуя остаться без руки. Но тогда все только еще начиналось; она недавно забеременела, он шел рядом с ней в галстуке бабочкой, да и тревога оказывалась чаще всего не настоящей, учебной.

— Но откуда нам было знать, какая ложная, какая нет...— вспоминает она.— В тот вечер холод пощипывал щеки. Мы одну лишь зиму вместе прожили, ошибиться я не могу. Поженились в декабре, а ты родился в июле. Мне еще цыганка за несколько недель до родов нагадала: «Львенком родится!»... Но Морено беды она не напророчила. Его взяли через три месяца... — И всего-то длилась их любовь от зимы до зимы.— Зима сорок первого, разве тебе это понять!

— Славное было времечко, а?

— Ну уж нет! Все словно встало с ног на голову. Пайки по карточкам урезали, по радио только и толковали что о бомбежках — то Турин, то Неаполь.— И один за другим исчезали друзья, новобранцы, призывники. Сын синьоры Каппуджи думал, что его тоже отправят в пустыню, а первое письмо от него пришло из Сталино.

---

* Так флорентийцы называют большой завод «Галилео», производящий главным образом оптику.

— Ты говорила про люстру.

— Да, так как же это случилось?

— Не знаю. Просто из рук выскользнула.

— Конечно... Если б ты не менял комнаты... Не спорю, это твое право. В маленькой стало тесно, сам ведь говорил...

— Это, мама, верно. Там в самом деле слишком тесно. Я только коридор пересек — вот и вся моя победа...

— И разорил гостиную. Хоть бы люстра уцелела! Висела бы здесь, посреди комнаты, красивая, темно-голубая светящаяся груша, вдоль нее — три нити крупных, с грецкий орех, подвесок. По вечерам свет падал так мягко, после ужина мы усаживались на диване, он рассказывал мне про завод, делился мыслями... А вот ты уже взрослый, однако от тебя и словечка не услышишь. Приходится ждать, чтоб повстречался Миллоски, рассказал о твоих планах, похвалился твоими успехами. Ну, а прочее? Ты что, думаешь, не пойму?

Мы глядим друг другу в глаза. Сейчас она похожа на старуху, которая свернула с пешеходной дорожки навстречу ревущему потоку машин и словно стремилась попасть под колеса.

— Да нет. И в этом вся сложность,— говорю ей.— В этом вся беда.

— Отстаю от времени?

— Ах, мама, при чем тут твои взгляды? Они меня не касаются, и устраивать агитпроп на дому я не собираюсь. Сколько раз мы об этом толковали...

— С меня бы и раза хватило.

— Ты все носишься со своими фантазиями, по ночам мне спать не даешь с этой дурацкой люстрой...

— Это мое самое светлое воспоминание...

— Все для тебя самое светлое, и ты сама сплошное воспоминание!

— Много ты понимаешь!

— Благодари бога, что еще твои стекляшки с грецкий орех уцелели! Были бы хоть хрустальные...

— Да... Когда я укладывала их в комод, ты вдруг решил поинтересоваться, что я с ними стану делать — на шею нацеплю вместо бус или в четки превращу...

Порой с ней бывает так тяжело! Она словно играет выдуманную себе в утешение роль вдовы, живущей одним сожалением о прошлом. Иной раз я, честное слово, готов наброситься на нее с кулаками, чаще же хочется защитить ее от призраков. Уж не больна ли она? Я беру ее за руки, вынимаю у нее изо рта сигарету или даю докурить свою.

— Я говорю так только затем,— продолжаю я,— чтоб выбить у тебя эту дурь из головы. Именно дурь, и не дрожи ты, пожалуйста, а лучше покури. Хочу, чтоб ты правде в глаза взглянула: у тебя это здорово получается, было бы только желание! Ты по семь часов просиживаешь в кассе кино, а к вечеру счет всегда сходится, тебе еще ни разу даже фальшивой монеты не подсунули; разве ты сама не бываешь довольна?!

— Но зато как устаешь, хоть на первый взгляд, может, и не заметно.

— Это твоя работа, тебе ведь нравится сидеть как в витрине, ты только для виду жалеешь, что не стала учительницей!

— Кроме всего, я бы и зарабатывала меньше,— улыбается она.— Да и голос надорвешь.

— Вот именно. Везешь тебя на мотоцикле — ты веселей, ты легче любой девчонки. Зачем же растравлять свои раны? Как бы там ни было, самое тяжелое позади...

— Это тебе так кажется,— прерывает она меня.— Живу, а сама как осколок от люстры. Вокруг мрак один, а прежде был свет, помогавший мне держаться...

Я обнимаю ее, целую в лоб. Год назад наш разговор оборвался бы на букете жасмина и бирюзовом халатике. Вдруг меняется ее голос, измученный, как и нервы: не слова — сплошная боль.

— Африка... Раскаленная пустыня... Ад кромешный... И огонь... пламя! Хуже, чем в России, хуже снегов... В Африке не было отступления! Никто толком ничего не мог рассказать! Завяз в песках... («А что, если я увязну? Возвращаться после перемирия? Или там и оставаться?» — шутил я перед сном, желая ее напугать.)

Вот тюрьма, в которой она жила. Ей нравилось жить замурованной. Пока я не восстал против этого.

Теперь она меня спрашивает:

— Ну как, делаю я успехи? Если мне порой бывает страшно, ты меня должен выслушать. Разве я не шла к тебе, не брала к себе в постель, когда тебе в детстве что-то мерещилось? Если я правда делаю успехи, правда успокаиваюсь, то могу лишь сказать тебе, как мать: забудь и ты про эту девочку, отвлекись чем-нибудь, прошу тебя...

— Нет,— рычу я.— Тут уж лей слезы, сколько хочешь, тут уж я как кремень, поверь.

Вот какие мы ведем с ней разговоры. Она почти всегда возвращается раньше меня, сидит одна в своей комнате («...сколько вздохов слышали эти стены за восемнадцать лет...»), нарочно передвигает стулья, показывая, что не спит, ждет, чтоб ее позвали.

— Ты дома?

Она открывает дверь, она в халате, голова в бигуди, в руках иллюстрированный журнал, на раскрытой странице похождения Армстронга Джонса и принцессы Маргарет или весенние моды. Лицо намазано так, что глядеть тошно, полные тревоги глаза словно плывут над слоем крема и кажутся еще светлей. Я с нежностью гляжу на нее, а говорю с нарочитой грубостью:

— Что? Все сначала?

— Не могу уснуть.

— Прими снотворное. Почему до сих пор не приняла?

— Приняла. Только еще сильнее разволновалась.

— Еще скажешь, что тревожилась обо мне.

— Только хотела знать, где ты был.

— Попробуй отгадать.

— Бруно!

Она крепко прижимает журнал к груди, как зубрила-школьница — учебник. Глаза прикрыты, она вздыхает, глотает слюну, тут уж у меня ком подкатывает к горлу.

— Ну, мама, скажи, ты это всерьез?

Я раздеваюсь, она, как всегда, садится на край постели, скрестив руки, потом поправляет халат на коленях, закуривает сигарету, шепчет:

— Разве среди дня выберешь минуту, чтоб с тобой поговорить?..

Вскоре я слышу только, как жужжат слова:

— Вечера мы чаще всего проводили дома: раскрывали окно, с горы Морелло тянуло прохладой, стулья, бывало, пододвигали к самому подоконнику, свет из-за комаров гасили — в то время они целыми тучами налетали с реки,— а люстра все равно поблескивала в лунном свете. Я ведь не из тех женщин с устаревшими взглядами... Если спрашиваю, где ты был, значит...

Гул в ушах превращается в вой сирены, который когда-то так страшил их всех. Но у меня это не от страха: это ярость, это отчаяние. Она заставляет меня вскочить с постели.

— Я на ногах с семи утра. Чего тебе еще надо? Сейчас все расскажу. Отработал смену, пришел сюда, суп разогрел, нет, холодный съел, потом отправился в Народный дом, потом катал девчонку на мотоцикле.

Нет, не Розарию, нет, не кого-нибудь из этих гречанок. Я был с ней! Был с Лори, с Лори, с Лори! С тенью ее, если хочешь! Мы отправились... Да никуда мы не отправились, мы с ней были везде, потому что любим друг друга, так друг друга любим, как тебе с твоим Морено двадцать, нет, сто тысяч лет назад и не снилось, когда вы здесь устраивали свое представление под люстрой... Конечно, он мне был отцом, не хочу о нем говорить плохо. А теперь отвяжись!

Я глядел на ее лицо, освещенное сигаретой, оно было как мерцающий пористый камень. Тишине нет конца. Потом вздох...

— Год назад ты не посмел бы со мной так говорить.

Свет погас, теперь стук будильника громче ее слов. Вышло так, что я и в самом деле уснул. Теперь уже утро, пора вставать, а она словно и с места не сдвинулась — одной рукой придерживает будильник, чтоб не трезвонил, другой слегка трясет меня за плечо, пока я не промычу что-нибудь невнятное. И глядит на меня весело, и посвежела, и кожа гладкая, и на лице ни морщинки.

— Вставай, вставай! Я газ зажгла, если хочешь принять душ.

Дождь ли, снег или туман застилает корпуса и трубы «Кареджи» — дома по утрам всегда солнце. В старой чашке с розовыми цветочками всегда кофе с молоком, и всегда поджарен хлеб. Живо присаживаюсь к кухонному столу, набрасываюсь на еду, транзистор, настроенный на Монте-Карло, передает легкую музыку. С улицы уже доносится рев гудков, гул моторов. Возвращаюсь в комнату — она уже раздвинула шторы, перетряхнула постель, разложила в ряд, от рубахи до носков, мою одежду.

— Ну и неряха же ты, всегда был таким. Помнишь, как я тебя в детстве звала?

— Растеряхой.

— И теперь не лучше. Даже в большой комнате не следишь за порядком. Вся твоя аккуратность у станка остается.

— Может, это я так реагирую.

— На что?

Она переворачивает матрас, закуривает, а я тем временем надеваю чистую майку.

— Жизнь не ждет, мама,— декламирую уже в свитере и куртке.— Мог бы тебе целую речь произнести, как на митинге, только сегодня я слишком сердит.

Она глядит на меня, улыбается:

— Ты меня не целуй, всю косметику погубишь. Ну, иди.

— Ладно-ладно, Иванна Ивановна,— говорю ей.— Пусть это вам послужит уроком.

— Повтори мне все по-английски, а я послушаю.

— Good bye, so long, missis Santini *.

— И ты посмеешь уйти, не поцеловав мать? Сюда, негодник, исполняй свой долг.

Она совсем как девчонка, нас словно ничто не разделяет: ни все случившееся за этот год, ни даже Лори. Мы подставляем друг другу лоб для поцелуя.

— Всего!

— Всего! Счастливо поработать!

Когда мы прощаемся, глаза у нее как звезды. А ночью все начинается сначала.

— Ты теперь уже знаешь: я была в положении, когда мы пожени-

* До свиданья, до скорой встречи, миссис Сантини *(англ.)*.

лись. Для нынешней молодежи это пустяки, верно? Думаете, вы стали лучше?

— Мама! Мама!

— Я тебе противна, так и скажи! Мы-то хоть отдавали себе отчет, когда поступали скверно. Ты ведь знаешь, мы и людям сказали, что ты родился на седьмом месяце будто из-за того, что я поскользнулась и упала, когда мыла полы. Только моя мать знала, да еще незадолго до родов я открылась синьоре Каппуджи, я была молода, неопытна. Она поначалу казалась такой хорошей соседкой! Знали только мать и синьора Каппуджи.

— И Миллоски.

— Морено сам ему рассказал, я была против. Но они так дружили!

Наступает мучительная тишина, обычное, извечное молчание, лишь там внизу, у Терцолле, кажется, громче заквакали лягушки. Она намеренно отводит глаза в сторону, осматривается, бросает взгляд на стол, на стулья.

— Это не комната, а настоящие джунгли,— говорит она.

— Но мне так нравится,— бормочу я и поворачиваюсь к ней спиной, чтоб натянуть пижаму.— Я тут во всем отлично разбираюсь...

Впрочем, как и в себе самом: стоит только расчистить заросли.

Глава 2

Значит, и у меня есть воспоминания; значит, я тоже начинаю не жить, а прозябать. Год назад я еще спал в комнатушке, где меня укладывали в колыбель, сменившуюся кроватью и потом — диваном, в каморке, из которой я вырастал, как из собственной одежды.

Теперь мне доходит до пояса подоконник, о который я в детстве стукался головой; я на него забирался, когда бывал один. Вокруг, словно впитанные стенами, запахи, которые мне по душе. Бывает, что взглянешь в зеркало и тошно на себя смотреть, но чаще глядишься и остаешься доволен. Запахи — твое отражение, отражение твоего характера. Здесь, в бывшей гостиной, где я уже целый год прожил, стены, может из-за побелки, к ним не восприимчивы. А там преобладает запах табака, оставшийся с тех времен, когда сигареты были приключением, словно я курил их тайком, под простыней, а не на берегу реки или у моста Мачелли. Возвращаясь в маленькую комнату, я втягивал в себя даже запах леденцов из ячменного сахара, завалявшихся в карманах синьоры Каппуджи. Я разгрызал их, как орехи.

— Ты пососи их, не жуй.

Она была из тех болтливых и слюнявых старушек, которых показывают по телевидению, когда им стукнет сто лет. Такими стали поныне здравствующие дочери Гарибальди и Кардуччи. Глядя на них, думаешь: «Господи! Во что способно превратиться человеческое существо, особенно женщина, у которой конечно же когда-то были губы, и зубы, и глаза, как звезды, и грудь; она вызывала желания, из-за нее бушевали страсти; может, она вдохновляла поэтов, звала к подвигам, вошедшим в историю; теперь ее старость лишь свидетельствует о прошлых временах и нравах, показывает даль, отделяющую нас от них». «Бабушка квартала Рифреди» — так можно было бы назвать эту никогда не горбившуюся, всегда легкую на подъем старуху.

— Я от себя отрываю, а ты хоть бы спасибо сказал!

Помню голос ее, помню седые, с желтизной, космы, волосатые бородавки на щеке и подбородке, изуродованные артритом пальцы, притиснутые друг к другу так, что кисти рук походили на крючья, помню ее чи-

стосердечие и коварство, помню ее постоянное «Будь умником, слушай внимательно, а потом проваливай!»

Две самые отдаленные сценки длятся не дольше вспышки молнии; не знаю, что им предшествовало и что было потом. Все залито искусственным светом, память будто скрыта за маской для автогенной сварки. Не могу вспомнить, чем закончилась первая, должно быть, самая давняя из этих историй, вдруг возникшая перед глазами во время одной из наших тягостных бесед, после маминых слов:

— Кто? Эта растяпа! Ее совсем доконали склероз и артрит.

— Да...— прервал я ее и сам удивился неожиданной вспышке памяти.— Это, кажется, было в тот раз, когда сломалась жаровня с углем.

— Какая жаровня? Ты, кажется, уже спишь и сны видишь? — Но воскресшие образы четки, хоть и застыли без движения: их динамика от меня скрыта, как и смысл слов, пусть голоса и звучат так ясно, будто сейчас слышишь... Должно быть, применяясь к новому для меня упражнению памяти, я прежде совершаю нечто вроде отбора, располагая воспоминания по различным рядам, и уж затем собираю воедино. Сколько таких вечеров прошло в ожидании часа, когда мне дадут поужинать и уложат в постель! Из них я выбрал один, но он включает в себя все остальные.

Синьора Каппуджи держала жаровню в руках, а Иванна была в теплом халате, голубом, с черными отворотами. Значит, дело происходило зимой, и мы все собрались здесь, в этой комнате, в то время гостиной, и, может, даже вечер был такой, как сегодня, безлунный и гору Морелло словно поглотил туман. В комнату просачивался неясный свет горевшего на мосту фонаря, камыш напоминал о себе, шумя под порывами ветра. В гостиной нас трое, я сижу на полу, уткнувшись носом в морду фарфорового пса: двигаю его по полу, верчу на месте, зажимаю пальцами глаза и пасть — мне бы хотелось ее приоткрыть, вот только не знаю, как за это взяться. Странно, что Иванна разрешает мне играть с собакой. Все предметы, украшающие гостиную, неприкосновенны, но самый священный из них — пес, хотя бы потому, что он в пределах моей досягаемости. Пес больше меня ростом, он весь белый, глаза у него зеленые, он — как часовой на страже нашего буфета. Пес меня заворожил. Я прозвал его Буби. Он брат тех псов, что стали львами, он и сидит, обернувшись хвостом, как тот лев, что охраняет ворота виллы «Кареджи», за которыми живые огромные львы рычат, стоит только подойти поближе. Обычно я вбегаю в гостиную и сразу к нему бросаюсь, меня тотчас же от него отрывают, разрешается только погладить пса по морде, поздороваться. «Надо же, он у нас с тех пор, как я была девочкой». А сегодня вечером я могу вволю наиграться. Они здесь, но не велят мне бросить игрушки, не дергают за руку, не тащат за ворот на кухню, не заставляют пить молоко с хлебом. Синьора Каппуджи держит жаровню в руках, вот она шпилькой мешает горящие угли. Иванна стоит у стола, засунув руки в карманы халата; волосы у нее распущены, как после мытья... Они говорят, говорят... Вздрогнув, я поворачиваю голову, не выпуская из объятий собаку, и вижу: жаровня разлетелась на куски, огонь и пепел протянулись по полу длинной дорожкой до самых моих ног.

— Не подходи, Бруно! — кричат они мне.— Не двигайся, обожжешься!

А вот еще одно воспоминание, в котором полным-полно стрельбы и солнца. Просыпаюсь весь мокрый от пота, в одной короткой рубашонке. Слезаю с постели.

— Синьора Эльвира! Мама! Синьора! Иванна!

Я уже привык оставаться один дома и не боюсь; вот я подтаскиваю стул к подоконнику и карабкаюсь на него. Улица сегодня, как никогда, широкая. Поперек нее опрокинута повозка, колеса блестят на солнце, как зеркальце, которым я забавляюсь, пуская зайчиков в глаза прохожим. Но сейчас на улице ни души. Тишина такая, будто все еще спят. Вдруг захотелось пить, на ночном столике мне нарочно оставляют бутылку с водой, стакан. Но что-то изменилось, покуда я пил... За повозкой появились люди, одни присели на корточки, другие встали на колени. Чуть подальше кто-то лежит, уткнувшись лицом в землю, раскинув руки и ноги. У всех на шее красные платки, у всех патронные сумки и ружья. Не в мундирах, а солдаты. Стреляют! Встали во весь рост и стреляют! Легли — стреляют! Враг скрылся за углом, пули оттуда летят со свистом, будто кто-то ногтем проводит по стеклу. Вот люди добрались до самой повозки, тащат за ноги и прислоняют к ней спиной того, что лежал на земле. И снова стреляют. Я и сам сижу не как положено — не на стуле, а на подоконнике, здесь не так жарко и все хорошо видно. За окном палит солнце, но оно мне не мешает. Вот один из тех, кто в красных платках, повернул в мою сторону ружье, не целится, а приветствует меня, я тоже машу рукой. Он кричит:

— Бруно! Слезь сейчас же с подоконника! Иванна! Иванна!

Это Миллоски, я узнаю его голос. Он всегда пугал меня своей гривой, и усами, и голосом, который громыхает, даже когда он просто спрашивает: «Как дела, непоседа?» Но он мой друг. Я зову его дядей. Однажды он мне принес конфет, в другой раз — пряников, а еще в другой раз — коробку карандашей и альбом с домами, лужайками, деревьями, зверями, все это уже нарисовано, остается только раскрасить. (Альбом у меня еще уцелел, наверно.) Сползаю с подоконника, роюсь в ящике для игрушек и снова лезу наверх. Повозку теперь оттащили в сторону, по мостовой растеклись красные пятна. Женщины выходят из домов и уносят раненого. И тут я заплакал, альбом у меня в руках — назло кидаю его из окна, вижу, как он летит вниз, и мне тотчас же становится его жалко.

Синьора Каппуджи тащит меня за руку, я вырываюсь, вот я уже на улице, подбираю свой альбом, камни жгут мне подошвы.

— Сюда иди!

— Святая мадонна!

— Куда ребенок пошел?

— Это сынишка синьоры Иванны!

— Бруно! Бруно!

Бегу к церкви, за которой укрылся Миллоски со своими солдатами. Едва успеваю свернуть за угол, как снова стреляют. Миллоски прикрывает меня спиной, прижимает к стене. Потом... берет на руки, целует в обе щеки и говорит:

— Эх, Бруно, ну что ты за мужчина? Хочешь воевать без ружья и без штанов? Почему ты не с мамой? Куда она пошла?

Мне кажется, я знаю, могу догадаться:

— Уколы делать. Разве она не сестра?

Он целует меня, небритый, колючий... А где же его усы и борода? И на голове — короткий рыжий ежик вместо прежних черных волос... Тут прибегает синьора Каппуджи и портит все на свете.

— Вышла на минутку, думала, он спит! — Теперь она берет меня на руки, я не боюсь, дергаю волоски у нее на лице. Миллоски обещает меня нашлепать.

Прошлым летом Миллоски приходил к нам обедать. Теперь он заходит все реже и реже: ему некогда, он просиживает штаны в Палате труда, а по воскресеньям постоянно в разъездах — то в Эмполи, то в Сьен или в Дикомано — все разъясняет про XX съезд, высоко держит

факел Мира. Но тогда был праздник — пятнадцатилетие Освобождения, и наш мэр возглавил факельное шествие. Как и каждый год, по долгу и праву Милло шагал в первых рядах.

На этот раз он сам напросился на обед. Она встретила его, когда шла за покупками.

— Приду, коли не помешаю, как в доброе старое время, давно уж не ел по-человечески.

— Что вы, ну как вы можете помешать? Для нас это такая честь...

Теперь я слышу, как она ворчит у плиты, все тот же вечный монолог, который я с детства выслушивал в подобных случаях:

— Не такие уж они для меня добрые, эти старые времена. Руки портятся, когда столько торчишь на кухне... Да потом еще посуду мыть, от резиновых перчаток гибнет маникюр. Перед тем как выйти, придется заняться ногтями, это в лучшем случае... А сегодня праздник, первый сеанс в три... Но как же отказать, столько лет он ест бог знает что и где... Хорошо еще, он не разборчив. Сперва наваливается на макароны, ну а потом можно подать кусочек цыпленка, пару картошек — и хватит... Вот еще салат любит: «Нравится мне зеленое со стаканом белого!» И думает, что сострил, бедняга.

Со мной Милло больше не спорит ни о делах на заводе, ни о Сталине, ни даже о моторах, мы и об этом все реже с ним говорим.

— Больше со мной не водишься? — говорит он мне, когда мы на минутку остаемся одни, но тотчас же слышен ее голос:

— Миллоски, руки помыли? Бруно, достань ему чистую тряпку.

Я подаю полотенце:

— Нет, не вожусь. У меня теперь другие забавы. Жду нового июля *. Что ты можешь возразить на это?

Так у нас начинается разговор, потом он не выдерживает и, поедая вишни, дополняет воспоминаниями свое ежегодное возвращение к милому очагу.

Я люблю его, конечно. Он меня обучил ремеслу и многому другому. Я вырвал свою руку из крюка синьоры Каппуджи и вложил в его широкую, как лопата, ладонь. Меня трогает до слез, когда я вижу его, такого большого, поседевшего, вижу, как от встречи к встрече все расширяется его плешь, а он готов слушать любые советы, лишь бы сохранить остаток волос.

— С эдакой маковкой ты скоро в кардиналы выйдешь!

— Знаешь, когда у меня начали волосы лезть? Это все ерунда, будто они лучше растут, если коротко стричься. По крайней мере после двадцати это вряд ли помогает. В то время все отращивали и усы и бороду. А у меня — помнишь, Иванна? — такие были кудри, и пришлось обкорнать их под машинку. Чтобы меня не опознали, я вылил тогда на голову целую бутылку перекиси. Должно быть, только больше в глаза бросался, но чувствовал себя как-то спокойней. И немцы и фашисты меня искали по полицейским снимкам, а на них...

— Хотел их вокруг пальца обвести?

— Бруно! — обрывает она меня.— Дружба — это хорошо, но нужно и немного уважения.

Милло и я смеемся, тогда она упрямо, в привычно жалобном тоне, но по-своему агрессивно набрасывается на меня:

— Как ты можешь об этом помнить? Ведь тебе было всего четыре

---

* В июле 1960 г. должен был состояться съезд неофашистской партии. Генуэзцы сорвали планы неофашистов и изгнали их из своего города. В Риме, Реджо-Эмилии, Палермо и других городах страны возникли стихийные демонстрации солидарности с трудящимися Генуи. Правительство Тамброни бросило против демонстрантов войска и полицию, но единство демократических сил, объединившихся против фашизма, привело к падению правительства.

года. Тебе только кажется, будто ты помнишь, потому что тебе об этом рассказывали. Кстати, не синьора Каппуджи, а я сама догнала тебя и взяла с рук у Миллоски. За минуту до этого все было так спокойно. В доме — ни капли воды. Я вышла: фонтан у Сан-Стефано еще бил. Вот и попала, вместе с десятком других женщин, между двух огней, одна из нас, должно быть, перепугалась больше других, бросилась через улицу — там и свалилась: ее подкосила пулеметная очередь. Мы так и не поняли, откуда стреляли. Ведра из рук не выпустила а сама плавает не в воде, а в крови — вот что мы увидели, когда смогли подойти поближе. Никто не знал, кто она, откуда. Не из нашего квартала, и не из Кастелло, и не из Ромито. Может, беженка, кто ее знает. Было ей лет пятьдесят, кольцо на пальце, то ли позолоченное, то ли золотое... Видишь, вот об этом ты ничего не помнишь... Потому что я тебе никогда не рассказывала! Правда, Миллоски?

Милло расправляет усы, подмигивает мне:

— Да как сказать, Иванна! Бывает правда историческая, а бывает...

— Отвечайте. Только попроще, если умеете!

— Знаете, дать честное слово, что так оно и было, я бы не решился... Впрочем, как сейчас вижу, этот мошенник сидит себе наверху, без штанишек, так перегнулся, что вот-вот головой вниз полетит, вместе со своим альбомом.

— Но кто его взял на руки, я или синьора Каппуджи? И какое у меня при этом было лицо? Вы ему скажите.

— Лицо было такое, что по сравнению с ним даже эта белая скатерть могла бы быка раздразнить.

— Вам хорошо, умеете говорить кудряво — точно кружево плетете!

Ох, и осточертели же они мне оба! Встаю, говорю: «Счастливо оставаться, несчастные старцы!» — и удаляюсь; моя «неучтивость» заставляет ее измениться в лице, а его — покачать головой и закурить неизменную тосканскую сигару.

Глава 3

Вот до чего довели воспоминания, связанные с синьорой Каппуджи,— Иванна в них ни разу не появилась, за исключением случая с жаровней.

— Я тогда работала на «Манетти и Робертс», в цехе борных кислот. По утрам будила тебя, чтоб поздороваться. Возвращалась после сверхурочных не раньше восьми вечера — ты уже спал. Нужда заставляла — что поделаешь!

Первое время нам помогали ее старики, но оба они умерли зимой сорок четвертого. Грипп настиг истощенных, обессиленных недоеданием деда и бабушку.

— Как и все честные люди,— говорит она,— мы в эти времена лишений больше походили на призраки. Горе убивало вернее голода. Они почти в одно время закрыли глаза, лежа в своей кровати и держась за руки. Она умерла на час позже него. И вот мы остались одни. На гроши, вырученные за мебель с виа Бокаччо, где я родилась, дотянули до конца войны. Потом пришлось идти на фабрику. Так, видно, мне, жене фрезеровщика, на роду было написано.

В этом решении Милло, должно быть, усмотрел бы классовую солидарность «в первозданном виде», дух самопожертвования, моральную чистоту. Однако она была молода, работа ей была под силу, хоть и могла со временем подорвать здоровье. Вдыхать осадки кислот — все равно что сурьму: страдают не только легкие — отравленная кровь

разносит их по всему организму... Ей не пришлось подвергнуться этой опасности.

— Хотелось мне в контору,— призналась она наконец.— Но возможностей не было. То есть могли бы и быть... Словом... ты уже большой, ты меня не заставишь краснеть! Что тебе за дело до моего прошлого... Он был вдовец, даже жениться предлагал. Знаешь, начальник отдела кадров. Мне скрывать нечего, даже от самой себя. Жила как монахиня.

— Ты из-за этого и ушла с «Манетти и Робертс»?

— Вот именно. И устроилась кассиршей в бар «Дженио». Жалованье прибавилось, зато работа отнимала все больше и больше времени. Так и пошла я по этому делу, и определилось мое место в жизни. Вот когда поступила в кассу кино — где мне, видно, и сидеть до седых волос, хоть их из-за краски и незаметно,— тут у меня хоть полдня высвободилось, и я смогла немного заняться тобой. Думаешь, мало я пережила, зная, что ты с утра до вечера на руках у синьоры Каппуджи? Старуха была вздорная, и до чего глупа! — Это все из-за склероза; голова у нее стала совсем дырявая: в ней отлично удерживалось все происходившее много лет назад, а случившееся час назад испарялось бесследно. Синьора Эльвира была единственной, кому Иванна могла довериться, других знакомых у нее просто не было.— Она к тебе по-своему привязалась, да и ты к ней тоже, и еще как!

И все же я не могу понять, почему не удержалось в моей памяти хоть что-нибудь, связанное с мамой. Может, дело в том, что я никогда не рассказывал ей об «издевательствах» синьоры Каппуджи. Обычно дети любят жаловаться матери. Неужто я и тогда вел себя, как теперь: после обиды меньше всего искал утешения? Низость задевает меня больше обиды. Низость, и злоба, и все мерзкое, все, грязнящее при малейшем прикосновении. Мне кажется, обиду, нанесенную тебе из низких побуждений, надо хранить в тайне, если станешь о ней болтать — даже во имя дружбы или солидарности,— низость пойдет гулять по свету, замарает каждого встречного. Я, только я один должен померяться силами с врагом, должен так его встретить, чтоб он не мог уже вредить ни мне, ни другим... должен обрушить на него свою ярость. Но месть превращает жертву в преследователя. Наши тревоги не нужны никому, даже нам самим. От страданий трезвеешь, но эта трезвость — во вред рассудку, она скидывает со счетов радость бытия. Даже если и вернется утраченное равновесие, шрамы на душе все равно останутся. «Это все твой индивидуализм»,— говорит мне Милло, когда мы с ним принимаемся толковать о чем-нибудь подобном. А Лори — та заявляет: «Наверно, милый, ты на свой лад христианин. На полпути от ангела до подлеца». Что до Иванны, так она вообще не рассуждает: если заставить ее шевелить мозгами, она, чего доброго, свихнется. Вот почему у нее нервы дерганые: она никогда не доискивалась до причин — ни до причины своих чувств, ни до причины собственных страданий. После того, как она перестала считать себя Пенелопой, она снова стала нормальным человеком. Словно прошедшие годы, за которые мне с четырех стало девятнадцать, а ей с двадцати трех — тридцать восемь, годы, которые я с ней прожил в дружбе и согласии, как примерный сын с матерью, миновали для нее бесследно. Сегодня для нее враг Лори, вчера врагом была синьора Каппуджи. В этом ее страсть — убаюкивать себя самыми что ни на есть пошлыми и сомнительными чувствами. Притом у нее нет ни малейшего самолюбия и всегда наготове улыбка и слезы, ласка и кинжал. Пытаться ее изменить — утопия. Но как истребишь, как сотрешь с лица земли лицемерие, расслабленность чувств, жалость, вперемежку со злобой, даже откровенность, даже утешительную ложь и в конце концов самую невинность, если все они олицетворены в Иванне и, уничто-

жая их, ты должен будешь уничтожить и ее... Вот она сидит рядом с моей постелью и говорит что-то, словно во сне; вижу, как она оживлена, улыбается, как румянец выступает на ее щеках. По тому, как она вскидывает голову, все больше убеждаюсь, что слышу неправду.

— Но по воскресеньям, когда я освобождалась от работы, ты всецело принадлежал мне. Бывало, только соскочу с кровати — и уже тащу тебя в ванну, чтоб отмыть хорошенько. Потом ты завтракаешь, а я стираю белье, собравшееся за неделю. Развешу его и займусь собой, ну почти как теперь. Сушилки для волос у нас не было, я сушила их на солнце и учила тебя читать по букварю. Тогда я обходилась без парикмахера, волосы были как шелк, сами укладывались. Смотришь — уже и полдень. Я спрашиваю: «Хочешь, пойдем в тратторию?» И ты бросаешь альбом, кубики, букварь: «Хочу! Хочу! Пойдем к Чезарино!»

— Разве мы уже тогда стали обедать у Чезарино, а не позже, когда я начал ходить в школу, а ты из-за первого сеанса не успевала заниматься готовкой и мыть посуду?

— Нет, мы и до этого там бывали. Ну, вот видишь, ты ничего и не помнишь. Неужели забыл, как мы катались по треку на маленькой машине? К нам еще привязался один парень, такой рыжий, страшно неприятный. Я не знала, в какую сторону руль вертеть, чтоб от него увильнуть; он на нас нарочно наскакивал, и при одном толчке ты чуть не вывалился.

Все у нее «страшно» и все «чуть». Ее сознание колеблется между этой вечной приблизительностью и потребностью применить пантограф.

— Я завопила не своим голосом. Выключили ток, подошли к нам, я совсем голову потеряла, такую сцену закатила, что до сих пор стыдно. Впрочем, тут уж было не до стыда. А как взглянула на тебя, сразу успокоилась. Ты был правда белый, как полотно, растерянный, но все повторял: «Мама, мне было так весело!» Дело кончилось смехом. Парень угостил меня аперитивом, а тебе подарил плитку шоколада, так нам и не удалось от него отвязаться! Теперь я вспомнила, звали его Сильвано. Вот эдакий здоровяк! Я ему от злости щеку расцарапала. И знаешь, что он заявил? «Расцениваю это как комплимент». Тогда я с ним распроцалась... А помнишь, как мы с тобой пошли на праздник к Беатриче, той, что работала в кондитерской? Это она устроила меня в бар «Дженио», и мы с ней стали коллегами. Ей я, собственно, и обязана своей работой. Муж ее вернулся с войны, сперва шатался без дела, потом стал регулировщиком — и вдруг выиграл в лотерее «Сизал» три или четыре миллиона. Тогда они открыли кафе у Порта Романа, переехали в другой район, и мы перестали встречаться. Он играл на саксофоне, даже по радио выступал в «Час самодеятельности». Так вот в тот вечер там было с десяток гостей, кажется, и Миллоски был. За танцами и не заметили, как ты улизнул. Знаешь, где ты оказался? На улице, а вокруг люди, слушают, как ты поешь, и суют тебе монетки. Ты меня увидел и сказал: «Дверь захлопнулась, я не мог обратно войти», да так спокойно, будто ничего и не натворил. Тогда я в первый и в последний раз влепила тебе пощечину, это ты должен был запомнить.

Нет, не помню. Могу восстановить без напряжения лишь то, что было гораздо позднее — после того заката на взморье. Но до той поры ни один из рассказанных ею случаев (как бы они ни были банальны, но все же могли запомниться ребенку!) не удержался в моей памяти.

— Как правило, мы обедали дома или у Чезарино, потом шли к берегу, или на карусель, или в центр на витрины поглядеть и тогда садились за столик у Пашковского или у Доннини. Я каждый раз робела перед входом. Но обычно все сходило хорошо. Ты был всегда такой нарядный, благовоспитанный, да и я выглядела совсем не плохо в шерстяной кофточке с короткими рукавами и нейлоновых чулках — они

тогда только появились — и чувствовала себя настоящей дамой. О господи, конечно же ничего такого не было в моем наряде. Просто мне было двадцать три года, понимаешь? Двадцатитрехлетняя мама гуляла со своим ребенком.

Она вздыхает печально и вместе с тем удовлетворенно: за ее нынешней тоской и пустотой — прожитая жизнь, заполненная людьми, о которых она никогда мне не расскажет, как бы я ее ни просил.

— Как ни странно, но я не теряла надежды, и это меня поддерживало. Забывала я и о синьоре Каппуджи, и о баре, где работала, и о белье, которое нужно гладить, едва придешь домой. Только ты все донимал меня вопросами — где да где синьора Эльвира? И я немножко ревновала тебя к ней, теперь могу в этом признаться. По воскресным дням она уходила по своим делам — бывала на кладбище, обедала у бывшей невесты сына (которая так и не вышла замуж) или навещала сестру-старуху — еще более древнюю, старую и скрюченную, чем она сама, да возилась там у нее с целым выводком внуков; уж не знаю, где она бывала после двух или трех, должно быть, объедалась пирожными в какой-нибудь кондитерской. Вернувшись, она обычно кричала из окна: «Вот я и дома! Я нужна вам?.. Привет, Брунино» — и ты сразу начинал волноваться и капризничать, приходилось звать ее к нам, иначе ты не засыпал. Так кончался наш праздничный день, и наступала новая страстная неделя.

Эти давние однообразные дни превратились в моем сознании в один сплошной бесконечный день.

Глава 4

Небо в окне всегда серо-голубое, деревья всегда зеленые, краснеют фабричные трубы, пакгаузы крыты листовым железом, сверкает на солнце тростник, и шумит в камышах ветер. Я рос податливым, послушным. «Если его не дергать,— говорила она,— золото, а не ребенок». Альбом и карандаши, разноцветные кубики (из которых, если сложить их, получается то лужайка, полная диковинных зверей, то замок с башенками, то изображение Минни и Тополино), кран, который может поднять три шарика, магнит да ячменный сахар — все это могло меня занимать долгие часы. Синьора Каппуджи прибиралась в доме, ставила кастрюлю на огонь, и мы шли гулять. Обычно по утрам мы ходили на площадь Далмации, там был садик с фонтаном.

— ...Всего двести метров от дома, и мы совсем в другом районе. Если попросишь как полагается, дам тебе леденец.

На конечной остановке собирались трамваи, вагоновожатый переводил дугу, сверкали искры; в конце улицы за шлагбаумом мелькали поезда. («Этот наверняка идет в Болонью, а этот длинный, конечно, в Венецию и в Милан».)

— Вон товарный, синьора Эльвира! Там в вагонах быки.

Она незаметно совала в рот кусочек ячменного сахара и отвечала:

— Это их последний путь: теперь их выгрузят и отведут на бойню. Да вон она виднеется! — Прислушиваясь к заводским гудкам, она замечала: — Так, так, так! Понятно! Нынче первым начал «Гали», должно быть, сегодня на «Манетти и Робертс» спешка, а у «Муцци» словно и забыли про гудок... Гляди, все, кто не обедает в столовке, уже на улице. Ну, пошли.

Мы шли к лавкам, пробираясь сквозь толпы рабочих в комбинезонах и кепках. Не сходя с велосипедов и жестикулируя, они переговаривались друг с другом. Часто мы встречали Миллоски:

— Бруно, хочешь мороженого?

Синьора Эльвира не разрешала:

— Нет, нет, нет, ему скоро надо обедать, это отобьет у него аппетит. Подарите ему лучше лиру, он себе вечером сам купит.

Милло ерошил мне волосы и подгонял шлепком:

— Давай беги.

Я обижался, пыхтел, лез драться, но он брал меня на руки, целовал, и мы мирились:

— Молодец, давай беги!

У бакалейщика, да и у мясника всегда были пустые полки — одни запахи.

— Хочешь, куплю пакетик и приготовлю тебе пудинг с заварным кремом? — обращалась ко мне синьора Эльвира.— Только чтоб обед был съеден без фокусов. Ты знаешь, что я капризов не терплю.

Она усаживала меня на стул с двумя подушками за наш кухонный столик, на котором между графином с водой и стаканом красовалось приготовленное лакомство. Пудинг сверкал и переливался, будто дразня: «Погляди на меня, Бруно!» Голос моей телохранительницы, у которой кожа на щеках выцвела сильнее, чем ее платье, а из бородавок торчали волосы, звучал подбадривающе:

— Ну, глотай веселей, паршивец. Что я, нянька у барчука? Ты что словно жвачку жуешь? Знаешь, что делают в таких случаях?

И она хватала тарелку со сладким, держа ее на весу, наклонялась над ней и, вонзая ложку в пудинг, как мотыгу в землю, отхватывала первый кусок. Она прищелкивала языком, громко глотала, крякая от удовольствия. Не проходило и минуты, как пудинг исчезал.

— А уж до чего вкусный! Поверь мне, просто объеденье! — И она облизывала губы, над которыми, как приклеенные, чернели усики.— Вот как воспитывают капризных детей,— говорила она, придвигая ко мне пустую тарелку.— Если хочешь, можешь вылизать остаток крема...

Не знаю, как передать, что я при этом испытывал... Конечно, плакать мне не хотелось... Я весь наливался гневом, порывался схватить тарелку и швырнуть наземь, но синьора Эльвира вовремя подхватывала ее, чудом удерживая в скрюченных пальцах.

— Так ты мне назло? Да? А вот вышло, что я тебе сделала назло.— И она смеялась, обнажая темные десны.— Что, не нравится? Если доешь второе, так и быть, сделаю тебе сюрприз, когда пойдем гулять. Ну, собирай крошки в кулек!

Мы идем вдоль берега, пересекаем луг и добираемся до Кареджи; там, над виллой со львами, на холме, расположилась больница.

— Я бы тебя сводила в Монтеривекки, мы бы с тобой ежевики набрали, да надо идти мимо больницы, а там даже стены заразные. Нет, уж лучше свернем.

Луг у реки широкий, поросший густой травой. У излучины в камышах стоят рыболовы. Вот один со спиннингом, рядом корзинка для рыбы, в картонной коробке наживка. Мы молча останавливаемся у него за спиной. Его толстый живот выпирает из рубашки, шея повязана платком, на голове шляпа с изодранными полями. Удочку он забрасывает, точно ковбой лассо, и вытаскивает ее из воды бог знает через сколько времени.

— Напрасно старались? А? Как я рада! — не выдерживает синьора Эльвира.— Здорово это у вас получается!

— Что значит «здорово»? — возмущается рыболов. Он оборачивается к нам, на жирном лице — повязка, скрывающая левый глаз: настоящий пират.— А, опять старуху нелегкая принесла! — Он открывает коробку, где в земле копошится целая куча дождевых червей, они свиваются в клубок, гладкие, безголовые.

— Да, это я, я,— говорит синьора Эльвира.— Вам бы гранатой глушить! Бруно, стой, не смей трогать!

Она нагибается, чтобы заглянуть в корзинку, но пират замахивается на нее своей огромной ручищей, как на девочку из сказки.

— О господи, сколько на свете дорог, так ее сюда принесло!

— О господи, сколько на свете способов время убить, кому делать нечего, так вы рыбу ловите! Разве не знаете — это запрещено. Вода в Терцолле загрязнена, вся рыба отравлена! Давай, Бруно, живей... Идем за полицейским!

Она сует мне свою искореженную руку, и, поддерживая друг друга, мы скатываемся с берега на луг.

— Видал, как я его напугала? — говорит она мне теперь.— Знаешь, кто это? Он раньше на бойне работал. Глаз ему бык рогом выбил. Теперь ему с быками не справиться... Видишь, женщина кормит малыша... А ведь вытащить рыбу из воды — все равно что оторвать от груди новорожденного...

Женщина сидит у самой воды под цветным зонтиком, она без чулок, у нее золотые кудри; пристроив ребенка к открытой груди, она здоровается с нами, но мы ей не отвечаем.

— Она жена слепого и сама бродяжничает. Знаешь сказку про дочь лавочника? Жила-была красавица с золотыми волосами... Гляди — не наглядишься, а ради зеркала и розы... Чего ты насупился? Какой же ты мальчик, если тебе такие истории не нравятся? Моего Родольфо в твои годы хлебом не корми — только дай послушать. Думал, большего счастья нет, чем иметь такую мать. Ну, ну, пошевеливайся! Помни, упадешь — не реви и сам подымайся. Я нагибаться не могу, понял?

Я пускаюсь бежать, подбрасывая ногой пустые жестянки, которыми усеян луг. Порой останавливаюсь, чтоб подкараулить ящерицу, но на нее никак не наступишь, она исчезает, как тень. Складываю несколько прутиков — вот и преграда на пути у муравьев; а еще можно построить настоящую крепость из камней; из консервных банок получаются отличные башни, которые обрушиваются после пятого или шестого этажа. Порой наблюдаю, как сливается с небом дым фабричных труб, только никак не могу уловить, когда это происходит. Высоко-высоко, выше самой горы Морелло, летят самолеты-истребители «харрикейны», трехмоторные машины, различать их научил меня дядя Милло. Пониже ласточки летают стаями, я угадываю, в какую сторону они свернут. Потом собираю маргаритки, травы, мак, с трудом наберу букетик и несу его старухе, которая с важным видом восседает на каком-то заржавленном листе жести.

— Держите, синьора Эльвира!

— Молодец, что вспомнил обо мне.

— А сюрприз? — спрашиваю у нее.

— Какой сюрприз?

— Вы же обещали...

— Что? Отвести тебя к воротам виллы «Кареджи», чтоб взглянуть на мертвых львов и живых собак?

Я бросаю цветы на землю, топчу их, в ярости замахиваюсь на нее.

— Ну прямо как отец. Ну прямо фашист!

Это слово часто можно было слышать и у крепости, и в скверах. Фразы «Ну и дерьмо! Ну и фашист!» или «Эй, фашист, эй, красавчик!» звучали как ругань или насмешка. Связывая это слово с именем моего отца, «который далеко и скоро должен вернуться...» синьора Эльвира произносила его вежливо, по-семейному тепло. Совсем не как упрек — это означало, что синьора Эльвира пошла на мировую. Я окончательно убеждаюсь в этом, когда она ласково гладит меня по голове и успокаивает:

— Иди сюда! Давай по-хорошему! Будет тебе сюрприз — мороженое, а потом еще лепешка с изюмом. Когда на двадцать восьмом поедем, если хочешь, разрешу тебе стоять рядом с вожатым.

Кондуктор переводит дугу, вожатый бросает окурок, дает звонок, включает рубильник, берется за ключ... И пошел! Впоследствии, проделывая пешком этот путь — от виа Кареджи к Нижней крепости, я убедился, что он совсем не так уж долог, да и не так интересен. Сейчас я на мотоцикле добираюсь туда меньше чем за пять минут, несмотря на сильное движение и рытвины на Виа-дель-Ромито. Эти места — единственные во всем нашем квартале, которые почти не претерпели изменений, разве что расширилась площадь у моста, а у Муньоне заправочная станция «Шелл» словно загородила стеклодувные мастерские Вески и церковь.

Трамвай на спуске бежит вдоль речки — если оторвать глаза от щита управления и выглянуть в окошко, кажется, плывешь, не едешь.

— Нет, это уже не Терцолле и не Арно. Это, ну-ка, повтори — Муньоне! Арно ведь большая река. А эти две речушки текут медленно-медленно, там, где они сольются, будет Рифреди. Ты еще не бывал там, где Терцолле вливается в Муньоне? Там, где домик с железным петухом на крыше, петух вслед за ветром вертится?

— Там и газометр.

— Что?

— Дядя Милло говорит...

— Вот он и свезет тебя туда в воскресенье. И мама тоже поедет!

Нам сходить, до свиданья, двадцать восьмой номер, до встречи там, где музыка и веселье.

Автотрек, должно быть, тот самый, где Иванна повстречала Сильвано, был у самой стены, чуть поодаль — «чертово колесо», а по другую сторону — аттракционы: девушка в трико и клоун с носом вишенкой зазывают: «Заходите! Каких только чудес не увидите!» Синьора Эльвира качает головой. Нам безразличны и карусели и сладости — сахарные головы, карамель, монастырский шоколад, пряники, жареный миндаль.

— Это все для транжир, у них, может, и хлеба дома нет. Потом, здесь все несвежее, особенно мороженое, поешь — и живот раздует. Пошли дальше. Так и быть, накажу я себя: дам тебе еще ячменного сахара. И сладко, и не вредит.

Я соглашаюсь. Происходит чудо: сквозь все эти вкусные и пестрые ряды я прохожу, не задерживаясь, ничем не соблазняясь, без капризов.

— Держи. Только не грызть, лучше пососи!

— Спасибо, синьора Эльвира.

— В первый раз от тебя слышу.

— Я вас всегда благодарю.

— Ты уж и привирать начинаешь? Этого за тобой не водилось, всегда правду говорил.

Чего там только не было! И тир, и комната смеха, и даже кентавры; двое мужчин и девушка, с ног до головы в кожаном, нажимают на сигнал мотоцикла, прежде чем пуститься в «полет смерти». Мы проходим мимо, направляемся в противоположную сторону, туда, где деревьев много, как в лесу, дорожки усыпаны щебнем, а вдоль аллей расставлены скамейки. Ветви свисают над недавно отремонтированным бассейном, огромным, круглым, обнесенным прочными красными перилами. Вода кажется застывшей, только цвет ее меняется — то зеленый, то белый, то фиолетовый.

— Это зависит от того, с какой стороны солнце! А не хочешь ли сказку послушать? Жил-был пес. Поймал он однажды зайца и поволок,

бежать ему пришлось вдоль берега Терцолле во время наводнения. Вода была чистая, чистая, как зеркало. Остановился пес у кустика, поднял лапку, как собаки делают, и вдруг видит другого пса, а у того тоже заяц в пасти...

Здесь много девушек; одни стоят, прислонившись к перилам бассейна, другие сидят, солдаты обнимают их за талию, курят, пьют. Слышен хохот, громкие голоса.

— Пошли, пошли. Здесь что-то не то. Видишь негров? Тебе не страшно? Я их не боюсь, они очень хорошие ребята, добрые-предобрые. Когда бог тесто месил, ему, верно, муки не хватило, так он сажи подбросил...

Тут же толпятся парни — кто просто в рубашках, кто в куртках нараспашку, на некоторых шорты, похожие на короткие штанишки малышей, которые снуют вокруг, то и дело нарываясь на подзатыльник или пинок.

— Чем только здесь не торгуют,— говорит синьора Эльвира.— И честь тут свою продают. Если с нами сейчас поздороваются, ты им вежливо ответь и ни слова больше. Они нам не ровня, надо, чтоб они это поняли. Как я выгляжу? Шляпка хорошо сидит?

Она всегда в одном и том же наряде, юбка ниже колен, жакет с зеленым воротом, манжетами и пуговицами в два ряда. Вокруг шеи ожерелье из желтых и черных бусин, покрупней и помельче. В руках сумка, куда можно всунуть целый арсенал; на голове черное круглое сооружение из соломы и тюля — все это, по словам синьоры Каппуджи, составляло «прекрасный ансамбль». Шляпка, подобно головному убору венецианских дожей, надвинута на лоб. Из-под нее свисает прядь седых, с желтизной, выцветших еще сильнее, чем одежда, волос.

— Добрый день, синьора, добрый день, Брунино!

— Здравствуйте, добрый день, здравствуйте!

— Что, бабушка, семья-то растет?

Старуха останавливается и, подцепив мою руку своей скрюченной лапой, отвечает:

— Он мне не внук. Но с таким сыном, как мой, я давно была бы уже бабушкой. Сын у меня был герой. Если б только ваш Одноглазый не послал его на войну.

— Это мать павшего на войне!

Она показывает медальон, висящий под ожерельем.

— Смотрите, только нажать — и откроется. Сами откройте, мне уж и пальцы не служат. Все смотрите, какой у меня был сын!

— Черное перо на шляпе. Значит, служил в отборных частях. Горный стрелок.

— Встать по стойке смирно! — внезапно приказывает синьора Эльвира.

— Становись!

— На караул!

Парни и мальчишки замирают на месте, отдавая воинские почести ее сыну. Девушки обнимают ее, целуют в щеки, вокруг смех и гам. Негры таращатся, но это никого не пугает, а только еще больше веселит.

«O'key, Bruno» — вот первые английские слова, которые я выучил.

— Oh, yo'granma! Yes, I understand!.. Dead soldier... Oh, yeah, po'woman*.

В руки мне так и сыплется карамель, жевательная резинка... синьора Эльвира открывает сумку, и в нее летят пачки сигарет, банки с мясными консервами и сгущенным молоком.

---

* О, вы бабушка! Да, я понимаю... Умер солдатом... О да, бедная женщина *(искаж. англ.)*.

— Не уходите, мы к вам потом подойдем,— говорят ей ребята и девушки.

Мы входим в парк, идем к нашей скамейке и попадаем в совершенно иной мир, отъединенный от шумного Луна-парка, от оживления, царящего возле бассейна. Здесь тоже оживленно, но совсем иначе, чем там. Это мир матерей, стариков, колясок, резиновых мячей, трехколесных велосипедов и, само собой разумеется,— детей. Но почему-то в моей памяти не возникает ни одного детского лица, все мое детство до пятилетнего возраста, вплоть до того самого вечера, когда начался ураган, целиком занято взрослыми. Словно я сам не был ребенком, да и вообще не существовал самостоятельно, а лишь постольку, поскольку в мире были взрослые — синьора Эльвира, Милло, вагоновожатый, рыболов, все эти ребята из крепости, передвигавшие меня, как пешку, по своему усмотрению. Значит, правда, что начинаешь существовать только тогда, когда появляется память, сознание — то есть способность познавать, возмущаться, страдать.

Глава 5

На садовой скамье синьора Эльвира восседает, словно на папском престоле. Она не выпускает из рук лежащей у нее на коленях сумки.

— Ну, живо зови птичек. Впрочем, и звать-то незачем, они и так нас видят издалека.

Она сидит неподвижно, оберегая сумку с уложенными в нее сокровищами, а я залезаю в карман ее жакета, достаю пакетик с хлебными крошками, старательно его разворачиваю. Воробьи, словно ручные голуби, уже у наших ног; может, они и в самом деле нас узнают?

— Смотри бросай так, чтоб всем досталось поровну, не то нахалы набьют себе пузо, а растяпы останутся ни с чем. Знаешь? Жил-был на свете воробышек с золотым клювом, только сам он про свой клюв не знал и не ведал...

Крошки, как тот пудинг с тарелки, исчезают в одно мгновенье. Солнце сквозь ветви деревьев бьет мне в глаза, мешая следить за разлетающимися птичками. Синьора Эльвира тем временем приступает к своей работе. Обычно вначале подходят матери с детьми, каждая присаживается на нашу скамейку, любезно здоровается и подставляет раскрытую ладонь прямо под нос синьоре Эльвире.

— Только, пожалуйста, плохого не нагадайте...

— Я-то что? Я только читаю, что на руке написано... Очень сочувствую, но ничем не могу вас порадовать. Порядочным людям мало что предскажешь... Раз уж с вами до сих пор ничего особого не случилось, значит, и впредь не случится, если только...

После того как синьора Эльвира открывала им судьбу, наступал мой черед — я исполнял обязанности пичужки, таскающей билетики «на счастье».

— Давай, Бруно... Только сначала внимательно посмотри на синьору!

Я доставал из ее кармана маленькую колоду карт, стягивал с нее резинку, перетасовывал колоду, вынимал карту.

— Смотрите, какой помощник! Я бы этими своими пальцами не справилась... Ребенок в таком деле незаменим — это сама невинность, сама чистота!.. Ну, показывай карту!

Я гляжу серьезно, соображая, что к чему: если на карте красное сердце — это любовь и надежда, если трилистник — жди хороших вестей, ромбик — к деньгам, а от черного сердца жди беды, разве что...

— Ну-ка, тащи другую!

Вторая, третья, четвертая карты проясняли будущее окончательно. Меня в награду ласкали, а синьора Эльвира клала полученную мзду в карман, присоединяла к ячменному сахару.

Вдруг, словно из-под земли, появляется один из тех парней, что обычно вертятся у бассейна. Чаще всего это Шпагат, верзила в черных очках и клетчатой рубахе; на лице у него шрам — от подбородка до самого уха. Теперь я знаю о нем побольше, чем тогда знала синьора Эльвира, хоть она и гадала ему по руке.

— Бабушка, как освободитесь, я к вашим услугам.

— Ладно, ладно, понятно.

Отпустив последнюю клиентку, синьора Эльвира открывает сумку и с молитвенным трепетом раскладывает на коленях пачки сигарет, консервные банки — пересчитывает свое богатство. В эти минуты она похожа на птицу — жадную, хищную, недоверчивую, беспокойную.

— Бруно, почему ты мне не помогаешь? Ну да ничего, он скоро научится считать. Ты разве не знаешь — это форменный разбойник. Он меня обкрадывает.

Шпагат крутит головой, не вынимая кулаков из карманов брюк.

— Я коммерсант, а не вор. Выручка пополам, как уговорились. Что бы вы заработали, если б мы не затевали всей этой комедии? — Он хватает банку за банкой, сует за пазуху.

— Вот ваш капитал, плачу наличными. Вы уж, наверно, целое состояние сколотили.

Пальцы синьоры Эльвиры вдруг становятся поразительно гибкими. Они считают и пересчитывают банкноты.

— Мало, почти ничего,— жалуется она.— Пользуетесь тем, что я одинокая старуха. Мне даже пенсию за сына (на нее разве проживешь?) и ту не дали, только поманили...— На глазах у нее появляются слезы, бегут по щекам. Шпагата уже и след простыл.— А ты что все сидишь да помалкиваешь? — напускается она на меня.— Нет, чтоб защитить меня, пожалеть — мол, бедная синьора Эльвира. Они ей платят пять, а сами перепродают за двести, если не больше. Да, хороша б я была, если б жила на гроши, что дает твоя мать за то, что я гуляю с тобой... А ведь она могла бы заработать как следует, если б захотела.

Я пропускаю все это мимо ушей, зная, что она просто ломает комедию. Сейчас она утрет слезы платком с черной каймой и к ней подойдут девушки с американскими солдатами, черными и белыми. Все они курят, смеются, размахивают бутылками, пачками сигарет «Кэмел».

— Джонни говорит, что женится и увезет меня в Америку. Погадай нам — это правда?

— И да, и нет, все может быть, наверняка, разве что...

И снова банки и пачки — целое богатство.

Солнце уже не досаждает нам, друзья — воробьи и ласточки — гомонят, заглушая голоса людей. Я тасую карты, одну за другой вытаскиваю их из колоды, осторожно кладу в ряд на скамейку, во рту у меня жевательная резинка, я ее выплюну, когда подойдем к дому.

— Идите, идите, на сегодня все...

Эти слова синьоры Эльвиры всегда застают меня врасплох.

— Да завтра! До завтра! До завтра! Пошли!

Смех, визг, а негры:

— Ehi, what's up? Oh, damn, come on, let's gon an' leave that old witch... So long, Bruno!*

Между деревьями показывается Милло. Синьора Эльвира прячет карты, подмигивая мне, чтоб я молчал. Но я и без того храню в тайне

---

* Эй, что там случилось? О, черт, пошли, ну ее, эту старую ведьму... Прощай, Бруно *(искаж. англ.)*.

наши ежедневные посещения сада у крепости, и потому ей не надо ни уговаривать, ни запугивать, ни задаривать меня.

И это — второе чудо.

Милло снова отрастил усы, как в былые времена. Сейчас мы с ним не спешим, не то что утром. Он присаживается к нам. Я устраиваюсь между ним и синьорой Эльвирой. Он похлопывает меня по ноге:

— Ты у нас крепыш!

— А уход-то за ним какой!

Посидев немножко, отправляемся дальше: теперь мороженое уже не угрожает моему аппетиту, так же, впрочем, как и аппетиту синьоры Эльвиры, которая угощается двойной порцией мятного, кокосового, малинового, с мелко наколотым льдом, не мороженое — трехцветное знамя!

— Давно ее не видели?

— Я очень занят сейчас — и работа и масса других дел...

— Хотите, могу замолвить словечко.

— Что! Да вы просто забываете...

— О чем?

— Ни о чем. Здесь ребенок.

— О чем? О чем? О чем?

— О том, что ночь на дворе!

Они дружно смеются, синьора Эльвира — обнажая темные десны, Милло — сверкая белыми зубами. Он берет меня на руки, выплюнув свою недокуренную тосканскую сигару.

Этот вечер ничем не отличается от вереницы других... Мы стоим у киоска, приканчивая мороженое.

— Ну, прощайте. Теперь бегом домой.

— Ты меня не трогай,— говорю я,— не то как дам ногой!

— Дядю Милло — ногой? Разве можно, Бруно?

— Молодец, защищайся, никому не позволяй руки в ход пускать.

И он исчезает на велосипеде в направлении вокзала и аттракционов.

Синьора Эльвира снова цепляет меня своим крючком и говорит с глубоким вздохом:

— Эх! Дядюшка Милло! Чего ему только не приходится терпеть от твоей мамы! Пошли! Погода меняется. Рот не разевай, вон какой ветер поднялся — простудишься!

Начинается ураган. Мы прячемся под навес. Подходит трамвай, но мы в него не садимся.

— Сюда на трамвае приехали, хватит деньгами швыряться. Вот и дождь пошел. Где-то у меня еще ячменный сахар оставался... А ты мне и спасибо не скажешь, будто я тебя лекарством пичкаю.

Гром и молния развлекают меня, синьора Эльвира крестится. Мне ужасно хочется убежать от нее, побарахтаться в лужах под дождем, как вон те мальчишки. Среди них и Дино, мы знаем друг друга, он гуляет на площади Далмации.

— Разве не видишь — это оборванцы. А ты из рабочей семьи.

Мы пускаемся в путь вдоль трамвайной линии, потом подымаемся в гору, окна стеклодувни полыхают огнем... Виа-дель-Ромито, прямой, длинной, нет конца. На разрушенной стене дома мелом нарисованы серп и молот.

— Мне холодно, я хочу по-маленькому.

— Иди под стенку. Сам расстегнешься или помочь?

Вечер наступает мгновенно, зажигаются огни, там, где должен быть наш дом, поднялась завеса тумана, но нам до нее не добраться, кажется, что она отдаляется. С нами теперь две наши тени, они то идут по сторонам, то забегают вперед, на них при всем желании никак не

наступишь... Мы все идем и идем... Я дрожу от холода... Шмыгаю носом. Синьора Эльвира молчит, словно язык проглотила, шагает и сосет свой ячменный сахар, а я свой давно уж разгрыз. Теперь мы сошли с дороги, идем в полной темноте, только мелькают фары велосипедов. Тени и шорохи окружают нас, откуда-то издалека доносится рев быков и собачий лай. Наконец оказываемся на каком-то пустыре, перед нами овраг, ноги вязнут в грязи.

— Синьора Эльвира! — бормочу я в изнеможении.

Она отвечает мне так, словно я ее разбудил:

— А? Ты что-то сказал?

Дома кончились, мы вступаем прямо в туман, карабкаемся вверх по тропинке, я падаю и вновь подымаюсь, руки у меня в мокрой глине. Старуха тоже едва держится на ногах. Вот она поскользнулась и, раскинув руки, покатилась вниз по тропинке. Я ее больше не вижу, слышу только крик:

— Господи! Господи! Господи!

Теперь я один на берегу. Только берег ли это? Ясно, что я на холме. Зову:

— Синьора Эльвира?

Темно. Тишина. Наконец доносится ее голос:

— Кто там? Где ты? Мама здесь! Спускайся, Родольфо, я иду навстречу, не бойся!

Я качусь вниз, по косогору, цепляясь за землю руками. Вот и нашел ее, она сидит у тропинки, уставившись в одну точку. Шляпку она потеряла. Старуха обнимает меня, прижимает к себе так крепко, что, кажется, вот-вот удушит.

— Ты не Родольфо? Кто ты? — и отталкивает меня, но сразу же подхватывает, пока я не полетел в овраг. Потом обнимает еще крепче, а сама все плачет, плачет навзрыд.— Бруно! Бруно! Бруно! Я заблудилась! Где мы? — Она ласкает меня, ее руки вымазаны липким илом.— Было бы хоть что-нибудь сладенькое в рот положить... Боже, до чего ты перепачкался! — бормочет она.

Теперь я вне себя от страха, по лицу бегут слезы, смешиваясь с грязью, я кидаюсь ей на шею — едва ли ребенок бывает способен на большее отчаяние...

— Увидев, что вас нет,— рассказывает Иванна,— я обошла весь квартал Рифреди, встретила Миллоски, он и его друзья бросились вас искать, разбившись на группы. Вас нашли перед рассветом. Она была совсем помешанная, ты спал у нее на коленях, весь в грязи, лицо у тебя было черное, как у негритенка. К счастью, ты был еще маленький и назавтра все позабыл. Но такой испуг мог бы тебя погубить навсегда. Наверняка это с тех пор у меня первые седые волосы появились.

Синьору Эльвиру, «у которой под матрасом нашли целую кучу денег», в тяжелом состоянии поместили в больницу Сан-Сальви, где она и умерла. Так толком и не узнали когда. Однако целый выводок детей и внуков ее сестры незамедлительно завладел наследством.

— Теперь, когда ты как будто все вспомнил,— настаивает Иванна,— скажи мне, куда она тебя водила?

— К аттракционам.

— Врешь,— горячится она.— Она водила тебя к крепости, там казармы, там всегда стояли американские машины. Аттракционы появились гораздо позже, вернее, их восстановили в том виде, в каком они были до войны. Тогда они находились еще на площади Барбано. Это близко от крепости, оттого ты и спутал.

— На площади Независимости.

— Называй как хочешь. Когда я была девушкой, это была площадь Барбано. Мы ни в чем с тобой не сходимся, даже не можем договориться, как улицу назвать! Тебе аттракционы запомнились, потому что ты впервые увидал их, на самом же деле это был обыкновенный Луна-парк, каких много. Я тебя туда однажды сводила в воскресенье. Играли в «волшебную удочку», ты еще вытащил куколку, дорогую и прехорошенькую. Держал ее так, словно она тебе руки жгла, а когда мы сели в трамвай, тут же выбросил ее в окошко. Мы вернулись, но куклы уже не было: кто-то успел подобрать. На этот раз обошлось без пощечин — хоть и жаль мне было игрушки, да смех разбирал: ведь ты доказал, что стал настоящим мужчиной! — И она хохочет; ее лицо покрыто слоем крема.

Я поворачиваюсь к ней спиной, натягиваю простыню на голову, перед сном мне хочется побыть наедине со своей тайной. Иванна закуривает новую сигарету.

— Бог знает, по каким только местам она тебя ни таскала! А я ничего и не знала. По правде говоря, я никогда ничего не знала, да и сейчас не знаю ничего, только юбку просиживаю в кассе.

Глава 6

На следующий день Милло раздобыл старенькую малолитражку «балилла». Кажется, ему ее дали на время в партийном комитете. Должно быть, он хотел, чтобы новые впечатления вытеснили мой испуг... Мы уехали за город на целый день. По словам Иванны, эта поездка была полна неожиданностей.

— Мы отправились рано утром, так точно и не решив, куда едем. Миновали Пистойю, потом Лукку, зашли в церковь, где, помню, стояла статуя девушки, совсем как живая, даже казалось, что дышит. К полудню, уже приближаясь к Пизе, проголодались. Тогда свернули к Боккад'Арно, минуя королевское поместье. В сосновом бору под Ливорно жили вместе со своими девками солдаты негры — совсем как дикари в джунглях. Они дезертировали из армии, растащив, что можно; бессовестные спекулянты наживались за их счет. Ревность, непробудное пьянство вызывали драки, дрались насмерть. Не лучше были и женщины, дикие, жадные,— настоящие гиены. И рожали там же, если только прежде никто не придушит. Мертвых хоронили под соснами — и концы в воду. Когда власти решили навести там порядок, пришлось, говорят, пустить в ход огнеметы. Конечно, война виновата... хотя к тому времени она уже кончилась. Правда, мы, когда проезжали эти места, ничего особенного не заметили — лес как лес. В Томболо, казалось, все тихо, как и в лесу Сан-Россоре. Попадались «джипы», грузовики, полуразбитые допотопные машины. Американские солдаты вели в открытую торговлю со штатскими, за гроши можно было кучу добра накупить. Повсюду надписи по-английски: «Проход запрещен», «Минировано». Тогда приходилось сворачивать. Ты сидел у меня на коленях, Миллоски за рулем. Время мы провели славно, ничего не скажешь. Грязь кругом непролазная, а нам все-то казалось интересным — не то, что на теперешних наших дорогах: смотреть смотри, а руками не трогай. Забарахлил мотор. Пришлось сойти, Миллоски подталкивал машину, а ты сидел внутри и так задавался! Наконец мы добрались до трактирчика, похожего на лесную хижину. Столики стояли среди зелени. Я даже помню название траттории — «Веселье», такая красивая вывеска. Совсем не то, что у нашего Чезарино. Кругом — сплошные развалины, сырую воду пить нельзя было, пришлось кипятить. Зато к вашим услугам вино, пиво, мясо, сыр и уж конечно виски, коньяк — все, чего душа ни пожелает. Мы немного

выпили, и Милло занялся мотором. Ремонт пустяковый — покуда макароны поспели, он уже и кончил. Только сели за еду, как вошли саперы. Молодые, совсем мальчишки — и до того веселые! «Охотимся за гитлеровским наследством,— говорили они.— Эту честь союзники охотно предоставили нам». Рискуя на каждом шагу взлететь на воздух, они отыскивали мины, зарытые немцами от самого побережья до Апуанских гор. По лицам видать, ребята смелые и делали доброе дело, но только чересчур беспечные. Им, конечно, платили, но дня не проходило, чтоб кто-нибудь не подрывался. Миллоски сразу же с ними заговорил, ты ведь его знаешь, и выяснилось, что двое из них — флорентийцы. В конце концов все мы сели за один общий стол. Я сказала: муж у меня в плену и вот-вот должен вернуться, Миллоски подтвердил... Выпили, после обеда стали песни петь... Они почти все побывали в партизанах. Подарили тебе красный платок, научили говорить: «Да здравствует Усатый!» Эту встречу я никогда не забуду. Может, и ты запомнил не кровь и стрельбу дней Освобождения, а вот этих ребят. Запомнил разрывы мин, которые мы слышали, подымаясь обратно к Чинкуале, запомнил красные платки и песни, что пели хором. И еще ты помнишь море.

Новорожденный младенец зажмуривается от света. Видеть свет мы начинаем лишь тогда, когда на помощь врожденному инстинкту приходит первое сознательное суждение, с этого начинается история нашей жизни.

Для меня она началась с того дня на взморье. Теперь, когда не стало синьоры Каппуджи, я легко и естественно делил свою привязанность между Милло и Иванной, и годы моего детства протекали спокойно. О двусмысленности, сопровождавшей их, я и не подозревал до той самой минуты, когда, повернув голову, спросил:

— Дядя Милло! Этот самолет трехмоторный?

И тут как бы впервые увидел их. Одной рукой он обнимал ее за талию, голова Иванны покоилась у него на груди, она гладила его свободную руку.

— Как будто. Должно быть, «дакота».

— Какой, военный или гражданский?..— начал было я.

Я сидел в нескольких метрах от них посреди изрытого, полного камней пляжа, здесь торчали большие столбы с прибитыми к ним досками, на которых был изображен череп со скрещенными костями, сидел далеко от моря, к которому запрещено было подходить. Она перебила меня и улеглась рядом с ним, словно ища тепла и защиты:

— Теперь дядя Милло мой, не приставай к нему!

Я отвернулся, самолет уходил за горизонт. Я чувствовал себя затерянным среди камней и песка, среди черных черепов на столбах, среди этой пустыни. Море — словно ее продолжение, оно кажется нарезанным на полосы, хорошо бы их раскрасить: самую дальнюю — в синий цвет, потом провести черную линию и еще зеленую — пусть бы все запестрело! Я сидел совсем тихо, разглядывая пенившиеся волны, которые бились о заграждения из колючей проволоки. Если прибой будет усиливаться, волны непременно поглотят меня! Милло и Иванна — за моей спиной, но кажется, что они бесконечно далеко: стоит обернуться — и они исчезнут вовсе. Пусть они сами нарушат чары, а я продержусь, сколько смогу.

Вдруг смешались все краски, огромные белоглазые чудища устремились на берег... Я очнулся уже на руках у Иванны, ее ласки, родной запах ее тела успокоили меня. Милло стоял, покусывая усы и привычным жестом разглаживая их указательным пальцем.

— Ну и герой! — произнес он.— Хочешь летать на «харрикейнах» и «дакотах», а сам удираешь от волн.

Она вздохнула:

— Придется к этому привыкать, многое еще будет пугать его.

Я совсем пришел в себя, потому что снова был с ними.

— Это такая игра,— сказал я.

Милло покачал головой. Он был в плаще и коричневом берете.

— Нет, Бруно, так не годится. Пойдем со мной. Не беспокойся, Иванна, топить я его не собираюсь.

Это вызов? Я принял его. Мы подошли к самому морю, стали у колючей проволоки, ограждавшей еще не разминированный участок.

— Посмотри на него хорошенько,— сказал Милло.— По одну сторону — море, по другую — ты. Вас с ним — двое, и разница между вами в том, что ты — человек. Разум тебе говорит: научись плавать, тогда и море взнуздаешь. Чтоб укротить таких коней, одного кнута мало... Впрочем, волны сегодня не такие уж большие, море ведь здесь всегда неспокойно, потому что в этом месте в него впадают реки — под землей сталкивается друг с другом много таких речек, как Терцолле, представляешь себе? А может, просто солнышко ушло, и море обиделось?

Я держал свою руку в его широченной мозолистой ладони и чувствовал себя уверенно. Чудовища исчезли. Волны, безуспешно пытаясь нас настичь, разбивались о берег в нескольких шагах от нас и откатывались.

— Ну, видишь?

— Это был «дакота» или «харрикейн»?

— Вот ты куда гнешь! Давай не юли!

Мы вернулись к машине, держась за руки. Иванна, разувшись, шла впереди. Милло сказал:

— Если хватит времени, остановимся в Пизе, я свожу вас на башню.

Но мы увидели ее лишь издалека: чудом уцелевшая, склонялась она над развалинами в венчике лунного света.

Вскоре после этого Милло проложил первую борозду в моей детской душе.

Вот мы с ним вдвоем — он и я — едем на велосипеде, Милло жмет на педали. Вдали — только недавно отстроенные заново корпуса «Фиат».

Сейчас на этом месте большой рынок с рекламными стендами, а там, где дорога пересекает автостраду, гигантские холодильники. Тогда здесь был пустырь Новоли, и, словно форт, одиноко возвышался посреди него газометр.

Вечерело, мы ехали вдоль рва Мачинанте, где всегда полно лягушек и так скверно пахнет. Мы направлялись к мороженщику, который приспособил для своей торговли будку подле шлагбаума.

— Ну, а ты знаешь, что такое дядя? — неожиданно спросил Милло.— Дядя — брат матери или отца. Но ни у твоего отца, ни у твоей матери братьев нет. Я как бы заменяю брата им обоим и поэтому прихожусь тебе вдвойне дядей. Вот почему ты зовешь меня «дядя Милло». Я их друг.

— Мой тоже.

— Согласен, хоть порой от тебя только и дождешься что пинков... Давай садись, я тебя подтолкну.

Он затормозил и слез, тропинка становилась все уже, темнело, только видны были вдали разноцветные лампочки на будке мороженщика.

— С твоим отцом мы подружились еще в детстве, вот как ты с Дино. Боролись друг с другом, устраивали велосипедные гонки, бегали — кто быстрее? — по площади Далмации. Я был посильней его, но зато в беге он давал мне сто очков вперед.

Согнувшись над рулем, даже не доставая ногами до педалей, которые вращались сами по себе, я все равно чувствовал себя гонщиком.

— Видно, тебе на твоего отца плевать, ты о нем и знать ничего не хочешь?

Он шлепнул меня по затылку. Я хотел слезть и удрать.

— Оставь меня, отстань, убирайся!

Потом, через много лет, мы с ним стали припоминать этот вечер.

— Мы тогда уселись в сторонке, велосипед прислонили к изгороди, я выпил пива, ты, как всегда, ел сливочное мороженое с шоколадным кремом. Тебя забавляла пена, которая оставалась у меня на усах. Ты был сообразительным мальчишкой, понимал больше, чем следовало в твои годы. Я подумал: нехорошо, если вырастешь и вобьешь себе в голову тот же гвоздь, что Иванна... Еще подумал, сколько горя хлебнешь, когда придется потом самому его вытаскивать...

— Как я себя повел после подзатыльника?

— Сперва пошумел немного, а потом бросился мне на шею и обнял так неожиданно, что я от нежности совсем раскис.

— Ну, а потом?

— Я сказал тебе правду, стараясь поосторожней слова подбирать. Так уговаривают маленьких.

— Ты прибег к своему красноречию, его у тебя хватит и для маленьких и для больших.

— Возможно. Ты меня слушал серьезно, ну совсем как старичок, так и хотелось тебя расцеловать, особенно когда я тебе объяснил, что, мол, пусть мама продолжает надеяться, так будет правильней. Теперь все кажется легким, но тогда не так-то просто было к тебе подступиться. Ты был самоуверенным парнишкой... Однако в ту минуту личико у тебя было прямо ангельское — и ты мне доверился...

Я грыз вафлю от мороженого, лягушки и сверчки вели себя шумней, чем люди, сидевшие у столиков. Тут я сказал ему:

— Я и раньше знал, что папу убили на войне. Маме я не говорил, чтоб ее на расстраивать.

Испытание огнем совпало с первым днем в школе. На мне синий форменный халатик с белым поясом, новые туфли. Иванна меня выкупала, прочистила мне уши ватой, приготовила «праздничный завтрак». Сидя за столом в кухне, я макал в кофе с молоком ломти поджаренного хлеба, щедро намазанные маслом и повидлом. Передо мной лежали три шоколадки в золотой обертке.

— Понял? — повторяла она.— В школе и вообще для всех ты сирота, я вдова солдата. За это нам дают грошовую пенсию, но к ней я не прикасаюсь. Когда папа вернется, он найдет эти деньги в комоде, они там сложены, монета к монете. Это уж я верно говорю. Папа жив, он только не смог еще сесть на корабль. Людям этого не понять, они его не любят. Им бесполезно объяснять. Папа вернется и сам тотчас же разоблачит эту ложь. Учительница посадит тебя на переднюю парту, впереди всех, она знает, что это почетно.

Я глядел на нее, потом на шоколад. Кто из них прав: Иванна или Милло? Волшебной была голубизна ее глаз, но голос, монотонно повторявший все одни и те же слова, настораживал.

— Да, да,— отвечал я ей.

Это как игра. Хочешь — выбирай, кем быть: полицейским или вором... Чем больше я думал об отце, которого не знал и не мог себе представить по фотографиям, тем меньше неведомый образ его влиял на меня. Ни она, ни Милло ни разу не рассказывали мне о нем ничего, способного воздействовать на воображение.

Учительница оказалась молодой полной блондинкой с пронзительным голосом. Нос и зубы у нее были совсем не такие, как у Иванны. Она сказала:

— Сейчас я буду вас вызывать по именам. Вы вставайте, говорите: «Здесь». Так я с вами познакомлюсь.

Я сидел рядом с Дино, который тогда уже был моим другом. Его вызвали первым.

— Альвизи!

Дино не дал ей закончить:

— Здесь!

— Хорошо... А отец твой чем занимается?

— Каменщик. Но он теперь бросил...

— Значит, он уже не каменщик?

— Нет, у него торговля... А этого зовут Бруно,— сказал он, показывая на меня. Я тотчас же поднялся.— Его отца убили на фронте.

— В Африке,— сказал я.— Он был солдатом.— И, сказав, обрадовался не меньше, чем своей школьной форме. Все равно, кем быть — вором или полицейским. Но я выбрал Милло и улыбался, думая о нем.

Дино продолжал:

— Он уже умеет читать, его мать научила. Он даже умеет говорить по-американски, научился у негров, там же, где и я.

Годы промчались, словно порыв ветра, до самого пятого класса.

Глава 7

Иванна работала в баре; когда она ходила в утреннюю смену, мы вставали до рассвета. От рва Мачинанте до самой речки Терцолле раздавалось кваканье лягушек. «Они как совы,— учила меня синьора Каппуджи,— у них по ночам целые представления, все равно как у сычей, нетопырей, мышей. Знаешь, жила-была на свете мышка. И вот взбрело ей в голову... Да ты знаешь эту сказку. Ей вздумалось выйти замуж за льва».

Но все это уже в прошлом. «Они из семейства земноводных,— объяснял мне Милло.— Давайте-ка заглянем в детскую энциклопедию, а не то к чему было дарить ее тебе?»

В такие утра казалось, что Иванна в рот воды набрала. Голубые глаза стекленели. «Не могу рано подниматься с постели,— призналась она как-то, сидя у Чезарино.— Сны меня мучат, вставать — прямо пытка».

Она командовала мной молча, одними глазами и жестами; движение подбородка — и я одеваюсь быстрей, сам шнурую ботинки, умываю лицо, еще раз иду в ванную, чтоб получше оттереть руки и коленки. («К счастью, Бруно меня понимает, растет настоящим солдатом».) Я выходил из ванной, и она шла за мной в комнату, подавала мне школьный халатик, я заходил к ней, а она направлялась на кухню — поджарить хлеб. Усевшись перед трюмо с двумя рядами флаконов и коробочек, я проводил щеткой по волосам. Комната полна ее запахами, постель убрана, покрыта розовым одеялом, на вешалке висят оба ее халата, голубой и розовый. На комоде, под фотографией отца, букетик свежих цветов. Она всегда была готова к тому времени, когда подъезжал Милло. Не раз она встречала его уже на лестнице.

— Бедный Миллоски!

— У бедных на хлеб не хватает!

— Вы, наверно, опять не выспались?

— Для меня это одно удовольствие...

— Но это не выход.

За окном гасли фонари, звучали чьи-то голоса, раздавались гудки паровозов, по радио передавали первый выпуск известий. Как всегда, пахло горячим молоком и только что заваренным кофе.

— Отдать его к попам — это, по-вашему, выход?

— Нет, хотя, впрочем... Я теперь еле-еле успеваю поддерживать порядок в доме, а уж им почти совсем не занимаюсь, как бы хотелось...

— Покуда не уволите, у меня для него всегда найдется время.

И они заговаривали о другом. Когда Милло приезжал пораньше, она становилась разговорчивей. Забывала обо мне, припоминала всякие происшествия в баре, где сидела за кассой. «В баре, как в порту». Она наливала ему кофе, разрешала курить, говорила:

— Многих приходится видеть, кого только не повстречаешь, но, право, вы единственный на свете мужчина, который в тридцать лет курит тосканские сигары.

— Живем по старинке,— отвечал он.

— Ну совсем как дедушка.— Она жмурила глаза, зажимала нос, посмеивалась: — А табак нюхать еще не стали?

Обычно после ее ухода я заканчивал завтрак, Милло просматривал мои тетради, мы с ним вместе листали энциклопедию или учебник. Он рассказывал про Гарибальди, который, совсем как Сапата, Буденный, Галло, Листер*, был командиром партизан и настоящим вожаком. Все это никак не годилось для классных сочинений.

— У нас, итальянцев, есть недостаток: со временем все мы смиряемся... но только не лови меня на слове.

В партизанах его звали не Миллоски и не Милло, а Волк. Еще и теперь друзья-рабочие при встрече говорят: «Привет, Волк». Так его прозвали за серые глаза.

С арифметикой и рисованием я справлялся сам, а он посмеивался, разглаживая усы:

— Хочешь попробуем? Ты мне эту гаечку нарисуй. Случайно в кармане оказалась. Ну-ка, посмотрим, угадаешь ли разрез?

Он отодвигал чашки, книги, сам сметал со стола крошки хлеба, а я, высунув язык, рисовал, он направлял мой локоть точнее любого компаса. Выходило.

— Где ты был вчера после обеда?

— Вместе с Дино ходил к речке.

— Знаю, на лягушек охотились!

— Хотели повторить опыт Вольта.

Тут тяжелая, как дубинка, рука отвешивала мне подзатыльник:

— Только не врать, договорились?

— Ты меня не трогай,— рычал я, накидываясь на него. Мы боролись, катались по полу, и, как всегда, дело кончалось объятиями.

— Одерни халат,— говорил он.— Гляди, как измял.— Потом он подносил к уху часы: — Идут. Ведь это моя единственная ценность.

— Стало очень жарко — мы купались.

— Неужели там, в стоячей воде? Ведь там воняет хуже, чем в болоте!

— А что ж нам — в Арно купаться, что ли?

— Я тебя свожу к Арно как-нибудь в воскресенье, нужно только сперва научиться плавать.

— Да я уже умею, Милло! Меня Дино научил, он заправский чемпион!

---

* Сапата — герой мексиканской революции 1910—1917 гг.
Галло — итальянский коммунист, участник Сопротивления.
Энрике Листер — командир Республиканской испанской армии во время гражданской войны в Испании.

Во взгляде у него промелькнули горечь и удивление, он стал тереть подбородок большим пальцем:

— Вот те на! Больше не зовешь меня дядей?

— Так ведь ты мне не дядя!

— Значит, я тебе друг?

— Друг навеки!

И вот снова пришло лето, наступили последние дни занятий. Я сидел, ухватившись за раму велосипеда, а он жал на педали. Мы подымались по Виа-делле-Панке, по шоссе Морганьи, пробирались между другими велосипедами, трамваями. Друзья Милло — рабочие здоровались с ним на каждом шагу. Навстречу, или же обгоняя нас, мчались машины инженеров, к вокзалу шли еще порожние грузовики, санитарные автомобили направлялись к больнице «Кареджи», счастливчики проносились на первых мотороллерах «ламбретте» и «москито».

Трубы «Манетти и Робертс» выбрасывали густой дым, терявшийся среди трансформаторов тока высокого напряжения, корпуса «Фиат» казались огромными серыми догами, присевшими на корточки. Там, где прежде флюгер вертелся над будкой мороженщика, теперь вырастали корпуса Новоли.

— Хочешь конфет?

— Лучше тридцать лир!

— Может, пригодятся на сигареты? А?

— Может, дашь пятьдесят? А?

У самых дверей школы нас настигала сирена «Гали». Мы узнали бы ее в любом хоре сирен, как узнаешь саксофон или трубу среди других инструментов, покуда вертится пластинка. У нее свой голос, не такой, как у сирен «Фармачеутико», «Муцци» или «Робертса».

— Голос хозяина...— говорит Милло, исчезая среди грузовиков и троллейбусов. Он все крепче жмет на педали. Я мысленно вижу, как он въезжает в заводские ворота, согнувшись, чтоб не задеть за перекладину, которая подымается, как железнодорожный шлагбаум, и так же выкрашена в белые и красные полосы. Я думал о нем, покуда не стихал вой сирены. Знал: Милло повесит свой номерок прежде, чем они умолкнут.

Так начинался мой день, день моей братской дружбы с Милло, который приедет за мной в полдень, день моих приключений у реки или на холмах. Он продлится до той вечерней минуты, когда сон свалит меня. Я засну, чтоб внезапно проснуться, когда зажжется свет в комнате и посередине, словно заполняя ее целиком, появится Иванна в распахнутом халате, в длинной розовой ночной рубашке, с распущенными по плечам волосами. Ее лицо распухло от слез, сухие глаза широко раскрыты. Кажется, что по щекам катятся не слезы, а пот. Она пристально глядит на меня и вздрагивает, словно от толчка.

— Ты не спишь? Ты проснулся?

Нет, не страх, только растерянность владела мной в эти минуты. Она страдала, и я не знал, как ей помочь. Иванна садилась на край постели, я тоже сидел в постели.

— Ты веришь? Правда? Ты веришь,— говорила она мне,— отец вернется, он уже возвращается... Три года подряд хожу я на вокзал, когда возвращаются побывавшие в плену фронтовики. Может, его тоже послали в Россию, как знать? Но он возвращается, он вернется,— повторяла она, прижимая меня к себе с такой силой, что дыхание перехватывало. Потом она отталкивала меня и закрывала лицо руками. Ее рыдания звучали все глуше, все реже, она всхлипывала.— Никому не рассказывай, рта не смей раскрыть!

У всех у них тайны, и нужно молчать, чтоб их не выдать: синьора Каппуджи со своим гаданьем, Милло и наша беседа у мороженщика. Как мог я убедить ее, что отец умер, если она не желала об этом знать?

— Все хотят нам зла, мы живем среди гиен.— Я мог лишь броситься ей на шею, мог лишь плакать вместе с ней, сам не зная отчего, может, оттого, что она так страдала и ее била дрожь.— Мы с тобой одни, Брунино, и я близка к отчаянью.— Она то успокаивалась, утирала слезы, вытирала лицо и мне, то закуривала и снова мрачнела, замыкаясь в себе, то постепенно оживала.— Не знаю, как дальше быть, как защищаться! Мне некому довериться... А что, Бруно, если я ошибаюсь, если я не права?

Я снова засыпал, чтобы проснуться, когда она будет совсем готова и станет командовать мной одним взглядом: «Быстрее поворачивайся — застегнись, умойся, поди причешись в моей комнате, дядя Милло вот-вот подъедет».

— О, в те недели я работала во второй смене,— говорит она теперь.— Нелегко было возвращаться среди ночи. У нас и республика и прочие прелести, а город все еще полон грабителей, негров, проституток.

— Ты о неграх говоришь, как расистка.

— А разве они не другой расы?

— Нет, просто другого цвета.

— Разве это не одно и то же? Другой цвет кожи, другой запах. Во всем прочем они такие же, как мы, согласна: у них пара глаз, пара ног и нос посреди лица.

Ее почти всегда подвозил до самого дома владелец бара. Прежде чем уехать, он ждал, когда она включит свет в комнате.

— Он всегда был очень любезен. Ты должен помнить синьора Лучани.

Иногда по утрам, когда она выходила в первую смену, он заезжал за ней на своей зеленой малолитражке. Миллоски чуть-чуть приревновал ее к нему.

— Он этого не говорил, но я-то понимала и возмущалась.— Потом уже выяснилось, что Лучани проходил допризывную подготовку вместе с Морено.— Они с одного года, и призвали их в армию одновременно.— Впрочем, Миллоски не был призван. Солдатской лямки он не тянул.

— Он восемнадцати лет уже сидел в тюрьме «Мурате».

— А оттуда его перевели в Гаэту, в другую тюрьму, разве я тебе о его подвигах не рассказывала? Мне хотелось, чтоб с самого детства ты к нему привязался. Кто, как не я, готовил посылки, которые Морено ему слал до того, как мы поженились? Еще до ссылки Миллоски был освобожден от военной службы из-за плоскостопия. Видишь, у него походка, как у официанта...

Осажденная воспоминаниями, она теперь переключилась на Милло, который для нее как лакмусовая бумажка. Ее лицо густо намазано кремом, она сидит на краю постели, положив ногу на ногу. Курит одну сигарету за другой, делает меня соучастником обмана.

— Я тебе уже говорила: Лучани сам родом из Сесто, но он, должно быть, и не знал, что родился в самом красном городе Италии, а жил у ворот рабочего квартала Рифреди! Ему, извини за выражение, начхать было на все, о чем только и думает Миллоски. Он плевал и на механику и на политику. Своим трудом разбогател. Глаза у него были черные-пречерные, а взгляд такой волевой!

Родители хотели, чтоб он стал мастером по керамике, они его послали учиться в мастерскую при заводе «Ричард Джинори», а он взял да сбежал во Флоренцию. Вошел в город через заставу Сан-Галло, что ведет к Рифреди. Отдохнул на скамеечке, потом заглянул в кафе и предложил свои услуги, его взяли. Ловко он управлялся в баре, приятно было смотреть, как щегольски проводил он тряпкой по оцинкованному прилавку, поворачивал рычаги кофеварки... К тому же и кон-

тером был он хорошим. Через двадцать лет сам рискнул начать дело. («Ну, словчил немного, война ведь давно кончилась, что ж тут дурного?») Напротив кафе, куда он поступил мальчиком, он открыл свой собственный бар «Дженио». Покуда Миллоски со своими приятелями занимались референдумом и мирным договором, Лучани сколачивал капитал. В летнее время в баре у него играл маленький оркестр — саксофон и скрипки. Такой успех!

Площадь Кавур, переименованная в площадь Свободы, летом затмевала центр города. Казалось, именно Лучани изобрел и лоджии, и платаны, и триумфальную арку в честь Великого Герцога — хотя все это больше ста лет находилось на том же месте.

— Как и все выходцы из низов, он бывал грубоват, но в нужную минуту умел пойти навстречу. Я явилась к нему по настоянию Беатриче и боялась, что он потребует непомерно большой залог. Узнав о моих обстоятельствах, Лучани сказал: «Беру вас, мне ваше лицо нравится. Раз правила требуют, чтоб кассирша... Ну, тысчонку внесете? Есть она у вас?» — Тогда тысяча — это как сегодня десять, нет, сто тысяч, но, надрываясь на сверхурочных у «Манетти и Робертс», она как раз собрала такую сумму. С сорок шестого по пятьдесят третий «он был идеальным хозяином, ни разу себе ничего не позволил, ни разу — ни одного замечания».

Она почти растроганно вздыхает, поправляет бигуди, которыми ее волосы расцвечены подобно павлиньему хвосту; память Иванны населена могильными крестами. Год назад я сказал себе: ее призвание быть вдовой.

— Был крепок, как дуб, а скончался внезапно от какой-то болезни, должно быть, от рака. Кое-кто глупо, подло намекал, будто умер он от дурной болезни. Знаешь, как бывает: стоит открыть свое дело — и ты у всех на языке. За столиками бара всегда найдутся бездельники, которых не вышвырнешь. Такому человеку, как Лучани, многие завидовали! Словно он и вправду всю душу в дело вложил. После его смерти — а ведь он и о женитьбе не успел подумать — заведение пришло в упадок. Явились родные, но они разбирались в своей керамике, а это дело вести не смогли, растеряли постоянных клиентов и продали бар, когда он уже стал мертвым предприятием. Семь лет прошло и с ними — лучшие годы молодости,— говорит она.— Жизнь полна была жертв, но были в ней и свои преимущества.

Раз в две недели она заступала во вторую смену и тогда могла полдня проводить дома.

— Во многих отношениях я была тогда свободней, чем теперь... В те дни провожала тебя в школу. Нет, ты прав, только следила из окна, как ты уходил... Хватало времени, чтоб заняться домом по-настоящему и подумать о себе. Я тогда часто готовила обед, и нам не приходилось есть всякую отраву у Чезарино.

— Хватит, мама, теперь уже шестидесятый год! — кричу я.— Еще семь лет прошло. Пока ты будешь продавать билеты в кино, люди полетят на Луну.

— Чего мы там не видели? — спрашивает она меня.— Еще одна пустыня, должно быть.— Вдруг она говорит: — У каждого своя правда в сердце.— Скажет и замолчит, словно желая узнать у меня, верно ли это.

Ее, да и не только ее, измучили чувства. Кажется, только мы, молодые, живем во времена разума. Мы должны яростно подчиняться рассудку, если хотим познать мир, познать все, что в человеке скрыто от глаз. Мы должны верно судить о своих стариках, которые так и не хотят понять, что мы переросли свою колыбель. Мы должны верно судить обо всех отцах и матерях, о тех, кто нас породил, о тех, кому мы доверили

наши мысли. Нам ясность нужна. Нужен свет, чтоб как следует разглядеть этот мир. Так должно быть. Ведь за нами нету вины.

Детство сменилось долгим отрочеством. Долго отсчитывал календарь месяцы и годы. Мы подрастали, рос и крепнул наш разум, который все пропускал сквозь себя. Разум изменяется вместе с телом, которое либо совершенствуется, либо разрушается. Жизнь полна движения, теперь совсем иным становится каждый из моих дней.

— Ты уже не помнишь, какие соуса готовила Дора?

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Глава 8

Траттория Чезарино теперь, как и прежде, стоит, прилепившись к развилке Кастелло, у ведущего в Сесто шоссе, по обе стороны которого заводы и кустарные мастерские; она приютилась в одном из случайно уцелевших, подпирающих друг друга домишек, покрытых вековым слоем пыли и грязи, отгороженных серебристыми дубами, зеленью олив, ровными рядами виноградников и вереницами кипарисов по склонам холмов.

Семь лет, как и года два назад, это была обычная деревенская харчевня, с прилавком у дверей, за которым торговали солью, табаком и колониальными товарами. Словом, хоть и не во всем схожий, но такой же трактир, как тот, где я познакомился с саперами: память всегда связывала с ним заведение Чезарино. Теперь эта траттория вошла в моду. Ее обновил Армандо, хотя сам он изменился меньше кого-либо из ребят. Конечно, он может называть своих родителей, синьору Дору и папашу Чезарино «бедными стариками», но вынужден тут же добавить: «Не так уж трудно оказалось убедить отца продать вон те три участка земли и вложить деньги в дело».

Прилавок сохранили, во-первых, ради оригинальности, во-вторых, пришлось посчитаться и с тем, что тут уж Чезаре Букки не уступил бы ни на йоту: стоя без пиджака, в жилете и фартуке, он упорно пренебрегает новыми посетителями ресторана. Поверьте, его просто радует, когда женщины из ближнего квартала Кастелло забегают вечерком купить сто граммов ветчины, бутылочку сока «омо» или «эйр-фреш», сталкиваясь у входа с синьорами в норковых манто.

Снаружи, где прежде горела всего одна лампочка, теперь соорудили светящуюся арку, а прежняя надпись мелом по оконному стеклу «Готовые макароны в соусе», с искривленной буквой «н», теперь превратилась в красно-голубую рекламу из неона «Траттория «У лисицы». Жаркое на вертеле! Заходите к Чезарино».

Скатерти на всех столиках, на каждом зажженная шика ради свеча. Внутри все оставили по-прежнему, только заново побелили, подчеркнув деревенский стиль заведения, который прежде пытались замаскировать. Под сводами какой-то случайный художник в незапамятное время намалевал пейзажи, изображающие гору Морелло и Горэ, они теперь красовались там, откуда Чезарино с тяжелым вздохом снял лубки, изображавшие плачущих и смеющихся картежников; раньше на самом видном месте висела картинка, изображавшая шулера, который передает при помощи пальцев ноги решающую карту одному из игроков. До того были загажены мухами эти лубки, что однажды дело дошло до вмешательства санитарного надзора. «Они тут всегда были»,— защищался Чезаре. Теперь он, сжав кулаки, возводил глаза к небу: «Смиряюсь!» Подобно спущенному флагу, сошли со своих привычных мест реклама пива Пашковского, марсельского мыла, воска «эврика» и даже надпись угро-

жающего содержания: «Не плевать. Непристойные выражения воспрещаются».

Армандо пробил стену, устроил застекленный переход во второй зал, большой, просторный, пригодный и для банкетов: зимой там тепло, летом прохладно. (Тут прежде был хлев, где мы впервые узнали женщин.)

Кухня, тоже просторная, теперь выставляет напоказ огромный вертел и по-прежнему полное, разгоряченное огнем, терпеливое лицо синьоры Доры, которая бдит у очага. Помогают ей обе дочери, которые поступили в подчинение к Армандо вместе с мужьями-официантами. (Прежде они обрабатывали участки земли, прилегающие к трактиру. Крестьянин легко становится официантом, у него к этому склонность.) За стеклом виден садик, сюда в теплое время года выносят столики, а раньше здесь был ток и стояли клетки с кроликами, курятник, пчелиные ульи, а дальше начиналось поле, окаймленное стогами сена,— задний план этой сельской сцены.

— Раньше здесь, понимаешь, была избушка на курьих ножках,— говорит Армандо.— Ну, а теперь я дам сто очков вперед даже загородному ресторану «Гомер».

— Тут куда лучше, чем у Цокки в Пратолино!

— Лучше даже, чем в той крытой стеклом траттории, которую Сабатини в июле открывает на Виа-де-Панцани, верно?

— Лучше,— отвечаем мы хором.

— Ну ее к ... ребята,— не выдерживает Армандо.— Немного денег я из нее выколачиваю, но знали бы вы, сколько это стоит крови и пота.

Уж верно, что он никогда не станет таким, как тот Лучани.

Для большинства людей полдневный гудок — всего лишь показатель времени, однако школьников он срывает с парт, рабочих отрывает от фрезерных и токарных станков. Одни добрались до середины рабочего дня, для других с делами покончено: уроки готовят дома после ужина или утром до завтрака. Покуда мы складывали тетрадки и выстраивались в ряд, Милло успевал вытереть руки, натянуть куртку на молнии, сесть на велосипед и проехать полкилометра, отделявшие завод от школы. Я обнаруживал его за кучкой матерей, ожидавших у выхода самых маленьких. Одна нога на земле, другую он так и не спускал с педали. Я быстро вскакиваю на свое место. Ловкий прыжок вознаграждает за разлуку с Дино, которому я вынужден сказать:

— Пока, значит, встретимся вместе с Армандо у тростников.

Не успеешь как следует устроиться, и мы уже мчимся. Стоило мне чуть сдвинуться с рамы, как Милло тотчас выправлял дело, награждая меня подзатыльником.

— Ну, как делишки? — спрашивал он. Шлепок, который меня уже не сердил, или грудь, прижатая к моим плечам, подчеркивали его упрек или одобрение. Ехали мы быстро. Вклиниваясь меж двумя рядами машин, обгоняли трамвай на повороте у площади Далмации, возле виа Реджинальдо Джулиани, которую заливали асфальтом. Хотели выиграть минуты и даже секунды. Мы приезжали к Чезарино в двадцать минут первого или в восемнадцать минут двадцать секунд, восемнадцать минут и сорок секунд. Покуда Милло не купил мотоцикл «бенелли», наше рекордное время составляло 15′18″, хронометр, все тот же, что и теперь, соврать не мог. Мы даже установили этот рекорд в дождливый день. Потом смеялись:

— По мокрой дороге трудно ездить, зато транспорта меньше.— Я сидел, надвинув на лоб капюшон плаща, но вода все равно попадала в глаза; лицо было мокрое, носки и ботинки в грязи.— Давай! Жми!— кричал я, охваченный восторгом.

— Что мать скажет, когда тебя увидит? — говорила синьора Дора.— Поди сюда, приведи себя в порядок!

Милло в это время снимал берет и, как всегда, причесывался у зеркала в кухне.

Чернорабочие и крестьяне, потягивавшие вино, подходили к нему, перебрасывались оживленными репликами о политике, о делах профсоюза. Милло усаживался, поддерживал разговор, ел. Казалось, он просто заглатывает еду, хотя на самом-то деле все как следует разжевывал; я еще возился с супом, когда он кончал обедать. Шел ли дождь, светило ли солнце, но уезжал он ровно в час без 6'30", выпив кофе и закурив сигарету.

— Сирена зовет нас! — говорил он.

Тогда на его место садился Армандо.

— Ты знаешь, что я открыл? — спрашивал он.— Знаешь, что я нашел? Угадай.

Дино и я подросли, а он оставался все тем же крестьянским пареньком из предместья, которого мы заставляли таскать у отца сигареты. Мы любили над ним подшутить — купаясь, топили в речке, уверяли, что заноза не дает шагу сделать, и он переправлял нас на другой берег, взвалив к себе на спину. Он был ниже ростом, но сильней нас, ему пришлась по душе наша удаль, а значит, и наши командирские замашки и наши насмешки. Он видел в них нечто само собой разумеющееся и как бы отдавал должное нашей сообразительности. И все же он был хитрец, а не тупица. Мог, например, подолгу скрываться под водой, хоть и нырял без маски: улучив время, хватал нас за ноги и заставлял нахлебаться той речной водицы, которую мы предназначали ему; за табак, украденный у отца, заставлял нас решать задачки по арифметике. Он первым овладел Электрой, это было, когда у нас еще молоко на губах не обсохло.

— Я нашел лису! Знаю нору!

В те дни Иванна уходила в утреннюю смену и возвращалась не раньше трех-четырех; придя с работы, она усаживалась за наш столик, в углу подле кухни, у самой двери, ведшей к току. От нее пахло духами, она казалась элегантной. Сев за столик, она спрашивала:

— Чем вы меня покормите, синьора Дора? Только что-нибудь полегче, я смертельно устала.

Она трепала меня по щеке, приглаживала вихры:

— Не вертись! Дядя Милло тебя проводил? Что ты ел? Ты что-то бледный, потный весь — на себя не похож.

Она закуривала сигарету, втягивала дым, загоняла его в ноздри, а потом, приоткрыв губы, пускала колечки:

— Да, конечно, синьора Дора, чашку бульона.— Словно все еще в кассе, словно все еще за витриной, она выставляла себя напоказ шоферам, которые в этот час обедали за другими столиками.

Сбросив школьные халаты, мы с Армандо выскальзывали из траттории под доброжелательными взглядами синьоры Доры; сторонкой обходили зятьев, которые взрыхляли землю мотыгой, шагали за плугом, удобряли почву сульфатами, пололи сорняки, поили скот, косили травы и сено. Потом мы извилистыми тропками добирались до речки, где нас поджидал Дино, теперь уже втроем карабкались на косогор Монтеривекки: здесь тополиные аллеи и оливковые рощи сменялись молоденькими, невысокими кипарисами, берег был усыпан камнями, ноздреватыми и шуршащими, как пемза; наконец мы оказывались у оврага, над которым, словно атомный зонт, возвышался огромный дуб. Здесь была

лисья нора. Армандо был нашим главным егерем. Вел он себя соответственно, и мы преисполнились к нему уважения. Он колышками обозначил путь от самых корневищ дуба к норе, которую не так-то просто было обнаружить в щели между валунами, за лужайкой. Вооружившись заостренными кольями, мы поползли к норе, обдирая пальцы о сучья и кусты ежевики; капельки крови тотчас же впитывались в землю. Затаив дыханье, бесшумно продвигались мы сквозь заросли можжевельника и вереска, теперь экспедицию возглавлял я, Армандо замыкал шествие; мне то и дело приходилось оборачиваться, и он кивком головы указывал мне путь до следующей вехи. В долине раздавалось эхо выстрелов, доносившихся с полигона в Терцоллине. Мы замирали, боясь, как бы вспугнутая ими хитрая лиса не сбежала. Оборачиваясь, я встречал восторженный взгляд Дино.

Осень была на дворе, сухие листья потрескивали под нашими коленями, и шорох этот казался нам оглушительнее выстрелов на полигоне. Когда мы добрались до последнего колышка, я подал Армандо знак подползти ко мне.

— Она здесь,— прошептал он, приблизившись; опустив голову цвета воронова крыла на вытянутые руки, он очень походил на притаившегося кота. Он внезапно вскочил и бросился на куст можжевельника, выглядывавший из щели между валунами. Приземистый, но ловкий, Армандо был очень силен для своих лет. Раздвинув куст, он разрыхлил почву, и мы увидели вход в нору, отверстие, в которое, казалось, может проникнуть разве что сурок. Проскользнула потревоженная ящерица, муравьи забегали по нашим коленкам и рукам. Прильнув к земле щекой, я заглянул в щель; пришлось поначалу привыкать к темноте, затем я различил два вспыхивавших и гаснувших огонька. В нос ударил запах дичи, смешанный с острым ароматом можжевельника и свежестью мирта.

— Она здесь, здесь, шевелится,— прошептал я.

Армандо рассеял чары, он встал и сказал:

— Она нас услышала и не вылезет теперь из норы.

Мы собрали сухие сучья и листья, обрывки газет, промасленную желтую бумагу, валявшуюся после пикника,— она-то нам особенно пригодилась,— забили поплотней в нору, и Дино поджег весь мусор. Поднялся столб пламени и дыма. Теперь мы присели на корточки по обе стороны норы. Армандо укрылся поодаль, за дубом, мы даже подумали было, что он струсил. Палку он держал как игрок в бейсбол.

— Лупите по ней сразу, а то она раздерет вас не хуже волка.

Голос его звучал еле слышно, мы с Дино молча подбадривали друг друга улыбками. Огонь запылал сильней, языки его лизали запал из бумаги, проникали внутрь норы. Пока еще ничего интересного не происходило, только пламя с треском пожирало сухие листья да слезы выступали на глазах от дыма. Внезапно лиса вырвалась за огневую завесу и, воя, пролетела, как снаряд, задев нас хвостом; ни Дино, ни я и опомниться не успели. Но в то же мгновенье Армандо, не сходя с места, размахнулся палкой и ударил ее на лету, она грохнулась наземь и, оглушенная ударом, скатилась на спине под откос. Армандо бросился к ней и что было сил стукнул по голове. Тогда и мы подбежали, опьяненные победой. Испуг прошел, силы возросли стократ, мы колотили лису, покуда не размозжили ей голову. Теперь она лежала неподвижно — пасть в крови, глаза закрыты, острые зубы оскалены.

Лисью тушку спустили в колодец, почти на самое дно, и через неделю, когда мясо стало помягче, зятья ее ободрали, а синьора Дора приготовила жаркое. Соус был приторным, пряным, противным на вкус, однако Армандо пальчики себе облизывал. Милло с Иванной тоже пола-

комились, хоть и ругали нас вместе со всеми: Иванна чуть с ума не сошла при мысли об опасности, которой мы подвергались.

— Похоже на зайчатину, но с другим привкусом... куда лучше, чем рагу из дичи... Жаль, что ее не едят с макаронами.

Лисятины отведали и чернорабочие, и водители грузовиков. Ел ее и Дино, которого мы пригласили. Ему было даже неловко передо мной за то, что она так пришлась ему по вкусу.

Армандо припомнил эту историю, когда пришло время менять вывеску над трактиром.

Глава 9

Порой я спрашиваю себя, не могла ли вся моя жизнь стать не просто иной, но и лучше, открыть мне дорогу к более сознательному опыту, к более обширным интересам и целеустремленному мышлению, если бы «мы пошли на жертвы», как сказала Иванна на семейном совете, решавшем мое будущее. Мы живем в обществе, где в железной схватке сцепились не иссякшая еще энергия капитала, которому буржуазия на каждом шагу подставляет плечо, и мощь пролетариата, который, выйдя на сцену истории, еще связан по рукам и ногам смирительной рубашкой демократической системы. Мы живем в обществе, которое порвало с наследственными привилегиями и свободной инициативой. В нашем обществе понятие богатства связано лишь с понятием коррупции, у нас больше не импровизируют, у нас лишь переходят из одного слоя в другой, все существенное обусловлено идеологической и моральной зрелостью специалистов, в руках у которых исследовательское дело и производство. Я спрашиваю, считали ли своим долгом Иванна и особенно Милло, решая мою судьбу, дать мне образование, открывающее доступ к карьере инженера? Сложись все по-другому, и я бы сегодня сидел на университетской скамье, а не стоял бы у фрезерного станка; мой мозг был бы занят математическими вычислениями, а не резьбой детали. Как вышло, что тщеславие Иванны не возобладало над рассудительностью Милло? Я сделался бы посредственным инженером или администратором, душой и телом преданным хозяевам, может, стал бы даже ускорять ход конвейера, превратившись в служащего заводской администрации. Нет, я слишком уважаю себя, чтоб заниматься такими предположениями! Оказавшись не на месте, я был бы способен, без особого сожаления, вернуться в строй, но это подвергло бы испытанию мои возможности. Таков обман и высшая несправедливость системы, и нет таких human relations *, которые могли бы их устранить. Вся система «человеческих отношений» нарочно задумана, чтобы узаконить подобное положение. Таким, как я, подлинные «тесты» предлагают при рождении, это единственно важный экзамен психотехники. За нас отвечают отец с матерью — живые или мертвые. Сантини Морено — квалифицированный рабочий, Иванна Бонески, неудавшаяся учительница, теперь кассирша. Выбор сделан. Ты мог стать барменом или фрезеровщиком, мог выбрать иную дорогу, которая не привела бы к такому итогу.

Обо всем этом нельзя забывать — я и помню. Впрочем, я лишь изредка бываю неспокоен, а вообще-то я счастлив. Ответ заключен в самом вопросе: нельзя бунтовать в одиночку. Когда ты один, тебе хочется швырять ручные гранаты, хочется стрелять. Старики об этом позабыли, а может, никогда всерьез и не думали. У меня самого появляется по-

* Человеческих отношений *(англ.)*.

требность в иных мерках, когда мы вместе с Лори начинаем выяснять, зачем живем, каково наше место в мире.

Но эта глава начнется с того дня, когда Лори вошла в мою жизнь. А покуда мне только одиннадцать лет, на руках у меня табель с отметками, почти сплошь четверки и пятерки, только по итальянскому тройка. Вот какое нам велели написать сочинение: «Подходит лето, расскажи, как ты проведешь каникулы. Чем бы ты хотел заняться, когда кончишь начальную школу?»

Я решил написать всю правду, но вышло не на тему. Написал, что только раз в жизни побывал у моря, еще совсем маленьким; еще написал про ежедневный отдых после уроков, и про зимние каникулы, когда дует трамонтана *, и, главное, про летние, когда так сильно печет солнце, и про то, что стоит мне только оказаться вместе с Армандо и Дино, как мы начинаем охотиться на лисиц и подкладывать петарды на рельсы там, где возле Ромито колея уходит в сторону (петарды такие, что даже скорые поезда надолго останавливаются). Насчет будущего все, конечно, ясно — поступлю на «Гали»! Разве есть на свете что-нибудь привлекательнее?

Выбор я сделал сам — буду работать на фрезерном станке рядом с Милло. Милло и Иванна помогли мне, может быть даже были растроганы моим решением, но что поделаешь, если их кругозор не шире окошка кассы, ворот цеха. Их идеалы, их чувства остановились в развитии; они называют это верностью, считают это постоянством.

— Ты думаешь, я не хотела,— говорит она мне теперь,— чтоб сын у меня был образованный? Да ради такой цели я готова была бы землю рыть, пойти на любые лишения. Я тогда была еще молода, могла не бояться за завтрашний день, не мучить себя вопросом: а что, если не смогу больше платить за учебу и Бруно окажется на распутье? Ничего подобного у меня и в мыслях не было, я ведь не скряга, не эгоистка. Конечно, я бы не согласилась на помощь Миллоски, и ни от кого бы ее не приняла. В те времена я работала в баре «Дженио», жизнь улыбалась мне, несмотря на все тревоги.

— Тогда жив был Лучани.

Она вздыхает, но оставляет мой вызов без ответа.

— Я даже подсчитала, ты получил бы диплом к моему сорокалетию. Мне и сейчас еще до этих лет далеко, но думалось, что приду к ним в лучшем состоянии, а вот износилась, выдохлась...

— Неправда, вечно ты прибедняешься, не кокетничай, пожалуйста!

— Тогда мне нравились темные костюмы, ты знаешь, траур ведь я никогда не надевала.— Был у нее такой жакет стальной, с синеватым отливом, цвета «лондонского дыма» — не совсем, конечно. Платья она носит целую вечность, никогда не идет в ногу с модой. Ей они нужны, только чтоб проехать на работу и обратно в автобусе да пройти от остановки, все остальное время она то в рабочем, то в домашнем халате.— А ты еще носил короткие штанишки, конечно, и в тот вечер у тебя были исцарапаны колени.

— Ну, а он как выглядел?

— Миллоски?

— Вот именно.

— Как он мог выглядеть? Всегда один и тот же коричневый плащ, рабочий комбинезон или все тот же серый костюм.— Только на ее свадьбу с Морено, припоминает Иванна, он пришел в синем костюме.— Наверно, одолжил у кого-нибудь, хоть сидел он на нем недурно. Ну, волосы у него тогда были — целая копна, ярко-рыжие, прямо огонь.

Она словно пытается остановить время. Одно воспоминание цеп-

---

* Северный и северо-восточный ветер.

ляется за другое, она задерживается на тех, что способны разжалобить наверняка. Словно она под следствием.

— Все из-за твоей несговорчивости,— заявляет она порой, нарочно уводя разговор в сторону, чтобы не дать мне повода судить ее.

— Что ж, мама, может, хочешь, чтоб я сам рассказал тебе про этот вечер?

— Уже поздно, разве тебе не хочется спать?

— Я ведь ни в чем тебя не упрекаю,— говорю я, чтоб успокоить ее.— Ты поступила правильно — именно такой и должна быть моя жизнь.

Прежде чем они заговорили об этом со мной, я уже все обсудил с Дино: в октябре его ждала переэкзаменовка, которую он вряд ли бы выдержал; впрочем, считал он уже достаточно хорошо, для того чтоб встать за прилавок рядом с отцом, глаз у него зоркий, и он отлично разбирается в соломенных сумках, кошельках, папках с тисненым гербом Флоренции — красной или золотой лилией.

— Хочешь, поспорим: они захотят, чтоб ты учился дальше.

— Я поступлю на «Гали».

— Тогда придется идти в техническое училище.

— Само собой. Я поступлю в училище при заводе. Туда принимают с шестнадцати лет, даже стипендию дают — двадцать тысяч в месяц.

— Когда у нас дела идут хорошо, мы за один час кладем в кассу двадцать тысяч.

— У вас торговля — на «Гали» работа.

— Да, но не на воздухе, а в цехе. Там тебе не понадобится твой американский язык. Смотри, как у меня все славно получится: буду стоять у лоджии Порчеллино, переводить разговоры отца с туристами, их там всегда полно.

— А я буду рядом с Милло, он возьмет меня в свой цех, мы с ним будем работать на одном станке.

— Он тебя приворожил.

— Ничего не приворожил. Просто он отличный фрезеровщик, как мой отец.

— А покуда тебя пошлют к отцу Бонифацию, «святому из квартала Рифреди», к нему посылают всех бедных сирот, у него и школа и завтрак бесплатные, там у них спортплощадка, даже стадион, они ходят на экскурсии, но уж мимо церкви не пройдут, прислуживают во время мессы. С его рекомендацией...

— Я не бедный. Я к мессе не хожу.

— Если хочешь поступить на «Гали», придется идти к нему.

— Мне положено место отца. Если нужна рекомендация, мне ее даст Милло, а не отец Бонифаций.

— Почему? Разве коммунисты сильней попов?

— Да, Милло сильней,— ответил я.

Обычная сцена наших семейных комедий. Мы сидим в гостиной, втроем за круглым столом. Милло скинул плащ и в тысячный раз закуривает вечно гаснущую тосканскую сигару, Иванна, в жакете с синеватым отливом, с узкими рукавами до локтя, быстрым движением подставляет ему пепельницу. На столе подарки: две книги путешествий, альбом комиксов, коробка с калибрами, угольниками, гайками. На крышке написано: «Маленький инженер». Я держу руку на коробке, которую уже успел изучить. На тарелках пирожные, Иванна наливает вермут, они пьют, произносят разные тосты.

За окном дождь. В коридоре хлопает штора. Иванна пошла закрыть ее. На несколько секунд мы с ним остаемся вдвоем.

— Когда она станет тебя спрашивать, отвечай правду,— говорит он мне.

Она возвращается, садится к столу, облокачивается на него, скрестив пальцы.

— Вот пусть дядя Милло, как всегда, даст нам совет,— начинает она.— Но прежде всего ты сам должен мне ответить на мои вопросы. Я твоя мать и желаю тебе добра.

— Дядя Милло тоже хочет тебе добра,— говорит он.

— Конечно,— подтверждает она.— Так вот слушай, Бруно. Я подумала: если пойти на кое-какие жертвы...

— Я хочу поступить на «Гали»,— перебиваю я ее речь, заранее, видимо, подготовленную.

— Разумеется, нужно только подумать, как это лучше сделать.

— Кем стать — генералом или солдатом,— поясняет Милло.

— А у тебя какое звание? — спрашиваю я.

— Не бери пример с меня.

— Почему? Чем ты плох?

— Не в этом дело. Когда я подрастал, был фашизм, и мне пришлось больше сидеть по тюрьмам, чем работать на заводе. Как бы там ни было, начал я чернорабочим, словом, не командиром, а рядовым. Начинаешь с рабочего, потом становишься мастером. Но теперь ведь фашизма нет!

— Фашистов свергли ваши партизаны.

— Не о том речь,— вмешивается Иванна.— Ты хочешь поступить на «Гали». Ну что ж, для тех, кто родился в Рифреди, завод — это их судьба.— Она нервно одергивает рукава жакета, после каждой затяжки кладет сигарету на пепельницу и снова берет.— Да, для тех, кто родился в Рифреди, лучше «Гали» нет ничего на свете. «Гали» — это весь мир, Мекка, «Гали» — это вся жизнь.

— Да, пожалуй, так оно и есть,— соглашается Милло.— Тут не просто кусок хлеба, а символ. Ребята приходят к нам и чутьем понимают, где правда зарыта. Не говоря уже о том, что это один из самых совершенных заводов, хоть теперь он, пожалуй, немного устарел и нуждается в перестройке.

Ни она, ни Милло не замечают, какова моя роль в этой беседе, из которой они меня исключили. Они расчувствовались; мне кажется, что все уже решено, что я уже их одолел.

— Твой отец, как и дядя Милло, был отличным рабочим. Хорошо знал свое дело,— вновь начинает она.— Вот он вернется, сам убедишься!

Пауза. Иванна покусывает губы. Я гляжу на нее и на Милло, который сидит, опустив голову.

— Разве ты не хотел бы занять его место, но не солдатом, а командиром?

— Станешь крупным инженером.— Милло тычет пальцем в крышку коробки.— Но для этого нужно учиться в десять раз больше и лучше, чем до сих пор. Намного дольше, чем в начальной школе. Мама по-прежнему готова приносить себя в жертву, работать ради тебя... Что ж, если б она согласилась... Живу я одиноко, всего заработанного не трачу...

— Вы так и в шутку не говорите,— говорит она.— Что ребенок подумает?

Он смущенно вертит в руках свою сигару, разглаживает усы и уже шутя произносит:

— Вернемся к этому разговору в шестьдесят четвертом году, когда он будет на втором курсе университета.

Иванна, помолчав, обращается ко мне:

— Возьмешься за учебу? Математика тебе нравится? Ты любишь решать задачи?

— Хочу быть солдатом,— говорю я. И опять гляжу на них, прищурившись. Я кажусь себе при этом ловким и хитрым победителем. Разговоры о том, чтоб учиться в десять раз больше, это, конечно, ловушка: они хотят оттянуть мое поступление на «Гали», отнять у меня кусок жизни, вернее, этого хочет она, Милло же, конечно, на моей стороне, он это говорит лишь ей в угоду, а на самом деле ждет, что я буду стоять на своем.— Хочу стать фрезеровщиком, больше не стану учиться.

Все разыграно по всем правилам, в необходимый момент он приходит мне на помощь:

— Мы же не хотим, чтоб он сбился с пути!

Иванна сдается. Ее глаза наливаются слезами, она достает из кармана платок и утирает их.

— Учиться все равно нужно. Так что же ты решаешь?

— Три года в техническом.

Я вскакиваю на стул и начинаю целовать их — сначала ее, потом его, они сидят, и я целую их в лоб.

— Только не к отцу Бонифацию,— заявляю я.

Милло соглашается, продолжая поглаживать усы. Иванна качает головой и вздыхает.

— Вот, Миллоски, видите — ваше воспитание. К отцу Бонифацию со всеми этими сиротами я его никогда не пошлю. Я и к мессе его не приучила, раз уж сама не хожу. Но сама я не хожу в церковь лишь потому, что у меня нет времени, я этим вовсе не горжусь! О священниках я никогда ему плохого слова не сказала. Говорить о них дурно — все равно что обучать ругани.

— Я их тоже при нем не ругал,— говорит Милло.— Он сам разобрался в этом, как и во многом другом. Дети подрастают, Иванна. Не нам жаловаться, если они растут такими, как надо.

— Да,— произносит она.— А покуда,— и она снова вздыхает: это у нее такая привычка,— а покуда он до самого октября будет целыми днями шляться у речки без всякого надзора.

— Он слишком мал, чтоб поступать на завод, такого и в подмастерья не возьмут. Может быть...

— Что? — я открываю коробку и начинаю укладывать в ряд детали.

— Вот ты хочешь стать фрезеровщиком, но ведь ты и книги любишь — значит, тебе интересно будет поглядеть, как их печатают.

У его приятеля (он был также приятелем Морено, но только Иванна его не помнила) была небольшая типография в Борго Аллегри.

— Типография крохотная,— говорит Милло,— он один там управляется со всей работой, ему нужен мальчик, главным образом для разных поручений... Откровенно говоря, я уже все уладил.

За то лето я изучил все: и как работает печатный станок, и как обращаться с литерами и наборной доской, и как сверстать визитную карточку, бланк или воззвание. Я этим увлекся, но не слишком привязался к делу — не мое это ремесло. Трудно было себе представить хозяина лучше бедняги Каммеи. Он ходил в куртке, вечно залитой чернилами и вином, страстно увлекался лото, играл на гонках, покупал билеты футбольной лотереи, всегда нуждался в деньгах, жил среди постоянных семейных неурядиц.

Настал октябрь, и я стал ходить в техническое училище. Снова вернулся я к речке Терцолле, к Армандо и Дино. Лишь потом я понял, что, сам того не зная, пережил решившие мою судьбу месяцы. Бывает, бросишь невзначай в землю косточку, а вырастет персиковое деревцо.

Глава 10

Армандо был моим подчиненным, а Дино — уже в ту пору — настоящим другом, школьным товарищем. Еще в давние времена прогулок в саду у крепости, которые в моей памяти связаны с исчезновением синьоры Каппуджи и смертью Лучани, мы вместе с Дино заключили союз с солдатами неграми. Не жулики, не чистильщики сапог, мы просто «little friends» *, беззаботные мальчишки, которых с ними сравняла дружба; еще больше нас сблизил непостижимо быстро усвоенный жаргон американских солдат. «You no go» **,— предупреждали мы их, когда проститутки вместе со своими покровителями намеревались обобрать их до нитки или подсунуть денатурат вместо виски, а не то и мочу вместо пива (как случилось однажды с Томми Уотсоном, черным-пречерным: он напился до бесчувствия, так и не поняв, чем его угостили).

— Хуже, чем Томми из Иллинойса,— говорим мы, когда кто-нибудь из «стариков», толкуя о преимуществах демократической системы, вдруг решает, что в «новых исторических условиях не исключена возможность прихода к власти трудящихся классов просто путем завоевания большинства в парламенте». Причем это, боже упаси, не реформизм, а лишь «аспект революционной диалектики».

— Хуже, чем Джесс Буйе из Колорадо — тот самый, что непременно хотел переспать с Бьянкиной, хоть она и говорила: «Завтра ложусь в больницу — сифилис есть сифилис, ничего не попишешь, зато сегодня успею наградить еще нескольких. Впрочем, разве я не от них заразилась?»

— Хуже, чем Боб Джонсон, куда хуже, чем Энне Ипсилон из Гарлема,— говорит Дино.— Тебя в тот вечер не было. Шпагат выманил у него сто долларов за медную цепочку.

Дино, как тогда у норы, постоянно заглядывает мне в глаза. У него глазищи зеленые, большие, как у девчонки: взглянет на меня — и опустит их. Нет, это не условный знак, просто переглядываемся, чтобы показать, что поняли друг друга. Он то ласков, то драчлив; не так, правда, силен, как Армандо, но уж, конечно, не слабей меня. А станешь с ним бороться — и падает на обе лопатки, упрешься ладонью в ладонь, чтобы померяться силами,— его рука повиснет, как тряпка, побежим вперегонки — он остается позади, всего за несколько метров до цели. «Нет у тебя рывка,— говорю я,— духа тебе не хватает».

Он всегда дает мне свой окурок для последней затяжки, так же как потом всегда будет протягивать зажигалку. Лежа на отмели, я читаю вслух похождения Бесстрашного, а Дино, пристроившись за моей спиной, слушает и через мое плечо разглядывает рисунки, в то время как Армандо скучает и мечтает о том, как откроет большой трактир. Он всегда усаживается чуть поодаль, вечно готовый к бунту и побегу, и заявляет, что Супермен-Нембо, Кид-Кларк Кент и Бэтман и Робин *** вообще никогда не жили на свете.

— Никакой Луизы Лэйн никогда не было, это одни выдумки, зато какую девочку я нашел!

Я хожу уже во второй класс технического училища, Армандо остался в школе на второй год. Мы с Дино носим свои первые «взрослые» куртки и первые джинсы (Иванна разрешила по случаю окончания школы). «В этих штанах ты совсем такой же, как другие мальчики... Но раз и дядя Милло согласен — то что я могу? Вырастить тебя и только. От сидения в кассе спину так ломит...»

---

* Маленькие друзья *(англ.)*.
** Не ходите *(искаж. англ.)*.
*** Персонажи американских комиксов.

Дино давно уже покончил с учебой. Помогает теперь отцу у прилавка «Souvenirs of Florence» *. Говорит, что ходит в вечернюю школу, нас догоняет.

Зима. Мы сидим под навесом, вокруг зеленеют одни лишь мрачные кипарисы. Вдали видна покрытая снегом вершина горы Инконтро, снег, должно быть, и на вершинах Монтесенарио и Монтеченери и на самой макушке Морелло, что неподалеку от них. Под лучами солнца сверкает полоска снега.

Только что прошел дождь, потеплело, туман рассеялся. Синьора Дора дала нам пригоршню жареных, почти обугленных каштанов. Мы вышли на шоссе, забрались в кабину грузового «доджа», покуда оба водителя обедали у Чезарино.

— Расскажи все толком.

— Она и вправду согласна.

Мы словно внутри крепости. Ветровое стекло запотело. Я сижу за рулем, Армандо мы устроили посередине — пусть только попробует что-нибудь от нас скрыть. Со стен кабины нам улыбаются лица кинозвезд, вырезанных из журналов.

— Я ее вот так же близко видел,— клянется Армандо,— но мне еще не удалось.

— А что?

— Вас ждал, чтоб с ней справиться, она влюблена в тебя,— и он показал на Дино.— Говорит, ты высокий, совсем уже мужчина. Она гречанка, зовут ее Электра, лет ей примерно столько же, сколько нам, но выглядит взрослой. Работает на фармацевтическом заводе, часто ходит за покупками.

В тот вечер у фармацевтического стояли трое заговорщиков. На Электре был зеленый, туго стянутый поясом плащ, она шла на высоких каблуках, как на ходулях, держа в руке зонтик. Приблизившись, она поздоровалась с Армандо, словно в знак благодарности, но глядела только на Дино.

— Привет,— сказала она ему, а на меня попросту не обратила внимания. Дино пристально посмотрел на меня, я промолчал: это означало, что я принял это как должное.

У Электры губы были накрашены, ресницы подведены.

— Это ты, Дино?

— Да, но я вместе с ними.

— Армандо я знаю. А это кто?

— Это Бруно. Он мой друг. Настоящий парень.

— Хорошо, но я бы хотела поговорить с тобой. Проводишь меня?

Дино вернулся через полчаса.

— Все правда, она согласна,— сказал он.

— Вот видишь! Вот видишь! — повторял Армандо.

— Но только со мной.

— Вот видишь! Вот видишь!

— Но где? В такое время года? — спросил Дино. Не дожидаясь нашего ответа, он обратился к Армандо: — Я вот что придумал: покуда зятья ужинают, в хлеву не бывает ни души!

— Что? У нас в хлеву? — Армандо возмутился: — А если накроют?

Пришлось пригрозить, что если он струсит, то ни сегодня, ни когда-либо вообще я не стану решать за него задачи. Так я поборол его страх.

Я был знаком с женщинами из крепости, женщинами, которых разруха военных лет и голод выгнали на улицу. Голод во времена расцвета несбыточных надежд и неосуществимых иллюзий — вплоть до самой утопической мечты о браке с американцем и отъезде в Иллинойс или

* Сувениры Флоренции *(англ.)*.

Колорадо. Такие уж были времена, когда с гор — из тюрем, из лагерей истребления — возвращались люди, чистые духом, с сердцами, горячими, как само солнце, когда люди, прошедшие школу революции, несли идеи, которые должны были взбудоражить старый мир, переделать его на новый лад, чтобы наконец-то добиться справедливости на земле. Но иные из них дали себя уговорить, сложили оружие и начали ту игру в ораторское искусство, в которой последнее слово принадлежит раздающимся время от времени автоматным очередям, теперь направленным против них же.

Вряд ли хоть одна из этих женщин разбогатела. Эти слепые жалкие кротихи жили в обществе, где царят звериные законы и где устроить свою судьбу так, как сами того пожелают, могут лишь те, кто обладает ловкостью и беспощадностью тигра или коршуна. С годами они все глубже увязали в трясине, если не погибали, как, например, Бьянкина, та самая, что заражала сифилисом цветных солдат. Возможно, ее убийцы до сих пор ходят среди нас. Сначала ее придушили, а потом, надругавшись над трупом, забили песком и галькой рот, ноздри, уши... Кто знает, стала ли она жертвой своих же дружков или какого-нибудь осатанелого садиста? Труп Бьянкины нашли на лугу Белларива, лицо ее было страшно искажено, один глаз открыт — словно смерть, исказив ее черты зловещей гримасой, сама испугалась дела рук своих...

А чем краше судьба их подруг мирного времени — тех, что, едва стемнеет, шатаются у вокзала или бродят по парку Кашине, подобно часовым, стерегущим мощи святых и героев в нишах Орсаммикеле?

Толкаясь среди солдат негров, проезжая мимо них на своем мотоцикле, я слышал непристойные речи проституток, понял, что этой броней цинизма они защищаются, как морские ежи своими острыми иглами, видел, что грубость в них перемешана с нежностью и покорностью своим покровителям, тем, кто их поддерживает и дает им силы жить. Да, соглашаясь с подобной участью, эти существа теряют право на наше милосердие и жалость. Правильно, должно быть, поверхностное на первый взгляд суждение Дино; его приговор жесток, ясен и обжалованью не подлежит:

— Суки они! Пропащие они, пропащие. Они еще худшие свиньи, чем те, кто к ним ходит.

Раз уж мы считаем себя вправе ставить в вину старикам их слабости и измену разуму, то на нас лежит долг — понять, в чем цель жизни молодых, определить, какое в ней место отведено каждому. Но как объяснить и понять вот такую Электру? Ей было примерно столько лет, сколько нам. Дино говорит:

— Дело прошлое, неужто теперь, когда столько воды утекло, тебе нужно копаться в таких вещах? Разве Розария, скажем, в чем-то не такая же, как она?

Нет, у Розарии — ее мы узнали позднее — была своя логика. Я потом расскажу о ней. А Электру понять было невозможно. Она не была больна, хотя, казалось бы, только болезнью можно объяснить чрезмерный избыток жизненной силы, ведший ее к самоуничтожению, которое есть отрицание жизни.

Я говорил об этом с Лори в один из наших вечеров.

— Милый,— сказала она,— ты из угрызений совести все слишком преувеличиваешь. Электра, наверно, была просто распущенной, а вы, ребята, этим злоупотребляли.

Нет, это не совсем так. Электра уже была женщиной, она рассуждала, думала, хоть мысли ее менялись на ходу, как бы утрачивая всякую цену тотчас после того, как она их высказывала. И вовсе не избыток чувственности руководил ею, а внушенное самой себе любопытство,

побуждавшее ее отдавать свои ласки все новым и новым лицам, изумляться все новым открытиям.

— Самая обыкновенная шлюха,— говорит Дино.— Не думай об этом так много. Другие просто притворяются, а она все делала всерьез. А помнишь, как ты мне за эту потаскуху всыпал так, что я до сих пор перед тобой в долгу, а теперь опять говоришь о ней.

Если я вспоминаю о ней снова и снова, причиной тому не угрызения совести, не запоздалое банальное любопытство, а нечто совсем иное.

Нам было лет по четырнадцать, пятнадцать (стоит об этом напомнить!), и мы все еще были зелены по сравнению с Электрой.

Она пришла вовремя; уже настал вечер, резкий ветер с моря заставил раскраснеться наши лица. Она сошла с трамвая, пересекла улицу, на остановке поджидал ее Дино. На ней был жакет из белого козьего пуха, фиолетовая юбка, волосы она стригла коротко, по моде тех лет. Мы с Армандо скрывались в подъезде и вышли из своего убежища, только когда они приблизились. Она обернулась и увидела нас. Дино крепко держал ее за руку, опасаясь, как бы она не сбежала. Мы все четверо стали в круг под фонарем. Дино взглянул на меня и опустил глаза, словно оставляя за мной инициативу. Электра разглядывала нас одного за другим, как бы желая убедиться, что мы не причиним ей зла. Она глядела на нас без испуга, с какой-то внутренней сосредоточенностью. Армандо сказал:

— Может, отложим на другой раз?

— Почему? — возразила она.— И вообще, при чем тут ты? Я пойду с Дино.

— Да, но хлев наш.

— Этого я не знала,— улыбнулась она, показав свои крохотные частые зубки.— Тем лучше, значит, в тепле будем. Место надежное?

— Да, да,— вмешался я. Признаюсь, сердце колотилось у меня от волнения. Женщин я еще не знал, меня ждал первый опыт. Я разглядывал ее, стремясь обладать ею как вещью, не как человеком.— В это время его родные ужинают.

— А ты-то тут при чем? — сказала она.— Да что мы все стоим и рассуждаем, здесь такой ветер.— Она взяла Дино под руку, приглашая идти.

Дино, казалось, прирос к месту. Он решительно высвободил свою руку и сказал:

— Послушай: если хочешь пойти со мной, ты должна пойти и с ними.

— В другой раз,— улыбнулась она снова.

— Нет, сегодня,— сказал я,— потому что...

Дино не дал мне закончить. Опустив глаза, он сказал:

— Вначале с ним, с Бруно, потом со мной.

— Почему? Боишься, я потом крик подыму?

— Сначала с ним,— повторил Дино. Он подбросил в воздух попавшую под руку пробку от кока-колы, поймал ее, потом добавил категорически: — Ясно?

Она стояла, опустив руки вдоль бедер и крепко сжимая сумочку. Глубоко вздохнув, сказала:

— Я к такому шантажу привыкла. Все вы одинаковы,— и взглянула на Армандо. Он отвернулся. Мы поняли, что ему она уже принадлежала. Я решительно отодвинул его локтем. Вопрос Электры застиг меня врасплох во время этой вспышки, продиктованной завистью: — Ты главный?

— Да,— ответил Дино.— Да, он главный.

Она пожала плечами, провела мизинцем по уголкам рта, словно снимая остатки губной помады.

— Что ж, пошли. Когда чего-нибудь хочется, за это всегда нужно расплачиваться.

План наш оказался без изъянов. Свод потолка как бы разделял хлев на две части: в одной находились кормушки и привязанный скот, в другой, меньшей,— сеновал и кучка лечебных трав, там же стоял треножник с подвешенным резаком. Пахло сеном и навозом.

Армандо сторожил нас, стоя под навесом. Дино должен был к нему присоединиться, приготовив наше ложе, то есть расстелив на полу сено и притоптав его ногами.

— Ну, я пошел,— сказал Дино,— если кто подойдет, мы станем петь. Тогда удирайте в поле через эту дверь.— Вышел он, не обернувшись.

Была ли она красива? Кошачьи, сверкающие белизной ровные, теснившиеся друг к другу зубы, каштановые волосы, карие глаза. Какой она была в ту минуту? Я не запомнил, хотя лампа висела на проводе прямо над нашими головами.

— Давай ложись,— сказала она мне. Обняла, поцеловала в губы, высунув кончик языка. Сначала я испытал отвращение, потом сладкий вкус меда.— Ты главный? — шептала она.— Ты ими командуешь? Ты их колотишь? Скажи, как я говорю по-итальянски?

Побежденная, но не сдающаяся, она понуждала и учила меня, пока я еще был в состоянии терзать ее своим сопротивлением. Я ощущал блаженство, испытывал сознание превосходства, сокровенной и до сих пор не находившей себе выхода силы... Внезапно она успокоилась, притихла, стала совсем другой, робкой и в то же время болтливой, словно переродилась.

— Я ведь гречанка. Ты об этом знал? Конечно, не настоящая. Родители у меня из Апулии. Дед с бабкой высадились в Пирее, когда отец с матерью едва только на свет появились, ну, как другие в Америку уезжали. Но у них перед глазами оставалось все то же море! И сами они всегда оставались итальянцами и говорили на своем диалекте, а когда война началась, их прогнали. Посадили нас в концлагерь, в один, потом в другой, здесь под Авеллино. Мы уже пять лет во Флоренции, сначала жили в казармах, потом в бараках, все ждем домов, их строят здесь у вас, в самом Рифреди. Я научилась правильно говорить? Как по-твоему?

Я слушал ее уже без интереса, углубившись в свои мысли. Внезапно ощутил гложущую тоску... Мне показалось, что умерло во мне что-то, бывшее прежде мною и ею убитое.

— А любить я научилась? Чем это тут пахнет, как по-твоему? Посмотри-ка на резак. Так его называют? Правда, он похож на гильотину? Ты доволен? Как по-твоему? А я так просто счастлива! Сегодня больше никого не хочу видеть. На заводе все они мне прохода не дают. О, там я веду себя, как святая, там дело идет о куске хлеба! Стараюсь держать себя строго, но как быть, если кто-нибудь понравился? Знаешь, некоторые даже лезут в карман за деньгами, думают — я из корысти. Не знают, что это я их выбрала, оттого что они пришлись мне по душе! Но у нас на заводе почти одни взрослые, а с ними я не хочу. Нет! А вот сегодня я довольна. Я пошла на жертву с Армандо ради Дино, но с ним я встречусь в другой раз. Сегодня хочу уснуть, вспоминая тебя. Я болтушка, всегда задаю тысячу вопросов. Меня даже прозвали «Как потвоему». А хоть бы один ответил толком... Никто не скажет слов, которых ждешь. Я их тоже не знаю. Только должны же быть на свете такие слова. Думаешь, замуж хочу? Вот уж нет, ведь у меня что ни день — свадьба. Забеременею — не беда. Знаю, что делать. А Дино мне уже разонравился, он трус, коли дает собой командовать. Он нам даже постель стелил! Это ты ему велел. Сразу ясно — ты командуешь, по гла-

зам видать. Только мной командовать не вздумай. Во второй раз меня ни к кому не тянет. Мной и начальник цеха не покомандует. Я на работе свой долг выполняю. Умею я долг выполнять? Как по-твоем?

Оглушенный ее болтовней, я не знал, что отвечать и как быть дальше. Я присел и разглядывал ее, покуда она говорила, натягивала на себя белье, надевала туфли. Стоя на коленях, она открыла сумочку, вытащила оттуда зеркальце, помаду; держа в руке тюбик, она протянула мне губы.

— Поцелуй меня прежде, чем накрашусь. Слышишь, как жалобно мычит корова? Наверно, стельная. Как по-твоему?

Я только и сумел, что вынуть у нее из волос застрявшие соломинки.

— Спасибо,— прошептала она.

Мы поднялись. Несмотря на ее каблучки, я был выше ее на целую голову. Она встала на цыпочки, чтобы коснуться щекой моей щеки.

— А не то я тебя своей краской измажу,— сказала она.— Прощай!

Коровы и бык повернули морды в нашу сторону и, не переставая жевать, проводили нас взглядом своих влажных, тупых глаз.

— Ну и скотина! — сказала она.

Я довел ее до двери, которая вела в поле.

— Пойдешь вон той тропинкой. Видишь?

— Еще бы — такая луна!

— За тем кипарисом тропинка выведет тебя на дорогу.

— Знаю,— улыбнулась она.— Ты позабыл, я здесь уже была с Армандо.

И она растаяла в темноте и лунном свете.

Выйдя во двор, где меня поджидали Дино с Армандо, я был вне себя. Первое, что пришло в голову,— увижу Дино, почувствую себя предателем. Противно было сознавать свое предательство, в котором по сей день каюсь, несмотря на то, что Дино простил меня в тот же вечер.

— Она ушла,— сказал я.

— Тем лучше,— ответил Армандо.— Сестры с мужьями уже встали из-за стола. Выйдем на дорогу, пройдем немного в сторону Кастелло, потом сделаем вид, будто возвращаемся из кино.

Ветер стих, но воздух стал колючим и холодным. Меня грела куртка, я засунул руки в перчатках в рукава, но начали зябнуть ноги.

— С тобой,— сказал я Дино,— она пойдет в другой вечер.

— Возможно,— сказал Армандо.— Ну, а покуда ты его обвел вокруг пальца. Я-то с ней уже был и снова могу, стоит только захотеть, а вот он...

— Я...— сказал Дино.— Раз ты, Бруно, доволен, я...

Всегда испытывавший ко мне чувство привязанности, он был настроен миролюбиво, но на этот раз его великодушие столкнулось с моим сознанием собственной вины и превратило его в злобу.

— Может, хочешь подраться?

— Нет, зачем?

— Ты трус!

— Как это на тебя скверно подействовало,— попробовал пошутить Армандо.

Я оттолкнул его и бросился на Дино, схватил его за куртку. Его трусость оскорбляла нашу дружбу, и я не мог не реагировать на это. Я занес над ним кулак, но он отвел мою руку. Только пробормотал:

— You stop it, Bruno *.

Тут я ударил его. Мы дрались остервенело. Покуда наконец Армандо, увидев, что силы наши на пределе, не разнял нас.

* Ты это брось, Бруно *(англ.)*.

— Завтра первым пойдет Дино. Все будет в порядке. Об этом я позабочусь,— сказал он.

Но никакого завтра не было. На протяжении нескольких дней никому из нас не удавалось остановить ее на улице. Мы поджидали ее у ворот фармацевтического завода, но она то шла в группе подруг, то какой-нибудь парень подсаживал ее на мотоцикл, а у нас мотоциклов еще не было.

В тот вечер мы решили стать по обе стороны ворот и не дать ей уйти, вступив, если потребуется, в драку с ее моторизованными ухажорами, но она не появилась. Спустя всего несколько часов мы прочли заголовки последнего выпуска ночной газеты и узнали о самоубийстве молодой беженки из Греции. Не раздумывая, купили на каждого по газете; покупая, мы уже были уверены, что это Электра.

Теперь я обнаружил, что своей болтливостью, агрессивностью и печалью да и еще чем-то Иванна непостижимым, но вполне ощутимым образом походила на Электру, хотя та была почти девочкой.

Глава II

Сколько ни случись за день событий, больших и малых, моя жизнь по-прежнему полна Иванной и Милло. Сомнения приходят в часы ожиданья, как только наступает вечер, зажигаются огни на улицах и радиостанция на горе Морелло мигает, словно маяк. Сначала мы вместе с Милло шагаем по неосвещенным местам от фонаря к фонарю или идем вдоль берега — там, где редеет камыш, сквозь который можно разглядеть Терцолле до самого мостика. Мы ужинаем вместе, или он поджидает меня у ворот, беседуя с жителями нашей Виа-делле-Панке, среди которых Иванна годами живет, не заводя знакомств. С той давней поры, когда исчезла синьора Каппуджи, она не дружила ни с кем в квартале Рифреди, те, кто знают ее, относятся к ней без симпатии. Только моя мальчишеская дружба с их сыновьями да еще присутствие всеми уважаемого Милло смягчают недоброжелательство и устраняют сплетни, словно умышленно вызываемые ее высокомерием, и приводят к добродушному уважению — смеси жалости и любопытства. Все убеждены, что Милло — ее любовник и мой приемный отец. Так спасены приличия, объяснены ее отношения с Милло: люди считают, что она хочет выиграть время, прежде чем отважиться на второй брак. Они даже находят объяснение в силе обстоятельств, в привычности этой связи, которая не тяготит ее. Скромность Милло в их глазах равна лишь его преданности. Никто не сомневается, что он ее любит по-прежнему, имя Милло окружено романтической дымкой. Значит, у этого коммуниста, которого уважают даже его политические враги, нежное сердце и немало горечи на душе.

Но что обо всем этом думаю я, Бруно? Чтобы разрешить этот мучивший меня с детства вопрос, я ждал, пока мне исполнится пятнадцать. Больше ждать не могу.

Был вечер, такой же, как многие другие. Весна на дворе. Несколько дней назад Милло, повязав шею красным платком, взял меня с собой на трибуну площади Синьории — праздновали день 25 Апреля *. В этот солнечный день на площади развевались красные и трехцветные флаги.

Мне он ничего не старался внушать. Даже теперь, когда я уже подрос, он не говорит мне, что я должен вступить в федерацию коммунистической молодежи, он воспитывает меня в духе своих идей собственным примером, показывая, каким должен быть настоящий друг; я признате-

* Праздник победы над фашизмом.

лен ему за это. Лишь порой меня слегка огорчают его переходы от искренности к самонадеянности.

На дворе совсем темно. Час ночи. Мы, как обычно, стоим, уткнувшись носом в оконное стекло, и поджидаем Иванну. Она опаздывает. Мы высказываем друг другу все то же обычное предположение: фильм, должно быть, идет с успехом, ей нелегко сосчитать сборы. В кассе не меньше миллиона.

— Сегодня билеты со скидкой?

— Должно быть.

Я жую резинку, он в сотый раз закуривает постоянно гаснущую половину тосканской сигары.

— Впрочем, я могу идти. Что мне здесь делать?

Хочу его подразнить:

— Я не маленький, в кровать укладывать меня незачем. Ты никогда не знал, что мне рассказать, чтоб я побыстрей уснул.

— Не успеет, бывало, солнце сесть, как ты сразу засыпал после целого дня беготни.

— Ну да, помню твои рассказы о Листере и Сапате,— настаиваю я, противореча сам себе.— Поневоле уснешь от скуки.

— Тебя развратили сказки синьоры Каппуджи. Ты их, должно быть, и сейчас помнишь?

И он высовывает голову из окна, пристально вглядываясь в темень, чтобы увидеть, не показалась ли Иванна у остановки на шоссе Морганьи. После автобуса ей придется пройти метров сто от фонаря к фонарю.

— Давай садись-ка лучше за уроки,— говорит он мне.

Я сажусь за стол в гостиной, передо мной калька, на которой мне надо вычертить разрез двух пазов, и угольник, наклоненный на 45°. На экзамене я должен буду обработать эту деталь.

— Кончается «ласточкиным хвостом», не забудь.

Долгая пауза. Потом, не отрываясь от окна, он говорит:

— Я тут разговорился с одним приятелем, с Джулио Паррини. У него мастерская возле Тре Пьетре. В перерыве между сменами он нам разрешает пользоваться фрезерным станком... Джулио работал вместе со мной на «Гали», был активистом, в партии был, нас в тридцать девятом вместе посадили. Конечно, он и твоего отца знал. Но кончилась война, миновали первые радости. После забастовки в сорок восьмом, той, что была из-за рабочих советов, его перевели в «цех для ссыльных» *. Ему, квалифицированному рабочему, пришлось копаться в металлическом ломе. Я в этом цехе тоже провел пару лет. Туда попали и трое-четверо из цеха оптики, люди самой высокой квалификации, мы-то устояли, а вот Паррини не выдержал, решился на другое: ушел с завода и открыл собственное дело. Кто-то ему денег одолжил, банк предоставил ссуду. Поначалу тяжело, конечно, приходилось, но теперь у него в мастерской пять станков, девять рабочих. Он позабыл идеологию и профсоюзы. Порой люди продаются просто так, из-за дурного настроения. Конечно, он сумел круто повернуть руль. У него роскошная «джульетта», собственная квартира. По старой памяти он голосует за нас.

Милло стоит, облокотившись о подоконник, даже не замечая, до чего грустно все, что он говорит.

— За неделю до экзаменов пойдем к Паррини,— заканчивает он,— шести вечеров тебе хватит.

— У нас в техническом тоже есть фрезерный станок.

---

* На крупных итальянских предприятиях хозяева, желая изолировать наиболее активных политически рабочих-коммунистов, практиковали перевод их на неквалифицированную работу в подсобные цеха, изолированные от предприятия.

— Знаю, но хочу взглянуть, как ты справишься с настоящей работой. Сам тебя буду спрашивать. Например, что общего между токарным и фрезерным?

— У тех и у других есть станины. Лучшие фрезерные станки те, на которых вы работаете у «Гали»,— это «мильвоки» и «цинциннати».

— Верно. На 32 и на 40 оборотов. Но лучше, конечно, «цинци» — горизонтально-фрезерные и вертикально-фрезерные. Стол там шире, на нем удобнее работать.

— Деталь зажата неподвижно, идет навстречу фрезе, которая вращается на шпинделе. А в токарном станке наоборот: там суппорт подводит инструмент к вращающейся детали.

— Ты хочешь сказать — резец?

Его дотошность раздражает меня, я начинаю дерзить в ответ.

— Резец подводится к детали и снимает стружку. Так точно.

— Но это самая простая деталь. А вот, скажем, тебе нужно обработать сложную деталь, например, блок для ткацкого станка или шарнир.

— В этом случае я зажимаю деталь.

— Ну-ка, послушаем, как ты установишь станину.

— В зависимости от твердости металла.

— Есть разница между алюминием и сталью?

— Разве я не то же самое сказал?

Разговор становится более оживленным, на какое-то время мы увлекаемся им, как, бывало, увлекались страницами энциклопедии и справочников. Я говорю, что в училище, хотя занятия у нас групповые, каждому все равно дают поупражняться.

— Это все теория,— настаивает он,— у станка в мастерской Паррини ты мне все это должен будешь доказать.

Сигара торчит у него изо рта, он жует ее, мельком поглядывая на часы, и снова высовывается из окна.

— Может, в центре уже закрыты газетные киоски и она пошла на вокзал за своими иллюстрированными журналами?

— Сидит семь часов сряду — ей неплохо ноги размять.

— Это верно,— соглашается он.

В прежние времена, когда мне не удавалось заснуть и к тому же «на дворе стояло лето», как говорила Иванна, а значит, лягушки со сверчками затевали большой концерт и молодая луна заливала своим белым светом комнату, он, бывало, командовал:

— Одевайся!

Я живо выскакивал из постели:

— Мы в самом деле поедем?

Так же как по утрам и в полдень, мы вдвоем усаживались на его велосипед. Если шлагбаум у площади Далмации не был опущен, мы сокращали путь, переезжая через полотно,— велосипед подскакивал на рельсах. Быстро спускались мы к Сан-Якопино, минуя приземистые, жавшиеся друг к другу домишки, и выезжали на шоссе у крепости. Несмотря на темень, можно было разглядеть ее кирпичи; здесь, у самой стены, где прежде был Луна-парк, еще стоял уцелевший от старых времен тир. За аркой, воздвигнутой Великим герцогом, под самыми портиками в сиянье неона виднелся бар «Дженио», огни над эстрадой, где играл маленький оркестр, ряды столиков; подъедешь поближе — видны даже скатерти на столах. Но мы останавливались далеко от кафе — чья-нибудь машина, автобус или просто слушавшие музыку зеваки мешали нам разглядеть все как следует. За чьими-то спинами и головами, за огнями автомобильных фар нам удавалось различить бар и кассу. Иванна сидела за кассой, посетители пили и ели у стойки, официанты выстраивались перед Иванной в очередь, она выбивала чеки. Мы видели ее

коричневую кофточку с белым воротником, высокую прическу. Нам она казалась королевой. Длилось это не больше мгновения, покуда толпившиеся на площади и в кафе люди не заслоняли ее.

— Ну, видел ее? Доволен? — спрашивал Милло.— Теперь будешь спать или, может, сделаем второй круг, чтоб еще раз взглянуть?

— Давай подъедем поближе.

— Знаешь, если она нас заметит, будет скандал — ведь она на работе. Все равно как я у себя в цеху. Ты когда-нибудь слышал, чтоб на «Гали» приходили гости?

Мы медленно-медленно объезжали площадь. Повсюду мрак и тишина. Откуда-то из-за изгороди, украшенной флагами, доносилась музыка — там шло кино на свежем воздухе.

— Здесь «Выставка ремесел»,— объяснял он мне.— Когда мне было столько же лет, сколько тебе, эту площадь звали площадью Кавур. Мой отец говорил мне, что в его времена она называлась Сан-Галло. Здесь на масленицу бывала ярмарка, гулянье, на прилавках торговали сластями, тогда людям немного было нужно. Потом пришли фашисты. Мы, красные, тогда сидели по тюрьмам, площади дали имя Константцо Чиано — одного из «черных». Сегодня — это площадь Свободы. Запомни накрепко эти слова, подумай, сколько для этого понадобилось перемен.

Такая уж у него была манера воспитывать, я как губка впитывал в себя его слова, с такой же жадностью, с какой поглощал разноцветное мороженое в киоске у шоссе. («А тебе не повредит на ночь?» — спрашивал он, пытаясь отвлечь себя, да и меня, от собственных мыслей.)

Мы снова садились на велосипед и возвращались к бару «Дженио».

— Кто из них синьор Лучани? — спрашивал я.

— Должно быть, тот, что стоит у двери и важничает. Вот он подошел к прилавку и пересчитывает посуду. Вот он у кассы, что-то говорит твоей матери. Теперь пошли.— Милло вел себя совсем как синьора Каппуджи. Только ему не приходилось мне подмигивать, и он не уговаривал меня хранить в тайне эти ночные экспедиции.

Вернувшись домой, я тотчас же засыпал. Иногда, конечно не каждый раз, я просыпался среди ночи. Эта мука подстерегала меня и во сне. Милло уже не было. Зажигался свет, посреди комнаты, широко раскрыв глаза, стояла Иванна:

— Папа вернется. Папа уже на пути к нам. Бруно, что со мной будет, если я ошибаюсь?

Глава 12

Мне теперь пятнадцать, и я обо всем сужу так, как в конце концов судят все люди. Я подрос, и вместе со мной подросла и эта лишенная всякой пошлости мысль, которая обусловила мои представления о морали. Иванна избегает шоферов из траттории, она бросила Лучани вместе с его машиной. Все это для того, чтобы отдаться Милло. Когда мы катались с нею по треку, она грубо прогнала молодого Сильвано. Она и Милло были единственными взрослыми, окружавшими меня, и, естественно, я объединяю их в своих помыслах. Нежность, которую мне так не хотелось выказывать, словно отождествляла их, сливала воедино. Они дополняли друг друга, и мне казалось само собой разумеющимся, что они друг друга любят. Я восхищался сдержанностью, с какою они относились ко мне. Но и эта сдержанность, за которую я был так признателен, в то же время казалась мне комедией, которую они разыгрывали не только перед людьми, но и передо мной.

Был вечер. Она опаздывала. Милло закурил вторую половину тосканской сигары, он расхаживал по гостиной, то и дело склоняясь надо мной.

Я был доволен своими успехами и уже чувствовал себя квалифицированным рабочим, перед которым, словно райские врата, распахивались ворота «Гали».

— Ну как, получается? — спросил я у него.

Он, как и все старики, никогда не похвалит без оговорки:

— Что ж, если будешь так продолжать, авось что-нибудь да выйдет.

Настала та самая минута... Меня вывел из себя отечески-покровительственный тон. За этими продиктованными любовью словами мне почудился голос начальника цеха, с которым придется иметь дело.

— Конечно,— ответил я,— уж теперь-то тебе не надо придерживать меня за локоть.

Он, как обычно, ответил мне подзатыльником.

— Прекрасно. Ты, видать, совсем обнаглел!

Я встал и в порыве раздражения опрокинул стул. Случилось нечто непоправимое. Милло вынул изо рта сигару. Меня обезоружило его удивление.

— Брось руки в ход пускать,— сказал я ему.

Он обтер губы, улыбнулся и снова закурил свою сигару.

— Ты и маленький вот так отвечал.

Это удвоило мой гнев. Мной овладела неудержимая ненависть.

— Брось,— повторил я.— Брось! Я уже подрос. Да будь ты хоть отцом...

Я крепко оперся руками о стол, с трудом сдерживая желание наброситься на него, начать драку, которая на этот раз не могла бы кончиться объятиями. Даже подумал, что он хоть выше, сильнее меня, но у него уже лысина, он располнел. Я остерегаюсь, но не боюсь его. Он тем временем поднял стул, расплющил сигару в пепельнице и заглянул мне в глаза. Нас разделял стол. Его серые глаза смотрели в мои пристально, не мигая, в его взгляде не свет разума, а только страх и настороженность. Выдержать такой взгляд уже значит драться. Он заговорил, но его слова лишь сильней подзадорили меня. Я ждал вызова, услышал только самое обычное, простое:

— Может, объяснишь, что это на тебя нашло?

Ответ вырвался совершенно неожиданно, слетел с языка и подогрел мою ярость:

— Ты пользуешься мной для любовных встреч с Иванной!

Его реакция быстрее моей. Я отскакиваю, но своей широкой, как лопата, ладонью он бьет меня по лицу, а другой, протянутой через стол рукой хватает за шиворот и продолжает наносить пощечины одну за другой, лишив меня возможности ему ответить. Вот он выпустил меня, и я едва не повалился на стол. Тут уж я схватил его за руку и что есть силы вцепился в нее зубами. Круглый стол не устоял на месте, и нам теперь ничто не служит преградой. Свободной рукой он с силой приподнимает мой подбородок. Гляжу на него вытаращенными, вылезающими из орбит глазами и даю ему подножку. Мы оба валимся в промежуток между диваном и буфетом, мне удается прижать его к полу. Он наносит мне удар по виску, я слышу его ругань. Голова трещит. Он уже встал. На руке у него след укуса — фиолетовый, обрамленный каплями стекающей крови круг. Он протягивает эту руку, чтобы помочь мне встать. Мы оба тяжело дышим.

— Ты стал сильный. Будем надеяться, что и голова у тебя станет крепкой.

Лишь теперь мы обнаружили, что в драке опрокинули фарфоровую собаку. Словно глиняная копилка, разлетелась она на мелкие куски. Голова ее закатилась под диван.

В ту минуту, когда мы пытались ее приладить, вошла Иванна.

— О боже! Ее подарили моим родителям на свадьбу. Они мне дали ее раньше, чем первую куклу.

Наконец до нее доходит, что между нами что-то произошло. Она видит, как горят мои щеки, видит, что смертельная бледность выступила на лице Милло, обнаруживает беспорядок в гостиной — и умолкает. Садится на диван, кладет на колени голову фарфоровой собаки. Неподвижные глаза разбитой игрушки до странного походят на человечьи.

— Что случилось? — спрашивает она меня.— Я, кажется, схожу с ума.

Именно это она сказала, переводя взгляд с меня на Милло. Сама Иванна походит на кошку с большими удивленными, остекленевшими глазами. На ней зеленое платье в черный горошек, перехваченное высоко в талии широким черным поясом. Она — как большое пятно посреди голубого дивана, она дышит с трудом, грудь ее тяжело вздымается.

— Подойди сюда,— говорит она мне,— я не в силах даже встать. Выдался такой тяжелый день. Продала больше двух тысяч билетов.

Я сажусь рядом с ней. Она проводит рукой по моим волосам, глядит мне в лицо, снова переводит на Милло взгляд, полный подозрительности и злобы; теперь я ее узнаю. Спрашивает:

— Вы его избили? Как вы осмелились?

Милло перевязывает руку платком, садится к столу:

— Послушайте меня, Иванна...

Они начинают разговор. Беспощадная ясная правда, мрачные объяснения, жалкие алиби — но голоса они не повышают. Даже у Иванны ничего похожего на истерику, у Милло обычный тон, со сдержанной горечью он уточняет все, о чем она поначалу пыталась сказать лишь общими словами. Теперь, призвав меня в свидетели, они уже готовы закрыть эту главу, которая по-разному, но равно важна для них обоих, для всей их жизни. Они ставят точку на долгой лжи. Теперь с ней покончено, и они, должно быть, покажутся себе несчастными. Все выдержано в тоне, который счел уместным Милло,— в тоне дружеской, на вид спокойной беседы. Для них она мучительна, мне же кажется просто ужасной. Под конец я снова, как тогда, в свой первый день в школе, вынужден выбирать между ними. На этот раз я выбираю Иванну.

— Бруно убежден, что вы и я...— из чувства сдержанности он на мгновенье умолкает.— Словом, он убежден, что мы живем друг с другом.

— О! — восклицает она и подносит руки к груди, словно желая защитить себя от правды, которая ее, однако, не застала неподготовленной. Теперь она, конечно, говорит, обращаясь к Милло, а не ко мне: — Кто ему это внушил?

— Никто,— говорю я.— Сам знаю.

Я отхожу от нее, сажусь на стул за буфетом. Мы все разместились как бы по кругу: я — в углу, у буфета, она — посреди дивана, по-прежнему у нее в руках голова фарфоровой собаки, а Милло сидит перед ней, опершись локтем о стол.

— С каких же это пор? — настаивает она с обидой и тревогой, звучащей как-то легкомысленно.

Милло тотчас же удается все уладить:

— Поначалу всегда видишь в других зло, которое заложено в тебе самом.

— Бруно еще мальчик,— пытается она прийти мне на помощь.

— Он такой, каким мы его воспитали,— говорит Милло.— Он почти мужчина, он уже не может быть совершенством. Впрочем, мы должны ему все это объяснить.

— Что? — протестует она.

Я слушаю их и спокойно гляжу, как они исполняют свои роли, я и впрямь спокоен, а они лишь притворяются.

— Почему вы до сих пор говорите друг другу «вы»? — спрашиваю я.

— Бруно! Значит, Миллоски сказал правду!

— Зови его Милло,— говорю я ей.— Зови его Волком, зови как хочешь. Только говори ему «ты», не то я больше не стану вас слушать.

— Но я всегда обращалась к нему на «вы»,— возражает она так упрямо, что я готов и ее возненавидеть.— Я даже позабыла, что вас зовут Альфьеро. Ну, скажите сами, Миллоски, разве не так?

— Именно это Бруно считает фальшью,— говорит он.— И он не так уж неправ.

— Что это значит? — говорит она, упорно стоя на своем.

— Он по-своему прав в одном, очень важном,— говорит Милло.— Ему кажется, будто его могли обманывать те, кто больше всех его любит.

— Давай, давай! — бормочу я.

— Вот как,— говорит он.— Ты, может, думаешь, мы продолжаем лгать, ломать перед тобой комедию... Даже если б оказалось правдой, будто я и твоя мать...

— Любовники...— заканчиваю я.

— Бруно! — повторяет она.— Боже мой! — и, словно задыхаясь, подносит руку ко рту.

— Успокойтесь, Иванна, эта минута должна была настать,— прерывает он.— Дайте мне высказаться. Вы уже давно знаете все, что я сейчас скажу, хоть мы об этом ни разу не говорили...— Он глядел на нее с таким состраданием, с такой нежностью, но я лишь сильней презирал его за это. А ее я презирал еще больше за то, как она качала головой, опершись ею о спинку дивана.— Раз уж не миновать этой чаши...— сказал он.

— Ах, дети, дети, ты отдаешь им все,— лепечет она,— а потом...— Теперь она успокоилась, закурила сигарету, взятую из сумочки на буфете. В воздухе поплыли круги дыма. Она сказала:— Ну что ж, Миллоски, раз так нужно...

Милло словно нарочно повернулся к ней боком, как бы желая выключить ее из беседы. Теперь он обращался только ко мне.

— Я люблю твою мать как свет очей своих,— сказал он.— Если б она попросила у меня птичьего молока, и я его достал бы, хоть со дна морского.

Я не смог удержаться — сжатые губы свела гримаса смеха.

— Не ухмыляйся, идиот! — сказал он.— Я порой говорю слишком вычурно. Но такой недостаток еще можно простить.

Меня чуть пугала убежденность, с какою он говорил, но все убивала выспренность, риторичность его слов.

— Она меня никогда не просила ни о чем. Ни о булавке, ни о стакане воды. Мне подавала, когда нужно. Своим трудом содержала себя и тебя, работала, хоть могла без труда по-другому устроиться. Раз ты говоришь о любовниках, значит, понимаешь, что ей было бы нетрудно. Не каждая так поступит.

Он ходил вокруг да около, стиснув кулаки, так и не приступая к самому главному; видно было, как он мучается. Он медлил, подыскивая нужные слова, и поправлял платок, которым перевязал укушенную руку.

— Будь я и впрямь любовником твоей матери,— сказал он,— ты бы на меня не накинулся. Мы бы с ней повели себя по-иному — не как отец с матерью. Мы бы только гладили тебя по головке. Ну, она мать, а я, дурак, хотел заменить тебе отца. Считал — это долг перед твоим отцом, долг друга... Скрывать не буду, я твою мать любил и теперь люблю. Хочу и тебе пожелать так полюбить девушку, которую выберешь, только чтоб везло тебе больше, чем мне. Я твою мать полюбил еще прежде, чем мы с ней встретились. Морено писал мне о ней, когда я был

в ссылке. Я-то всегда был один — отдал жизнь идее, за которой пошли миллионы. Но в любви не везло, я тут один, как волк.— Словно боясь растрогаться, он то хватался за нить своих рассуждений, то терял ее.— Вернулся из ссылки, а они еще не поженились. Это я нашел им квартиру. Отца не стало, и она поначалу ждала, что я предложу ей руку. Да, руку! — Он покачал головой.— Ты мне все мысли спутал. Я ей сделал предложение, а она решила, что я иду на жертву, чтоб помочь молодой беззащитной вдове с ребенком. Да, она думала, будто я только хотел выполнить долг перед твоим отцом. А потом, когда поняла, что я с ней всем сердцем, преградой стала ее вера в то, что жив Морено. Может, тщетная надежда, как знать, но я ее уважал... Мы-то с тобой на этот счет договорились, когда ты еще совсем маленьким был... Но она вот...

Он провел рукой по лбу, пригладил волосы, большим пальцем расправил усы и выпрямился, словно хотел показать, какого труда стоили ему эти последние доводы — веские, вполне ясные, единственно важные из всего, что он хотел мне сказать. И все же он продолжал:

— Знал бы ты, как я себя вел, видя их счастье! Отец у тебя был человек простой, может, чуть легкомысленный... Мне он стал братом. Для иных это лишь слова, у нас так было на деле. Порой дружишь с человеком, который обо всем судит по-иному, хоть людям и свойственно злиться друг на друга, когда их взгляды не сходятся. Из тюрьмы, из ссылки я писал ему чаще, чем матери. Тогда мать еще была жива, в пятьдесят лет ушла в богадельню: работать не могла из-за артрита. Получал я посылку — значит, Морено послал. Выпадает в тюрьме веселый часок — значит, письмо от Морено пришло. Он писал про гонщика Бартали, про футбольную команду «Фьорентина» да о разных смешных пустяках насчет наших знакомых и в городе и на заводе. Сколько раз пытался я с тобой говорить о твоем отце!

— Ни разу,— сказал я.

— Тебе кажется так оттого, что ты никогда не хотел о нем слышать,— пригвоздил он меня к месту своим ответом.— Когда тень облекаешь в плоть, она становится мифом. Ты еще в детстве отверг этот миф. Я под конец решил — так и надо. Хотелось, чтобы ты подрастал без всех этих сложностей и мир принимал как есть; хотелось уберечь тебя от сомнений. У нас с тобой все было ясно. Ты звал меня дядей, я заменял тебе отца. Я ошибался, верил — все как надо. Вот отчего я всегда говорил тебе правду о Морено. Не всю...— добавил он,— но почти всю. Отец у тебя был чудесной души человек, жил он счастливо. Вот ему и не хватало времени для раздумий. Мог он в чем-то и ошибаться,— Милло прикусил губу, будто ловя ускользавшую от него мысль. Довольный найденным решением, он закивал головой в подтверждение: — Да, мог и ошибаться.

Теперь он казался мне беззащитным. Я решил воспользоваться этим.

— Что это значит?

— Миллоски,— прошептала Иванна.

Мы обернулись в ее сторону, словно только сейчас о ней вспомнили. Она сидела, согнувшись, опершись локтями о колени. По щекам до самой шеи текли черные от туши слезы.

Милло твердо ответил на мой вопрос и на ее мольбу:

— Тут ничего страшного, Иванна. Морено не был грязным фашистом. Я ему многое пытался объяснить, но он не смог пойти против течения. Он мог бы спокойно оставаться на заводе, когда ему дали броню. В добровольцы записался потому, что его заставили. Я тогда снова очутился в тюрьме, а не то смог бы его разубедить. Он на следующий же день раскаялся. Это видно из письма, которое он написал мне

перед отъездом. Вы, Иванна, лучше меня знаете, в каком он был настроении, когда на него напялили мундир, посадили в поезд, а потом на пароход.

Она закрыла лицо руками, стала всхлипывать.

— Только не это, это лишнее,— говорила она отрывисто, зло и уже сдаваясь.— Я сделала все, чтобы Бруно поверил в отца. Его отец ни в чем не каялся, у него не было слабостей.

Милло встал, потом сел рядом с ней, обнял ее за плечи:

— К чему это? Мальчик все должен знать. Нам от него нечего скрывать. Мы ничем не оскорбим ни мертвых, ни живых.

Она поддалась безграничному отчаянью и, прижавшись щекой к его плечу, сказала:

— Миллоски, вы меня огорчили впервые, Морено вернется, Морено должен вернуться,— повторила она, словно в бреду, по-прежнему прижимаясь к нему щекой. В эти минуты она, казалось, забыла обо мне.

— Значит,— сказал я Милло, повинуясь голосу инстинкта,— значит, ты можешь идти. О маме я позабочусь сам. Чтоб ноги твоей не было в моем доме.

Милло высвободил руку, которой обнимал плечи Иванны, и пристально посмотрел на нее. Я стоял перед ним, но он избегал моего взгляда. Должно быть, в ту минуту глаза у меня горели, мне трудно было скрыть охватившую меня дрожь.

Она вздохнула, опустила ресницы и снова откинулась на спинку дивана. В наступившей тишине слышно было наше дыхание. Шум телевизора доносился из окон напротив; когда лягушки переставали квакать, стук будильника в комнате Иванны заглушал пение сверчков. Не было больше слов. Только Милло, увидев, как она сидит, запрокинув голову, прикрыв глаза, бессильно опустив руки, произнес:

— Все ясно.— Он сделал шаг в мою сторону. Я словно замер на месте и разглядывал его скорее с любопытством, чем с презрением. Он наклонился ко мне, взял мои руки в свои, на мгновение прижал их к груди и, мягко улыбнувшись, взглянул на меня с любовью.— Подчиняюсь,— добавил он.— Прощай!

Его поведение меня смутило. Хоть я и презирал его, но в ту минуту не мог ненавидеть, как мне бы того хотелось. Все выглядело глупо, жалко. Я продолжал хмуриться.

— Прощай! — ответил я.

Он выпрямился, не выпуская моих рук.

— Еще увидимся.— Его фигура медленно растворилась в полумраке коридора.

В пепельнице осталась забытая им сигара. Я хотел было позвать его, напомнить, но меня удержала Иванна:

— Это неправда. Знаешь, он сказал неправду об отце...

Вот когда я убедился в ее способности лгать и тотчас понял, что утратил друга.

— Как сквозь землю провалился,— говорила потом Иванна,— а мы продолжали жить все той же жизнью. Только, не сговариваясь, больше не появлялись у Чезарино. Кто на этом потерял, так это бедная Дора.— Иванна снова вздыхает.— Меня все это еще тогда заставило задуматься над твоим характером. Да и теперь думаю... Ты за шесть месяцев словечка не проронил.

— Я еще был мальчишкой. У меня были свои друзья.— Теперь к Дино и Армандо прибавились Джо и Бенито. Нас свел случай, но дружба стала долгом.— С Милло мы после этого ссорились и мирились по крайней мере дважды.

— Да, сказала она,— но с того вечера наши отношения измени-

лись. Он больше не чувствовал себя у нас как дома. Теперь его подолгу упрашиваешь пообедать у нас в воскресенье.

— Это тебя очень огорчает?

— Очень. Если подумать,— говорит она,— то он был груб, но ты тоже перешел все границы. Тебя мог оправдать лишь возраст. А я оказалась меж двух огней. Он мне прежде все говорил глазами, а тут сразу пришлось услышать... Мне больно стало, словно я не все сделала, чтобы убедить его в ненужности любви, на которую я не могла ответить. Твоя грубость дала мне понять, как мучит тебя память об отце. Я и другое поняла: ты лгал, притворялся, что веришь вместе со мной, Сколько кинжалов тогда вонзилось в мое сердце. Вдруг я увидела: ты уже вырос, а наше время прошло.

Я ходил в третий класс технического училища. Вдали от нее проводил я долгие часы с друзьями у речки и у мостика возле боен, но и это теперь приобрело иной смысл. Дино еще был «одиночкой, безработным, холостым вдовцом» — так мы его дразнили порой, а мы с Армандо уже обзавелись девочками.

Глава 13

Паола и Розария — девчонки, больше о них, пожалуй, ничего не скажешь. Они столь же привлекательны и столь же ограниченны, как и любая другая, которой можно сказать: «Помолчи, дуреха, все равно ничего не поймешь», да еще так, чтоб это звучало упреком и в то же время походило на ласку. Все, что у ребят приводит к драке, с ними кончается лаской. Ты их отталкиваешь, говоришь им: «Check out, baby.* Убирайся!» — зная, что их горести всегда можно исцелить поцелуем. У них нет ни гордости, ни целомудрия. Впрочем, как раз целомудрия хватает. У Паолы, например, даже избыток. Не девушка, а лилия или там фиалка. Но чувство достоинства и целомудрие фатально проявляются лишь на самой низкой ступени. Это целомудрие плоти, а не духа. Они готовы на все, развязны до того, что кажутся распутными, но до конца ничего не доводят. В наше время танцуют рокк, летают на Луну, мы вольны поступать как хотим, а они точь-в-точь как их прабабушки, думают совсем о другом. Им лет шестнадцать, восемнадцать, пусть даже они работают на заводе или в конторе, но и у станка и за пишущей машинкой у них перед глазами только одна свадьба и маячит. А не выйдет — они в двадцать два, двадцать четыре года готовы записаться в старухи и сразу скисают. С такими девочками всегда легко сговориться, если только они не предпочтут тебе кого-нибудь постарше. Добиться их взаимности не трудней, чем услышать музыку, бросив жетон в автомат-проигрыватель. Они ведь работают на заводах, они служат, им рожать людей завтрашнего дня, а сердце их все еще рабски привязано к очагу. До чего же и впрямь буржуазны эти милые болтуньи. Конечно, я имею в виду Паолу, Розария выросла в другой среде и думает по-иному, но обе они друг друга стоят.

Значит, Армандо с Паолой, я с Розарией. Поначалу было не так. Первым познакомился с Паолой я. Стоял весенний день, разлилась Терцолле, Армандо тряс меня и Дино за плечи, заставлял нас любоваться наводнением. Как всегда, торчал на своем месте рыбак с черной повязкой, теперь уже мы видим в нем не пирата, а одного из тех полоумных, которые, вооружившись удочкой и приманкой, часами ждут, пока клюнет рыбка. Он был нашим лучшим клиентом. Мы продавали ему червей по пять лир за пригоршню, часами рылись в грязи, чтобы накопать их. Иногда он оплачивал наш труд натурой.

---

* Хватит, бэби *(англ.)*.

— Хватит с вас по две сигареты на брата?

Что бы там ни было, а его молчаливость исключала доверительные отношения. Если мы настаивали на наличных, он обращался к супруге, сидевшей под одним зонтом в обществе троих детей:

— Выдай им пятьдесят лир!

— Из своего или из твоего кошелька? — В зависимости от полученного ответа она прижимала к груди самого младшего, откладывала в сторону вязанье и расплачивалась с нами. Как добродетельная супруга и мать семейства, она считала своим долгом спросить:— Куда вы теперь отправитесь?

В те дни, зачитав до дыр похождения Нембо, Кида и Луизы Лэйн, мы не находили себе иных занятий и тогда, раздобыв несколько монет, играли друг с другом на деньги, сидя у моста подле бойни,— Армандо владел замусоленной колодой карт. Мы сидели прямо на мостовой, прислонившись к опорам моста, и разыгрывали свой турнир. Я всегда вел рискованную игру и неизменно оставался без гроша после нескольких партий. Пусть теперь они, выдающие скупость за ловкость, по очереди обирают друг друга. Вдобавок, я был уверен, что Дино, при всей своей жадности, вернет мне мой проигрыш. Он готов был кому угодно отказать даже в окурке, но не отказывал, если его о чем-нибудь просил я. Порою я нарочно, в наказанье, просил его о чем-нибудь, и тогда он, корчась от жадности, прятал глаза, глотал слюну и все же делал по-моему. Только предупреждал:

— Смотри не говори, что я возвращаю тебе твое же.

Тут уж я понимал, что он раскололся:

— Давай, давай, не надо лишних слов!

Дино подчинялся. Ну, а если выигрывал Армандо, для меня наступал черный вечер. Армандо мне друг: когда ездим на его машине, он бензин не бережет. Что же до остального, то и теперь и прежде он не умел извлекать радость из щедрости.

Вот один из таких вечеров. Мне наскучило слушать перебранку ребят. Я обхожу мост, не зная, что предпринять дальше. Этот мост, по которому через реку пересежают поезда, расположен рядом с бойней. В такие часы здесь и на отгороженной забором площадке пусто. Раньше прямо к мосту вела аллея. На скамье меж двумя платанами посиживают старики и влюбленные. Сел и я. Под ноги попался мячик, одним ударом носка я загнал его за забор.

— Теперь сам иди к сторожу за мячом! Видишь, не мой, а брата. И не думай, что раз я одна...

Ворчит, как старуха. А ведь почти девчонка. Волосы длинные, рассыпались по плечам. Шерстяная кофточка. А брат тут как тут, распустил нюни. Сторож грозит мне кулаком, но мяч возвращает. Она успокаивает братишку и возвращается ко мне:

— Я — Паола. А ты кто?

— Не будь ты девчонкой, я б тебе, дуре, дал по шее.

Это ее не злит, она даже улыбается:

— Ты здесь часто бываешь?

Темнеет. Дино и Армандо перешли к другому столбу, где горит фонарь. Паола засыпает меня вопросами, трещит, как пулемет. Ну, как на допросе в полиции. Я уже знаю, что она живет у Понте-ди-Меццо, обожает Пэта Буна и Тайоли *, а на следующую зиму ей обеспечено место в конторе «Манетти и Робертс» — у нее диплом стенографистки.

— Ты для своих лет кажешься крошкой.

— Оттого что кофточка велика.

---

* Эстрадные певцы.

Что делать с такой девчонкой? Притиснуть к платану, обнять, чтоб убедиться, какая она на самом деле взрослая? Не успел я и притронуться к ней, как она уже прикидывается оскорбленной:

— Не смей со мной так обращаться. Прощай!

Только она ушла, я о ней и думать позабыл. А на другой день вижу, как внимательно она разглядывает витрину колбасной у нашего училища.

— Привет! Ты что, только из школы?

— В этом году у нас вторая смена, классов не хватает. Но скоро конец, экзамены.

— Скажите, пожалуйста!

Сегодня на ней платье, кофточки больше нет. Маленькая, но совсем женщина. Волосы перехвачены лентой, губы намазаны, золотая цепочка точно обрисовывает грудь. Забавная, изящная, а смотреть на нее тошно. Глаза широко распахнуты, во взгляде сомнение: то ли меня изучает, то ли вообще начеку. В одной руке пестрая сумочка, другой опять держит за руку братишку, который лижет мороженое и косится на меня. Хочу отвести ее к берегу, там меня ждут Дино и Армандо, но она отказывается:

— Это не наш квартал, я вообще не ищу общества.— И она уводит меня к тому же платану у бойни, усаживает на ту же скамейку.— Учишься на землемера или на техника?

— Нет, я же тебе сказал: осенью поступлю на «Гали».

— А я думала, ты пошутил, что-то ты на рабочего не похож.

— Может, лучше о другом поговорим?

Нам нелегко найти общую тему. Разве что потолковать о машинах. Ей бы хотелось иметь «открытую, низкую или еще такую, что покачивается, как лодка на море». Значит, либо «спринт», либо «кадиллак», если я ее правильно понял. Что же до остального, то Модуньо ей не нравится, читает она только иллюстрированный «Болеро», спорт — для мужчин, а в кино ее сводит с ума Тони Кэртис, ни одного английского слова не знает и учить не хочет — у «Манетти и Робертс» знать язык не требуется. Ну, а дальше что?

— Тебе какая актриса нравится? — Ждет, что я назову Лолло или Мэрилин *.

— Эва-Мари Сент,— говорю я.

Но она, конечно, не видела «В порту» **, она не ходит в кино, когда показывают полицейских и гангстеров.

— Одна стрельба и драки!

Мы молча глядим друг на друга. Она улыбается. Темнеет. Сидевший на другом краю скамьи старик с палкой ушел. Братишка играет в мяч посреди аллеи. А я, словно это тоже предусмотрено правилами игры, беру ее за руку. Она тотчас же закрывает глаза и принимается вздыхать. Думаю, ждет поцелуя. На мгновенье прижимаюсь к ее губам, ощущаю холодок ее зубов, но она тут же вскакивает, хватает за руку ребенка и оставляет меня на скамье одного.

На следующий вечер мы, конечно, являемся втроем. Она одна.

— Я с братом только иногда гуляю, просто случайно.— Все так, словно мы встретились впервые.— Привет!

— Привет!

Усевшись в ряд, занимаем всю скамейку. Мило болтая, она предлагает заполнить анкету:

— Ты чем занимаешься?

— Знаешь, поступаю на «Гали».

* Лоллобриджида и Мэрилин Монро.

** Итальянское название фильма известного американского режиссера Элия Казана «Последняя граница». Эва-Мари Сент — американская киноактриса.

— Ах, да. Твое призвание. Ну, а ты?

— Торгую, не в лавке, но у нас постоянное место у лоджии Порчеллино.

— Хоть над вами не капает, а все же не лавка. А ты?

— Я, как и он, помогаю отцу. У нас траттория в Кастелло.

— Как мило! — Через несколько минут она встает, словно ей наскучило быть на одном месте, и пересаживается ближе к Армандо. Все выглядит совсем невинно, но говорит больше любых слов. Армандо мне подмигивает. В душе я уже уступил ее. Раз она ему нравится, мы с ней можем «остаться друзьями». Для меня одного этого жеста довольно, чтоб относиться к ней хуже, чем к проститутке.

С Розарией меня познакомил Армандо, он же, кстати, свёл меня и с Электрой.

— От Паолы толку мало,— сказал он мне как-то вечером.— Так, одни поцелуи... Она девушка честная.— Он этим не был доволен, но в то же время как бы гордился.— Вот что, ребята, мы с вами давно уж шатаемся без толку,— сказал он.

В то время закончили строить и заселили дома «для греков», возведенные на самом краю города, между больничным поселком и лугом. Мэр, префект, музыка, флаги — а мы обо всем узнали только случайно. Беженцы, столько лет прожившие в казармах, перетащили в новые дома свои нищенские пожитки и темные промыслы, служившие источником дохода этим «оборванцам»: торговлю сигаретами, консервами, зажигалками, о которой знала вся Флоренция. Теперь они перенесли свою «малину» в удобные, хорошие, новые свежевыкрашенные квартиры, поселились «почти в дачной зоне», которая, однако, как и предвидели, вскоре должна была превратиться в хлев, где держат скот без ухода, а значит — в рассадник грязи. «Мужчины заняты подозрительными делишками, женщины сплошь проститутки». Очутившись словно за санитарным кордоном недоверия и презрения всего квартала Рифреди, несколько сот человек, раскинувших здесь «цыганский табор», в свою очередь демонстративно пренебрегали кварталом. Торговали они на улицах и перекрестках, где их знали и откуда они не могли уйти; старики, женщины и дети, словно в крепости, оставались в плену этих расположенных квадратом новых домов, между которыми пролегали аллеи и грядки тотчас же увядших цветов. Их дома окружала решетка на высоком каменном фундаменте. У трех подъездов постоянно дежурили полицейские. Все вместе напоминало лепрозорий. Покуда Дино и я ходили в школу и на работу, Армандо одним из первых проник за эту изгородь, он пришел туда даже раньше коммунистов, проведших там первый предвыборный митинг.

— К счастью, я нашел гречанку,— добавил Армандо.— Если будете себя вести хорошо, я вам ее одолжу, как ту, что покончила с собой.

Я заставил его говорить уважительнее.

— У нее было имя, ее звали Электрой.— Даже при одном упоминании о ней мне казалось, будто меня вываляли в грязи. Я был ему признателен за то, что он не принял меня всерьез.

— Ладно,— сказал он,— эту зовут Розария, она тоже идет на все. Деньги берет только у тех, кто ей не по душе. С тех, кто ей нравится, не берет вовсе. Мне с ней хорошо. Она ничего не требует, да еще вдобавок дешево продает мне сигареты, которые я за двойную цену сбываю шоферам грузовиков.

— Когда?

— Хоть сегодня вечером.

Розария не спросила меня, чем я занимаюсь. Она взглянула на нас

почти рассеянно, сначала на меня, потом на Дино. Ему подала руку, а мне сказала:

— Привет!

Смоляные волосы собраны над затылком так, чтобы виднелась шея. На ней черный, шерстяной, плотно облегающий тело джемпер, желтая юбка. Дино верно сказал: «Есть в ней что-то хищное...» Глаза темные, задумчивые, глубокие, поначалу кажется даже, что она бог знает как умна. Она стройна. У нее узкие бедра, длинные ноги, а грудь высокая, полная.

Мы условились, что они под каким-нибудь предлогом оставят нас одних. Армандо ее «одалживал», а спорить с Дино о первенстве мне ведь не приходилось: скажу «после меня» — он и доволен. В первый же вечер мы с ней отправились на прогулку вдоль берега.

— Привет! Ты гречанка?

— Ну вот,— ответила она,— все тот же вопрос. Такая же итальянка, как ты. После войны нас выселили из Патраса — мы сохранили итальянское гражданство. Я тогда еще пешком под стол ходила.

Та же история, что и у Электры. Меня удивило, что Армандо не рассказал ей об Электре.

— Ты ее тоже знал? — спросила она.— Из-за нее семью прогнали из приюта для беженцев. Им пришлось перебраться в жалкую лачугу, они и сейчас там живут. Там, конечно, лучше, чем было в приюте, но теперь они из-за этого потеряли право на квартиру.

— Все из-за нее?

— Раз ты знал ее, значит, поймешь. Вела себя слишком скандально. Братья — трое их у нее — без конца ее колотили. У нас такое поведение, знаешь, не принято,— добавила она.— Покуда были живы старики, она хоть немного их слушалась. Но отец и мать Электры умерли в больнице. Отец — когда они жили в бывшей полицейской казарме на Виа-делла-Скала, а мать — уже после того, как они перебрались на виа Гуэльфа, что за старой табачной фабрикой. Вот где люди мерзли! Я там тоже жила. Не забыть мне, как мерзли на виа Гуэльфа. Зимой можно было на пальцах пересчитать тех, кто не схватил воспаления легких.

Мы шли вдоль зарослей камыша; совсем близко у перекрестка раздавались голоса, они доносились к нам издалека — слабое эхо чьей-то беседы.

— Отчего она с собой покончила?

— Тебя это задело? С нами всеми судьба поступила жестоко. Только я ничего не замечаю — молода, жить люблю.— Она шла, чуть опережая меня, и вдруг остановилась, скрестив руки за спиной.— Зачем мы сюда пришли? Разговаривать об Электре? Ты из тех, кто в нее был влюблен?

— Нет, встретился с ней всего один раз,— ответил я, чувствуя, как на лице вспыхнула краска стыда. Розария не заметила моего неожиданного волнения.

— Ну и что ж? Я тебе верю, знаю, кто ты. Мне твой приятель все рассказал. Узнала, что ты умен, а что красив — и сама вижу.

Она уселась спиной к камышам, низко склонив голову:

— Давай отдохнем!

Я это понял как приглашение. Когда я шел следом за ней, мной владело желание, естественное при таких обстоятельствах и навязанное соучастием друзей. Теперь я мог делать с ней все, что хотел, «повалить» ее, как выражался Армандо, но воспоминания об Электре с необъяснимой силой заставили вспыхнуть угрызения совести и погасили мой порыв. Розария сидела, запрокинув голову, выставив грудь. Выражение ее лица пугало: казалось, будто любовь могла ее убить. Я сел рядом с ней, с трудом сдерживая охватившую меня дрожь. Сказал ей:

— Знай, мне ничего не нужно...

— Со мной не так просто,— улыбнулась она.— О нас пошла дурная слава. Впрочем, думай как хочешь и что хочешь. Спорим, что твой Армандо уже успел похвастаться.

— Да,— признался я,— это так.

Меня отталкивал сильный запах ее тела. Во рту она держала шпильку, которую теперь воткнула мне в волосы.

— Да он и впрямь трактирщик! Впрочем, тут ничего дурного нет.

— Электра,— сказал я,— тоже жила с теми, кто ей нравился.

— Электра жила со всеми, каждый раз с кем-нибудь другим. Это не ее вина, она была больна.

— Что значит больна?

В тот первый вечер она больше ничего не захотела сказать. Я проводил ее немного и был рад, что не пришлось ее даже целовать. Она шла, держа меня под руку, и что-то напевала. Прерывая молчание, она внезапно спросила:

— Хочешь взять у меня сигареты за полцены? — Потом вытащила из-за пазухи пачку «Муратти».— Только одна и осталась. Денег не нужно. Заплатишь завтра. Если ты на самом деле такой честный, завтра снова придешь.

— Я не такая, как Электра,— сказала она мне на следующий вечер.— Но не вижу греха в том, что выбираю сама. Скоро выйду замуж за своего двоюродного брата. У нас ведь свои обычаи, как у гречанок или женщин из Апулии. Муж для нас все равно что король. Когда мужья вечером возвращаются домой, мы разуваем их, и вода у нас уже согрета, и таз готов. После трудного дня у нас еще многое недоделано. Но мы рады оказать им услугу. Мы, женщины, заботимся о доме. У нас не принято, чтобы женщины ходили на работу. Такие, как Электра, исключение. Ее и колотили за это. Не хотела дома сидеть или сбывать сигареты и другое барахло. Предпочла завод. Они ее любили, но ничего с ней не могли поделать. Такой был разлад в их семье.

— Вы и впрямь живете, как цыгане,— сказал я.

— Ты только не шути, бывает и везенье, и дурной глаз.— Она перекрестилась, тронула меня за руку.— Вот такие разговоры мне не по душе.

— Ну, а счастье? В чем ваше счастье?

Я нарочно посмеивался, а она отвечала всерьез:

— В том, что мы женщины. Это наше ремесло.

Прошли недели. Теперь мне с ней было легко, но я все еще не желал близости, особенно из-за этого запаха, который мне казался противным. Как-то вечером шел дождь, нам пришлось укрыться под мостом. Уселись с ней рядом на камне — том самом, с которого мы ныряли, пока не обмелеет Терцолле. Как-то Дино столкнул меня в воду с этого камня — так я научился плавать.

— Дома, в Греции, наши были обеспечены. У них был свой участок земли. Мне суждено было стать крестьянкой. У нас были поля и виноградники, у нас было розовое вино «химеттос», оно пахло смолой. Я его запомнила из-за цвета. Ведь мне к концу войны было всего три года, и тогда нас изгнали из страны, тотчас после концлагеря. Мы теперь потеряли все,— сказала она.— Мужчинам пришлось выкручиваться, идти на любую работу. И теперь, когда у нас есть дома, люди все еще видят в нас прокаженных. Если бы мы не стали ловчить с самого начала, пришлось бы с голоду подыхать при том пособии, что получаем.

— Но вы пошли против закона,— сказал я.— Право воровать есть у тех, кто голоден, кто родился несчастным. А вы обыкновенные жулики.

— А закон был справедлив к нам? Наши старики выбрали родиной Италию. Как она вознаградила нас за это? Ведь мы же могли отречься, стать греками, по-прежнему жить на своих землях. Те, кто так поступил, сейчас живут лучше прежнего. Время от времени они приезжают к нам погостить. Они по сравнению с нами — настоящие баре. Конечно, и там есть нищета, но у нас ведь была собственная земля. А тут торгуй не торгуй — останешься оборванцем. Помогли нам те, кто ведет большую торговлю на «черном рынке», но они-то начинали, имея деньги. Мужчины слушаются их, они помогают им заработать, они подчиняются им, как мы своим мужьям. Мужья приходят домой вечером, и женщины моют им ноги, подают кебаб, горячий, прямо с огня. Спорим, тебе бы понравилось жареное мясо с душистой травой. Я бы так и клала его тебе в рот прямо с вертела!

Особенно хорошо она умела готовить гювеш, его готовят из мяса молодого барашка, а не из крольчатины или козлятины, только барашек и тесто. Едят из той же кастрюли, в которой готовят.

— Нужно только все делать с любовью, чтобы хорошо получилось,— сказала она. Еще она умела делать кефледес из риса, рубленого мяса и тыквы.— Да, но не с пармезаном, дурачок. Тебе бы пришлись по вкусу и массака, и долмадес, и ладера *. Боже, как мне хотелось бы угостить тебя всем этим!

Она пододвинулась ко мне, приблизила свои губы к моим. Я сидел откинувшись назад, опершись на руки. Теперь я уже видел перед собой не Электру, а ее — Розарию, юную, полную жизни, запах ее тела сливался со свежим запахом зелени, доносившимся из зарослей камыша. Я повалил ее на траву. Она притворно сопротивлялась:

— Нет, нет, только не теперь...— И боролась и наконец уступила с одной лишь мыслью — отдаться мне целиком, взять на себя все, что было страданьем и болью. Нет, я не был с нею нежен. Я был груб и жесток: слишком все это долго тянулось и требовало выхода. Под конец я чувствовал себя совсем опустошенным, она же испытывала какое-то идиотское блаженство. Во мне поднялось чувство ненависти, желание оскорбить ее.

— Как же ты будешь ладить со своим двоюродным братом? Что ж он за южанин, если не ревнует тебя?

— Он король,— повторила она.— У короля не может быть подозрений. Мы служанки, нам это нравится. Таков закон, который мы чтим. Вот если король пренебрегает нами, тогда мы виноваты.

— Сволочь ты,— сказал я.

— Что ж! Может, я в тебя влюблена? Я не гашу свет допоздна, только свистнешь — прибегу.

Такова уж ее логика, отталкивающая, но принятая мной.

В один из вечеров, после того как она уже сдружилась с Паолой, которая обхаживала Армандо, и мы, исключив из нашей компании Дино, гуляли вчетвером, она открыла мне тайну Электры.

— Виноват один из наших,— сказала она.— Знаю, об этом нельзя говорить, нельзя предавать... О том, что бывает у нас, вообще нельзя говорить. Но я вижу, как много ты об этом думаешь.

— Мне нужно все всегда понять до конца. Не выходит — значит, беда, я как пес кидаюсь на друзей, ссорюсь с матерью.

Она приласкала меня. Мы лежали на постели из трав посреди камышей.

— Я же говорю: один из наших, родом из Луканьи. Он овладел ею, когда она была совсем девочкой. Причем неплохой парень как будто... Тебе не понять наших страшных ночей в казармах. Спали на одной кро-

* Блюда греческой кухни.

вати, под одним одеялом, втроем-вчетвером. Она еще не была женщиной, но знала все. Не она первая, и со мной так же было,— добавила она спокойно.— Спала, и кто-то ко мне подобрался. Но я не стала из этого делать трагедию. А Электра и без того была немного сумасшедшая, ну, больная. Ему было почти двадцать, они могли бы пожениться, но он исчез, спутавшись с какими-то торговцами шерстью, а потом вернулся с женой немкой. Вернулся, чтоб уехать тотчас: ему угрожала тюрьма за дезертирство с военной службы. Что до Электры, то она уже не могла обойтись без мужчин и повела себя так, чтобы больше ни в кого не влюбляться.

— Тебе это кажется убедительным?

— Ее поймет только женщина,— сказала она.— Нет для нее другого бунта, другой защиты. Что ж, ты бы хотел, чтобы она себе пулю в лоб пустила? Мы — южане, но мы из Греции. Для нас мужчина — самое святое.

— Король.

— Конечно король! — воскликнула она.— А ты? Кто ты?

Она растрогала меня. Я начал смутно ее уважать.

— Но отчего же она покончила с собой? — спросил я.

— Она не хотела,— сказала Розария.— Дозой ошиблась. Это были другие таблетки, не снотворные, как тогда писали в газетах. Забеременела, хотела сделать выкидыш...

Глава 14

С Джо (впрочем, как и с Бенито) меня свела драка. Сначала Дино рассказывал мне об этом высоком, страшно худом парне: «Представь себе вешалку с головой и ногами!» Он мулат. Мы могли принять его за «новоиспеченного Томми», за араба или алжирца с очень темным, оливковым цветом кожи. Волосы черные, мягкие, но не курчавые. Он зачесывал их назад, чтоб они не казались такими густыми. Он и одевался как-то совсем не по моде. Костюм серый, пиджак слишком короток, брюки едва доходят до лодыжек; ну, рубашечка, галстучек — словом, господский сынок, только ясно с первого взгляда, что ему до настоящих господ далеко. Походка какая-то робкая, хотя голову держит прямо, грудь выставляет вперед; из кармана всегда торчит спортивная газета; книги носит под мышкой. Сидя на скамейке у площади Далмации, мы толковали о Коппи *, говорили о фильмах, о девушках гречанках и частенько видели, как он ждал троллейбус, направляющийся в Сесто.

Как-то раз в Народном доме мы собрались у проигрывателя — слушали Модуньо — и увидели в окно, как он идет по улице.

Летними вечерами мы уже с пяти часов бездельничали на берегу. С нами бывали Паола, девушка из квартала Рифреди, и Розария, такая не похожая на Электру гречанка. Он усаживался в тень под мостом с книгой в руках, меняя место, когда его настигали лучи заходящего солнца. Потом вставал, собирал букетик маков и маргариток, перевязывал его травинкой и уходил. Нас, в особенности меня и Дино, занимало не его присутствие, а то постоянство, с которым он возникал на наших улицах. Мы со своей скамейки кричали ему вдогонку: «Hey, Joe, where you goin?» ** Он не оборачивался — значит, не американец.

Армандо с присущей ему логикой выбившегося в трактирщики крестьянина в двух словах описал его судьбу, как она ему представлялась. Разумеется, угадал; он обо всем толковал рационально, а значит, правильно. «Думаю, отец у него негр, мать — итальянка. Должно быть,

---

* Знаменитый велосипедный гонщик.

** Эй, Джо, куда идешь? *(Искаж. англ.)*

остался сиротой, теперь учится в школе у отца Бонифация при церкви Сан-Стефано».

Однажды за окном возникла фигура Джо, которого мы могли разглядеть по пояс.

— Привет, кучерявый,— сказал Дино.

На этот раз Джо обернулся, нас поразила необычная ясность взгляда, лицо его словно светилось и совсем не казалось черным. Без злобы, даже весело он ответил:

— Привет! — и зашагал дальше. Теперь мы каждый раз здоровались с ним при встрече. А как-то вечером завязали с ним через окно вот какой разговор:

— Привет, Джо!

— Привет! Как тебя звать, не знаю,— ответил Джо.

— Да он свой парень,— сказал я.— Постой, зайди-ка сюда.

Но он побежал к остановке и вскочил в подошедший автобус.

На другой день мы вместе с Армандо — я со своей гречанкой, он с девушкой из нашего квартала — сидели на берегу в тени камышей. В туристский сезон Дино не мог освободиться до самого вечера, задерживался за отцовским прилавком. С девушками ему вообще не везло.

— А ведь красивый парень,— сказал я Розарии,— вдобавок остер на язык. А насчет Тони Кэртиса знает такое, что мне и во сне не снилось.

Армандо, который укрылся с Паолой по другую сторону зарослей, добавил:

— Ну, а как насчет Мэрилин? Ему ли не знать? В свободное время только и делов что читать газеты. Хозяин киоска у заставы Росса снабжает его чтивом напрокат.

Паола заявила:

— Он свой.

— Ну, а мы?

— Вы тоже,— ответила Розария.— Не знаю... Дино — милый, с ним хорошо, но между нами словно пропасть. Словом, мы друг от друга далеки.— Она поцеловала меня в шею; сквозь камыши снова донесся голос Армандо:

— Ну, а как вы, например, смотрите на Джо?

Паола расхохоталась:

— Ты вот шутишь, а я скажу: он для меня темноват.

Не переставая обниматься, Розария и я обернулись. Джо стоял на берегу и собирал свои цветочки. Он поднял голову, словно видел и слышал нас.

— Взгляни на него,— сказал я,— маргаритки собирает.

Мы видели его сквозь просвет в тростниках. Вдруг появились трое ребят, в таких же, как мы, куртках. Один из них обратился к Джо со словами, которые, подобно нашим, звучали вызовом:

— Эй, черный, ты что, маргаритки собираешь?

Вскоре из-за холма, откуда пришли эти трое, подошли еще четверо и окружили его. Ребята были из квартала Новоли, кое-кого я знал. Они брали у греков сигареты для продажи и называли себя фашистами; Розария знала их по именам; увидев эту компанию, она съежилась от страха. Я узнал Виньоли, он учился на одном курсе со мной, только в другой группе.

— Ты их кому понесешь? Невесте?

Джо был выше них; глядел прямо в глаза каждому и все же поверх них.

— Нет, матери. Разрешите,— добавил он, пытаясь пробиться сквозь стену курток из пластика. Его просьбу встретили хохотом и шумными возгласами. Тот, кто подошел к нему первый, пнул Джо ногой

в зад. Другой, в берете, оттолкнул его грудью. Виньоли, на которого он теперь налетел, ударил его по лицу:

— Снесешь домой, черный!

— Твоя мать была шлюхой?

— Как ее найти? Сколько она берет? — издевались они.

Я уже взбирался вверх по берегу, Армандо — за мной следом. Перепугавшиеся девчонки теперь вызывали отвращение, они зарылись в камыши и оттуда пищали нам что-то невнятное. Очутившись наверху, я решил сыграть на внезапности. Ни слова не сказав, я кинулся на Виньоли и повалил его. Внезапность — дело верное, если только уметь ею пользоваться; в тех редких случаях, когда я оказывался в самой гуще драки, она мне всегда помогала. Я прижал Виньоли к земле и с лихвой отплатил ему за пощечину, нанесенную Джо. Но Виньоли со своими друзьями скоро меня одолели, они били по лицу, в живот — еле живой я скатился вниз, но пришел в себя, когда драка еще не кончилась. Армандо сопротивлялся, даже когда они его сбили с ног; еще крепче поддержало меня присутствие Джо. Я-то подумал, что он удрал. А он, прислонившись к мосту, самыми что ни на есть научными приемами молотил кулаками, пинал ногами тех трех или четырех, которые бросились на него. Я встал, но Виньоли обо мне не забыл и снова кинулся на меня, Армандо начал сдавать, на земле оказался и Джо. Они на него навалились и могли бы искалечить, если бы один из них, тот, что в берете, вдруг не встал на его защиту:

— Хватит, мы уже их отделали.

Виньоли бросил меня и накинулся на своего приятеля.

— Ты с кем? С нами или с ними? Поберегись, Бенито, не то и тебя взгреем,— кричали они.

Так оно и вышло. Через несколько секунд шестеро накинулись на одного, они уже и сами выдохлись, но все-таки уложили Бенито рядом с Джо. Плюнув на прощанье, они, поддерживая друг друга, спустились к берегу, завели свои мотоциклы и умчались в сторону Ромито. Наши Магдалины выползли из камышей. Подошел Дино и с помощью красавиц помог нам встать на ноги.

— Сколько тебе лет, Джо?

— В декабре будет тринадцать.

— Совсем ребенок! — сказала Розария.— Даже не верится.

— Знаю,— ответил он,— на вид я старше. Рост такой.

— Не только,— добавила Паола.— Мы видели, как храбро ты дрался.

— Все равно это не наше поколение,— сказал Дино,— ты еще мальчишка.

— А как тебя звать? — спросил я.— Мы тебя прозвали Джо.

— Угадали,— ответил он; скромный от природы, он снова стал по-прежнему сдержанным, с искоркой юмора, который мы в нем обнаружили. Он сделал широкий жест рукой, словно показывая, как доволен и признателен.— Меня зовут Джузеппе, но можно называть и Джо.

Армандо сказал:

— Какой ты черный. На тебе и следов от драки не видать.

Теперь я обернулся к другому:

— А тебя как звать?

— Бенито. Я учусь.

— Я тоже,— сказал я,— в техническом.

— А я нет.— И с какой-то успокоившей меня застенчивостью добавил: — Учусь в лицее. Знайте, я обо всем думаю иначе, чем вы. Только раз уж семеро кидаются на двоих... Это не была карательная экспедиция,— объяснил он нам.— Просто они разыскивали девушку гречанку,

не Розарию, другую, и рады были любому приключению, какое подвернется. Тут им попался черный Джо со своими маргаритками. Я-то против цветных ничего не имею,— продолжал он.— Впрочем, не знаю, откуда ты родом,— обратился он к Джо.— В Абиссинии и в Сомали мы, итальянцы, превратили вас в цивилизованных людей. Так же как в Эритрее и в Ливии.

Джо сделал вид, будто не слышит. Самый аккуратный из нас, он теперь тщательно причесывался.

— Много ты знаешь,— вмешался Дино. Он вместе с Розарией бегал к речке, обмакивал платок в неподвижную, словно стоячую, воду и обтирал мне лоб и щеки.— Оттого тебя и назвали Бенито. Кажется, так звали Муссолини.

— Мне тоже кажется,— добавил Армандо,— только я не очень уверен.

Джо тоже не был уверен, что Муссолини звали Бенито.

— Значит, вот вы какие,— промолвил Бенито. Как и Джо, он занялся прической. Волосы у него были волнистые, золотистого цвета и отлично укладывались на голове.— Болтаете, сами даже не зная, о чем.

— Ну, а ты? — спросил я.— Ты против кого?

— Против капиталистов, против попов, против предателей,— выпалил он одним духом, сплюнул кровь, сочившуюся из десен, и облизал губы. Паола смочила их тем же платком, которым лечила раны Армандо.

— А еще против кого?

— Против тех, кто хочет привязать Италию к колеснице победителя.

— Вот почему ты дерешься с такими, как Джо!

— Я объяснил. Это случай. Руки чесались.

— Ну, а дальше?

— Я за социальное равенство,— сказал он.— Его нам не дадут ни американцы, ни русские. Вы, коммунисты, на этот счет заблуждаетесь.

— Мы не коммунисты,— сказал Дино,— мы...— Он взглянул на меня и опустил глаза, словно опасаясь, что не туда залез.— Кто мы, Бруно?

— Мы свободные люди,— сказал Армандо. Он попробовал засмеяться, но застонал от боли в челюсти.

— Конечно,— сказал я и вдруг подумал о Милло, словно впервые увидел его перед собою теперь, когда его не было с нами.— Мы свободные люди, но мы коммунисты, мы свободные коммунисты. Мы хотим того же, что Бенито.

— Этого быть не может! — воскликнула Паола.— Он фашист!

— Да, но с теми, кто здесь дрался, он редко бывает вместе,— заявила Розария.

— Не нуждаюсь в помощи женщин,— прервал ее Бенито.— Я за социальное равенство. Я за Италию.

— Значит, как мы,— сказал Джо, который до сих пор молчал. Он спрятал расческу в верхний карман пиджака, поправил воротничок и галстук, собрал свои книги, поднял чудом уцелевший букетик и высоким своим голоском веско заявил: — Я католик. Мне тринадцать лет, но я умею дружить со старшим. Примете меня в компанию?

До этого нас было трое, теперь стало пятеро. Через несколько дней мы снова встретились, и Армандо, который всегда был самым нескромным из нас, заставил Джо рассказать о себе. Джо был искренен и застенчив. Нескольких слов хватило, чтобы узнать о нем все.

— Живу я у Сесто, за фабрикой «Дочча», где делают фарфор. Отец был американским солдатом, убит под Флоренцией, похоронен на союзном кладбище Таварнуцце. Вы там бывали когда-нибудь?

— Да, я была там! — воскликнула Паола.— Мы там устроили пикник. Крестики низенькие, беленькие...

— Его могила седьмая в пятьдесят втором ряду, если считать от входа,— сказал Джо.— Девятая в двенадцатом ряду, если идти от памятника. Мы там проводим два воскресенья в месяц.

— Вот почему ты католик,— сказал я.

— Не ради выгоды,— ответил он.— Я верю...

Бенито тоже улыбнулся. А Дино поинтересовался:

— Откуда был твой отец? Из Иллинойса или, может, из Миссури?

— Из Далласа. Но нам оттуда ни разу не ответили на письма.

Даллас? Меня поразило это название, а не те робкие слова, которые Джо произнес затем. Даллас — знакомое местечко.

— Техас,— произнесли мы вместе с Дино. Билли Мортон, тот, что играл на губной гармонике, был оттуда.

— А ты умеешь говорить по-американски?

— Нет,— сказал Джо,— я еще должен научиться.

Глава 15

У Армандо теперь своя машина — значит, дела в траттории процветают. Но в те времена первым из нас получил мотоцикл Бенито. Ему его подарил отец, когда Бенито исполнилось шестнадцать. Мы редко говорим друг с другом о родителях, хотя они и досаждают нам своими глупостями, тревогами, уроками своего опыта, на котором не счесть пятен. Родители живут вне наших интересов. Мы начинаем жизнь, а они свою прожили среди противоречий и постоянных уступок. Теперь жизнь загнала их меж четырех домашних стен, и они словно узники, которых мы вынуждены ежедневно навещать. Нам приходится выслушивать их излияния, немыслимые претензии, страхи и опасения. При помощи этих средств они стремятся воспитать в нас характер. Только Джо живет в согласии с матерью, может, оттого, что он, при всем своем росте, еще остался ребенком. Нас не радует, а огорчает, когда в суждениях и оценках мы сходимся с родителями.

О том, что отец Бенито, в прошлом почтовый чиновник, долгие годы был парализован, мы узнали лишь после его смерти, вскоре после покупки мотоцикла. Я всегда видел его в кресле; ноги его были укутаны пледом; рот искривлен, хотя речи он не утратил. Гостиная стала первой его могилой, и он заполнил ее своими трофеями.

Мне все рассказал Бенито, когда после смерти старика мне открыли доступ в их дом на виа Чиркондариа. На стенах висит портрет Муссолини и множество фото сквадристов * в рамках. Они сняты в полной боевой выкладке: подсумки через плечо, винтовки «на плечо» или «к ноге», в руках дубинки, стоят по команде «вольно». На головах — фески, как у турок. Подбородки вздернуты, строгость во взгляде — словно школьники перед фотографом расположились в несколько рядов. Похоже, будто ребята наших дней надели на себя маски, как те монахи, что ходят в спущенных на лоб капюшонах. Черные, как сутаны, рубахи, солдатские штаны, на ногах — сапоги или башмаки с обмотками; всех смешней, хоть и всех строже на вид, кажется вон тот, в обмотках: усы, бородка, лысина, широкая лента через грудь — это и есть отец Бенито. По белому полю над рамкой выцветшая надпись: «Сквадра Бальдези. 1921». Тогда еще даже Иванны не было на свете! В простенках между выходящими на улицу окнами рядом висят дипломы сквадриста и кавалера орденов.

— Теперь ты видишь, среди кого я рос, какие у меня старики.

Бенито на двадцать три года моложе старшего брата, который в

---

* Фашистские каратели в первые годы режима Муссолини; сквадра — боевая группа сквадристов.

Риме служит в каком-то министерстве; на восемнадцать лет моложе незамужней сестры, работающей на фондовой бирже.

— Года через два после моего рождения отца хватил удар, говорят, из-за высокого давления. Но я-то знаю — паралич хватил его от страха: партизаны пришли за ним, он спрятался в комнате за дверью, прикрытой шкафом. Вот как он дрался за свою идею — дал матери упрятать себя за шкаф. Это мое самое раннее воспоминание.

Брат Бенито был в России в плену, вернулся и не думает ни о чем, кроме своей карьеры.

— Так я жил со стариками и сестрой, которой никогда не бывает дома: после работы она встречается с одним из своих женатых коллег.— Бенито дурно отзывается о своих, словно стыдится их привязанности к нему.— А ты знаешь, как я добился мотоцикла?

По стойке «смирно» в черной рубахе стоял он перед отцом, неподвижно замершим в своем кресле. Мать, стоя в углу, сдерживала рыдания, отец подсказывал нужные слова. Бенито должен был поднять руку в знак приветствия и, обратившись к портрету дуче, произнести слова клятвы: *«Клянусь служить... если потребуется — и ценой моей крови»*. Отец подозвал его, прижал к груди, расцеловал. На следующий день дал денег на мотоцикл.

Прикрытые ставни, пожелтевшие обои, затхлый, прогорклый воздух. Старуха мать, похожая на карлицу, в платке, наброшенном на плечи, в пенсне, совсем седая, волосы в завитушках. Я впервые вошел сюда и увидел квартиру вдвое больше нашей, обитатели которой сразу показались мне допотопными существами. Ощущение затхлости и все пронизавшей пыли не покидало меня, хотя дом содержался в образцовом порядке. Мебель тщательно протиралась, но подушки на кресле хранили отпечаток того, кто в нем сидел, повсюду висели и лежали старые ковры и громоздился хрусталь. Гостиную превратили в музей, где над всем господствовал гигантский портрет Муссолини в генеральском мундире, в шапке с султаном. Дуче походил на ярмарочного факира-фокусника в восточных одеждах или еще на офицера ватиканской стражи. Ни Гарибальди, ни Сапата не могли быть такими.

Я вспомнил Милло и улыбнулся, невольно признавая его правоту.

— Каким он тебе кажется? — спросил Бенито.

— Фальшивым,— ответил я.

— А я думаю, он был великим человеком. Если бы только за ним пошли серьезные люди, а не шуты гороховые вроде моего папаши.

— Кого он хотел застращать?

— Всех. Он двадцать лет подряд нагонял ужас на всех — в Италии и за границей.

— А потом люди перестали пугаться?

— Он остался один! Все его бросили, первым — мой отец. Лишь немногие осгались и пошли с ним на смерть. Теперь уж его никто не воскресит. Я фашист, но я против МСИ *. Они жаждут избиения интеллигентов и рабочих, а он желал равенства для всех.

— В самом деле? — спросил я под впечатлением искренней горечи его слов.— И для рабочих «Гали»?

— Для всех. Но он был связан по рукам и ногам королем и капиталом.

Мы сидели в комнате Бенито, похожей на мою, только попросторнее. Здесь стоял письменный стол, книг было больше, чем у меня.

— Ну, а портрет Грамши ты видел? — удалось мне наконец спросить.

— Вождь коммунистов? Знаю.

* «Итальянское социальное движение» — неофашистская партия в послевоенной Италии.

— Да. Муссолини гноил его в тюрьме. Быть не может, чтоб они хотели одного и того же, даже дуреха Паола это понимает. Я про Грамши знаю,— сказал я, не объяснив, от кого. И добавил:— Он был невысокий, с густыми волосами, куртку носил, застегнутую до самого ворота.

— Как Сталин,— сказал он.

— Конечно,— ответил я.— Такую же, как Сталин. И Ленин. Но Ленин носил рабочую кепку, пиджак у него был всегда расстегнут. Он выступал с простой трибуны без украшений, подымал палец и глядел на тех, кто его слушал.

— Он был не за равенство, а за коллективизм.

— В чем разница?

— В самом главном,— ответил он.— Речь идет о личности. Мы равны, но каждый остается самим собой. Раз я стою больше тебя, ты мне должен подчиниться.

Ему нетрудно было заткнуть мне рот, он больше моего учился. Я поглядывал на него недоверчиво, хоть и не без восхищения.

— Однако не вздумай меня порабощать,— ответил я.

— Если станешь бунтовать, придется — я ведь думаю и за тебя. А вы — против богачей, против хозяев, против тех, у кого машины, которых нет у вас, против тех, кто не работает и летом ездит к морю?

Тут мы едины. Среднего пути нет. Нас не заманят ни социалисты, ни либералы. Миром управляют диктатуры — диктатура буржуазии или диктатура пролетариев.

Тут мы сошлись во взглядах, хотя я не мог с ним согласиться насчет Муссолини, и оба мы еще не были в состоянии разобраться в собственных мыслях, понять причины, породившие их.

Нам обоим хотелось иметь свои машины, ездить к морю и летать на самолетах, хотелось побывать в Техасе и в Сибири, в Бомбее и в Австралии. И оба мы знали, что нужно работать, чтоб заслужить все это. Наконец он произнес слова, которых я от него ждал:

— Нужно искать. Если сами правды не найдем, нам ее никто не скажет.

Прошло несколько недель. В тот день заливали асфальтом мостовую, стены дрожали от шума. Он ткнул меня пальцем в грудь, словно наставил пистолет:

— Кажется, я понял, где правда, чутьем до нее дошел. Я тебе все объясню. Пойдешь со мной, если все тебе растолкую?

— Посмотрим, если убедишь.

— Вот с чего начнем. Пойми, нас предали. Меньше других — марксисты. Теперь я понял: они за общество, где меркой человека станет разум, способность к творчеству, у фашистов, в речах Муссолини, я этого не нашел.

— От каждого по способностям,— сказал я.

— Каждому по потребностям. Я за это. Но сегодня марксисты сидят сложа руки. Вот отчего снова заважничали хозяева и попы. Временами я думаю, что фашизм был величайшей ложью. Но фашизм был также испытанием. Демократия проглотила мякоть, выплюнула косточку. Хочется жить в такое время, когда все ясно, недвусмысленно. Теперь такой ясности нет — вот мы и недовольны, вот мы и не соглашаемся ни с кем.

— Ну, друг друга мы понимаем, хоть у нас противоположные идеи.

— Понимаем потому, что хотим одного и того же.

Мне ясно было, что имел в виду Бенито. Во времена фашизма его противники ясно видели врага. Враг был перед нами, как цельная глыба. Я понимал моего друга, пока он доходил до этого, но все путала его манера выражаться, такая туманная, что казалась зашифрованной.

— А вывод такой,— говорил он,— нужно, чтоб вернулся фашизм —

сильный, жестокий, решительный. Тогда снова поднимутся на борьбу подлинные революционеры. С ними будем и мы, тогда и пробьет настоящий час. А пока революционеры должны сеять зерна фашизма.

— Значит, хочешь быть революционером — помогай возврату фашизма? Нет! Нет и нет! — возмутился я.— Мне с тобой не по пути.

— Я прав! — закричал он.— Для революции все средства хороши, все компромиссы допустимы. Революционеры впали в спячку, мы должны их разбудить.— Потом добавил: — Впрочем, пока что я в этом не вполне убежден. Я все еще нахожу хорошее во временах Муссолини. В день, когда я окончательно поверю в то, что сказал, я стану таким фашистом, какого ты и представить себе не можешь.

Долгие часы проводили мы в его комнате, опаздывая на свидания с девушками и друзьями. Уроки готовили добросовестно и быстро. Мои задачки по геометрии, наша урезанная программа по литературе казались ему детской забавой. Я часто терялся, когда дело касалось его занятий, с которыми он старался справляться сам, когда он скупо и сжато излагал мне свои философские взгляды. Порой мы брали в руки его английскую грамматику, я не умел ни читать, ни писать на этом языке, но владел разговором лучше, чем Бенито, и обучил его сотням слов американского жаргона — таких, что в словарях не найдешь.

К определенному часу его мать приносила нам фрукты, апельсиновый сок или чай. Она ставила поднос на стол, никогда не жалуясь, что комната полна табачного дыма, и задерживалась на минуту, чтоб поглядеть на нас, руки она согревала под шалью. В полутьме водянистые зрачки под стеклами пенсне делали ее похожей на слепую.

Итак, занимались мы вместе; по уговору читали сперва главу из «Хрестоматии ленинизма», потом отрывок из речей Муссолини с примечаниями. Мы знакомились с историей и политикой, о которых в школе и не упоминали. Сопоставляли то немногое, что знали сами, с противоречащими друг другу объяснениями, которые слышали — я от дяди Милло, Бенито — от отца. Покуда я переваривал какую-нибудь страницу, Бенито уже повторял отрывок вслух. Память у него была цепкая, жадная, но в голове словно устроены ящички, по которым он распределял идеи, лишая их жизненной силы. Я в этом убеждался постепенно, когда, возвращаясь к какому-нибудь месту, он каждый раз излагал его в одних и тех же выражениях. И в самом деле, все, что ему, по его же словам, казалось интересным, теперь занимало его все меньше и меньше. Несмотря на способность увлекаться, ему недоставало силы воли.

— Брось,— говорил он мне, сдвигая на затылок берет, который носил даже дома, казалось, он в нем и спит. Большой золотистый чуб закрывал его лоб, спускался на глаза, сияние которых прорывалось, словно свет сквозь прорези жалюзи.— Лучше послушай! — и он брал в руки книгу стихов, одну, другую, открывал ее, хотя знал наизусть.— Вот! Только помолчи, и до тебя дойдет.— Он бледнел, рукой описывал круги в воздухе, дрожал и произносил как в бреду:

Хочу видеть мутную кровь,
Кровь, движущую створами шлюзов,
Отравляющую разум языком кобры...

То были волшебные вечера. Мы забывали, где мы, забывали о времени. Все окутывалось дымом сигарет, Бенито вставал, распрямлялся, голос его наполнял меня необычным теплом, звал в неведомые дали:

Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.

Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.

— Это русский. А тот испанец...

Я начал их различать, повторял их имена.

— Тот немец, а этот француз.

— Это не важно,— говорил он, мрачнея. И тотчас же продолжал:

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

— Вот это поэт! — говорил он.— Только у поэзии нет границ, у поэта нет ни отца с матерью, ни родины, он может быть славянином или чилийцем, американцем или китайцем. Он вмещает в себя всех и вся. Есть сегодня и в Италии поэты, и не только те, которых проходят в школе. У наших тоже стихи хорошие, но не так потрясают. Наши поэты не умеют говорить во весь голос.— Внезапно захлопнув книгу, он швырял ее на стол, на кровать — куда попало, словно приходил в себя и вдруг ощущал бремя собственного тела, несмотря на стальные мускулы.— Смотри, ни слова остальным, еще станут смеяться, этого я не снесу.

Только в сумерки выбирались мы на речку или к мосту у бойни. Дино дулся на нас еще больше, чем Розария и Паола, Армандо же только подшучивал:

— Учи́тесь, учи́тесь, все равно обедать придете ко мне. Когда стану хозяином траттории, уж повытрясу из вас денежки.

Июльским утром, когда наши учебные мастерские, где и в помине не было ни штор, ни вентиляторов, буквально плавились от жары, я сдал экзамен на разряд, обработав деталь, которую мне посоветовал выбрать Милло. Мое имя стояло одним из первых в списке, который передавался на завод «Гали». Мой средний балл и то, что я был сирота — сын погибшего на войне рабочего фирмы,— автоматически давали мне право на одно из первых мест в нашем выпуске. Я был на равных правах и с теми, кто кончал школу отца Бонифация. Словом, работа обеспечена, и Дино убедится, что я обойдусь без рекомендаций и от Милло, и от попа.

Через несколько дней Иванна сама предложила «устроить праздник», позвать друзей и отметить получение диплома. Я мог позвать Армандо и Дино, которых она знала, и «этого Бенито», и «этого мулатика», о котором я ей рассказывал. В тот день она не работала после полудня. Иванна предоставила нам гостиную, приготовила торт и бутерброды.

Глава 16

Так мы прожили лето пятьдесят шестого. Девушки уже не были для нас проблемой. Дино не везло с ними по-прежнему, Армандо продолжал водиться с Паолой, Бенито находил себе подружек в лицее. У Джо девчонки не было, мы уже решили, что он задумал стать священником и отправиться в качестве миссионера к своим цветным братьям. Дружба наша продолжалась, и время, которое мы проводили вместе, казалось нам бесконечной вереницей часов, хоть и собирались мы лишь к пяти вечера. Должно быть, напряженно жили мы в эти часы, заполненные в общем пустяками и проведенные на мосту у бойни, у автомата-проигрывателя, на берегу, в кино «Флора». Когда для остальных наступал час

ужина, я, прежде чем отправиться домой и ждать возвращения Иванны, проводил еще некоторое время с Розарией. Наши уединенные прогулки стали чем-то обязательным, ее присутствие было вызовом, которого я не мог избежать. Я набрасывался на нее с яростью и презрением. Мне хотелось услышать, как она закричит, я теперь не страшился убить ее, а только жаждал отплатить ей тем злом, что, как я смутно догадывался, она причинила мне той терпкой, почти животной радостью, которую вопреки моей воле доставляли мне эти встречи. Но она бывала лишь признательна, довольна.

— Я с каждым разом становлюсь спокойнее,— говорила она.— Я не Электра, со мной все просто. Я не хочу, как Паола, беречь себя ради жениха, который вдобавок сейчас торгует рубашками в Германии.

Ее влажные губы, потная кожа, ее прикосновения отталкивали меня, и все же я слушал ее с какой-то мне самому непонятной смесью удовлетворения и ненависти. Она рассказывала мне, как живут греки, как покорны их мужчины-короли левантийцу, главе каморры *, в чьих руках сосредоточена вся торговля сигаретами в Тоскане.

— Никогда не назову его имени. Впрочем, что тебе за дело до него... Наши мужчины идут в тюрьму, чтоб прикрыть его делишки, однако там они благодаря его помощи не засиживаются. Конечно, каждая гречанка была бы счастлива готовить для него джюветси и массаку, мыть ему ноги по вечерам. Но вкус у него тонкий — в жены он взял испанку. Наших девушек он выхаживает с детства, как наседка цыплят. Они прислуживают ему, покуда не наскучат, тогда он заботится об их приданом. Мне такого счастья не выпало: может, я некрасива. Не будь он с нами — мы бы погибли: мужчины бы не вылезали из тюрьмы, женщины не покидали бы мостовой. Вот как нас отблагодарила Италия. Построили для нас дома. Ну и что ж? Есть крыша над головой, но еще нужно прокормиться. Где? Как?

— Работать нужно. Идите на завод, на стройку.

— Нас никто брать не хочет, за нами следит полиция,— смеется она.— И столько нужно работать ради нескольких грошей.

— Электра иначе думала.

— Она исключение,— прерывает меня Розария,— она жила не как мы. Не суди по ней о гречанках.

На мгновение она заглядывает мне в глаза, как бы заставляя меня прочесть любовь в ее взгляде.

Паоле я казался непохожим на других, да и Розария мне говорила:

— Знаю, чего я к тебе привязалась. Ты не такой, как все, ты хороший.

Сближались мы не часто. Но я и по сей день сохранил отвратительное ощущение нечистоплотности тех редких минут, когда она влекла меня к себе своей похотливостью, своим вызывающим смехом.

Дино если не навсегда, то надолго избавил меня от нее.

— Ты сегодня вечером идешь к Розарии?

Мы прогуливались по Виа-делле-Панке. Армандо вскоре оставил нас и вернулся в тратторию, где теперь обслуживал столы чернорабочих и водителей грузовиков. Бенито отправился домой на своем мотоцикле. Октябрьский вечер, нависшие тучи, ощущение неминуемого дождя.

— Нет, она мне малость надоела. Только одного и хочет, как одержимая.

— Значит, можно с тобой немного побыть? Пройдемся до площади.

Он обнял меня за плечи. Я его оттолкнул:

— Не приставай.

---

* Здесь — гангстерская организация.

— Хочу тебе сделать подарок.

Неожиданность предложения заинтриговала.

— Хочешь пойдем к Старому Техасцу, покажу тебе такое, чего никто не видал.

— А что?

— Доверься мне,— сказал он.

Квартал у рва Мачинанте, где мы в детстве, когда, бывало, наскучат игры на берегу, гонялись за лягушками и копали дождевых червей, к тому времени был уже весь застроен. Снесли Торре-дельи-Альи и проложили дорогу, соединившую Новоли с Рифреди. Теперь здесь возвышались новые дома, открылись бакалейные и мясные лавки, местами еще виднелись леса строек. Сарай, в котором старик жил словно в осаде, находился чуть дальше перекрестка, посреди еще не заасфальтированной и не освещенной улицы.

Мы шли в темноте по пыльной дороге, которая вела к низкому, вытянувшемуся под навесом из зелени одноэтажному зданию, где жили батраки-поденщики. Теперь, когда вокруг нее больше не простирались поля, постройка эта, с бесполезным жерновом надо рвом, казалась похожей на заброшенный форт или убежище ведьмы. «Техасская ферма»,— говорили мы прежде, обрывая кислый виноград, финики, персики, мы тогда нарочно поднимали шум, покуда не выйдет Старый Техасец с отвислыми усами, в надвинутой на лоб шляпе, ружье у него непременно отбирал кто-нибудь из домашних, а мы спасались бегством. Мы его прозвали Старым Техасцем — так звали веселившего нас вспыльчивого героя одного из ковбойских фильмов. Но это не наш квартал, мы сюда не часто наведывались, должно быть, «техасец» нас позабыл, а может, и в живых его больше нет. Во время одного из наших последних налетов он сидел в кресле, грелся на солнце и поглядывал, как бульдозеры ровняют почву.

— Ну, давай говори.

Засунув руки в карманы брюк, мы шагали против ветра, беззвучные вспышки зарниц временами озаряли черное небо. Постепенно мое любопытство остыло, и мне подумалось, что Дино хочет заманить меня в ловушку.

Но ведь это невероятно! Он самый старый, самый верный мой друг, я люблю его больше всех, мы с ним болтаем по-американски, испытывая чувство превосходства над остальными. Он подчиняется мне, он мой сообщник, я научился сносить его скупость, а он — мою вспыльчивость. Мы доверяем друг другу, верим, что всегда будем вместе. Но меня настораживает его немногословность в этот вечер. Он знай себе повторяет свое «come on»*. Останавливаю его:

— Скажи, куда мы идем?

— А что, боишься?

— Чего?

— Ну, тогда come on. Увидишь, сколько там народу.

У перекрестка виднелся слабый огонек; при свете лампы, зажженной под лоджией, можно было различить очертания дома. Вокруг бродили какие-то тени; по мере того как мы приближались, я мог разглядеть людей, даже заметить светящиеся точки зажженных сигарет. Люди сидели на кучках гравия, на поваленном столбе. Некоторые стояли, прислонившись к стене. Больше всего здесь оказалось солдат. Были и штатские, приехавшие на велосипедах и мотоциклах. Человек десять, нет, двадцать словно образовали очередь под лоджией. По другую сторону фермы, казалось, было не меньше народу. Оттуда доносились обрывки разговора, смех. Открылась дверь в освещенную кухню. На пороге появился

---

* Пошли *(англ.)*.

солдат, на смену ему тотчас же вошел какой-то штатский. Дверь снова закрылась. Дино не дал мне времени для расспросов. Он стоял, повернув лицо в сторону, чтобы укрыться от сильного ветра. Я видел его только в профиль.

— Они платят по пятьсот лир, даже меньше. Там, внутри, две девушки, одна из них Розария.

Он говорил правду. Я сразу поверил ему, но ответил раздраженным смехом:

— Я знал. Армандо здесь был до меня. Ну и свинья же ты!

Я толкнул его в бок и удивился, как серьезно он на меня глядит. Я вытащил у него изо рта зажженную сигарету, а он по-прежнему молчал.

— Откуда ты узнал? — спросил я.

— Что, не веришь?

— Верю. Верю.— Внезапно я понял, что он хотел меня огорчить, что вся его серьезность оттого, что я не придал значения увиденному.— Негодяй! — сказал я. Рука сама сжалась в кулак, сама опустилась на его лицо. Я нанес ему удар в переносицу, он, вместо того чтобы защищаться, бросился бежать. Я кинулся за ним, догнал, стукнул по голове — он обхватил ее руками.

— Брось! — крикнул он.— Перестань, не то я тебе ничего не объясню.

Я дал ему по уху, он вскрикнул от боли, выпрямился и бросился на меня. Я не защищался, он нанес мне два сильных удара, по лицу и в грудь, и в тот же миг пнул коленом в живот. Вскоре мы оба были в крови. У него разбит нос, у меня — губы, мы суем друг другу носовые платки, присев на корточки под забором.

— Ты с ней был четыре раза,— пробормотал он.

— А ты ни разу. Даже с такой, как она, тебе не повезло.

— Было бы пятьсот лир,— сказал он.— Армандо хвастался, что не дает ни гроша, а на деле он платит вдвое больше солдат, таскает ей сладости, свежие яйца.

— Я ей ничего не давал.

— Ну, ты — это ты! — воскликнул он.— Даже не понимаешь, как ты нравишься девчонкам.

— Ты как будто ревнуешь,— сказал я.— Последнее время вечно дуешься. Даже недоволен, что я хожу к Бенито.

— Твой Бенито — подонок. Он своими стихами и тебя превратит в фашиста.

Я улыбнулся:

— Этого тебе не понять.

— Ну да,— сказал он.— Как тогда в школе, когда ты мне объяснял географию.— Он переменил разговор и сказал:— Ну, а Розария... Это я для твоей же пользы. Ты мог заболеть. Вспомни Томми и Бьянкину.

Он вытирал кровь, струйкой стекавшую из носу, переворачивал платок и обтирал мои губы.

— Что, рассек тебе губу? Видишь — я сильный! — Потом, призадумавшись, добавил: — Гляди-ка, эта свинья каждый вечер зарабатывает по пять, а то и по десять тысяч лир. Торгуй она сигаретами на углу, понадобилась бы целая неделя.

Как перепутаны в этом возрасте чувства и доводы разума... Вечером, когда раздавались заводские гудки, я всегда думал о Милло. Гордость поначалу сдерживала зов сердца, но потом я загнал ее в самый темный угол сознания, в ту черную пропасть внутри самого себя, куда так страшно заглядывать. Рев заводских сирен «Гали» становился голосом Милло, звал меня, потом Милло дружески шлепал меня по затылку, запах его сигары бил в ноздри. Хотелось бросить приятелей, побежать

за ним вслед, рассказать, как удачно получилось с той деталью, сообщить, что у меня уже есть диплом и меня, может, возьмут к нему в цех. Тогда начались бы снова те уроки, которые он давал мне за столом в нашей комнате, но только теперь уж всерьез. Вот сказать бы ему, что я его всегда ненавидел и всегда был к нему привязан. С Иванной мы о нем не говорим. И даже с Дино, да и вообще ни с кем ни слова о том, что было. Я сам залечивал эту рану. Может, они с Иванной встречались друг с другом. Я этим не интересовался, даже знать не хотел. Мы обедали дома. Иванна готовила ужин, ужинали в одиннадцать или в полночь, перед сном, как в те времена, когда я работал в типографии, а она бросила бар «Дженио» и поступила в кино, только с нами больше не было Милло.

Армандо сказал мне как-то:

— Знаешь, Миллоски тоже больше не ходит в тратторию. Мои жалуются — потеряли сразу трех клиентов.

Я раз и навсегда отрезал:

— Это меня не касается.

Он пожал плечами:

— Я спросил, потому что дома пристают... Конечно,— добавил он,— особенно жаль Миллоски. Он наш старый клиент, а теперь совсем исчез из виду.

Я его тоже больше не видел. Стоило появиться вдали велосипедисту в комбинезоне, хоть чуть похожему на него, и у меня сразу вспыхивало лицо,— я избегал улиц и мест, где мог бы его повстречать. Да, я был уязвлен, и мне в то же время казалось, будто я страдаю по собственной вине. Речь шла обо мне и о нем — к этому Иванна была непричастна. Во мне переплелись влечение с отвращением, любовь с ненавистью. Я думал, что с ним покончено, как покончено с Розарией, хотя она никогда не занимала большого места в моей жизни. Однако Милло всегда был со мной, с той минуты как я себя помню. Я понимал, что наша связь не нарушена, она жива, насущно важна для меня. На этот раз Джо невольно пришел мне на помощь.

Низкое небо, черные, черней смолы, тучи надвинулись на гору Морелло. По ту сторону речки за заводами, за домами греков, вьется среди полей дорога, ведущая к Горэ. Раньше срока опустились сумерки. Четыре дороги скрещиваются у шоссе Морганьи, машины идут с зажженными фарами. Я возвращаюсь от Бенито, болезнь уложила его в постель. Сегодня он в жару; несмотря на больное горло, бредит своими поэтами. Я решил дождаться Дино у скамейки перед остановкой автобуса. Словом, был обычный вечер начала осени, вечер, который мог кончиться дождем.

— Эй, Джо!

— Привет! Я тебя не заметил.— С книгами под мышкой шагал он, как всегда аккуратный и подтянутый. Манжеты выглядывали из рукавов наглухо застегнутого пиджака, в руках был зеленый плащ и зонтик.— Ты один? — спросил он, сверкнув своими немыслимо белыми зубами; оливковая кожа лица блестела, словно смазанная кремом.

— Ты куда-то исчез, уж сколько дней тебя не видать.

Оказывается, у него, как и у Бенито, грипп.

— Такое время года,— сказал он и добавил:— Мать утром вышла без плаща и зонтика, а вчера у нее была немного повышена температура. Ты меня не проводишь?

— Да, если боишься один улицу перейти.

Он весело покачал головой:

— Смотри, совсем как в Париже.

В этот час шоссе Морганьи похоже на Монпарнас, на Курфюрстендамм, на улицу Горького, под которой проходит московское метро, на

участок Бродвея, ведущий к Гарлему, на авеню Барселоны, на Пиккадилли, на улицу, ведущую к зданию «Жэньминь жибао», на авениду Буэнос-Айреса — на все те улицы мира, которые видишь в документальных фильмах; короче — это широкое, обсаженное деревьями пространство, где полно машин, автобусов, людей, которые толпятся у переходов, входят и выходят из магазинов, останавливаются у газетных киосков — как на виа Венето или Корсо Семпионе. Вдали, на холме, на пустынной меловой вершине, очерченной кипарисами и дубами, зажглись огни больницы. Здесь народу поменьше, проезд, ведущий к воротам «Гали»,— словно островок, по которому проложена асфальтированная дорожка. Только завоет гудок, и ее заполнят рабочие, они скоро вольются в веселые людские потоки, квартал Рифреди станет городом в городе, миром в себе, полным торопливых и уже равнодушных людей, которые прислушиваются к чужим голосам, заглушаемым шумом моторов.

— Вечерами темно, как зимой,— произнес Джо.

— Здорово ты подметил, что у Давида не фиговый листок, сам догадался или люди сказали?

Он засмеялся, погрозил мне зонтиком:

— Ну и свинья!

— Подумай лучше, как мы через несколько месяцев тоже будем выходить из этих ворот. Мне мое место принадлежит по праву.

— Мне тоже, — улыбнулся он.

— Ты ждешь помощи от попов.

Блеснула первая молния, прогремел гром. Джо поднял глаза к небу. Мы в темноте стояли на мостовой перед самыми воротами. Он теперь казался совсем черным, только белки его глаз сверкали.

— Ты думал когда-нибудь о том, какой вольтаж у молнии? — спросил он.

Я оттолкнул его, мне захотелось его стукнуть.

— Меньше нейтрона, — ответил я.

Память выбрасывает на поверхность обрывки фраз, они тихо покачиваются, как лодки среди спокойного моря, которое скоро будет бесноваться от шторма, скоро бушующие волны понесут меня, выбрасывая на берег, как кожуру банана, все, что еще во мне осталось от детства.

Прозвучал гудок. Только я сказал себе, что Милло не появится — он ведь теперь в мастерских «Дочча», в «цехе для ссыльных»,— как вдруг увидел его. Он вышел одним из первых и, подталкивая свой велосипед, пробирался среди рабочих под шум заводимых мотоциклов. На нем был комбинезон с закатанными рукавами, голова была не покрыта. Милло тоже взглянул на небо и, выйдя из-под навеса у самого шлагбаума, кому-то что-то ответил, с кем-то поздоровался.

«Привет, Милло!», «Привет, Волк!», «Добрый вечер, мастер»!» — говорили ему люди. Один из них, обернувшись, столкнулся было со мной в ту минуту, когда Милло кричал ему в ответ: «Привет, друг!» Наши взгляды встретились.

Милло воскликнул:

— Гляди-ка, Сорванец! — так он звал меня в детстве. Должен признаться, вид у него был спокойный и довольный.

— Может, я некстати? — спросил я и, попрощавшись с Джо, который тревожно ждал свою мать, пошел вместе с Милло. Теперь я знаю: этот вечер был моим прощаньем с детством.

Глава 17

Он вел велосипед и сам выбирал дорогу. Я не возражал. Мы направлялись в сторону больницы, подальше от уличного движения и шума. Казалось, между нами не произошло ровным счетом ничего серьезного,

просто повздорили из-за пустяков, которым серьезные мужчины не должны придавать значения. Прислонившись к стенкам или укрываясь за своими машинами, стояли парочки. Мчались мотоциклы, исчезавшие один за другим за поворотом у «Кареджи».

Новая вспышка молнии осветила каменных львов и двух медицинских сестер в голубых плащах и белых наколках. Дорогой мы не проронили ни слова и, словно только что поссорившиеся влюбленные, ждали, кто первый предложит мир. Это не злило, а даже забавляло меня. Вероятно, из уважения к его сединам начать должен был я. Но далеко ли мы продвинемся, раз я решил пренебречь своим долгом. Мы посматривали друг на друга, но фонари попадались все реже и реже, и почти ничего нельзя было различить. Однако света хватало, чтоб обнаружить, насколько он постарел. Виски у него стали совсем седые, усы отвисли, но кудри на затылке еще вились, и походка оставалась твердой. Я вот-вот готов был взорваться.

— Ну что, рад встрече? Давай поговорим, если нужно что-нибудь выяснить.

Поразительно, что говорить мне с ним не о чем, я не знаю, чего хочу от него. Ладно, он был моим другом, я должен ему рассказать, что со мной было за последнее время, вместе с ним подумать о том, что меня ждет после прихода на «Гали». Как бы там ни было, он мой старый друг. Возможно, я нуждался в его одобрении. Мы дошли до небольшой площади. Стиснутая между больничной стеной, холмом и уходившей в горы дорогой, словно прочерченной над кипарисами и соснами между виллой Медичи и монастырем Монтуги, площадь эта напоминала театральную сцену под открытым небом. Продолжая разговор с самим собой, Милло сказал:

— Кажется, пора возвращаться. Видишь, уже капает. Скоро начнется буря.

Я не смог не засмеяться, когда он, приподняв верхнее колесо, поворачивал велосипед, вскоре этот нелепый смех сменился приступом тоски.

— Ты и впрямь дурачок. Зачем приходил?

— Не к тебе. Я приятеля провожал. Думал, ты еще в «цехе для ссыльных».

— Меня на этот раз помиловали, — сказал он с иронией. Прежде чем нажать на педали, он снова взглянул на меня примирительно, по-отцовски; видно, от этого чувства ему не отвыкнуть. Как легко с ним все получилось.— Ты не должен делать из этого драму. Не осложняй ничего. Ты не должен меня благодарить, не должен передо мной извиняться.

— Знаю.

— И все же я могу быть тебе полезным.

— Например?

— Например, научу зажимать вентиль, — сказал он, втянув меня в игру так, что я и сам того не заметил. Он обращался со мной, как с мальчишкой. В конце концов он был прав, раз уж я так себя повел.— Знаешь, что такое вентиль?

— Есть такой болт под станиной. В зависимости от размеров детали, подлежащей обработке, его можно ослабить или затянуть потуже.

— Молодец! Ну, честное слово, молодец!

Первые капли дождя, участившиеся вспышки молнии, удары грома. Со стороны Монтеривекки доносятся волны теплого воздуха, ветер раскачивает кипарисы, шумит в ветвях елей и дубов по ту сторону ограды, охраняемой каменными львами, сестры в белых наколках куда-то исчезли.

— Давай садись, не то промокнем.

И все как в детские годы, разве что на раме велосипеда очень уж тесно и неудобно.

— Поступишь на «Гали» и небось после первой же получки бросишься покупать мотоцикл в рассрочку.

— Можешь не сомневаться. Кстати, у тебя не велосипед, а нечто допотопное!

— Я тут тоже кое-что надумал. Не такой уж я старик — месяц назад, сынок, мне исполнилось сорок шесть! Нет, ни «веспа», ни «ламбретта» мне не подходят. Что ты скажешь про «125»?

— Пожалуй, «бенелли»*.

— Опять ты смеешься над моим «пожалуй».

— Твое словечко, ничего не попишешь...

И вот мы снова в самой гуще транспорта проезжаем мимо ворот «Гали». Шлагбаум опущен, цехи в глубине как пятна света.

Милло сказал:

— Ты остерегайся. Прежде чем принять тебя на завод, они соберут сведения. Надеюсь, с них довольно будет того, что ты сын своего отца.

— Что! Что это значит?

— О господи!.. — воскликнул он. — Почему ты ищешь в каждом слове какую-то подоплеку? Хорошо, если б они не слишком копались, не допытывались, отчего ты не поступил в школу отца Бонифация, почему не веришь в катехизис.

Внезапно начался ливень. Мы укрылись в баре на виа Витториа. Этот бар в нашем квартале, всего в двух шагах от «Гали», но в него мы обычно не ходим. Даже не бар, а молочная у самой остановки автобуса — всего несколько столиков и телевизор.

Милло оставил велосипед у двери и указал мне на свободный столик. Я сел спиной к двери, он занял место напротив. Нас теперь разделяли лишь шум чужих голосов да передача сельскохозяйственных известий. Я мог разглядывать его сколько душе угодно. Узнавать и открывать для себя заново. Волосы Милло слиплись от дождя, лысина, казалось, увеличилась. Седина стала заметнее. Комбинезон расстегнут, видна волосатая грудь. Широкие, почти квадратные ладони, пальцы черны от въевшейся краски. От ноздрей к подбородку пролегли глубокие складки, странно оттеняющие его подстриженные щеточкой усы, они казались ненастоящими, приклеенными. Печальные, глубоко посаженные глаза отсвечивали металлом. Лицо, хмурое на первый взгляд, свидетельствовало о моральной силе человека упорного и непреклонного. Как всегда, он внушал мне особое чувство, в котором ненависть сочеталась с нежностью... Он не вызывал у меня ни чувства робости, ни желания преклоняться перед ним или дерзить ему. Пройдут годы, и я пойму, что, с детских лет отражаясь в нем, как в зеркале, я ненавидел в нем и любил самого себя. Смутно сознавая правильность своего выбора, я в то же время восставал против него; мне пришлась по душе твердость характера Милло, но меня раздражала его убежденность в собственной непогрешимости. Да, мне невыносимо было его умение подавлять собственные чувства в угоду здравому смыслу, в общем-то относительно здравому, ибо Миллоски не доводилось учиться на ошибках: уж он-то никогда не встал бы на путь, ведущий к ошибкам! Конечно, он родился не под счастливой звездой, а под знаком той истины, которая для него была единой, неделимой и единственно приемлемой. Он стал поборником идеи, которой я восхищался, хотя для меня она до сих пор оставалась чем-то несколько абстрактным. Он беспрепятственно приносил ей в жертву свои человеческие переживания, глушил и подавлял их, стоически переносил боль, причиняемую самыми сокровенными и жгучими ранами. Теперь я знаю, что

* «Веспа», «ламбретта», «125», «бенелли» — итальянские марки мотороллеров.

не терпел в нем определенной ограниченности, тех рамок, в которые он умышленно загонял свой разум, должно быть считая, что сжатие пороха лишь увеличивает силу взрыва. В этой собранности, в этой ограниченности и заключалась его сила, его способность к сопротивлению и взрыву в нужную минуту.

— Ты хотел мне что-то сказать? Выкладывай!

— Ей-богу, нет,— ответил я.

Еще раз мы почувствовали искреннее доверие друг к другу.

— Все вышло случайно. Я хотел тебя видеть, но ни за что не пришел бы первым.

— Не в этом дело. Раз хотел меня видеть, значит, была причина.

— Может, просто хотел послушать, что ты мне скажешь.

Он взглянул на свой не знавший износа хронометр.

— У тебя дела? — спросил я.

— Да,— ответил он.— Заседание в комитете. Но я пойду прямо отсюда, не переодеваясь. Думаю, тебе важно узнать то, чего ты ждешь от меня.

— Я и сам не знаю, чего жду. Конечно, не пропаганды на дому. К коммунизму я приду сам.

Снисходительность его улыбки задела меня за живое:

— Не веришь?

— Нет, особенно если ты хочешь прийти к коммунизму в одиночку.

Хозяин принес заказанный кофе. Милло воспользовался этим, чтоб закрыть невольно открытые мною скобки. С насмешливой догадливостью он произнес:

— Вижу, что тебе от меня надо. Хочешь знать, встречался ли я после этого с Иванной.

В иное время, да и теперь, если б мы не сидели в кафе, я набросился бы на него. Подавляя в себе ярость, я только спросил:

— Почему ты так решил? Я знаю, вы больше не виделись.

— Она тебе сказала?

— Нет. Но разве это не так?

— Так оно и есть.

Я лишил его возможности продолжать.

— Знаешь, Милло, я уже не мальчик — получил диплом, скоро я тоже поступлю на «Гали». И вообще я уже бриться начал... Могу и тебя и ее понять — без ревности, без досады. Только решайтесь на что-нибудь! А мое дело — сторона.

Он жевал свою сигару и, как всегда, разглаживал усы.

— Что ж, верно,— согласился он.— Ты, как посмотрю, шагаешь вперед. Но в этом ты лучше разобрался в тот вечер, когда выставил меня из дому, а сейчас ты не туда гнешь. Мальчишка, а добился тогда во сто раз большего, чем хотел. Вернись я на следующий вечер, ты бы, может, меня простил.

— Может.

— Но ты меня заставил сказать Иванне то, что навсегда закрыло передо мной двери вашего дома. Теперь ты на ложном пути. Ты ничего в ней не понял.

Я предложил ему одну из двух оставшихся у меня сигарет, он, не задумываясь, взял ее, вынув изо рта сигару. Взял сигарету, как у равного. Это наполнило меня гордостью.

— Видишь,— попытался объяснить я ему, когда он закурил.— Со мной все просто. Согласен, и ты не любишь усложнять. Может, Иванна сложнее. Но я не могу во всем следовать ее причудам. Она мать, я люблю ее, жалею — и точка; может, она немного не в себе. Когда стану совершеннолетним, заставлю ее пойти к врачу.— Он пытался меня прервать, но замолчал, как только я заговорил снова.— Мне тебя жаль:

вижу, ты любишь ее по-прежнему.— На меня снова напал смех.— Прости,— добавил я.— В твои годы это чуть-чуть смешно.

Он втягивал дым от сигареты и выпускал его через нос, покусывая усы. Вместо ответа повторил:

— Будь настороже. Они станут собирать о тебе сведения. Они особенно строго подходят к молодым: хотят, чтоб на завод приходили политически надежные ребята. Сведения собирают сами или через полицию. У вас среди соседей нет врагов, но все же не мешало бы их предупредить.— И он откинулся назад, словно желая перечеркнуть все, что мы высказали друг другу. Значит, и его моральная сила питалась трусостью. Это причинило мне острую боль, и в то же время я впервые чувствовал себя в состоянии судить о нем спокойно. Он взглянул на часы, я спросил, не опаздывает ли он.

— Боюсь, что да,— ответил он, встал, направился к стойке, расплатился, и мы пошли к выходу.— Да, такие вот дела,— закончил он.— Ты не тревожься, ничего страшного со мной не происходит. Жизнь приготовила мне сотни развлечений. Завод, партийная работа, для отдыха не больше шести часов.

— А где ты ешь?

— Днем — в заводской столовой, вечером — где придется. Ты по-прежнему дружишь с Армандо?

— С Армандо и Дино. У меня есть и новые друзья.

— Молодец! Ну, прощай.— И он сел на велосипед.— Встретимся, потолкуем о чем-нибудь поважней. Может, как-нибудь вечерком.

Я ответил ему, как должно, «с чувством», сказала бы Иванна:

— Я тебя буду ждать у выхода, как сегодня. Только не знаю когда. По вечерам у меня свои маршруты.

Он нажал ногой на педаль:

— Они-то меня и занимают.

— Не знаю когда,— повторил я.— Прощай!

Казалось, что после этого прощания нас ожидает разлука еще более продолжительная, чем прежде. Он исчез за поворотом Ромито, пригнувшись к рулю, словно влача за собой бремя своих сорока шести лет, перегоревших чувств, чрезмерно прямолинейного ума.

— Бруно! — услышал я, как меня окликнули.

В толпе у троллейбусной остановки стоял Джо, с ним была женщина в зеленом, наглухо застегнутом плаще. Ростом она была чуть повыше его локтя и прижималась к нему, дрожа от холода. У нее свежее, с правильными чертами лицо, гладкая прическа.

— Это моя мама,— сказал Джо.— А это Бруно.

— Джузеппе столько говорил мне о вас. Вы тоже поступаете на «Гали», знаю...— Словом, она заговорила, как обычно говорят матери. У нее южный акцент, и руки, должно быть, зябнут в вязаных шерстяных перчатках.— Вы были с Миллоски? — спросила она.— Я его знаю. Впрочем, кто на «Гали» его не знает!

Теперь я глядел на нее, и мне казалось, будто я видел ее прежде, только вспоминать об этом незачем.

Джо гордился, что я подал руку его матери. Она радовалась встрече с приятелем сына, извинялась, что дрожит от озноба.

— Должно быть, немного повышена температура.— Она просто излучала материнское счастье.— Знаете, мы, женщины, работаем в цехе, где делают счетчики, там теперь такая сырость...

Полная патетики и чем-то неприятная картина. Низенькая мать и высоченный черный сынок не могут друг на друга наглядеться, не перестают обмениваться улыбками.

— Я говорил тебе: Бруно порядочный мальчик.

— Это видно!

Все продлилось не больше минуты. Подошел троллейбус, они сели.

Я вспомнил о том, что, было много лет назад. Она тогда красилась, казалась выше — должно быть, из-за каблуков. Да, мать Джо — одна из тех «синьорин», что крутились у бассейна. Синьора Каппуджи гадала им по руке. Ее — подружку Кларетты и Бьянкины — прозвали Неаполитанкой. Она перестала туда ходить, когда я стал гулять у крепости с Дино.

Снова начался ливень.

Глава 18

— В тот вечер,— вспоминает Иванна,— я вернулась смертельно усталая, с обычной болью в пояснице. Ты дулся, гримасничал. Даже на стол не накрыл. Мы тогда только купили этот маленький холодильник, в нем, помню, лежало уже нарезанное мясо, я его обмакнула во взбитом яйце, обваляла в сухарях. Была как будто суббота. Думала, все мигом зажарю, а ты покуда нарежешь помидоры для салата, ты мне тогда еще помогал. Так нет же, повалился на кровать в своей комнате, даже не разулся, лежит и курит. Сил не было тебя попрекать. На улице ливень, я насквозь промокла, пока от остановки добежала до дому. Можешь себе представить, в каком я была состоянии. Но взглянула на тебя и обо всем позабыла: бледный, сам не свой, глаза блестят, дымишь так, будто хочешь легкие разорвать. Ты и дышал с трудом. Ни словечка у тебя не выудишь. Я еще тебя таким не видела. «Что с тобой? — спрашиваю.— Жара нет, кашля нет, в чем же дело?» Отобрала у тебя сигарету, а ты молчишь, словно статуя; глядишь на меня как на изверга какого-нибудь — только и всего. Боже, какие ужасные часы! Да, так прошел не один час. «Ты себя плохо чувствуешь? Тебе трудно дышать?» — повторяла я. Наконец ты заговорил, подарив меня таким взглядом, что я не знала, куда деваться. «Здесь мне дышать нечем,— сказал ты.— Мне в этой комнате тесно. Хочу перейти в гостиную». Так и отрезал. Но у меня все равно отлегло от сердца. Я ответила: «Что ж, ладно». Не скрою, подумала, что ты скоро откажешься от этой мальчишеской причуды. Почему это тебе в голову взбрело? Может, побывал у Бенито, в его комнате, или узнал, что Дора с Чезарино оборудовали своему Армандо целую квартирку на чердаке? Но ты меня поймал на слове. Пришлось на следующий день отправиться за маляром. Конечно, стены не белили с тех пор, как мы с отцом поселились, грязи, разумеется, не было, но как-то все потускнело. Покуда я ходила к маляру, ты снимал люстру и разбил ее вдребезги.

Пауза, не лишенная самодовольства. Она натягивает халат на колени, касается рукой затылка, прерывает на минуту свой монолог.

— Впрочем, ты имел право на бóльшую комнату: ты уже подрос, я должна была на это пойти. Но самый страшный удар ты нанес мне не тогда, а год назад — потребовав, чтоб я выбросила из головы мысль о твоем отце! Да, знаю, это навязчивая идея, но она помогла мне прожить лучшие годы молодости... Хотя что говорить о молодости — была ли она у меня? Теперь уж мне не на что надеяться, я все одна и одна...

— Ты со мной, я тебя по-прежнему люблю.

— Знаешь, я в этом порой сомневаюсь: ведь не желаешь ты ко мне прислушаться, когда я говорю: забудь эту бедную девочку!

— Мама! — кричу я.

— Молчу, разве не видишь — молчу.

Наступает долгая, прерываемая лишь ее вздохами пауза.

— Завладев гостиной, ты опять стал веселым, довольным, и я было решила, что сделала все, что могла, для твоего счастья... Да, это моя вина. В тот вечер я должна была найти нужные слова, а вместо них сказала: «Сынок, это все оттого, что тебя угнетает твоя комнатка...

Вот переедешь в большую...» Может, я сумела бы тебя уберечь от многих горестей.

Я что-то мычу в знак согласия. Пусть сама осознает, до чего тщеславны и пусты ее слова, ее навязчивая привычка жалеть себя.

— Да,— говорю я,— ты не нашла таких слов ни тогда, ни год назад. Ты их и сейчас не находишь. Ничего страшного. Ты такая, нужно только тебя понимать.

Что ни ночь, все вот так. Я сговорчив, неискренен, иду на все, лишь бы с этим покончить.

— А теперь дай мне спать. Прими снотворное и попробуй уснуть.

Всего мгновенье продлится рассказ о том, что было вслед за этим дождливым вечером. Всякое случалось, и большое и малое, была и новая работа. На «Гали» временно, по случаю «реорганизации», прекратили набор, я поступил в мастерскую Паррини, через несколько месяцев стал подмастерьем. Снова встречался с Милло, нас сблизили памятные венгерские дни. Сменяли друг друга события, подлинный смысл которых открывался мне впоследствии, говорить о них сейчас — значит уже говорить о Лори. Короткий рывок — и тебе уже не шестнадцать, а восемнадцать. Жизнь наконец поймана и зажата в кулак.

Вот комната, где я родился. Здесь, в этой комнате, Иванна учила меня читать, Милло обучал будущей работе. Здесь летели на пол осколки прошлого, осколки разбитой жаровни, фарфоровой собаки, а потом уж и люстры, теперь на стене рядом с картинкой, изображающей коммуну в Китае, появился портрет Эвы-Мари Сент. Просыпаясь, я гляжу на нее: «Здравствуй, красавица! Сегодня дождь или солнце на дворе?»

Иванну портрет смущает.

— Что у тебя за вкус, сынок! У нее определенно худосочие. Ну, а Дино, Армандо, Бенито — им она тоже нравится?

— Не знаю, сама у них спроси. Смотри, сколько в ней жизни! — защищался я.— Надо понять ее красоту.

— Уверена, у нее богатый покровитель. Иначе ей бы не сниматься в фильмах, которые делают сборы. На такую и слепой не позарится.

Я говорил о ней с Дино:

— Такая, как Сент,— не просто белокурая красавица. Она искренняя, чистая, глядит тебе прямо в душу... Она может быть дочерью рабочего, может быть знатной дамой...

— Ты в нее влюбился.

— А тебе не кажется, что ты уже встречал такую, как Эва-Мари Сент? Ее можно встретить везде, и в любой обстановке она останется собой. Не актрисой, не машинисткой, не одной из наших гречанок — ее ни с кем не спутаешь. Вот не могу тебе объяснить. Вспомни «В порту»! Девушка, которая тебя не покинет ни в беде, ни в горе.

Я возвращался домой вечером и мысленно обращался к ней: «Здравствуй, любовь моя! Ты забралась в мою берлогу».

Сквозь открытую дверь я глядел на нее из маленькой комнаты, где теперь стояли верстак и тиски: «Видишь, милая, сверхурочные часы. Выплачиваем взносы за взятый в рассрочку мотоцикл».

Стены еще хранили накопившиеся за долгие годы запахи — дешевых сигарет, жевательной резины с мятой, типографской краски на старом комбинезоне, в котором я работал на Борго Аллегри, металлической пыли, которую вдыхаешь, стоя у станков «цинциннати» и «мильвоки». Даже рюмка хинной настойки не отбивала этого запаха.

Так изо дня в день: «Привет, Сент! Привет, Эва!» Я был еще мальчишкой, ждал ее прихода, подрастал рядом с ней.

(Окончание следует)

АНДРЕС ЭЛОЙ БЛАНКО

Рифмы гнева

■

Перевод с испанского
и вступление
М. САМАЕВА

Его место было среди бойцов за освобождение Венесуэлы. Его оружием было слово. И хотя крупнейшего венесуэльского поэта Андреса Элоя Бланко нет в живых уже несколько лет, в его стихах ясно ощущаешь дыхание борьбы народа, сражающегося сегодня против реакционной диктатуры.

Справедливо заметил один венесуэльский критик: «Говоря об Андресе Элое Бланко, говоришь о Венесуэле».

Андрес Элой Бланко, однако, не сразу стал народным поэтом: по двум первым его стихотворным сборникам, написанным в классической испанской традиции, едва ли можно было предугадать, что глоссы и романсы Бланко проникнут в глубочайшие недра народной жизни. Отдавая дань классике, он увлеченно изучал венесуэльский фольклор. Его творчество по духу своему близко творчеству Федерико Гарсиа Лорки — с испанским поэтом венесуэльский поэт был связан и узами личной дружбы.

О своем старшем собрате Карлос Аугусто Леон сказал очень верно: «То, что произносили его уста, подчеркивала его жизнь». Как народный поэт Андрес Элой Бланко окончательно формируется в заключении, где он провел почти восемь лет. Власти бросили его в тюрьму, подозревая, что он издавал подпольную газету, изобличавшую президента-палача Гомеса и его приспешников. Подозрение было обоснованным, и если бы полицейским ищейкам удалось подтвердить свои догадки, Андрес Элой Бланко был бы расстрелян.

В тюрьме, к счастью, он оказался не в одиночке. С ним люди — как и он, интеллигенты, проявившие свое недовольство режимом, крестьяне, бунтовавшие против помещиков, рабочие-забастовщики, пленные партизаны. По инициативе поэта общая тюремная камера превращается в своеобразный университет. Инженер преподает математику и физику, врач — естествознание, Андрес Элой Бланко — историю, литературу, испанский язык. И сам поэт учится — изучает жизнь, много пишет, чаще ночами, а днем читает написанное. Уцелевшие тюремные стихи (часть их была конфискована тюремщиками и погибла) потом составили два больших сборника — «Бедекер, 2000» и «Каменный корабль». В тюрьме же у него возникает замысел книги «Хуанбимбада» (Хуаном Бимбой называют венесуэльских негров), которую поэт мечтает подарить своему народу. Первые опыты были необычайно удачны, и поэт работает над «Хуанбимбадой» до конца своих дней.

Выйдя из тюрьмы, Бланко с головой погружается в политическую работу. На некоторое время он убеждает себя в том, что парламентский строй сможет избавить страну

от бесконечных переворотов и диктатур, вконец измучивших венесуэльский народ, и станет основой для прогресса страны. При президентстве Ромуло Гальегоса, одного из выдающихся прозаиков Латинской Америки и близкого друга Андреса Элоя Бланко, поэт, забросивший было свою лиру, занимает посты министра просвещения, а затем министра иностранных дел. Однако свержение правительства Гальегоса и захват власти военной хунтой — ставленниками нефтяных монополий США — отрезвляет его. Вынужденный эмигрировать с женой и детьми в Мексику, Андрес Элой Бланко уже целиком отдается творчеству.

Тюрьма, затем годы политической борьбы, наконец эмиграция — все это не способствовало распространению известности А. Э. Бланко как поэта. В Мексике он был принят с большим радушием, но скорее как патриот своей родины, чем как ее крупнейший поэт. Лишь с появлением в 1954 году его сборника «Луноцвет» к Андресу Элою Бланко приходит слава одного из лучших поэтов континента. Кстати, виднейшими деятелями латиноамериканской культуры Ромуло Гальегосом — в прозе и Альфонсо Рейесом — в стихах были предпосланы этой книге восторженные посвящения.

«Хуанбимбада», прославившая имя поэта в народе, вышла в свет уже после гибели ее автора. Слава Андреса Элоя Бланко растет по мере того, как его поэзия, рожденная в борьбе, завоевывает новые и новые сердца и в самой Венесуэле и за ее пределами.

День рождения моего крестника Маноло

Крестник, три года уже у тебя за спиной;
по месяцам считать — ты человек солидный,
по дням — старик,
а по часам — почти что мертвец.
У тебя уже был ревматизм —
основательная причина,
чтобы чувствовать себя настоящим мужчиной.

Ты презираешь азбуку и развиваешь бицепсы.
Что ж, неплохое дело.
В мир отворяя дверь, нужно давать ей хорошего тумака,
чтобы не очень скрипела.

Пишут, что ты хорошо произносишь только дурные слова,
точней говоря, сквернословишь на славу;
как у мартышки в клетке,
у тебя сто гримас про запас;
ты любитель самых решительных выражений
и при этом мошенник, скажу тебе, редкий;
подсластить язычок твой не могут
даже конфетки.

А я вот сижу в тюрьме.
И со мной здесь разные люди живут.
Сказать по правде, нам всем тут очень неважно,
а особенно плохо то, что мы все-таки тут.
Но ты запомни: мы здесь, в темнице,
для того, чтоб тебе, паренек,
не пришлось в ней когда-нибудь поселиться.

Ты-то будешь счастливым!
Каким счастливым ты будешь, брат!
Ты будешь сосать карамельки свободы,
страшно вкусные,— я сам их не пробовал,
но так говорят.

Я знаю — ты добр, ты понятлив
и благороден.
Но как тебе дать разобраться в нелегком вопросе?
Послушай: ты, главное, очень люби карамельки,
а злого Буку не бойся.
Пишут, будто, прослышав,
что я поэт, ты сказал, вздыхая:
— Вот жалость какая!
Значит, на праздник его в фейерверке сожгут.

Дружище, ты впал в заблужденье: поэтов пока еще не сжигают;
взрывные пакеты поджигают для фейерверка.
Сравни: пакет и поэт.
Поэт не возносится столь высоко
и не наделает столько шума, если спичкой прижечь его.
Поэт — всегда человек, если только поэт он,
поэт не крадет и не лжет, и поэтому
иные его принимают за сумасшедшего.

Не хочу, чтобы ты был поэтом, тем более —
осмотрительным умником или ловким пройдохой;
поверь — в семинарии, в доме умалишенных
и в тюрьме одинаково плохо.

Подрастая, почаще думай о нашей Венесуэле.
Что такое Венесуэла? Это зеркало в черной раме,
в которое мама твоя глядится, расчесываясь утрами.
И обидеть Венесуэлу — все равно что в зеркало мамы
бросить камень.

Обидеть Венесуэлу может лишь тот, у кого
сейфы деньгами набиты туго,
но ведь это бессовестный человек,
как ты говоришь, «бандюга».

А будешь добрым с нашей Венесуэлой,
узнаешь счастье, какое немногим в жизни далось.
Тогда ты сможешь глядеться смело
в зеркало мамы:
ты себя в нем увидишь таким хорошим,
что будешь ему благодарен до слез.

Все-таки ты изучай приличную речь,
хотя и словечки покрепче на случай следует поприберечь.
Мускулы укрепляй и крепко люби свою маму,
а зеркало мамино не запачкай и не разбей.
Что же до Буки — скажу тебе прямо:
Бука сам до смерти боится детей.

Мозоли от кандалов

К утру простыня сбивается
и оголяются ноги.
— Чертова холодина! —
ворчат арестанты,
нахохлившись под тряпьем.

А я — я не чувствую стужи
и зноя не чувствую тоже;
кандалы мне натерли мозоли
на коже.

Решетка становится плугом
на небесах оконца;
из перегноя ночи
скоро листик свечи пробьется.
Запахи дальних кухонь,
запах тюремной лавчонки;
испарения
от городских огней;
если захочешь — глазами,
сколько захочешь, пей.

Но я ничего не вижу
за бороздами решетки
на тихом небесном поле;
кандалы на глазах мне натерли
мозоли.

Солдаты заводят песню,
и песня над крышами реет.
Отправившись вслед за песней,
я бы, пожалуй, мог
выпить улицы добрый глоток
или добрый глоток прогулки,
под звездами,
вместе с любимой,
вдоль реки или где-нибудь в роще,
набитой гитарными вздохами.

С песней я мог бы, пожалуй,
коротать одинокие ночи.

Но теперь я уже никогда не пою,
я боюсь даже вспомнить про песню
мою;
кандалы мне мозоли натерли
в горле.

Вечно кто-нибудь жалуется:
заключенный,
умирающий или бездомный,
и волны людского моря
где-то за далью дальней,
за далью темной;
и сгорбленная деревушка —
лишь взглядом, без слова, без стона;
и в каждой жалобе тихой
жалуются миллионы.

Плакать мог бы и я этой ночью,
и я;
эта ночь так ясна,
что ясней никогда б не была
слеза моя.
Но слезы! Давно я не помню
вкуса их жгучей соли;
и у тоски моей от кандалов
мозоли.

Молчать... а ночь над землею,
наверно, затем и сгустилась,
чтобы свободней молчалось,
чтобы раздольнее снилось;
процеженный капля за каплей
и растворенный снами,
я мог бы шагать по дорогам
воспоминаний.

Я мог бы молчать и молчать,
днями молчать и ночами;
но в мозолях от кандалов
мое молчанье.

Выпей залпом

Когда у Хуана Бимбы
был грипп, и ломило суставы,
и трясла его лихорадка,
и кололо то слева, то справа,
доктор ему прописал
хинин, рыбий жир и травы.
— Ой, мамочка, лучше подохнуть,
чем выпить этой отравы.

А мама ему говорила:
— Выпей, Хуан,
при гриппе
могут быть осложненья,
ты зажмурься и залпом
выпей.
Выпей залпом, мой мальчик,
выпей залпом;
выпей залпом, Хуанито,
выпей залпом;
лучше залпом, мой черный,
лучше залпом!
И мама его целовала.
— Ой, мама, как это горько!
— Что поделаешь, Хуан Бимба!
Залпом, до дна, да и только!

Четырнадцатого февраля,
привесив нож и пришпоря
свою кобылицу, Бимба
поехал в сторону моря.
С распоротой грудью парня
домой притащили вскоре.
— Ой, лучше б меня убили!
Горе мне, старой, горе!
И прошептал Хуан Бимба,
матери руку гладя:
— Выпей горе свое, старушка,
не глядя.
Выпей залпом, мама,
выпей залпом;
выпей залпом, родная,
выпей залпом;
выпей залпом, седая,
выпей залпом;
лучше залпом, голубка,
лучше залпом!
И мама его целовала.
— Ой, сыночек мой, как это горько!
— Что же делать, моя старушка!
Залпом, до дна, да и только!

Хозяин с людьми нагрянул
и, бумажонкой дурача,
увел и вола и кобылу,
забрал и невесту и ранчо,
все взял, а Бимбу в солдаты
упек, ко всему в придачу.
Из глаз покатились слезы,
жгут губы солью горячей.
— Ой, мама, не выпить, не выпить
мне этого горького плача.
А мать ему говорила,
по волосам его гладя:
— Выпей, мой мальчуган,
залпом, до дна,
не глядя.

Выпей залпом, мой горький,
выпей залпом;
выпей залпом, малыш,
выпей залпом;
лучше залпом, мой черный,
лучше залпом!
И мама его целовала:
— Ой, мама, как это горько!
— Что поделаешь, Хуан Бимба!
Залпом, до дна... да и только!

Исповедь

Я расскажу вам, дети, что значит быть поэтом;
кто знает, как другие расскажут вам об этом.
Поэт я — тот, кто в мире, всему давая имя,
шагает безымянный дорогами слепыми.
Я то, чем погнушался пират,— пустяк, ненужность,
лишь точка, вкруг которой лежит ее окружность;
всех преступлений жизни я жертва и свидетель —
зияющая рама, дверь, сорванная с петель;
листок с наброском мысли, заветной и бессонной,
листок полусгоревший и ветром унесенный.
Я горечь душ безвестных — тех, что, лишась хозяев,
поприживались в песнях, бесследно не растаяв.
Я дым — но не над полем сражения нависший,
а тот, что в снах солдата плывет над мирной крышей.
Поэт я, дети; в жизни такое есть призванье —
томиться в каждой жажде, быть болью в каждой ране,
одним крылом взмывая, другим во прахе биться.
Я то, что в жертве хочет восстать против убийцы,
тот, кто на войнах гибнет и стонет средь обломков.
Тот, кто однажды станет лучом в глазах потомков.

Рассказы из Пакистана

Перевод с урду
ВЕРЫ БЫКОВОЙ

ПАТРАС

КУМИР ГОРОДА МУРИДПУРА

Многих удивляет, почему я никогда не говорю о своем родном городе, никогда туда не езжу и уклоняюсь от ответа, если меня спрашивают, не собираюсь ли я побывать на родине. Это обстоятельство вызывает всяческие толки и подозрения. Одни намекают, что я скрываюсь от судебного преследования, другие утверждают, что я служил в банке, совершил растрату и бежал, третьи убеждены, что мой отец выгнал меня из дому за беспутное поведение. Короче говоря, сколько языков, столько и толков. И вот сегодня, дорогие читатели, я решил поведать вам правду, рассеять ложные слухи и с божьей помощью восстановить истину.

Все началось с моего племянника. На вид он — племянник как племянник и ничем особо не отличается от других племянников. Он унаследовал все мои хорошие качества, а кроме того, обзавелся добродетелями своего поколения и благоговеет перед старшими — в нашем роду никто еще их так не почитал. Передо мной же он просто преклонялся, полагая, что я постиг все науки и все искусства. И с чего он это вообразил? Однако справедливости ради следует оговориться, что самые уважаемые и знатные семьи не застрахованы от подобных случаев. Да я и сам не раз встречал молодых аристократов, которых принимали за людей из низших каст, благодаря такому складу характера.

Так вот однажды я умудрился попасть на съезд партии конгрессистов. Впрочем, ничего мудреного в этом не было: ведь стоило мне куда-нибудь поехать, как там непременно созывался годовой съезд этой партии.

Я утверждал и утверждаю, что я тут совершенно ни при чем. И если люди поговаривают, будто я нарочно это подстраивал из-за своего непомерного тщеславия, то виной тут лишь подлые происки завистников.

Кто устоит перед соблазном пойти на заседание партии, если оно происходит где-то рядом и к тому же свободного времени у тебя в избытке? Так вот все дни я и просиживал на заседаниях, внимательно слушая речи и выступления, а придя домой, подробно рассказывал в письме к племяннику о своих впечатлениях.

Впоследствии я узнал, что эти письма повергали племянника в благоговейный трепет и, прежде чем вскрывать их, он совершал омовение. Сначала он прочитывал письмо сам, потом давал читать своим друзьям, после чего шел в редакцию некоей газетенки, где снова прочитывал его вслух с большим чувством и выражением, а потом отдавал редактору, который с большим удовольствием печатал мои письма в своем листке. Он назывался «Муридпурская газета», не пользовался никаким успехом и уже через два месяца после основания окончательно прогорел. Его редактор смахивал на громилу и любил порассуждать на философские темы, а также был известен тем, что не платил долгов и ловко прятался от своих кредиторов.

Как я узнал, благодаря моим письмам редактор ухитрился выпустить специальный номер газеты, посвященный партии конгрессистов. Тираж этого номера был настолько велик, что и до сих пор можно в лавчонках продавцов бетеля отыскать его экземпляры. В результате даже муридпурские дети узнали, какой я замечательный человек, и прониклись почтеньем к моим необычайным талантам, высокому уму, выдающимся литературным способностям и пылкому патриотизму. Сам того не подозревая, в глазах жителей Муридпура я стал национальным героем. Несколько поэтов написали в мою честь стихи, и они тоже были напечатаны в «Муридпурской газете».

Я же ничего не знал о моей славе. Не мог же я предположить, что, написав несколько писем племяннику, стану кумиром своих земляков, которые столько раз видели, как я, подобно всем простым смертным, устало бреду с базара. А я вскоре и думать забыл о партии и ее славных сынах.

«Муридпурской газеты» я не читал. Мой племянник слишком благоговел передо мной, чтобы писать мне о моей славе, да если бы он и написал, я бы все равно не поверил.

Некоторое время спустя по Индии прокатилась волна кровавых индомусульманских столкновений. Всюду собирались стихийные митинги. Их устраивал всякий, кому не лень. Был у человека стул, стол и кусочек свободного места — этого оказывалось достаточно, чтобы созвать собрание. И вот в это время я получил письмо от индусской молодежной организации города Муридпура. Оказалось, что мои соотечественники только и мечтают о том, как бы хоть одним глазком взглянуть на меня, познакомиться с моей светлой личностью и кристально чистыми мыслями. Они сознают, писали они, что такие люди, как я, нужны всей стране, но все же на правах земляков они надеются, что... Это вступление занимало несколько страниц, а потом следовала просьба приехать в Муридпур выступить перед его жителями — убедить их забыть вражду и объединиться в единый индо-мусульманский союз.

В первую минуту я даже растерялся, но потом, поразмыслив, решил, что ничего странного в просьбе моих земляков нет.

Человек слаб, и честолюбие, словно хмель, ударило мне в голову. Только в эту минуту я, казалось, понял, как сильно люблю родину. Я испугался за своих невежественных и несознательных земляков. Какой-то голос нашептывал мне: «Ты отвечаешь за их жизнь и благополучие. Ты должен возглавить их. Аллах даровал тебе силы для этого. Сотни тысяч людей ждут, чтобы ты приехал к ним».

Словом, я принял приглашение и, точно видный государственный деятель, ответил телеграммой, уведомляя моих сограждан, что приеду через пятнадцать дней таким-то поездом. Я просил меня не встречать. «Всем заниматься обычным трудом. Индия сейчас, как никогда, нуждается в рабочих руках».

Время, оставшееся до поездки, я посвятил подготовке к предстоящему выступлению. У меня в голове рождалось множество афоризмов:

«Индусы и мусульмане — братья!»

«Индусы и мусульмане —верные друзья!»

«В колеснице Индии два колеса. Нет разницы между индусами и мусульманами!»

«Тот, кто крепко держится за нить единодушия, достигнет высшей ступени цивилизации!»

«От тех, кто сеет в народе вражду, отвернется история» и т. д. и т. п.

Я вспомнил, что в детстве читал сказку про двух дружных быков. Я достал эту сказку, перечитал ее с начала до конца и сделал выписки. Потом вспомнил другую сказку — о том, как отец, умирая, позвал к себе своих сыновей и, положив перед ними метлу, предложил каждому переломить ее. Сыновья не могли сделать этого, как ни старались. Тогда отец развязал метлу и дал каждому сыну по прутику, которые они без труда переломили. Так преподал он своим сыновьям наглядный урок единства. Эту сказку я тоже записал. Обдумав все как следует, я решил начать свою речь так:

Дорогие сограждане!

Тучи несчастья собираются над твоей головой,
Нищета глядит из каждого угла,
Окружает со всех сторон.
Отовсюду слышится голос:
Кем ты был вчера, кем стал сегодня?
Минуту назад ты бодрствовал, а теперь спишь мертвым сном.

Много лет назад это стихотворение написал великий поэт Индии Алтаф Хуссейн Хали. Откуда ему было знать, что настанет время, когда его горькие слова станут реальностью? Сейчас в Индии сложилась такая обстановка, что...

Здесь я собирался самыми яркими красками нарисовать ужасающую картину современного горестного положения Индии: бедность, нищета, ссоры, распри. Потом задам вопрос, какова же причина всего этого? Далее, перебрав причины, которые называют наиболее часто: иноземное господство, климат, западная культура, я отвергну их одну за другой и назову главный источник всех бед — индо-мусульманскую вражду. Наконец я призову людей объединиться в индо-мусульманский союз и закончу свою речь подходящим двустишием:

О соловей, прилети! Будем горевать вместе:
Ты — о своей розе, я — о своем сердце.

Прошло еще несколько дней, посвященных глубоким раздумьям, и я записал на листке план речи, чтобы положить его перед собой во время выступления.

План речи

I. Вступление — стихи. (Читать выразительно, горестным гоном.)

II. Современное положение Индии:
- а) Нищета.
- б) Вражда, взаимная ненависть.
- в) Своекорыстие национальных вождей.

III. Причины:
- а) Чужеземное владычество? Нет.
- б) Климат? Нет.
- в) Западная культура? Нет.
- г) Тогда что же? (Пауза, во время которой с улыбкой обвести взором присутствующих.)

IV. Назвать основную причину: индо-мусульманская вражда. (Сделать паузу, во время которой слушатели будут выкрикивать лозунги.)

Нарисовать яркую картину царящей в стране вражды. Упомянуть о беспорядках, волнениях и т. д. (Говорить печальным голосом, сделать паузу для лозунгов.)

По окончании речи скромно пройти к своему месту и сесть. Выждав несколько минут, ответить на горячие приветствия слушателей поклоном.

V. Заключение — призвать к объединению и созданию индо-мусульманского союза.

Разработав и записав план, я каждый оставшийся до выступления день заглядывал в него и, стоя перед зеркалом, часами упражнялся в произнесении наиболее важных фраз, а также репетировал улыбку для паузы после пункта третьего. Говоря, я плавно поворачивался то вправо, то влево, для того чтобы слова мои без помехи могли достичь каждого сидящего в зале.

Путешествие до Муридпура длилось восемь часов. На станции Санга была пересадка. Туда приехали встретить меня несколько энтузиастов из молодежной организации Муридпура. Они надели мне на шею цветочную гирлянду и угостили фруктами. Всю оставшуюся дорогу до Муридпура я обсуждал с ними самые наболевшие политические вопросы.

К прибытию поезда на вокзале собралась толпа — по меньшей мере три тысячи человек. Встречающие беспрестанно выкрикивали лозунги. Мои спутники умоляли меня: «Покажитесь в окне, люди хотят вас видеть». Я исполнил их просьбу. Моя шея была обвита гирляндами, в руках я держал апельсин. Толпа взревела от восторга и с еще большим пылом принялась выкрикивать приветствия. С невероятным трудом мне удалось выйти из вагона. У вокзала меня уже ждала машина. Меня усадили в нее, и в сопровождении целой процессии она двинулась в сторону городского конференц-зала.

По дороге к нам присоединялись все новые и новые люди, и, пока мы добрались до места, машину окружало уже пять-шесть тысяч человек.

Толпа продолжала хором выкрикивать приветствия. Многие держали красные полотнища, на которых было написано: «Добро пожаловать, славный сын Муридпура!», «Индия сейчас, как никогда, нуждается в рабочих руках!» и т. д.

Меня провели на сцену. Председатель собрания на глазах у всех присутствующих дважды обменялся со мной рукопожатием и поцеловал мою руку. Потом он начал хвалебную речь в мою честь:

— Господа! Мы пригласили к себе известнейшего и прославленного государственного деятеля Индии, который выступит сегодня перед нами с речью...

При слове «речь» я попытался припомнить вступительные фразы приготовленной мною речи, но за день мой мозг переполнился столькими новыми впечатлениями, что я ничего не мог вспомнить и решил заглянуть в план. Я опустил руку в карман и... весь похолодел. «Только не волноваться,— убеждал я себя.— Только не волноваться. Вероятно, блокнот в другом кармане».

На глазах всего зала я раз десять лихорадочно обшарил все карманы и даже вывернул их — но блокнот так и не нашелся. Сердце бешено колотилось, в горле пересохло. Мне хотелось закричать, заплакать от отчаяния, от сознания своего полного бессилия. А председатель между тем продолжал:

— Сколько бы мы, жители Муридпура, ни гордились им, все равно этого будет недостаточно. В каждом веке в стране рождается всего лишь несколько человек, способных сделать для человечества...

«Боже мой, как мне быть? Сначала как будто я хотел в красочной форме обрисовать современное положение Индии. Нет, это потом, а сперва я хотел сказать, до какой степени мы еще неприличны... Нет, нет, что я? Слово «неприличны» совсем здесь не подходит. Тогда «грубы». Тоже не совсем то. Ага, вспомнил — «некультурны»!»

— ...кто не знаком с его высокой политической принципиальностью, с его пламенным патриотизмом, с его способностью прийти на помощь в нужную минуту? Все это вы прекрасно знаете, а вот об его ораторских способностях, о живости его ума...

«С чего начинать речь? Сперва надо сказать об организации индо-мусульманского союза. Нет, это, кажется, у меня было в самом конце. И потом в середине я должен был где-то улыбнуться, но когда?»

— Я заверяю вас, что он потрясет ваши сердца, заставит плакать кровавыми слезами...

Последние слова председателя потонули в приветственных криках. Свет померк в моих глазах. И тут председатель обратился ко мне. Я не понял ни единого слова, но уразумел главное: настало время выступать мне. Невероятным, героическим усилием воли я заставил себя встать с места. Меня пошатывало. Зал шумел. Я чувствовал, что тону в приветственных криках, как утопающий в волнах, и окончательно отупел от страха.

«С чего начинать? Со сказки про журавля и лисицу... Нет, нет, что я? Про двух дружных быков...»

Вдруг зал затих. Взгляды всех присутствующих были прикованы ко мне. Я закрыл глаза и, чтобы не упасть, вцепился руками в стол. Руки предательски дрожали. Со стороны могло показаться, что стол пытается убежать, а я борюсь с ним, стараясь удержать его на месте. Я открыл глаза и попытался улыбнуться. С большим трудом я выдавил из себя:

— Дорогие сограждане!

Голос мой неожиданно стал пискливым и противным. В зале кто-то засмеялся. Я откашлялся. Засмеялось еще несколько человек. Тогда я собрался с духом и гаркнул во всю силу легких:

— Дорогие сограждане!

В зале уже многие открыто хохотали. Выждав, когда смолкнет смех, я сказал:

— Дорогие сограждане!

Я забыл решительно все, что собирался сказать. В голове теснились тысячи мыслей, но язык не повиновался.

— Дорогие сограждане!

Зал сотрясался от смеха. Мне было мучительно стыдно, я злился на свое бессилие. Наконец я решил: скажу первое, что придет в голову. Главное — начать, а дальше уж само пойдет.

— Дорогие сограждане! Многие утверждают, что в Индии плохой климат, а именно такой, который способствует возникновению и процветанию многих недостатков... Вам ясно? (Пауза.) Недостатков. Но это дело, иными словами, этот факт, на который я вам указал, является, как бы это сказать, не совсем верным. (Смех в зале.)

Я безнадежно запутался и уже совсем не знал, что говорить дальше. Вдруг на свое счастье я вспомнил сказку о двух дружных быках — ну, теперь дело пойдет на лад.

— Так вот, значит: жили-были два быка, которые, несмотря на плохой климат и иноземное владычество... (Мои слова заглушил хохот.)

Тут я почувствовал, что все кончено, и в отчаянии решил рассказать сказку про метлу.

— Возьмем, к примеру, метлу. Метлы нынче дороги. А почему? Да потому, что в Индии царит беспросветная нищета, иными словами, у нас очень много бедных людей, поэтому обыкновенная метла, как вы видите... (Громовые раскаты хохота сотрясали зал.) Господа, если вы не опомнитесь, нация погибнет! Катастрофа надвигается! (Хохот и крики: «Вышвырните его вон! Мы не хотим его больше слушать!») Шейх Саади сказал: «О, соловей, прилетай поскорей...» (Крики: «Вон его, вон! Что он там несет?») Послушайте! Вы должны меня выслушать! Кто может усомниться в истине этих строк: «О, соловей, прилети! Будем горевать вместе: ты — о своей розе, я — о своем сердце...»?

Это стихотворение меня приободрило, и, хотя шум в зале усилился, я продолжал с удвоенным пылом:

— Жизнь наций, взбирающихся сейчас на небо сознательности, открывает для людей широкие дороги, а их правительства расшатывают основы... (Хохот и крики в зале.) Ваши лидеры заклеили свои уши листочками своекорыстия. Вся мировая история является свидетельством тому, что все жизненные каналы...

Из-за хохота и криков в зале я не слышал собственного голоса. Многие повскакали с мест и оглушительно вопили. Меня била дрожь.

Один из слушателей, набравшись смелости, швырнул в меня окурком. Это была первая капля дождя: сразу же десятки бумажных шариков запрыгали вокруг меня по сцене. Но я еще не сдавался:

— Господа, помяните мое слово — вы погибнете! Вы два быка...

Но тут на меня хлынул уже целый ливень бумажных шариков, и я счел за благо ретироваться.

Спрыгнув со сцены, я через запасной выход выскочил на улицу. Толпа повалила вслед за мной. Я свернул за угол и пустился бежать во весь дух. Все же до моих ушей донеслось немало не слишком лестных выражений. Впрочем, они только придали мне сил, и я с невероятной скоростью помчался по направлению к вокзалу. У платформы стоял поезд. Я вскочил в вагон, и поезд тронулся.

С тех пор ни город Муридпур ни разу не приглашал меня в гости, ни у меня не возникало желания посетить его.

САДАТ ХАСАН МАНТО

НОВЫЙ ЗАКОН

Кучер Мангу слыл на конном дворе чрезвычайно умным и сведущим человеком. Хотя он никогда не учился в школе и не получил никакого образования, но знал решительно все. Если кому-нибудь из его товарищей было любопытно, что происходит в мире, он мог смело обращаться с любым вопросом к Учителю Мангу и всегда получал самый исчерпывающий ответ.

Еще давно Мангу услышал, как его седоки говорили о войне в Испании, и не замедлил пророческим тоном сообщить Гама Чоудхри:

— Вот помяни мое слово, если в Испании на днях не начнется война,— и похлопал друга по могучему плечу.

Когда же Гама Чоудхри спросил, а где находится Испания, он не моргнув глазом ответил:

— В Европе, а то где же?

А когда все узнали, что в Испании действительно вспыхнула война, авторитет Учителя Мангу в глазах кучеров вырос несказанно. Усевшись в кружок перед конюшней выкурить по трубочке, кучера наперебой восхваляли Учителя Мангу, а он в это время катил в своей легкой коляске по сверкающей Мал-роуд, обмениваясь мнениями с седоком по поводу последних индо-мусульманских столкновений.

В этот день, когда он под вечер вернулся на конный двор, его лицо было необычно красным. Он присел к друзьям и долго молча покуривал, однако, когда разговор коснулся индо-мусульманских волнений, он стащил с головы чалму, сунул ее под мышку и сказал задумчиво:

— Вся эта поножовщина — дело рук одного дервиша. Я слыхал от стариков, что однажды император Акбар приказал схватить святого дервиша. Он подверг его пыткам, и насмехались над ним до тех пор, пока дервиш в гневе не проклял Индию на вечные времена, сказав: «Пусть распри и междоусобицы никогда не утихнут в стране!» И заметьте, со времени Акбара индо-мусульманская вражда в Индии не затихает.

Переведя дух и сделав хорошую затяжку, Учитель Мангу продолжал:

— Эти конгрессисты хотят освободить Индию, а я скажу — пусть хоть сто лет стараются, а у них все равно ничего не выйдет. Ну, добьются они своего, заставят англичан уйти, а дальше что? Придут какие-нибудь там другие на смену, а индийцы навсегда останутся рабами. Да, я забыл вам сказать, что святой дервиш предрек еще, что Индией всегда будут править чужеземцы.

Учитель Мангу ненавидел англичан лютой ненавистью — и больше всего за то, что они ввели в Индии свои законы и творят всяческое зло и насилие. Не терпел он их и за то, что уж очень обижали его офицеры из военного городка, обращаясь с ним, как с последней собакой. К тому же Учителю Мангу не нравился цвет их кожи. Всякий раз, как он видел белое или раскрасневшееся потное лицо англичанина, к горлу его подступала тошнота. Мангу говорил, что ему в таких случаях казалось, будто он видит разлагающийся труп. Если же какой-нибудь англичанин бывал с ним груб, у него на весь день портилось настроение. Кое-как он дотягивал до вечера, а вернувшись на конный двор, на все корки ругал обидчика и в заключение говорил:

— Пришли на минуточку в гости, а остались хозяевами в доме. И все время пакостит нам это обезьянье племя! А ведь боятся нас, хотя мы давно уже верно им служим.

Но это его не успокаивало, и он принимался доказывать кому-нибудь из приятелей:

— И глядеть-то на них противно — с души воротит! Морды, словно у прокаженных. Ну, чистые покойники. Начнут по-английски лаять — любую собаку перебрешут! Так бы и набил морду, да рук марать не хочется...

Высказав другу все, что накопилось в сердце, и высморкавшись в широкий рукав, Учитель Мангу продолжал уже потише:

— Клянусь всевышним, мне осточертели прихоти и чванство этих вице-королей! Как увижу такого нечестивца, поверишь ли, так вся кровь в жилах и закипит. Издать бы такой закон, чтобы избавиться от них навсегда. Вот тогда бы мы зажили!

И вот однажды из разговора седоков, нанявших его от здания суда, Учитель Мангу узнал, что в Индии скоро будет введен новый закон.

Два коммерсанта обсуждали проект новой конституции.

— Ты слышал,— сказал один,— что с первого апреля в Индии будет введен новый закон? Неужели все изменится?

— Все не все, но многое изменится, и Индия получит свободу.

— А как относительно процентов? Тоже будет принят новый закон?

— Это дело спорное. Надо будет завтра спросить у юристов.

Их беседа переполнила сердце Мангу небывалой радостью.

Обычно Учитель Мангу осыпал свою лошадь проклятиями и поминутно подстегивал ее кнутом, но сегодня он то и дело поворачивался к своим седокам, лихо подкручивал усы и, слегка касаясь спины коня вожжами, ласково приговаривал:

— Веселей, веселей, сынок!

Когда коммерсанты сошли, Учитель Мангу поехал на Анаркали: он не мог отказать себе в удовольствии заглянуть в кондитерскую Дину. Заказав себе сыворотки, он с удовольствием выпил ее, обсосал усы и, смачно рыгнув, громогласно изрек на всю лавку:

— Ах, туды их растуды!

Вечером, вернувшись на конный двор, Учитель Мангу, к своему великому огорчению, не застал никого из приятелей. Сегодня он принес великолепные новости, и ему не терпелось поделиться, а на конном дворе, как на грех, было пусто.

Зажав под мышкой кнут, Мангу с полчаса расхаживал под железным навесом, изнемогая от нетерпения. В мозгу у него роились мысли одна приятнее другой. Известие о введении нового закона словно бы перенесло его в другой мир. Он обдумывал новый закон со всех сторон: а то как будет, а это? Тут он припомнил фразу одного из седоков: «А как проценты? Тоже будет принят новый закон?» Усмехнувшись в густые усы, Учитель Мангу добродушно ругнул коммерсанта:

— Ишь, чего захотел, вошь, кровопийца! Новый закон не для этого!

Радость распирала Мангу, но вдруг его словно бы обухом ударило — он подумал об англичанах: «А ведь эти белые крысы (иначе он и не называл их) теперь навсегда притихнут в своих норах!»

Когда на конном дворе с чалмой под мышкой появился Натху Гунджа, Мангу бросился к нему, схватил за руку и радостно закричал:

— Я принес вам такую новость, такую новость! Да у тебя от радости на лысине волосы вырастут! — И, захлебываясь от восторга, Мангу принялся рассказывать о новом законе. Несколько раз Учитель Мангу прерывал свой рассказ и, хлопая Натху по плечу, восклицал: — Сколько раз я говорил, что Русская Свобода непременно для нас что-нибудь сделает!

Учитель Мангу многое знал о Советском Союзе. Он слышал, что советские люди построили в своей стране социализм, и одобрял все их новшества. Поэтому теперь он связывал Русскую Свободу с новой индийской конституцией и считал, что идея принятия нового закона с вытекающими отсюда изменениями в старом общественном укладе возникла не иначе, как под влиянием Русской Свободы.

Несколько дней спустя Мангу вез двух адвокатов и затаив дыхание прислушивался к их разговору.

— Вторая часть конституции, — заметил один, — говорит о федерации, и я совершенно не могу этого понять. Подобной федерации еще не встречалось в истории человечества. С политической точки зрения эта федерация является ошибочной. Да и вообще, федерация это или нет?

Поскольку адвокаты пересыпали свою речь английскими словами, Учитель Мангу плохо их понимал и решил, что они считают введение нового закона в Индии недобрым делом и не хотят, чтобы их родина стала свободной. И Учитель Мангу, бросая на своих седоков злобные взгляды, про себя ругал их на все корки.

Еще через три дня Мангу вез студентов. Молодые люди тоже говорили о новой конституции.

— Новая конституция окрыляет мои надежды! — воскликнул один.—

Если господин Н. пройдет в члены Ассамблеи, я уверен, что нам будут предоставляться места и в правительственных учреждениях.

— Верно, верно! — поддержали его другие.

— Тогда число безработных с дипломом значительно сократится.

Это придало новому закону еще большее значение в глазах Учителя Мангу, и он уже казался ему чем-то конкретным и блистающим новизной.

В течение следующих двух дней Учитель Мангу думал о том, как будет выглядеть новый закон, однако перед его глазами чаще всего всплывала сбруя, которую он купил у ростовщика Чоудхри Худабахиша два года назад, предварительно хорошенько поторговавшись. На этой сбруе, пока она была новой, словно золото горели медные бляхи и накладные украшения. И теперь новый закон представлялся Учителю Мангу таким же блестящим и сверкающим.

До первого апреля Учителю Мангу довелось услышать еще множество похвал и осуждений нового закона, однако образ, который он создал в своем воображении, оставался неизменным. Он был убежден, что едва новый закон вступит в силу, как все трудности кончатся, все споры уладятся и любая вещь будет радовать взор своей новизной.

Наконец прошел последний день марта, и до наступления первого апреля осталось всего лишь несколько тихих часов ночи. Ночь выпала не по сезону прохладная, в воздухе веяло свежестью.

Первого апреля Учитель Мангу поднялся еще до рассвета. Придя в конюшню, он вывел из стойла лошадь, запряг ее и выехал со двора. Радость переполняла его сердце: сегодня он ехал смотреть новый закон.

В холодном предутреннем тумане Мангу несколько раз проехал мимо базара, но ничего необычного не заметил. Если не считать султана на голове его лошади, все вокруг выглядело старым, как небо. Этот султан из ярких перьев он по случаю великого события купил вчера у ростовщика Чоудхри Худабахиша за четырнадцать с половиной ан. Ведь сегодня, как никогда, Учитель Мангу жаждал увидеть новые цвета, новые краски.

Цокот лошадиных подков по мокрой мостовой, улица, освещенная двумя рядами электрических фонарей, витрины магазинов, звон колокольчика на шее лошади, народ, идущий на базар... Что здесь нового? Совершенно очевидно — ничего. Но Учитель Мангу не терял надежды. «Еще слишком рано»,— думал он, и эта мысль успокаивала его. И вдруг он сообразил: «Да ведь верховный суд открывается только в девять часов! Как же можно увидеть новый закон до этого времени?»

Когда его коляска поравнялась со зданием государственного колледжа, часы над подъездом торжественно пробили девять. Студенты у дверей колледжа были одеты, как обычно, но Мангу ждал, что сегодня все будет новым, блестящим и сверкающим, и ему показалось, что их одежда неопрятна.

Свернув направо, Учитель Мангу вскоре вновь оказался на Анаркали. Некоторые магазины уже открылись, народу заметно прибавилось, возле лавки кондитера Дину уже толпились завсегдатаи. В витрине ювелирной лавки, переливаясь всеми цветами радуги, заманчиво сверкали украшения. На проводах сидели голуби, по временам затевая между собой драку. Но все это было давно знакомо Учителю Мангу и не представляло для него ни малейшего интереса. Учитель Мангу хотел увидеть новый закон. Он хотел увидеть его так же ясно, как он видел свою лошадь.

Когда жена Мангу ожидала ребенка, Мангу в течение последних двух-трех месяцев буквально не находил себе места. Он, конечно, знал, что ребенок родится в положенный срок, но ему страшно хотелось хоть разок взглянуть на младенца еще до того, как он появится на свет. Не

в силах справиться с собой, он по нескольку раз на дню принимался ощупывать живот жены, прикладывал к нему ухо, но это не удовлетворяло его любопытства. Однажды, измучившись ожиданием, он не выдержал и стал попрекать свою жену:

— Валяешься целыми днями, как мертвая! Встань, пройдись! Разве не понимаешь, что тебе надо окрепнуть, набраться сил, а то как же ты сможешь дать жизнь ребенку?

Учитель Мангу обладал необыкновенной живостью характера и любознательностью. Не в его натуре было оставаться равнодушным наблюдателем — в любом деле он принимал самое живейшее участие, стремясь как можно скорей проникнуть в самую его суть. Зная эту черту мужа, Гангади обычно говорила ему в таких случаях:

— Колодец еще не вырыт, а ты уже умираешь от жажды.

Поэтому легко понять, с каким нетерпением Учитель Мангу ожидал того дня, когда вступит в силу новый закон. И сегодня он вышел из дома встречать новый закон, так же как Ганди или Джавахарлал Неру выходили встречать демонстрацию, устроенную в их честь.

Покинув Анаркали, Учитель Мангу медленно поехал по сверкающей чистотой Мал-роуд, как вдруг напротив магазина автомобилей его остановил какой-то человек и попросил отвезти его в военный городок. Условившись о цене, Мангу стал понукать коня, а сам думал: «Ничего, это неплохо. Съезжу в военный поселок, может быть, там узнаю что-нибудь о новом законе».

Отвезя седока, Учитель Мангу вынул из кармана сигарету, размял ее пальцами, закурил и, пересев с козел на сиденье, устроился поудобнее. Когда Мангу не искал пассажира или когда ему хотелось получше рассмотреть что-нибудь происходящее на улице, он всегда пересаживался на заднее сиденье и, забрав вожжи в одну руку, отпускал их, после чего его конь очень быстро переходил с рысцы на шаг.

Лошадь шагала лениво и мерно, и так же медленно в такт ее шагам текли мысли Мангу. В голове его рождались различные догадки и предположения о новом законе. Потом он вспомнил, что ему предстоит получить в муниципалитете новый номер для своей коляски, и принялся обдумывать, как повлияет новый закон на это важное дело. Он совсем ушел в свои мысли и не сразу услышал, что его кто-то окликает. Подняв голову, Мангу увидел на противоположной стороне улицы возле электрического фонаря европейца, который махал ему рукой.

Как уже говорилось в начале рассказа, Учитель Мангу терпеть не мог англичан. И теперь, когда его новым седоком оказался именно англичанин, сердце его преисполнилось ненавистью. Первым побуждением Учителя Мангу было проехать мимо — пусть англичанин торчит себе у столба, но потом он подумал: «Глупо бросаться деньгами. Вчера я истратил на султан четырнадцать с половиной ан, вот он мне их и возместит. Поехали!»

Лихо развернув коляску на пустынной широкой улице, Мангу подкатил к столбу и, осадив лошадь, спросил англичанина, так и не пересев на козлы:

— Куда прикажете, сахиб-бахадур?

Он задал этот вопрос самым насмешливым тоном и, произнося почтительное обращение, состроил невероятнейшую гримасу: углы его губ опустились, усы обвисли, на щеки легли две глубокие морщины. Его лицо смеялось, но в груди бушевало пламя, способное испепелить ненавистного англичанина.

И когда англичанин, прятавшийся за столбом от ветра, сделал шаг к коляске, взгляды их встретились. Мангу смотрел на англичанина так, словно хотел стереть в порошок каждую его частицу, а англичанин отря-

хивал пылинки со своих синих брюк с таким видом, будто хотел хоть что-то спасти от посягательств Мангу.

— Ну как, поедем или опять будешь скандалить? — спросил наконец англичанин, затянувшись сигаретой.

«Он!» — промелькнуло в голове Мангу, и сердце его бешено заколотилось. «Он, он!» — повторил Мангу про себя, убедившись, что перед ним стоит тот самый англичанин, который в прошлом году, будучи мертвецки пьяным, устроил невероятный скандал. В тот раз Учителю Мангу пришлось молча проглотить оскорбления. Он, конечно, мог бы постоять за себя и хорошенько отделать англичанина, однако решил стерпеть: ведь суд в подобного рода делах никогда не принимал сторону кучеров. Но то был прошлый год, а сегодня в силу вступил новый закон.

— Куда прикажете? — вопрос Мангу прозвучал, как удар хлыста.

— В Хираманди.

— Это будет стоить вам пять рупий, — сказал Мангу, лихо подкручивая усы.

— Пять рупий?! Да ты спятил?

— Да, пять рупий, — упрямо повторил Мангу, и его волосатая рука сжалась в кулак. — Ну как, поедем или будем зря болтать?

Вспомнив прошлогодний случай, англичанин пренебрег шириной груди Учителя Мангу. Он решил, что и на этот раз без труда одержит победу и кучеру останется лишь почесывать в затылке. Он вплотную подошел к коляске и тонкой камышовой тросточкой несколько раз похлопал Мангу по спине — пересаживайся-ка побыстрее на козлы.

Несколько мгновений Учитель Мангу смотрел на англичанина так, словно желал раздавить его тяжестью своего взгляда, а потом с быстротой молнии нанес англичанину сокрушительный удар в подбородок. А когда тот отлетел назад, Мангу соскочил на землю и принялся избивать его.

Ошеломленный англичанин сначала только пытался увернуться от тяжелых кулаков Учителя Мангу, но, увидев, что тот совсем обезумел, начал звать на помощь. Его крики только придали Мангу силы. Он с удвоенной яростью набросился на англичанина и бил его, приговаривая:

— Даже первого апреля у тебя не убавилось наглости! Даже первого апреля у тебя не убавилось наглости! Нет, шалишь, милок, теперь наша власть!

Собралась толпа. Подоспевшие полицейские с трудом оторвали Мангу от англичанина. Мангу стоял между двумя полицейскими, грудь его тяжело вздымалась, на губах выступила пена. Но он улыбался, поглядывая на изумленную толпу, и говорил прерывающимся от возбуждения голосом:

— Прошли дни неволи. Теперь новый закон, новый закон!

А англичанин, прикрывая рукой разбитое лицо, переводил взгляд то на Мангу, то на толпу. Вид у него был весьма глупый.

Полицейские отвели Учителя Мангу в участок. По дороге Мангу, не переставая, выкрикивал:

— Новый закон! Новый закон!

Но никто его не слушал.

— Новый закон! Новый закон! Что ты вздор мелешь? Новый закон, старый закон — все одно и то же!

И Учителя Мангу посадили за решетку.

Революционная китайская поэзия "4 мая"

Перевод с китайского и вступление
Л. ЧЕРКАССКОГО

Рождение новой поэзии Китая относится к периоду антиимпериалистического и антифеодального движения 4 мая 1919 года, возникшего под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции. Русская революция 1917 года, писал один из выдающихся китайских коммунистов Ли Да-чжао, не только знаменует собой изменение в сознании русского народа, но означает также изменение в идеологии всего человечества в XX веке.

Идеи Октября, идеи научного социализма оказали могучее воздействие на умы передовых людей Китая, на весь китайский народ и ускорили их революционное развитие. Трудящиеся великой страны, следуя по пути русских, поднимались на борьбу за освобождение от векового рабства.

Новая поэзия Китая называется новой именно потому, что она смогла осмыслить и отобразить в ярких художественных образах бурную эпоху изменений в идеологии китайского народа, его борьбу против старого мира, против звериной морали «людоедов», о которой с таким гневом писал великий Лу Синь. Главным героем прогрессивной литературы выступил человек-борец, человек-созидатель. Образ ослепительно яркого солнца, рассеивающего мрак жизни, становился близким и необходимым поэзии, устремленной в будущее, к свету, к свободе.

Поэзия «4 мая» гневна и лирична, беспощадна в своем неприятии и разоблачении мерзостей жизни, глубоко человечна и гуманна. Уходящая корнями своими в национальную почву, она восприняла лучшие черты китайской классической поэзии с ее пристальным вниманием к человеку, с великолепным ее мастерством. Новаторство поэзии «4 мая» вовсе не означало разрыва с традициями. Поэты нового времени поднимали и пытались решать большие социальные проблемы, они говорили о причинах неравенства, о помещичьем произволе, о жестокости капиталистического города, они призывали отбросить прочь конфуцианские догмы и феодальные предрассудки, опутавшие человеческую душу. Это было ново и беспрецедентно. Разумеется, интересы классической поэзии не ограничивались хризантемами и луной. Социальная тематика была присуща Ду Фу, Бо Цзюй-и, Лу Ю и многим другим великим поэтам прошлого, но их поэзия была поэзией горестного стона, поэзией жалости, а теперь речь шла о том, чтобы перейти к дей-

ствиям. И первым, кто глубоко понял миссию новой литературы Китая, был Лу Синь. Он стал ее знаменосцем, совестью и славой.

Большое влияние на развитие новой поэзии Китая оказала русская и советская литература, которую Лу Синь называл учителем и другом китайского народа. «Русская литература,— писал он,— раскрыла перед нами прекрасную душу угнетенного, его страдания, его борьбу». Лу Синь считал освоение творчества русских классиков, Горького, Маяковского благотворным для развития китайской литературы. Ни один иностранный писатель не пользовался в Китае такой любовью, таким сыновним уважением, как М. Горький. Лу Синь был горячим пропагандистом и популяризатором творчества великого русского писателя, всей советской литературы, его перу принадлежат переводы произведений многих русских и советских писателей.

Лу Синь любил советскую страну и боролся против лжи и клеветы, возводившихся на Советский Союз. Как метко звучат сегодня его слова, произнесенные тридцать два года назад в адрес империалистов, так называемых людей «просвещенных стран»: «...если такие люди клевещут на Советский Союз и собираются на него напасть, это значит, что жизнь в Советском Союзе прекрасна».

Страстным пропагандистом русской и советской литературы был Цюй Цю-бо, наш большой друг, основоположник китайской марксистской литературной критики, писатель, поэт, публицист.

Цюй Цю-бо впервые познакомил Китай с Маяковским, творчество которого оказало огромное воздействие на формирование целого поколения китайских революционных поэтов. «Среди многих современных поэтов,— писал Цюй Цю-бо в 1923 году,— только он (Маяковский.— *Л. Ч.*) смог до конца постичь революцию, сделав ее своим кровным делом, он дышал революцией, он отдал всего себя делу революции. Его творчество занимает важнейшее место в истории послереволюционной русской литературы».

Уже в период движения «4 мая» поэзия Маяковского стала вдохновляющим примером для революционного поэта Цзян Гуан-цы, ряд стихотворений которого даже по форме напоминает стихи Маяковского. Своим учителем Цзян Гуан-цы считал и Демьяна Бедного, которого ценил чрезвычайно высоко. «Его стихи играют такую же роль в революции, что и винтовка в руках красноармейца»,— писал он.

В период движения «4 мая» в Китае широко переводились также произведения Байрона, Гейне, Уитмена, Верхарна, Тагора. В борьбе против старого общества китайский народ старался использовать всю силу и мощь мировой прогрессивной культуры.

Революционные поэты тех лет атаковали старый стих, написанный на непонятном на слух литературном языке «вэньянь», скованный законами и правилами традиционной поэтики, уже не способной, по их мнению, передать во всей полноте биение новой жизни. Свободный стих, подвижный и гибкий, основанный на нормах живого разговорного языка и не ограниченный определенным количеством иероглифов в строке, стал важнейшей формой новой китайской поэзии. Раскрепощение формы диктовалось революционным содержанием, властно вошедшим в поэзию. Реакционеры, заскорузлые ревнители старого обрушивались на новую поэзию и ее творцов, видя в них не только ниспровергателей освященных веками кумиров, но и борцов за освобождение и счастье народа. Революционной поэзии приходилось также вести длительные сражения с декадентами, символистами, сторонниками «чистого искусства». В этой борьбе она крепла и мужала.

В цикле стихов, публикуемых журналом, представлены произведения ряда поэтов, чье творчество складывалось в период движения «4 мая».

Лю Бань-нун (1891—1934) был одним из первых революционных поэтов Китая. В сборнике «Взмах плети» он с болью и гневом писал о «маленьком человеке» огромной страны: о рикше, о работнице завода, о бедной кормилице, живущей на чужбине. Лю Бань-нун требовал от поэзии правды, он говорил, что лживые мысли и чувства недостойны поэта. Вспоминая деятельность Лю Бань-нуна, Лу Синь назвал его «бойцом», «деятельным, храбрым, выдержавшим не одно сражение».

Глашатаем новой поэзии был и Чжу Цзы-цин (1898—1948). Это был человек большой эрудиции и большого ума, поэт, ученый, историк. Его поэтический сборник «Признаки» действительно отразил приметы идейного подъема революционной интеллигенции в период движения за новую культуру. Чжу Цзы-цин верил в то, что «зерна буду-

щего» прорастут на земле Китая; он посвящал свои стихи революционерам, людям «со свободным и чистым сердцем». Поэт призывал освободиться от пут старого и начать новую жизнь. В поэме «Уничтожение» он восклицал: «Я хочу шаг за шагом ступать по земле, оставляя глубокие следы!.. Нечего терять время, иди, иди, иди!»

Поэт Лю Да-бай (1880—1932) по манере письма был близок Лю Баиь-нуну. Стихи его, собранные в книге «Старые мечты», искренние, написанные живо и просто, под большим влиянием народных песен, посвящены трагической жизни китайского крестьянства, повествуют о жестокости помещиков, о ненависти к ним народа.

Цюй Цю-бо (1899—1935) был певцом рабочего класса. Если иным поэтам «4 мая» были свойственны колебания и неуверенность, коммунисту Цюй Цю-бо было ясно, куда и с кем идти. Его творчество служило задачам пролетарской революции. Известное стихотворение Цюй Цю-бо «Красный прибой» было опубликовано одновременно с «Интернационалом» в его переводе.

Цюй Цю-бо был первым представителем китайской прессы в Советском Союзе. Подобно Джону Риду и Ивану Ольбрахту, Богумиру Шмералю и Вайяну Кутюрье, Цюй Цю-бо гордо и взволнованно писал о первом в мире государстве рабочих и крестьян, о вожде революции Ленине, с которым ему посчастливилось встретиться и беседовать. Книги Цюй Цю-бо о Советской России призывали к вечной братской дружбе между двумя великими народами.

Цзян Гуан-цы (1901—1931) в начале двадцатых годов жил и учился в Советском Союзе. Четыре года провел он в Москве, которую называл «любимой матерью», «второй родиной». В Москве он создал много стихотворений, составивших сборник «Новые мечты» (1925). Появление этого сборника стало большим событием в идейной и литературной жизни Китая. В предисловии к сборнику Цзян Гуан-цы писал: «Русский поэт Блок говорит: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушать революцию». Я говорю: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием петь революцию». «Новые мечты» — гимн коммунизму, Ленину, трудящимся Китая. Цзян Гуан-цы возвещал правду об Октябре, о советском народе. Он был настоящим поэтом-интернационалистом.

Революционные традиции поэзии «4 мая» были восприняты лучшими поэтами двадцатых и тридцатых годов — Инь Фу, Пу Фыном и другими. Эти традиции ныне вновь напоминают, что поэзия, отличительными чертами которой являются революционный гуманизм, дружба между народами, патриотизм, не умирает.

ЛЮ БАНЬ-НУН

Между ними лишь слой бумаги

Пляшет огонь в печи,
В комнате благодать;
Велит господин отворить окно,
За фруктами посылает слугу.
«На дворе, говорит, прошли холода,
А печь накалили — дышать не могу».
На улице нищий лежит на земле,
Холодной, как льдина.
Он стиснул зубы,
Он проклинает северный ветер злой.
А всего-то между нищим и господином
Бумаги оконной
Тоненький слой!

Октябрь 1917 года, Пекин

Коврик

Похолодало. Скопил денег, коврик купил шерстяной.
Расстелил в коляске — глаз нельзя оторвать от тонких алых цветов.
Господа садятся, видят хороший коврик, дают два-три медяка.
Тащится рикша, струится пот, дует северный ветер. Холодно.
Ему бы накинуть коврик на плечи — боится,
Одежда на нем грязна: себя-то согреешь, да замараешь коврик!

1918 год

Вот и дождался...

Вот и дождался горького дня —
Голод и холод скрутили меня.
Экая невидаль в мире, в котором
Люди от голода мрут под забором!

17 сентября 1921 года, Париж

О слезы...

О слезы,
Конечно,
Вы тоже не вечны.
Но я ничего, кроме вас, не имею
И быть расточительным смею!

19 сентября 1921 года, Париж

ЧЖУ ЦЗЫ-ЦИН

Свет

Зловещая полночь, и ветер, и дождь,
Пустынною степью упрямо идешь.
Идешь бесконечно, в степи изнемог,
Во мраке ночном — перекресток дорог.
Куда повернуть?
Здесь не видно ни зги.
«Эй, кто-нибудь, помоги!
Владыка небесный, ты мрак освети,
Иначе собьюсь с пути».
Небесный владыка в смятении рек:
«Тебе я бессилен помочь, человек!
Ты зря обратился с мольбой к небесам,
Свет
сотвори
ты сам!»

22 ноября 1919 года

Новый год

На огромной земле полог ночи задернут,
Новый год в полете —
Прекрасны два алых крыла.
Новый год несет человеку
Золотые чистые зерна,
Зерна будущего, в которых много тепла.
Взмахи крыльев ошеломили безмолвье ночи,
Их лучи — точно алая кровь;
Они пробудили спящих,
И люди радостно и озабоченно
Увидели Новый год и светлую новь.
Новый год несет человеку
Золотые круглые зерна.
Они прорастут во мгле.
Сейте зерна —
Секрет вашей жизни,
Сейте зерна
На этой земле!

21 декабря 1919 года

ЛЮ ДА-БАЙ

Пахота

Тянет плуг усталый вол,
Тянет-тянет, плуг тяжел,
Трудно тянет старый вол.
Плуг тяжел, да плеть длинна,
Клочья шерсти рвет она.

Вол устал. Был плуг тяжел,
И крестьянин еле шел.
Он налог сполна внесет,
Он накормит всех господ,
Сам от голода помрет.

19 июня 1921 года, Ханчжоу

Снег

Яркий снег слепит глаза людей,
Белый снег, он серебра белей,
Он своей поспорит белизной
С мягкой ватой, с рисовой мукой.

Снег не снег — белеет серебро.
Беднякам такое бы добро.
Серебро на горе беднякам
Приберут богатые к рукам.

Не сугробы — белая мука.
Вот бы хорошо для бедняка.

Только почему-то богачи
От амбаров спрятали ключи.

Не сугробы — вата на земле.
Беднякам ходить теперь в тепле.
Только люди в шубах меховых
Прячут вату в дальних кладовых.

Нет, богатство не для бедняка —
Богачу в мешок, в амбар, на склад.
Почему и вата и мука,
Точно снег, повсюду не лежат?

6 декабря 1922 года, Сяошань

Дневная свеча

Среди белого дня
Кто зажечь восковую свечу надоумил меня?

Я ведь знаю, что день.
Почему не видна человека идущего тень?

Темнота окружила меня,
Как завеса, закрыла лицо наступившего дня.

Зажигаю свечу,
Силуэты людей в темноте я увидеть хочу.

Кто вдали — различи!
Что же там промелькнуло при свете горящей свечи?

Человек или нет?
Будто вижу вдали силуэт, и еще силуэт...

Я расстался с надеждой пустой —
Разве справится слабая эта свеча с темнотой?

12 января 1923 года, Ханчжоу

ЦЮЙ ЦЮ-БО

Голос сердца

Стон... стон...
«Проваливай! Вон!»
Свист полицейской сабли груб.
И снова стон срывается с губ:
«Господин... подайте... голодному...
Ой!»
«Стой!
Генерал-губернатор!
Не видишь?»
Пинки.
И огненный след пятерни отпечатан
На грязной коже щеки
Новогодней узорной парчой.

По мостовой,
Срезая углы, тучи вздымая пыли,
Мчится
Генерал-губернатор в автомобиле.

Белесый клубится дым.
Зловоние душит людей.
Вдоль улиц гляди и дальше гляди,
Дальше — за грань площадей...
Черные тени видны...
Сумрачный лик
Ухмыляющейся луны.

1920 год

ЦЗЯН ГУАН-ЦЫ

Моя душа

Я в мире много исходил дорог
И много съел плодов во времена скитаний:
Откуда мог я знать, что их медвяный сок
Когда-нибудь моей душою станет?

Я перевидел многое вокруг,
Я слышал громкий смех и горькие рыданья;
Откуда мог я знать, что каждый этот звук
Когда-нибудь моей душою станет?

Ты соками плодов напоена,
Вобрала смех и плач людей, идущих мимо,
И потому, душа, ты преданно-нежна,
И глубина твоя неизмерима.

Звучит твоя задорная строка,
Когда грохочет гром и дождь шумит бессонно;
Твои я слышу горестные стоны,
Когда вдали плывут лениво облака.

Мне чудится: Вселенная поет,
Она коснулась струн одной огромной лютни;
Моя душа спешит туда, где людно,—
Гармония души и лютни настает!

Мне чудится: души со мною нет,
Она слилась с душой всего людского рода;
Я слышу песню-стон из уст народа,
А может, то душа оставила свой след?

Я слышу плач измученных людей,
Моя душа дрожит, дрожит от острой боли,
Я пролил много слез не оттого ли,
Что плакала она, что было больно ей?

Я слышу смех людей дурных и злых —
Моя душа горит и жаждет лучшей доли,
Я ненавижу их не оттого ли,
Что гневная душа так ненавидит их?

Моя душа стремится в прошлый век,
Когда талант певца народам был подарен;
О, сколько гордых чувств в твоей строке, певец,
Властитель дум, отважный рыцарь Байрон!
Поэта светлой памяти верны
Вольнолюбивой Греции сыны.

Моя душа стремится в прошлый век,
Когда стучало жарко сердце Гейне;
Как много пролил слез поэт и человек,
Мечтая о счастливом поколенье.

Мне жаль, что он, таким огнем горя,
Окрашен не был цветом Октября!

24 января 1923 года

Стихи о Москве

Московский снег белизны небывалой,
Знамена московские ярко-алы,
Они как рассветные чистые зори.
Снежные хлопья
В хрустальный дворец превратили столицу.
Рассветные зори!
Мне почему-то не спится,
Брожу по дворцу бесконечно,
Не считая часов.
Мне хочется петь —
И мне подпевает
Тысяча голосов.
Воспоминанья встают предо мной
О жизни иной.
Что в них таится?
Ненависть? Плач?
Улыбка, тронувшая уста,
Или тоска по родным местам,
Которых забыть нельзя?
Нет, друзья!
Мною оставлено прошлое,
Его не вернуть —
Оно брошено
Навеки в пещерную мглу
И там зарыто во тьме.
Для того, чтобы мне, тебе и ему
Жить на земле!..

Друзья!
Не верьте хитросплетениям лживых басен,
История
тоже

Не вечно бывает темна;
Как снежные хлопья,
Может быть мир прекрасен,
Чистый, как снежные хлопья,
И радостен, как весна.
В хрустальный дворец
Я вошел, как идут в сновиденья.
Великую новость, правдивей которой нету,
Взволнованный и потрясенный,
Узнал в этот день я:
Человечество вышло
На улицу чистого света.
Друзья!
Не оглядывайтесь на черные тени прошедших веков,
Они мучительно нас позорят;
Я сегодня стоял
На краю пылающих облаков
И глядел на рассветные зори.
Хорошо!
Впервые земля накинула красный халат,
Октябрь, словно пушка невиданного калибра,
Прогрохотал —
И в паническом страхе дрожат
Злобные волки и разъяренные тигры!
Октябрь, словно огненный смерч,
Испепелил навечно
Все, что жестоко и бесчеловечно.
Октябрем озаренный,
Вижу грядущего день я,
Прими, Революция, в дар
Мое сердце, утратившее покой.
Октябрьская революция,
В день твоего рожденья
Воспрянул род людской!

1923 год

ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ СМЕЮТСЯ

ГАБОР ГОДА

ВЕНГРИЯ

ПОРТРЕТ КАРОЯ ШРОФА

Скажу не преувеличивая, я очень обрадовался, когда увидел в дверях своего кабинета длинное лицо моего старого друга Кароя Шрофа, удивительно похожее на морду ищейки. Карой Шроф, литератор с головы до пят, обладает многими превосходными качествами, и больше всего меня поражает его расторопность. У Шрофа всегда в запасе множество мнений, которые он классифицирует по изобретенной им системе, и в любой момент может высказать одно из них о новой книге любого писателя, чтобы автор заранее знал, какое впечатление произведет эта книга на такого-то уважаемого гражданина, после чего уважаемый гражданин вообще не станет читать ее, опасаясь, что Карой Шроф как-то узнает и попутно исказит его, читателя, мнение.

Одним словом, Карой Шроф — человек, хорошо осведомленный, что дает ему возможность ежедневно, а иногда и ежечасно изменять созданную им шкалу ценностей — нечто вроде биржевого курса авторов и их произведений. Поэтому совершенно естественно, что писатель, ничем еще себя не прославивший — такой, например, как я,— воспринимает замечания этого действительно тайного советника по делам литературы с должным уважением. Ведь нам, неизвестным писателям, приходится одновременно гоняться не за двумя зайцами, а сразу за шестью, и мы пребываем в вечном страхе шлепнуться в лужу, не поймав ни одного.

Сохрани нас бог сделать поспешный вывод, будто постоянное колебание мнений Кароя Шрофа попросту зависит от его язвительного характера, и — что было бы еще глупее — отождествлять моего старого друга с теми, кто посвятил свою жизнь раскрытию литературных истин.

Примерно такие мысли мелькали у меня в голове, когда, поддавшись традиционному венгерскому гостеприимству, я пригласил Шрофа в свой кабинет.

Вид у Шрофа был озабоченный.

Усадив гостя в удобное кресло, я прежде всего поблагодарил его за высказанные обо мне весьма ученые отзывы. Правда, мне не приходилось читать произведений, автором которых он считал меня, зато я ознакомился с мнениями, якобы услышанными Шрофом от людей высокопоставленных. И хотя эти люди никогда не читали моих писаний, мнения их были известны Шрофу настолько хорошо, что он даже опубликовал их. Мнения глупые, но человек, занимающийся литературным ремеслом, очень быстро узнает цену доброжелательным глупостям, особенно если они заполняют три газетные колонки под крупным заголовком. Ничего этого, однако, я не сказал Шрофу, а угостил его вином и спросил:

— Как поживаешь, Шроф?

— Меня бьет лихорадка,— ответил он.— Со мной случилось такое, что не выпадает на долю ни одного из пяти тысяч литературоведов.

— Охаял кого-нибудь больше, чем следует?

Он отмахнулся, как человек, не желающий слушать подобные антинаучные и циничные замечания.

— Дело вовсе не в этом,— сказал Шроф, подняв с полу портфель, покорным щенком прикорнувший у его ног.— Мне удалось найти в архиве Государственной библиотеки на самом дне изъеденного червями ларца рукописи стихов одного из величайших венгерских поэтов.

— Да ну? Поэта, равного Вёрёшмарти, Петёфи или Араню?

— Не меньше!

— Здорово! И о нем до сих пор никто ничего не слышал?

— Никто и ничего. Он был настоящим бирюком и еще большим мизантропом, чем неизвестные в то время Йожеф Катона или Мадач. Этот великий художник слова одиноко жил в Кишкуншаге и писал удивительнейшие стихи и драмы. Родился он 4 февраля 1811 года в деревне Шемте и умер 7 июня 1851 года в том же доме, возможно, в той же кровати, где появился на свет. Точно так же, как Шандор Кишфалуди в Шюмеге. Только исповедовал римско-католическую веру.

— Вот черт! А как тебе удалось это узнать?

— Иногда и к исследователям приходит удача,— скромно ответил Шроф.— В архиве я наткнулся на старинный, окованный железом ларец, вероятно, такой же, как тот, в котором нашли в Париже рукописи Стендаля через несколько десятилетий после его смерти. «Что таится в нем?» — невольно спросил я себя. На ларце с трудом можно было разобрать полустертую надпись: «Шемте, 7 июня 1851 года. Фелициан Зрухароцки».

Карой Шроф покраснел от волнения. Я с большим интересом следил за тем, как он с научной обоснованностью анализировал каждую мелочь, разлагал ее на элементы, свивая и развивая их по спирали. Я уже давно заметил, что нет ничего прекраснее лица прирожденного литератора, вдохновленного сделанным открытием. Фелициан Зрухароцки! От отца, мелкопоместного дворянина, он унаследовал имение, от матери-крестьянки — силу народного поэтического таланта! Какое чудесное происхождение, если смотреть на него с точки зрения литературоведа! Такое сочетание — истинная

находка, благодаря которой специалист может объяснить и литературную утонченность, и революционность, на целый век предвосхитившую идеи того времени.

— А много он написал? — поинтересовался я.

— Массу,— ответил Шроф.

— А именно?

Шроф вытащил лист бумаги.

— Здесь лишь часть его произведений,— пояснил он.— Многие, по-видимому, еще не найдены.

— Вполне возможно,— согласился я.

— Вот короткий список. Драмы «Общими силами», «Пальцем в небо», «Если нет у тебя рубашки, не старайся ее надеть», «Тубак и Табак», «Марс и Гермес» — все темы, по существу, современные. Когда эти драмы были написаны, они предвосхищали тогдашний завтрашний день, значит, теперь они вполне современны. Достаточно взять борьбу отсталого Тубака с прогрессивным Табаком или блестящий оптимизм пьесы «Пальцем в небо».

— Что он еще написал? — холодно спросил я.

— Много. Например, стихи. Он сам разделил их на пять циклов: «Песни для Катицы», «Вздох в горах», «Бей, круши без устали» и два цикла «Коллективных песен».

— Прочти какое-нибудь стихотворение,— потребовал я.

— У меня есть кое-что поважнее,— уклонился он.

— Что же может быть важнее?

— Если позволишь, я тебе прочту свою монографию о нем.

— Не позволю,— отрезал я.

Шроф, очевидно, не рассчитывал на отпор.

— Ну, позволь,— умоляющим тоном попросил он.

— Нет!

На глазах у Шрофа показались слезы.

— Я писал эту монографию целый месяц... Позволь!..

— Ну что ж...— смягчился я.— Читай.

Если бы вы могли видеть Шрофа в ту минуту! На шее у него вздулись жилы, с чела струился пот, ноздри трепетали. Шроф читал свою монографию о Фелициане Зрухароцки. Я сразу понял, что дела у Зрухароцки очень хороши: не опасаясь обвинений в субъективизме, Шроф так и сыпал эпитетами: великий, гениальный, буйный, сердечный, безумный... Помимо всего прочего в поэте счастливо сочетались высокий интеллект с глубокой народностью, современность с традиционностью и т. д. и т. п. Уже через несколько минут Зрухароцки предстал передо мной таким совершенным, будто в нем воплотились все идеи, которые могли осенить литературоведа 25 ноября 1959 года.

— Почему ты нигде не цитируешь самого поэта, хотя бы несколько строк? — прервал я Шрофа.

— С твоего разрешения, я буду читать дальше.

— Хорошо,— смалодушничал я.— Читай.

Далее выяснилось, что Зрухароцки презирал натурализм, создавал типичных героев, которые, однако, не теряли своей индивидуальности, был реалистом — не только критическим... И хотя социалистическим реалистом его назвать, конечно, нельзя, он все же заглядывал далеко вперед, предвидел будущее, писал о сегодняшнем дне того времени, показывая в нем не только завтрашний, но даже послезавтрашний день, что отнюдь не снижало художественности формы. Скорее напротив: поэзия Зрухароцки являла собой пример такого единства формы и содержания, такой художественной целостности, что уже одно это было очевидным признаком его гениальности.

Сделав вид, будто я потрясен множеством совершенств поэта, я снова прервал Шрофа:

— Ну, прочти хоть одно стихотворение или хотя бы одну строфу, мне самому хочется услышать, что за поэт этот Зрухароцки.

— Не важно,— отмахнулся от меня Шроф.— Неужели ты не понимаешь, что в таком исключительном случае, когда человек сделал беспрецедентное открытие, он

должен в первую очередь выяснить, какое место занимал поэт в нашей национальной поэзии, найти истоки его творчества, определить влияние, оказанное им на более поздних поэтов, даже если его произведения пролежали много десятилетий в запертом ларце.

— Стихи! Читай стихи, черт побери!

— У меня нет с собой рукописей.

— А где они? — заорал я.

Шроф смутился.

— Дома... у меня дома...

— Идем,— сказал я.— Идем к тебе. Терпеть не могу сырой погоды, не люблю выходить на улицу в такой туман... Вообще ненавижу всяческий туман... Но я хочу прочитать стихи Зрухароцки сейчас же, немедленно, во что бы то ни стало.

— Успокойся. Что тебе даст чтение нескольких строф? Знакомство с крохами великого поэтического наследия может лишь привести к неправильным выводам, к однобокому освещению творчества...

— Глупости! — вскрикнул я.— Пошли!

— Весьма сожалею,— обиженно возразил Шроф,— что в тебе нет обстоятельности филолога. Настоящий литератор стремится ознакомиться прежде всего с идейными особенностями поэтического творчества, а уж только потом с его практическим воплощением. Поверхностность, к сожалению, и приводит к тому, что в твоих сочинениях, безусловно социалистических по содержанию, звучат иногда буржуазные нотки.

— Кто тебе сказал такую чушь?

Шроф молчал.

— Кто, говори! — допытывался я.

Шроф молчал. Я швырнул в него стакан.

— Ты прочтешь мне стихи Зрухароцки! А до тех пор я не стану слушать твоей монографии. Пошли!

В дверях он снова заупрямился, поник головой и пролепетал:

— Что тебе надо от Зрухароцки?

— Все: стихи, драмы и все остальное.

— А моей монографии тебе недостаточно?

— Нет!

— Но ведь в ней есть абсолютно все.

Наши взгляды скрестились. Я твердо сказал Шрофу:

— У меня возникли подозрения.

— Какие?

Шроф опять сник, на глаза его навернулись слезы, и он начал шмыгать носом.

— Что не существует ни Фелициана Зрухароцки, ни обитого железом, изъеденного червями ларца, ни архива — словом, ничего. Существует лишь твоя монография.

— Не... не...— лепетал Шроф, рыдая,— не... обижай меня!

— Я спрашиваю, есть Зрухароцки или нет?

Шроф молчал.

— Есть или нет?

— Не обижай меня. Если хочешь, я напишу, что, когда ты в своих произведениях говоришь о прошлом, в них звучит голос будущего.

— Это и без тебя известно, только дураки этого не понимают.

— Правильно. Я напишу, что твои книги не только социалистические по содержанию, но что в них и по форме нет ничего буржуазного...

— Ерунда. Это настолько явно, что даже люди, делающие вид, будто не понимают этого, на самом деле прекрасно все понимают.

— Я напишу о тебе...

— Хватит. Есть Зрухароцки или нет? Отвечай!

Шроф схватил меня за руку.

— Вернемся в твой кабинет, прошу тебя как друга.

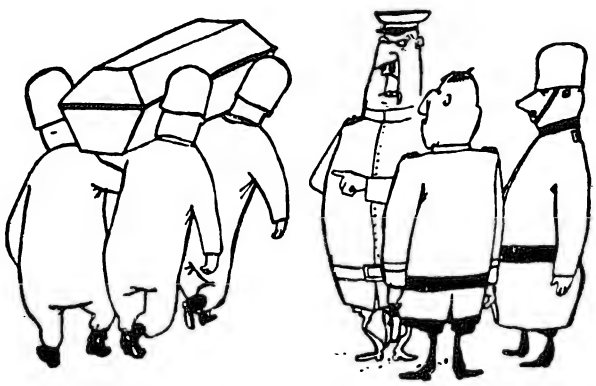
Традиционное венгерское гостеприимство и на сей раз укротило мои порывы.

— Заходи,— сказал я.

Шроф остановился у письменного стола и торжественно откашлялся.

Педант

Прагматик



— Я продолжаю утверждать, что он — симулянт!

Рис. К. ХАЛЬБРИТТЕРА (ФРГ)

Коррупция

Рис. И. СЮР-САБО (Венгрия)

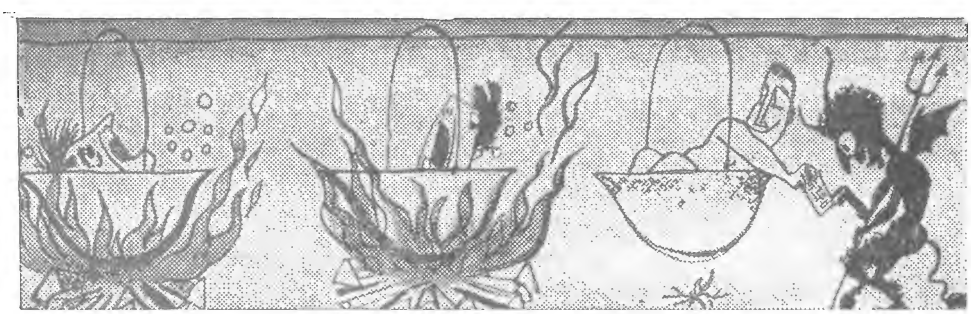


Рис. ПАУЛЯ (Швейцария)

Теоретик

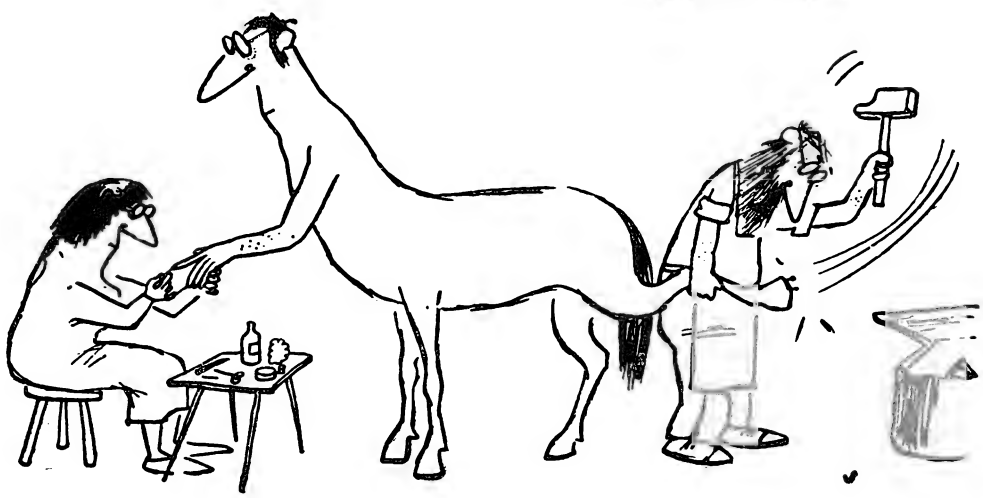
Психоаналитик

Произведение искусства

Рис. Э. ЛИПИНСКОГО (Польша)

Удобно быть кентавром

Рис. Д. КАВАЛЛО (Италия)



— Хочу тебе признаться,— заявил он.

— Признавайся!

— Зрухароцки нет. Нет! Я сам выдумал его. И Шемте, и даты рождения и смерти, и ларец, и надпись на нем — все.

Надо сказать, что чистосердечное признание Кароя Шрофа растрогало меня.

— Зачем ты это сделал? — снисходительно спросил я.

— Пойми, я уже двадцать лет пишу об авторах и об их произведениях, двадцать лет не могу вылезти из смирительной рубашки фактов. У меня, к сожалению, взгляды только текущего дня. Но ведь если все течет, все изменяется, то почему не должны меняться и мои взгляды? А раз у меня такие удивительно эластичные взгляды, то я и хочу применять их во всех вариантах, в которых, по имеющимся у меня сведениям, нуждается литература. Однако иногда бывает так: ты уже уверен, что доплыл до тихой пристани, у тебя все в полном порядке и на любой случай запасены хвалебные или ругательные эпитеты и намеки, как вдруг оказывается, что все это лишь фикция: какая-нибудь стихотворная строфа или новая глава романа ломает весь установленный тобою порядок. Писатели так капризны, так противоречивы, так утомительны своей непоследовательностью! Какой прекрасной была бы моя профессия без литературных произведений, тормозящих размах и фантазию критиков! Если бы критики могли свободно порхать, как это делают писатели!

— Тогда почему же ты не попробуешь писать стихи? — спросил я.

— Не умею, да и не люблю. Я люблю писать монографии. Вот мне захотелось хоть раз написать так, как хочется, выдумать все: писателя, его произведения, эпоху, общественное положение, усадьбу, ларец, литературные жанры, Шемте, родителей, принадлежащих к разным общественным классам (такое происхождение имеет огромные преимущества, так как позволяет нарисовать богатую картину эпохи) — и пошел...

— Что значит «пошел»? — строго спросил я.— Твой Зрухароцки — настоящий народный писатель, а не диалектолог и не натуралист, как же ты смеешь так с ним обращаться?

— Прошу прощения,— отозвался Шроф,— ты совершенно прав, я допустил стилистическую оплошность. И все же ты сам видишь, какие живые литературные проблемы могут возникнуть даже в связи с никогда не существовавшим писателем или поэтом. И насколько правильнее и проще разрешаются эти проблемы, если писателя вообще не существует.

— Скажи по совести,— спросил я дружелюбно, глядя ему прямо в глаза,— существование литературных произведений очень мешает твоей работе литературного критика?

Шроф несколько мгновений колебался, но не отвел взгляда. Наконец он решился:

— Очень! Ты даже представить себе не можешь, как мешает!

Вдруг все пришло в движение. По комнате пронесся вихрь, приподнял с пола ковер, распахнул дверь, и на пороге перед нами предстал усатый человек в украшенной позументом венгерке, с кривой саблей на боку.

Поверьте, мне чрезвычайно неприятна необходимость вводить в такую вполне реалистическую историю элементы, которые покажутся сверхъестественными. Ведь тем самым я подвергаю себя опасности, что некоторые недоверчивые читатели могут обвинить меня во лжи. Но что поделаешь? Раз я взялся рассказывать все по порядку, то не могу согрешить против истины и утаить появление старомодного господина, который стоял у меня на пороге и дышал так порывисто, что дыхание его приподняло в воздух диван.

— Кто вы? — деликатно поинтересовался я.

— А вы кто? — угрожающе спросил он.

— Об этом,— ответил я,— вы можете узнать у Фери Шушторки, Хюмера Маффии, Лоранта Укмукфука, Пишты Натуры и других выдающихся деятелей пера, они, без сомнения, скажут вам, кто я. Так с кем имею честь?

— Я — Фелициан Зрухароцки. А этот олух кто? — Зрухароцки показал на смертельно-бледного, дрожащего Шрофа.

— О! — вздохнул Шроф, совершенно пораженный тем, что великий Зрухароцки употребляет столь грубые слова, как «олух».

— Вы звали меня, и вот я здесь,— сказал Зрухароцки и наградил Шрофа двумя такими увесистыми оплеухами, что у того нос оказался свернутым набок.

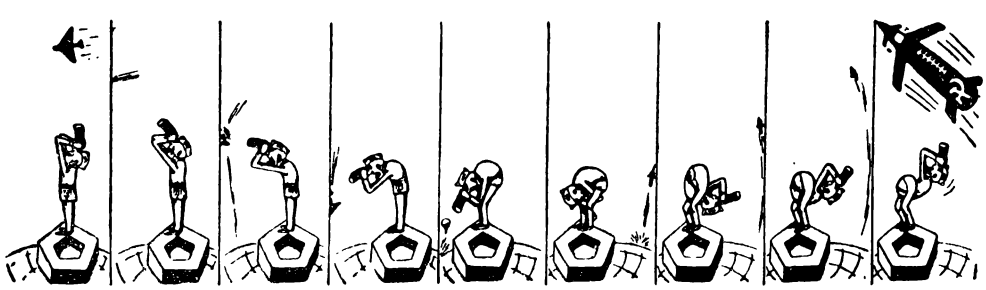
Мне было очень неприятно, но я ничего не мог поделать. В комнате снова завыл ветер, вихрь подхватил Фелициана Зрухароцки вместе с Кароем Шрофом и унес их. Они исчезли в облаке пыли. Я смотрел им вслед, удивляясь тому, что случилось, но все же не усматривал в происшедшем ничего противоречащего моим реалистическим устремлениям.

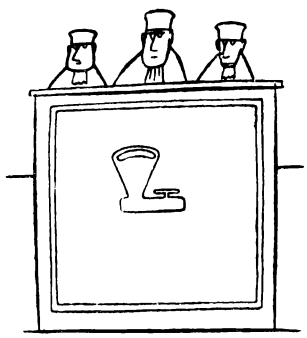
Перевод с венгерского Е. БОЧАРНИКОВОЙ

Может быть использован и как убежище в случае атомной радиации.

Рис. Ж. БЕЛЛЮ (Франция)

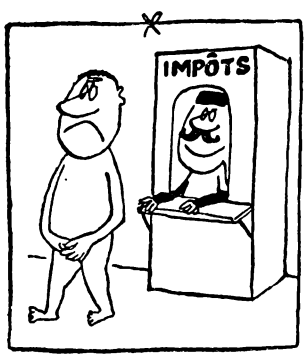
Рис. Б. КАНОВА (Италия)





Правосудие

Рис. ШАВАЛЯ (Франция)



Кто платит налоги, тот благоденствует — гласит пословица

Рис. СИНЕ (Франция)

СЛАВОМИР МРОЖЕК

ПОЛЬША

ПОСЛЕДНИЙ ГУСАР

Люциуш был окутан мраком неизвестности и значительности. Разные люди, друзья и знакомые, знали об этом — одни больше, другие меньше, но все знали только немногие. Все знала только жена Люциуша, мама Люциуша и бабка Люциуша. Остальные родственники Люциуша, и даже его дети, были обречены на домыслы.

Жена Люциуша каждодневно, когда дети уже шли спать, а Люциуш сидел у лампы — в домашних туфлях, с газетой в руке,— приближалась к нему, клала голову ему на колени и, долго-долго глядя в глаза, шептала:

— Ради бога, Люциуш, береги себя...

Люциуш не любил бульон из телячьих костей и правительство.

Люциуш был герой.

Случалось, что, придя домой возбужденный, он не произносил ни слова, но домашние знали, что, если бы он хотел и мог, он рассказал бы многое.

Вечером жена спрашивает его робко, с нескрываемым удивлением:

— Опять?..

Люциуш кивает головой и потягивается. Вся его фигура выражает мужественность и силу.

— Где?..— продолжает расспрашивать жена, пораженная собственной дерзостью.

Он встает, подходит к двери, быстрым движением открывает ее, проверяет, не подслушивает ли их кто-нибудь. Он проверяет также шторы на окнах. Отвечает приглушенным голосом:

— Там, где обычно...

— Ты...— говорит жена.

Этим словом сказано очень много.

Среди близких знакомых Люциуша, как мы уже говорили, ходят упорные слухи: «Люциуш должен знать... Люциушу что-нибудь угрожает?.. Ах, этот Люциуш... Люциуш им даст, будьте уверены...»

Мама Люциуша беспокоится о нем, но она им гордится, не называет его иначе, как «мой сын». Бабка же Люциуша, непреклонная матрона, живущая отдельно, не беспокоится, а только гордится. Она говорит своей дочери, матери Люциуша:

— В наше время надо рисковать. Делу нужны бесстрашные люди. Если бы Евстахий был жив, он делал бы то же, что и Люциуш.

В беседах с правнуками она делает намеки:

— Будьте довольны, что у вас такой отец,— и показывает им картинки, на которых изображены рыцари с султанами, скачущие по равнине.— Ваш отец тоже мог бы так. Он не сломился...

А в это время Люциуш входит в общественную уборную. Старательно запирается в кабине. Через некоторое время с тигриным блеском в глазах он еще раз оглядывается — нет ли кого? — молниеносно вынимает из кармана мел и пишет на стене: «Долой большевиков!»

Потом выходит из сортира, вскакивает в первую попавшуюся пролетку или такси и, петляя улицами и переулками, возвращается домой.

Вечером жена робко спрашивает его:

— Опять?..

Люциуш действует уже давно, и, хотя жизнь постоянно терзает его нервы и обрекает на бессонницу, он не смиряется.

Люциуш осторожен, он изменяет почерк. Время от времени одалживает авторучку у своего начальника. «Если установят, кому принадлежит ручка, которой это написано... Ха-ха...» — И он злорадно усмехается, мысленно представляя, какое блед-

ное лицо будет у начальника конторы и как будут обмануты его, Люциуша, преследователи.

Бывают моменты, когда у Люциуша кровь стынет в жилах. Кажется, нет выхода. Например, однажды, когда он писал на стене: «Католики не сдадутся», кто-то вдруг затарабанил в дверь. У Люциуша сердце замерло. Он был уверен, что это о н и. Он осторожно стер свежую надпись. Тарабанить не переставали. Тогда Люциуш проглотил карандаш и только после этого открыл. Вошел тучный мужчина с портфелем, лицо у него было красное («Прокурор?» — мелькнуло в голове Люциуша); он молча вытолкнул Люциуша и заперся изнутри. Люциуш долго помнил эту минуту.

Физиономии туалетных старушек тоже беспокоили его. А если это только грим?

Однажды, в один из зимних дней, когда Люциуш собрался на обычное поле битвы, он остановился и замер. Двери общественной уборной были закрыты. А поперек дверей была грубая надпись мелом, безусловно сделанная рукой злодея: Р Е М О Н Т.

Люциуш почувствовал то же, что чувствует гусар, у которого в разгаре битвы выбили из рук саблю,— он смотрел по сторонам и не находил своего оружия.

Однако он решил бороться дальше. Пошел на железнодорожную станцию. В это время с перрона выходила группа солдат и многие из них направились туда, куда и Люциуш. У Люциуша возникло подозрение. Итак, о н и не только применили предательский прием Р Е М О Н Т, но и вводят чрезвычайное положение. Люциушу представилась страшная картина: все перроны и общественные уборные заняты войсками. Нет, Люциуш достаточно хитер, Люциуш на этом собаку съел. Так просто Люциуша не возьмешь.

Он не сомневался, что о н и заняли все оставшиеся объекты в городе; а значит, они уже в гостинице «Полония» и в домовой лавке «Гастронома № 1». Но он решил, что последнее слово будет принадлежать ему. Люциуш сел в поезд. Сохраняя осторожность, он вышел на следующей станции. Неподалеку виднелась небольшая убогая деревенька. Добравшись до первого дома, он спросил, где уборная.

— Чево? — удивились там.— Мы, пан, в лес ходим...

В лесу было уже темно. «Тем лучше»,— подумал Люциуш. Он вошел в самую гущу кустов и написал палочкой на снегу: «Генерал Франко вам покажет».

Возвратившись домой, он долго стоял в этот вечер перед зеркалом, проверяя, насколько пошли бы к его плечам орлиные крылья.

Перевод с польского М. ПАВЛОВОЙ и В. БУРИЧА

Рис. Ш. КОБЫЛИНСКОГО (Польша)

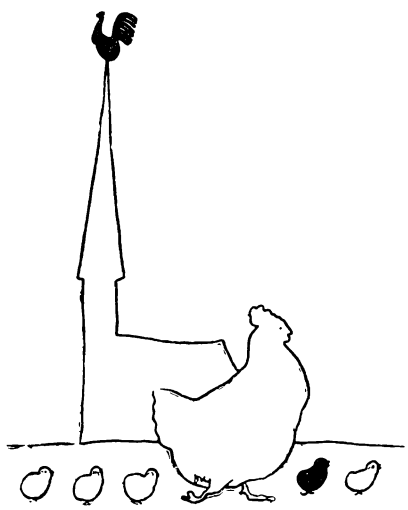


Рис. А. ФРАНСУА (Франция)

ДЖОРДЖ МАЙКС

АНГЛИЯ

КАК ПЛАНИРОВАТЬ ГОРОД

Англия не имеет ничего общего с тем, что называется «растленной демократией»; Англия — страна спартанская. Этим она почти целиком обязана английской манере строить города, начисто отучившей англичан от всякого комфорта, которым наслаждаются прочие, изнеженные и хрупкие, народы мира.

Средневековые воины расхаживали в тяжелых железных доспехах не только ради самозащиты, но и для того, чтобы поддерживать в себе воинственный дух; монахи в те же средние века умерщвляли плоть власяницами, индийские йоги, чтобы всегда быть в хорошей форме, спят на подстилках, утыканных гвоздями. Англичане же умеют так планировать свои города, что они с успехом заменяют им и железные латы, и власяницы, и острые гвозди.

На континенте, например, врачи, адвокаты, книгопродавцы и т. д. рассеяны по всему городу, и вы без труда можете найти хорошего или, по крайней мере, дорого берущего врача в любом районе. В Англии же положено считать, что специалиста делает адрес. Все лондонские врачи теснятся на Харли-стрит, стряпчие — на Линкольн-Инн-филдс, букинисты — на Чэринг-Кросс-роуд, редакции газет — на Флит-стрит, портные — на Сэвил-роуд, продажа автомобилей — на Грейт-Портланд-стрит, театры — возле Пиккадилли-серкус, кино — на Лестер-сквер и т. д. Если вам представится случай заново перепланировать Лондон, вы можете эту идею развить и усовершенствовать. Поместите всех зеленщиков, скажем, на Хорнси-лейн, мясников — на Майл-энд, а все мужские уборные — в Бламсбери.

А теперь я хочу дать вам несколько практических советов насчет того, как построить настоящий английский город. Прежде всего вы должны усвоить, что английский город — это обширный заговор против приезжих чужеземцев, которых во что бы то ни стало надо сбить с пути. Для этой цели рекомендуется использовать старые, испытанные приемы и трюки.

1. Самое главное — никогда не делайте прямых улиц. Англичане любят укромные уголки и не желают, чтобы улица просматривалась из конца в конец. Стройте улицы с неожиданными изгибами, желательно в форме буквы S; впрочем, буквы Г, Т, У, V, W и О как модель для улиц тоже приобретают все большую популярность. Отдавая должное грекам, хорошо бы сделать несколько улиц в форме Ф и Θ, а в знак расположения к русским использовать букву Я; не сомневаюсь, что китайцы выразили бы живейшую радость при виде городских магистралей в форме 卐.

2. Никогда не выстраивайте дома в прямую линию. Англичане всегда отличались свободолюбием, а «свобода создавать путаницу» — одно из их древнейших гражданских прав.

3. Богатые возможности для камуфляжа таятся в способе нумерации домов. Примитивные континентальные расы ставят четные номера на одной стороне улицы, а нечетные на другой, причем вы точно знаете, что номера начинаются с севера или с запада. Эта система известна и в Англии, но тут вы вольны начать нумерацию домов с одного конца улицы, дойти до какого-нибудь номера на той же стороне, потом перейти на другую сторону и продолжать нумерацию уже в обратном направлении.

Некоторые номера можно вообще пропускать, если вы суеверны; можно продолжать нумерацию, свернув в какой-нибудь переулок. Хорошо также дать один и тот же номер двум-трем домам.

Но это еще далеко не все. Многие домовладельцы вовсе не признают номеров — они придумывают домам названия. Очень приятно, например, очутиться на улице,

где стоит триста пятьдесят совершенно одинаковых домиков типа бунгало, и разыскивать среди них «Бунгало». Или приехать на такую улицу, где из всех домов виден живописный холм, и пытаться найти «Вид на холм». Либо искать «Семь дубов», которые в конце концов окажутся домом с тремя яблонями.

4. Там, где улица делает изгиб, тотчас же давайте ей другое название; но, если изгиб настолько крутой, что фактически получается две улицы, очень полезно для дела оставить прежнее название. С другой стороны, если улица по недосмотру выстроена прямой, она должна носить много разных названий (Хай-Холборн, Нью-Оксфорд-стрит, Оксфорд-стрит, Бэйсуотер-роуд, Ноттинг-хилл-гейт, Холланд-парк и т. д.).

5. Поскольку среди иностранцев есть такие хитрюги, которые даже в этих условиях способны разыскать нужный адрес, то необходимо принять дальнейшие мэры предосторожности. Вместо слова «улица» подставьте любое другое слово, как-то: дорога, площадь, конюшни, ряд, полукруг, подъем, проезд, проход, роща, парк, сады, аллея, арка, тропа, луг, шоссе, гульбище, ворота, терраса, долина, кругозор, холм и т. д. и т. п.

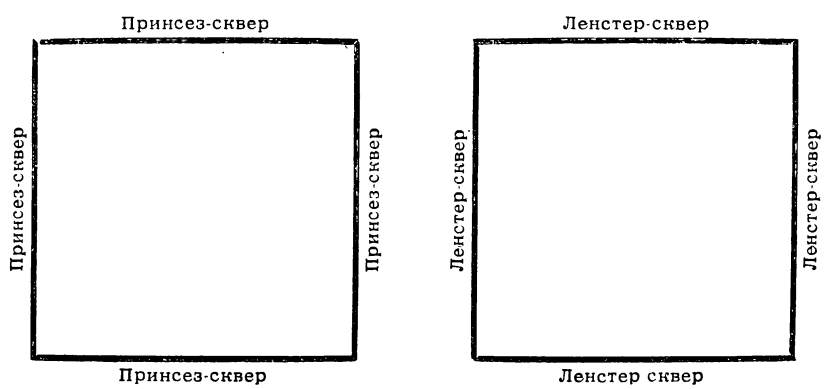
Это даст вам еще две возможности:

а) Соберите все улицы и площади со сходными названиями в одно место, чтобы они примыкали друг к другу. Например: Белсайз-парк, Белсайз-улица, Белсайз-дорога, Белсайз-сады, Белсайз-луг, Белсайз-круг, Белсайз-подворье, Белсайз-виадук и т. д.

б) Разместите побольше улиц с абсолютно одинаковыми названиями в разных районах. Если у вас в городе будет около двадцати Принсез-скверов и Уорвик-авеню, можете без ложной скромности считать, что неразбериха получилась отличная.

6. Названия улиц следует ясно и разборчиво вывести краской на крупных дощечках. Затем эти дощечки надо тщательно укрыть от посторонних глаз. Прибейте их слишком высоко или слишком низко, в тени, в темных углах, вверх ногами, обратной стороной наружу, а еще лучше — заприте их в сейф вашего банка, иначе они, чего доброго, как-нибудь помогут прохожим распознать название улицы.

7. Чтобы сломить последние остатки сопротивления чужеземцев и вконец расшатать их нервную систему, очень рекомендуется применить такой маневр: постройте систему квадратных площадей, чтобы к ним, как показано ниже, с четырех сторон примыкали четыре улицы:



Таким простым и остроумным способом вам удастся построить улицу, у которой каждая из двух сторон будет называться по-разному.

P.S. Мне сказали, будто моя теория неразберихи совершенно неправильна и будто она — результат моего центральноевропейского самомнения, ибо англичанам в высокой степени безразличнo, что думают о них всякие там иностранцы. Во всех прочих странах — так мне объяснили — люди просто берут да строят улицы и города, руководствуясь собственным здравым смыслом. Англия же — единственная страна, где есть министерство планировки городов и деревень. Вот это и есть настоящая причина неразберихи.

Перевод с английского Н. ТРЕНЕВОЙ

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

Государственные служащие в Англии и на континенте отличаются друг от друга как небо от земли.

На континенте (скандинавские страны здесь не рассматриваются) государственные служащие напускают на себя вид заправских военных. Они считают себя маленькими генералами и придерживаются тактики проволочек: невозможно отложить наступление армии, поэтому они откладывают решение вашего вопроса. Они низвергают на вас громы, оглушая, словно пушка, и выпускают слова со скоростью пулемета. Им не дано терять свои армии, вместо этого они теряют документы. Они убеждены, что человеческое общество только для того и создано, чтобы оправдать существование государственных служащих. Правда, некоторые безнравственные личности (презренная горстка людей, не являющихся государственными служащими) строят против них козни, лезут к ним со своими прошениями, жалобами, вопросами и т. д. с единственной целью нарушить общественный порядок. Этих людей принимают так, как они того заслуживают. Они подолгу просиживают в холодных и грязных приемных (некоторые из них время от времени пытаются прибрать эти комнаты, но штатный персонал неукоснительно выполняет свои обязанности и каждое утро снова разводит там грязь). Во время приема этим людям полагается стоять, пока на них кричат, а затем, с тайным удовольствием, отказывают. Иногда с ними затевают известную игру в кошки-мышки: их посылают в другой отдел на пятый этаж, оттуда направляют в третий отдел в полуподвал, где они узнают, что им совершенно незачем было приходить сюда, и снова отсылают в первый отдел. Но там им опять с раздражением втолковывают, что они не туда обратились, и вновь посылают на пятый этаж, откуда направляют в полуподвал, и вся процедура, начавшись сначала, продолжается до бесконечности, пока бедняге все не опротивеет и он в отчаянии не махнет рукой,— в противном же случае он превратится в маньяка с навязчивой идеей и сам попросится в сумасшедший дом. Если же он возобновит свое ходатайство, то в канцелярии ему снова скажут, что он не туда обратился, что ему следует пройти в другой отдел на пятом этаже, из которого его пошлют в полуподвал и т. д., пока ему не надоест быть сумасшедшим.

(Если вам не терпится поймать меня на слове и спросить, чьими стараниями полны сумасшедшие дома на континенте, я отвечу — усердием государственных служащих: они изучили все ходы и выходы и всегда добиваются своего.)

Если же вышеупомянутый континентальный служащий думает, что столь воинственные замашки нравятся британской публике, он глубоко заблуждается. Государственный служащий в Англии считает себя не солдатом, а процветающим дельцом. Он вежлив и учтив, он улыбается, он любезен и обязателен.

Если все это так, спросите вы, то как он ухитряется достичь той благородной цели, какую ставит перед собой большое и прекрасное учреждение, где он работает, а именно: как он ухитряется не давать хода ни одному делу и высвободить себе досуг, чтобы без помех читать занимательный детективный роман?

Для достижения этой цели существуют различные, многовековые, истинно британские традиции:

1. Все приказы и распоряжения, подлежащие оглашению, составляются с таким расчетом, чтобы никто ничего не понял.

2. Все официальные письма пишутся таким языком, что предсказания дельфийских оракулов по сравнению с ними кажутся образцом четких, ясных, недвусмысленных формулировок.

3. Государственные служащие никогда не принимают решения, они лишь обещают

«рассмотреть» вашу просьбу, «рассмотреть благожелательно» или — что является вершиной их решимости — «пересмотреть вопрос».

4. Теоретически английский государственный служащий всецело находится в вашем распоряжении. На практике же он — либо на совещании, либо пошел обедать, либо находится на месте, но пьет чай, либо, наконец, только что вышел. Некоторые добиваются завидного мастерства в искусстве быть неуловимыми и отправляются пить чай до того, как возвратятся с обеда.

Английский государственный служащий, в отличие от грубых крикунов, которых мы частенько встречаем на континенте, является слугой общества.

Скажем, перед войной иностранец, проживавший в Англии, получал предписание покинуть пределы страны. Он просил продлить срок пребывания, но ему отказывали. Если, несмотря на это, он все же оставался, то через некоторое время получал письмо следующего содержания (цитирую его по памяти):

«Глубокоуважаемый сэр!

Заместитель министра иностранных дел шлет Вам свои наилучшие пожелания, сожалеет, что не имеет возможности пересмотреть Ваше дело, и нижайше уведомляет Вас, что, в случае если Вы не дадите Вашего любезного согласия выехать за пределы этой страны в течение двадцати четырех часов. Вы подвергнетесь выселению в принудительном порядке.

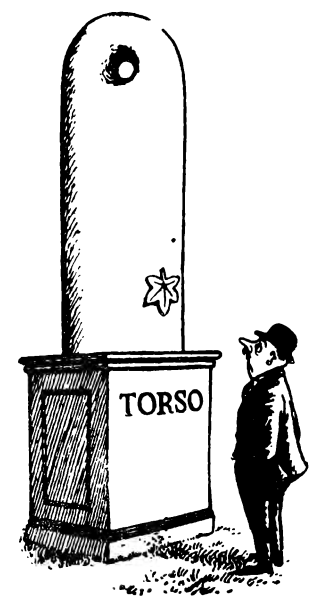
Ваш покорный слуга»

■ ■ ■

На континенте богатые и влиятельные люди или те, у кого есть богатые и влиятельные друзья, кузены, родственники, жены, жильцы, сослуживцы и т. д., могут рассчитывать на удовлетворение своих просьб. В Англии не существует такого разложения, и ваш верный слуга палец о палец для вас не ударит, кем бы вы там ни были. В этом и заключается вся прелесть нашей демократии.

Перевод с английского И. ГРАЧЕВА

Скульптура «Торс»
Рис. ТЕЛУЭЛЛА (Англия)



Птицы одного полета
Рис. Н. БЕНТЛИ (Англия)

ЖАК ПРЕВЕР

ФРАНЦИЯ

ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ

Все меньше и меньше остается лесов:
Их истребляют,
Их убивают,
Их сортируют
И в дело пускают,
Их превращают
В бумажную массу,
Из которой получаются миллиарды газетных листов,
Настойчиво обращающих внимание публики
На крайнюю опасность истребленья лесов.

НЕДОВОЛЬНЫЙ ДРОМАДЕР

ил на свете один молодой дромадер, который однажды был очень расстроен и всем недоволен.

Накануне сказал он друзьям: «Завтра родители берут меня вместе с собой на лекцию. Вот я какой!»

И друзья на это сказали: «Ах! Ах! Он будет на лекции... Это чудесно!» И целую ночь от волненья он глаз не смыкал, а потом был очень расстроен и всем недоволен, потому что лекция — это не то, что он ожидал: там никто не пел и никто не играл, и молодой дромадер там очень скучал, и ему хотелось заплакать.

Какой-то толстый мосье говорил-говорил, целый час говорил и еще полчаса говорил, и перед ним был графин и стакан, в который зубы кладут, и время от времени толстый мосье брал графин и воду в стакан наливал, он явно был раздражен и говорил совсем не о том, то есть он говорил о верблюдах и дромадерах.

Молодой дромадер от жары изнывал, и горб ему очень мешал, он о спинку кресла почесывал горб и сидел неудобно и все время ерзал на месте.

«Сиди спокойно,— сказала мать,— этому господину не надо мешать»,— и она ущипнула сына за горб, и дромадеру еще больше захотелось заплакать и поскорее удрать.

Лектор каждые пять минут повторял: «Главное, не надо путать дромадера с верблюдом. Я особенно обращаю ваше внимание, медам и месье, на следующий факт: у дромадера один горб, у верблюда их два, и это явление распространено повсеместно».

Все сидевшие в зале взволнованно восклицали: «Как интересно! Ах, как интересно!» И дромадеры, верблюды, мужчины, женщины, дети делали записи в своих блокнотах.

А лектор не унимался и продолжал говорить: «Главное, что позволяет нам отличить верблюда от дромадера, это то, что у дромадера один горб, в то время как у верблюда их два. Удивительный факт, о котором помнить надо всегда».

И тут дромадер не выдержал, с места вскочил, на эстраду залез и лектора укусил.

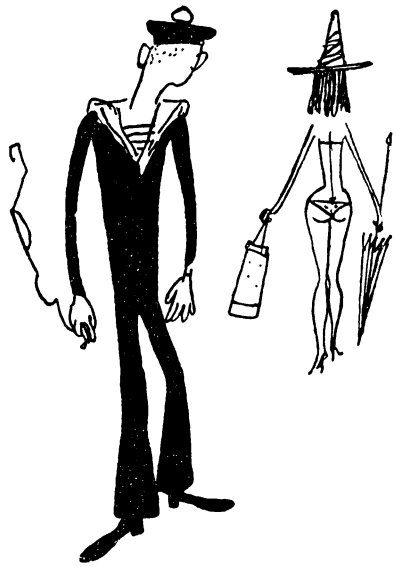
«Дармоед»,— сказал негодующе лектор.

И все, сидевшие в зале, ногами затопали и закричали: «Дармоед! Дармоед! Грязнуля! Ату»!

Они ошибались: это был дромадер, и он очень любил чистоту.

Перевод с французского М. КУДИНОВА

Рис. Ж. ШЕРМО (Франция)



Взгляд всегда устремлен к дальним горизонтам

Годен

Они ждут вождя

Наследники Вольтера

ПЬЕР ДАНИНОС

ФРАНЦИЯ

СЛОВАРЬ

льтернатива — Незаменима для передовых статей, где вообще встречается лишь «одно из двух». Третье — это как раз то, что бывает, но чего не предвидят передовицы.

Доверие — Как правило, «полное», «абсолютное», «непоколебимое». Время от времени теряется и нуждается в восстановлении. Наилучший для него вариант — «слепое». Отметим, что в политике, как, впрочем, и во всем остальном, говорят «господствует полное доверие» лишь в тех случаях, когда оно и не думает господствовать.

Доверчивость — Обычно злоупотребляют только вашей. Никогда вы не услышите, чтобы кто-нибудь сказал: «Я злоупотребил его доверчивостью».

Золотое сердце — У хозяина предприятия сплошь и рядом скрыто под суровой внешностью.

Капитан — Всегда «твердо держит руль».

Левый, левая, левое — Хотя это слово обозначает одну из половин человеческого тела и именно ту, где расположено сердце, оно никогда не пользовалось привилегиями «правого, -ой» и обычно звучит как порицание. Еще издревле этому понятию была уготована злосчастная судьба. По евангелию, праведники пойдут направо, а грешники — налево. Владельцы крупных предприятий имеют подчас более двух рук, но всегда эти руки «правые». В обыденной жизни ребенка с детских лет учат следовать «правому пути», и, если он попытается поздороваться левой рукой, воспоследует пощечина. Охотно говорят: «Встать с левой ноги», «Писать левой ногой» и т. д. Заметим, что в политической жизни никто не говорил о себе: «Я правый».

Личность — Сравнительно редко упоминается без эпитета «грязная», «гнусная», «подозрительная», «не внушающая доверия», «бессовестная». В вопросительной форме всегда звучит уничижительно: «Это еще что за личность?» В учебниках географии в разделе «Соединенные Штаты» никто не пишет, что там насчитывается 186 миллионов личностей, а 186 миллионов «душ», «жителей», «граждан».

Наследственность — Всегда тяжелая или дурная.

Полумеры — «Время полумер прошло» (впрочем, когда оно было, нам неизвестно).

Предзнаменования — Всегда зловещие. О благоприятных упоминается реже.

Прорыв — В газетах военного времени быстро ликвидируется. Однако, если написано, что командование «готовится ликвидировать прорыв в районе...» — советуем складывать чемоданы.

Соглашение — Для подписавших его сторон никогда ничем не грозит, даже напротив.

Спокойствие — Обычно проявляется только олимпийское.

Страус — Единственное животное, официально признанное способным вести политику.

Уик-энд — Если парламент ее величества жертвует своим священным правом отдыха — уик-эндом, это обычно означает усиление международного напряжения плюс маневры отдельных судов британского флота.

Утверждения — Обычно ложные. Франция их никогда не делает. Делают их только враги Франции.

Франция — Обычно великая, пусть несколько ослабленная, но сильная своей правотой, верная взятым на себя обязательствам, никогда ничего не просит, а тем более не выпрашивает. Никогда не нападает первой, а лишь защищается, когда ее к этому вынуждают, и не только ради себя самой, но во имя свободы всего человечества.

ОБЫЧНО ПУТАЮТ

Арктику с Антарктикой.
Галилея с Коперником.
Талейрана с Меттернихом.
Сталактиты со сталагмитами.
Буэнос-Айрес с Рио-де-Жанейро.
Дромадеров с верблюдами.
Нинон де Ланкло с Шодерло де Лакло.
Гаити с Таити.
Инков с майя.
Канову с Каноссой.
Мориака с Моруа.
Нерона с Калигулой.
Леконт де Лиля с Руже де Лилем.
Оксфорд с Кембриджем.
Рубенса с Рембрандтом.

ЕСЛИ ВАМ СКАЖУТ, ЧТО... ТО НЕ ВЕРЬТЕ

«Пусть говорят обо мне все, что угодно, меня это ничуть не задевает».

«Вовсе не из-за этих пятидесяти тысяч франков, которые он у меня просил, я, как вы сами понимаете, сказал ему «нет». Я бы с превеликой охотой дал ему деньги. А отказал из принципа».

«Голову даю на отсечение!»

«Простите, что я вас побеспокоил: я только на минуточку».

«Я же написал вам длиннющее письмо примерно недели две тому назад, помню, сам опустил в почтовый ящик. Не получили? Странно...»

«Твердо решив пресекать любые злоупотребления, в чем бы они ни выражались, откуда бы ни исходили, правительство без колебаний покарает виновных, невзирая на их положение и имущественный ценз».

«Сейчас тесновато, но поносите — как раз будет».

«Сейчас немножко широковато, но после стирки сядет».

«Мы прочли вашу рукопись с живейшим интересом. Достоинства ее неоспоримы. К сожалению, слишком узкие рамки нашего журнала, перегруженного сверх меры, не позволяют нам (и т. д. и т. п.)».

«Я просто в отчаянии, что приходится уходить от вас так рано, но мне завтра вставать чуть свет».

«Я охотно еще раз пороюсь на полках, но уверен, что давно вернул вам вашу книгу».

«У вашей пьесы, мой милый, лишь один недостаток: слишком уж это тонко... словом, выше понимания публики!»

«Я буду хлопотать о вашем деле, как о своем собственном».

«Ставшая легендарной добросовестность нашей фирмы не может даже в малой мере пострадать от недостойного поведения одной паршивой овцы».

«Что будет, если его не станет? Но, дорогой мой, это же просто конец Франции. Именно так!»

«Поверьте, я говорю вам это только ради вашего же блага... Лично мне плевать...»

«Если вы просили бы у меня месяц назад... да нет, что я, неделю тому назад... Но теперь, говоря откровенно, у меня нет свободных денег».

«Я готов вернуть мандат моим избирателям в тот день, когда...»

«Если они воображают, что им удастся меня запугать, то они жестоко ошибаются. Я еще не такое видел!»

«Никогда, слышите? Никогда... И хорошенько запомните, что я вам говорю: никогда, никогда, никогда».

«Уверяю вас, мне нелегко было взять причитающуюся мне долю наследства. Но... ничего не поделаешь... такова жизнь!»

«Покойный, который не имел врагов, а лишь искренних друзей и т. д. и т. п.».

«Я охотно пригласил бы вас к обеду, но мы, видите ли, еще не устроились».

«Когда проезжал катафалк с останками великого государственного деятеля, прохожие не могли сдержать слез».

«У нее хорошенькое личико, кто же спорит. Но ноги, милая, ноги! Просто жалость берет!»

«Странно, я же голосовал за вас! Ей-богу, не знаю, как это могло произойти».

«Ничего бы этого не было, если бы они меня послушали: я их сотни раз предупреждал...»

«Поймите, такая книга, как моя, это же настоящий динамит! Она скомпрометировала бы слишком многих... Понятно, никто не хочет ее издавать...»

«Ваши ценные бумаги, дорогой друг? Да не беспокойтесь вы, я позабочусь о вашей выгоде, как о своей собственной».

«Когда я говорю о невероятной людской наивности, я говорю о людях вообще... понятно, не лично о вас!»

«Я никому не позволю учить меня патриотизму (гражданским добродетелям, честности, вежливости)».

«Если я неправ, я первый признаю свою ошибку».

«Я ничего не выдумываю».

«Интуиция меня никогда не обманывает».

«Труден только первый шаг!»

«Я обращаюсь с вами не как с клиентом, а как с другом».

«Ваши условия — наши условия».

«Мне бы ужасно хотелось ему чем-нибудь помочь, но в данный момент, при всем моем желании... и т. д.»

«Пересчитайте, мосье, пересчитайте, если вам угодно: я вполне могу недодать, как и вполне могу передать лишнее...»

«Какое счастье, что мы встретились с вами на курорте... Когда мы вернемся, я непременно позвоню вам...»

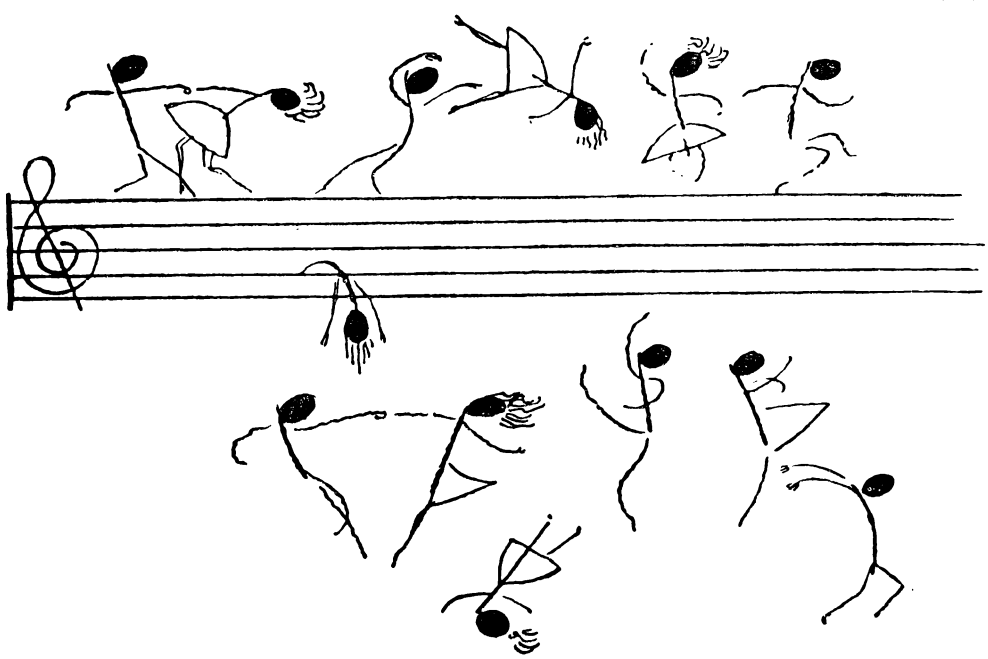
«Впрочем, запомни, я не собираюсь лишать тебя свободы, я не из тех женщин (мужчин), которые цепляются...»

«Верьте мне...»

Перевод с французского Н. ЖАРКОВОЙ

Рок-н-ролл

Рис. И. СЮР-САБО (Венгрия)



АБЕЛЬ ЖАКЕН

ФРАНЦИЯ

ПОПУГАЙ

Басня

рессировщик без денег сидел
И решил он продать попугая.
Знал одну только фразу его попугай
И, глазами моргая,
Все твердил, потешая праздную публику:
«Да здравствует республика!
Да здравствует республика!»

Этот крик услыхав, покупатель сказал с сожаленьем:
«Не подходит мне ваш попугай по своим убежденьям».

Дрессировщик руками развел:
«О мосье, я весьма поражен!
Произносит слова попугай,
Но при этом не думает он.
Стоит только немного вам с ним повозиться —
И другое услышите вы:
Попугай — послушная птица.
Будет он говорить вам:
«Да здравствует то!» и «Да здравствует это!»
Захотите — начнет прославлять
монархический образ правленья...
Обучить попугая нетрудно,
Особого нет тут секрета:
Попугаи легко поддаются ученью».

Уговорил покупателя,
Басне конец.
— Ну и что в ней такого?

Ничего.
О знакомых моих — в этой басне ни слова.

ДРУЖБА

Он был мне почти безразличен
И просто от нечего делать
Ко мне заходил иногда
Поболтать или молча бутылку распить.

Потом он остался без места,
Свободного времени — сколько угодно,
И чуть ли не ежедневно
Он стал ко мне заходить,

И деньги стал у меня занимать,
Сперва понемногу,
Потом помногу,
Говоря, что рассчитывает на мою подмогу,
Пока не устроится снова на службу.

До сих пор не устроился,
Денег не может отдать,
И теперь я питаю к нему
Чувство самой искренней дружбы.

Из французского фольклора

ТРИ УЛИТКИ

Однажды вышел я на луг
И встретил трех улиток вдруг —
Идите все, смотрите!
Хотели луг они вспахать...
Нет, лучше не ходите.

Своей дорогой я побрел
И вижу вдруг: стоит осел —
Идите все, смотрите!
Стоит с поклажей на спине...
Нет, лучше не ходите.

Решил с дороги я свернуть,
Мне церковь преградила путь —
Идите все, смотрите!
Но в церкви не было попа...
Нет, лучше не ходите.

Вошел я в храм, протер глаза,
А в храме старая коза —
Идите все, смотрите!
«Помилуй, господи»,— поет...
Нет, лучше не ходите.

Коза в молитвах знала толк,
Но ждал ее за дверью волк —
Идите все, смотрите!
Он ждал на исповедь ее...
Нет, лучше не ходите.

Перевод с французского М. КУДИНОВА

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС

ГРЕЦИЯ

К ЗВЕЗДАМ

Учитель Дионисакис выпил утренний кофе и прочитал газету. Эта славная привычка вошла в его жизнь давно и прочно; каждое утро он подносит к губам чашечку душистого напитка и углубляется в чтение узких газетных колонок. В последнее время он готов проглотить все, что пишут о новой науке — астронавтике. До того как объявилась эта наука, Дионисакис читал только передовицу. По правде сказать, не читал, а просматривал, проверял ее с точки зрения орфографии. Как много ошибок допускают газеты! Учитель с радостью выуживал их из текста, помечал на полях красным карандашом, а потом с умным видом показывал другим учителям и ученикам. Теперь это занятие утратило для него интерес. Все вытеснила астронавтика. Ошеломляющие перспективы этой науки всецело захватили его, и, хотя последние научные данные еще не позволяли ему вообразить себя на Луне или на какой-нибудь другой планете, смириться со своим земным существованием Дионисакис больше не мог.

Итак, он выпил свой утренний кофе и прочитал газету. И уже спустился на несколько ступенек по лестнице, как вдруг из глубины комнат до него донесся голос жены:

— Дионисакис! Ты взял зонтик?

Дионисакис заупрямился и хотел было промолчать, потому что с дьяволом, особенно по утрам, тягаться, как известно, бесполезно. Он торопливо сбежал по лестнице, но жена, нечесаная, с бигудями и тряпочками на своенравной, строптивой голове, перехватила его, высунувшись в окно:

— Я спрашиваю, взял ли ты зонтик?

— Но я же сказал, Ангелики, дождя сегодня не будет...

— А я сказала, чтобы ты взял зонтик. Какая мне радость, если ты простудишься, да еще и меня заразишь... Ну хватит, а не то услышат соседи, а это не в твоих интересах. Вернись и возьми зонтик, потому что, если ты не вернешься...

Солидный супружеский опыт Дионисакиса давно уже примирил его с горькой истиной: женщина хочет — сам дьявол хочет. О чем тут рассуждать? Пришлось вернуться за зонтиком.

Забота жены была очень трогательной, но Дионисакис принял зонтик из ее рук с таким чувством, будто получил крест мученика. О! Как он возненавидел за последние дни этот черный предмет с холодным железным стержнем и острыми спицами, которые будто для того и существовали, чтобы насквозь проткнуть его печень. Печень они, конечно, не проткнули бы, но могли причинить непоправимое зло: с минуты на минуту они грозили разрушить то, что он заботливо воздвигал в течение трех месяцев.

Три месяца назад в их городе установили метеорологическую станцию: барометр, какое-то приспособление, регистрирующее направление и скорость ветра, и особые метеорологические часы. Все эти приборы, тщательно упакованные в ящиках, с большими предосторожностями перенесли на самое высокое место в городе — на площадь Ветряных мельниц. Отведенный для станции участок обнесли колючей проволокой, а у входа повесили кусок толстого картона: «Внимание! Метеорологическая станция. Опасно для жизни!» Последняя надпись, а также изображение черепа предназначались для мальчишек, которые могли совершить налет и поломать всю аппаратуру.

Не так давно, после многолетней тяжбы с таким же провинциальным городком Г., сограждане Дионисакиса добились, чтобы мировой суд был учрежден у них, а не у соседей. Открытие метеорологической станции закрепляло эту крупную победу и знаменовало собой новый шаг на пути к прогрессу. Именно так оценили это отрадное событие все сознательные граждане. А те, что следили за успехами мировой науки и учиты-

вали, какими быстрыми темпами человек продвигается к звездам, немедленно связали эти факты между собой, отчего их энтузиазм возрос еще более. Каждый вечер на площадь Ветряных мельниц стекались толпы довольных горожан. Два предприимчивых толстосума, владельцы крупных кафе в центре города, направили сюда часть персонала и создали летние филиалы. Один из них получил название «Технический прогресс», другой — «Космическое пространство».

В министерство немедленно направили запрос на специалиста-метеоролога. Из министерства тотчас ответили, что специалиста нет. И тогда на стене муниципалитета появилось объявление, положившее начало этой истории. Объявление было адресовано ко всем гражданам, но возлагало надежды лишь на одного из них. Владея последними достижениями науки, он должен вдохнуть жизнь в аппаратуру станции, чтобы та в свою очередь открыла новую эру в истории города и еще выше подняла его престиж. Вызов приняли двое. Одним из них был учитель Дионисакис. Прочитав объявление и отметив то обстоятельство, что муниципалитет назначает метеорологу ежемесячное вознаграждение в шестьсот пятьдесят драхм, учитель Дионисакис поразмыслил и сообразил, что шестьсот пятьдесят драхм в месяц — сумма солидная, благодаря которой он смог бы с бóльшим достоинством нести тяготы семейной жизни, и, следовательно, морального права пренебречь этой суммой он, Дионисакис, не имеет. Вторым претендентом был учитель физики Коцис. Взяв за посылку те же данные и сопоставив их по законам логики с тяготами своей семейной жизни, господин Коцис — иначе и быть не могло — пришел к тому же заключению. Однако из одной кормушки двоим не кормиться: муниципалитету предстояло выбирать.

Была весна, и на площади Ветряных мельниц собиралось, особенно по вечерам, многочисленное шумное общество. Оба филиала работали с максимальной нагрузкой. Каждый вечер сюда являлись претенденты, они поднимались на площадь, как борцы на ринг. Борцов было двое, и согласно отцовским традициям на два лагеря разбились и зрители. Филиалам тоже пришлось бросить жребий. «Техническим прогрессом» завладели сторонники Коциса. Более возвышенный по натуре Дионисакис связал свою судьбу с «Космическим пространством».

Преимущество было на стороне господина Коциса. Физик по специальности, он имел больше прав на обладание приборами, чем Дионисакис, человек иного склада, не симпатизировавший ни приборам, ни цифрам. Предметом его симпатии — не просто симпатии, а поклонения — была каллиграфия. С детских лет он слыл первым орфографом и каллиграфом не только в городе, но и во всей округе. Объявив войну безграмотности, он изгонял ее отовсюду — из газет, из ученических тетрадей, а также с магазинных вывесок.

Превосходно зная этот конек своего противника, господин Коцис в первый же вечер попытался вызвать его на открытую дискуссию: «Что такое метеорология и в чем она состоит?» Желанного успеха этот маневр не принес. Все, что писала Большая энциклопедия на слово «метеорология», Дионисакис выучил назубок и по ходу беседы блеснул незаурядным знанием предмета. Однако не надо думать, что у господина Коциса не было в запасе другого средства пригвоздить к земле сутулые плечи своего соперника.

— Хотя наш дорогой Дионисакис и является, притом вполне заслуженно, высшим знатоком орфографии, следует ли из этого, что он может возглавить научный центр технического профиля, тем более в наш век — век искусственных спутников и межпланетных путешествий?

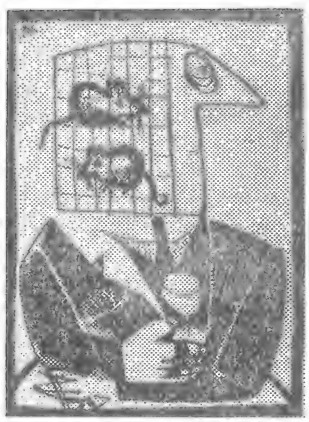
На эти ядовитые слова Коциса Дионисакис ответил:

— А разве мало примеров, когда простые учителя становились крупнейшими изобретателями? Кем был Циолковский, отец астронавтики? Простым учителем!

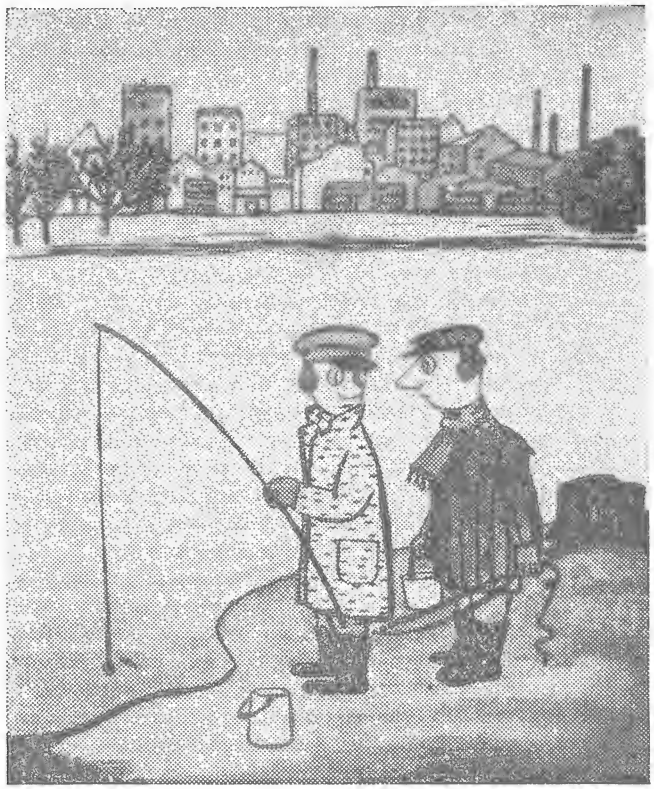
— Да, но учителем математики! — вставил учитель физики Коцис.

— Где уж нам, простым смертным, знать о таких подробностях! — не скрывая ехидства, улыбнулся Дионисакис.— Чтобы получить полные сведения о русском Циолковском, нам пришлось бы читать тайком известную газету левых, а может быть, и кое-что еще...

Дискуссия переходила в заминированную область, и учитель физики пошел на попятный.

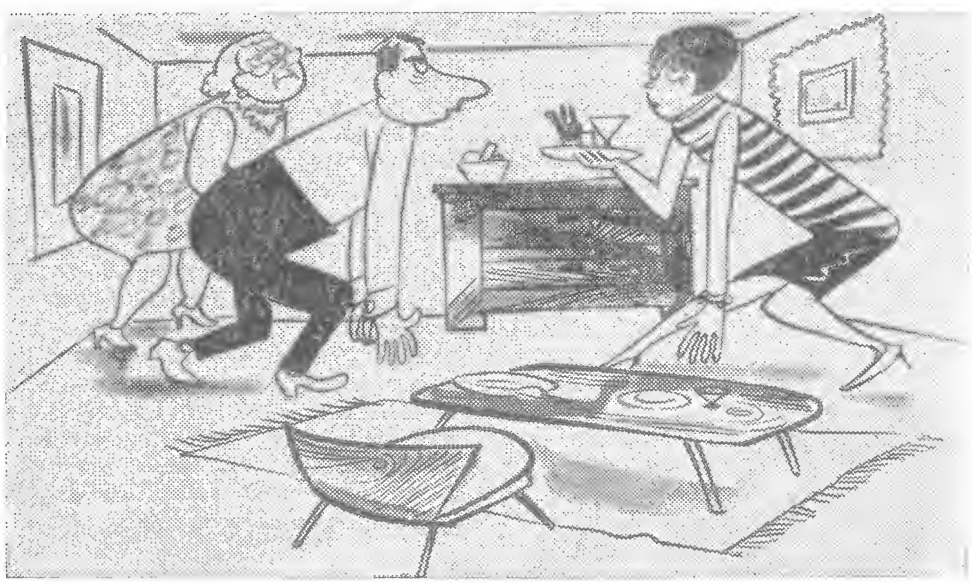


Портрет
Рис. А. БОРНА (Чехословакия)



— Ты что не на работе?
— У меня грипп.
— А со мной похуже, болею воспалением легких.
Рис. ХА-БА (Польша)

Жертвы современной архитектуры
Рис. Г. ГУТА (ФРГ)



— Предупреждаю! Разговор о русском Циолковском завели не мы. О нем заговорил коллега из «Космического пространства». Давайте примем это к сведению, ибо не исключено, что история будет иметь продолжение...

— Ну хорошо же! — сказал Дионисакис, отбрасывая в сторону этикет.— Раз так, то мы найдем на тебя управу!

Какую управу нашел Дионисакис на Коциса, пока неизвестно. Если когда-нибудь мы получим доступ к архивам муниципалитета, то тайна, возможно, и приоткроется. Одно можно сказать наверняка: в ход были пущены испытанные средства, потому что не долее чем через четыре дня указом муниципалитета Дионисакиса произвели в метеорологи.

В течение трех месяцев дела шли хорошо. Два раза в день — утром и вечером — он поднимался на площадь Ветряных мельниц, бросал взгляд на приборы, записывал их показания и отправлялся на почту, которая находилась совсем поблизости, чтобы передать эти показания в центр. А в конце каждого месяца он заходил в кассу муниципалитета, где ему отсчитывали обещанные шестьсот пятьдесят драхм, благодаря которым он нес тяготы семейной жизни с подобающим учителю достоинством. И как было бы замечательно, если бы вся жизнь протекала так же мирно и благопристойно. А ведь так оно и было бы, если б не существовало еще одно, третье, лицо, которому пора уже появиться.

Речь идет о господине Демосфене. Господин Демосфен был тесть учителя физики Коциса, старик лет восьмидесяти с лишним, раздражительный, сварливый и упрямый, бывший учитель и классный надзиратель. Теперь надзирателей уже нет, но господин Демосфен есть! И он, как истинный фанатик, все еще старается возродить строгие и суровые нравы своего времени. Он поучает и предостерегает. Особенно молоденьких девушек. Но и старых своих учеников, которые давно уже обзавелись семьями, ревматизмом и усиками, старый надзиратель не оставляет в покое. Он по-прежнему видит в них босоногих и шальных возмутителей спокойствия и, помахивая своим костлявым указательным пальцем, призывает их к порядку и сулит беспощадную кару за ослушание.

Помимо всего прочего он еще и злопамятен. Он помнит все мальчишеские проделки. И прозвища тоже. Вот, например, нынешнего мэра в детстве дразнили Дыня, потому что голова у него узкая и длинная, совсем как дыня. Когда на прошлых выборах мэр вышел на балкон и начал речь, старый надзиратель крикнул: «Долой Дыню!» — но горожане, почти все — бывшие его ученики, не прислушались к его словам и теперь расплачиваются. Дионисакиса дразнили Айва Волосатая, потому что тело его было покрыто густым слоем вьющихся волос и являло собой зрелище такое же жалкое, как волосатая айва. Это прозвище Дионисакис еще терпел, но было другое, которое приводило его в ярость. Поскольку отец Дионисакиса работал часовщиком, мальчишки дразнили его Рологас *.

Когда господин Демосфен узнал, кто отнял хлеб у его зятя, он сразу же припомнил оба прозвища и отдал предпочтение второму. Встретив Дионисакиса на улице, он снял с головы шляпу и, отвесив низкий поклон, поздравил:

— И новых вам повышений, господин метео-р о л о г а с! **

Произнося последнее слово, он искусно проглотил первую его часть, так что фраза прозвучала: «И новых вам повышений, господин Рологас!» — и в таком виде облетела весь город. Однако эта шпилька была довольно безобидной и невинной и в конце концов забылась бы, если бы за ней не последовало продолжения:

— А какую погоду вы предсказываете на завтра, господин метео-р о л о г а с?

Разумнее всего было бы ответить, что убогие приборы станции не обладают даром пророчества. Но Дионисакис этого не сказал. Хотя уже многие десятилетия отделяли его от детства, хотя сам он стал учителем, каждый раз, сталкиваясь лицом к лицу со стариком, он ловил себя на том, что испытывает чувство невольного страха. На смену учительской уверенности приходила школярская растерянность, он снова превращался в ученика. Пронизывающий требовательный взгляд старого надзирателя, воскрешенная из многолетнего забвения кличка Рологас, а также толпа любопытных,

---

* Часовщик *(греч.)*.
** Метеоролог *(греч.)*.

уже сгрудившихся вокруг,— все это привело к тому, что вместо разумного ответа Дионисакис застенчиво опустил глаза и с робкой надеждой пролепетал:

— Ясную...

На другой день погода была ясной! И несмотря на то, что господин Демосфен явился на рынок с пестрым зонтиком, небо так и сияло от яркого приветливого солнца. Оно сверкало, по-весеннему ослепительное и безмятежное, как и научный авторитет Дионисакиса, который с того дня заблестел в ореоле новой славы. Наступило лето, погода становилась все более устойчивой, а вместе с ней становился все более устойчивым и авторитет учителя. Само собой разумеется, предсказания свои он не делал наобум. Все, что писала энциклопедия в разделах: погода, ветер, дождь, град, снег, туман, давление (атмосферное), барометр и т. д., Дионисакис знал теперь не хуже правил орфографии, но самыми верными его советниками были календарь и гора Кефалонии. Вековые наблюдения удостоверяли, что если при заходе солнца гора выступает на горизонте отчетливо и ясно, то ясным будет и грядущий день. Если же гора закрыта туманом, жди дождя. Каждый вечер с высоты своей метеостанции Дионисакис изучал вид на гору, а затем сверялся с календарем. Если гора и календарь находились в согласии, то прогноз был ясный, четкий и безыскусный, как поэзия прошлого века. Если же мнения расходились, то на помощь метеорологу приходила учительская мудрость и оракул становился туманным и заумным, как современный стих:

— Возможна облачность неопределенной плотности, передвигающаяся с запада на восток или наоборот, которая может привести к дождю, если ветер, вероятность которого не следует исключать, не отгонит ее в сторону моря.

И в самом деле — на следующий день погода была примерно такой, какой предсказал ее Дионисакис. Потом он предсказывал хорошую погоду, и она наступала.

— Гх-гх! — покашливал господин Демосфен.— Правда не за тобой, а за... летом. Наберемся терпения и подождем осени...

Мы знаем, как переменчива осень, совсем как лидеры центристских партий. Первая неудача постигла Дионисакиса в домашнем кругу и гласности не обрела. Накануне никто не справился у него о погоде на завтра. Только своей теще, которая ранним утром отправилась за город, Дионисакис пообещал хорошую погоду, однако в пути старушку застал проливной дождь, и первое, что сказала она, когда пришла в себя после страшного жара, было следующее: пусть себе календарь обещает все что угодно, но, поскольку наступила осень, никто из членов семьи не смеет выходить из дому без зонтика.

В то утро, когда Дионисакис получил из рук жены зонтик, занимался один из первых осенних дней. Небо заволакивали тучи, пахло дождем. И, возвращаясь за зонтиком, Дионисакис не испытывал бы такой досады, если бы вечером минувшего дня не встретил в центральной аптеке господина Демосфена и на его вопрос: «Что вы предсказываете на завтра, господин метео-р о л о г а с?» — не ответил бы:

— Погода будет ясной.

— Уверены ли вы в этом? Может быть, вас вводит в заблуждение пресловутый оптимизм молодости? Имейте в виду, лето уже прошло!

— Наука не меняется в зависимости от времен года и не страдает от старости!

Здорово он сказал. Не только здорово, но и обоснованно, потому что очертания горы Кефалонии были отчетливыми, а календарь на всю вторую неделю сентября предвещал: «Погода ясная и теплая. Правительственный кризис в Италии. Большой дипломатический успех греческого премьера». Так что ответил он правильно, а последняя фраза прозвучала настолько внушительно, что старик не нашел, что ответить, и покинул аптеку, даже не пожелав собравшимся спокойной ночи.

Но какое счастливое утро ожидало его впереди. Еще с вечера восьмидесятилетние суставы учуяли то, чего не могли уловить метеорологические приборы,— надвигающийся дождь. Ночью болезненные симптомы стали явственнее. Никогда еще рев-

матическая боль не вызывала столь бурной радости! На рассвете старик высунул руку за окошко и поймал одну из первых капель. Эта робкая капелька прогремела в его ушах, как звонкая ликующая пощечина, которой старый надзиратель награждал отвисшие щеки Рологаса.

— Гоп! — воскликнул старик и, подхватив зонтик, потрусил в сторону Ветряных мельниц, веселый и проворный, как воробушек.

Дождь усилился, когда, выходя из метеорологической станции, Дионисакис натолкнулся на господина Демосфена. Господин Демосфен стоял под зонтиком и смеялся, как смеются в подобной ситуации сказочные силы зла.

— Так как же, господин Рологас, какую погоду обещает безупречная наука?

Старик был не один. За его зонтиком припрыгивали еще два-три других, и, поскольку мы уже чуточку знаем Дионисакиса, нам нетрудно посочувствовать ему в эту нелегкую минуту. Однако то, что произошло потом, совершенно не вяжется с нашими представлениями об его характере. Такие неожиданности подчас поражают нас в людях, хорошо нам знакомых, а иногда и в нас самих. Дионисакис был взбешен. Он отстранил, почти что оттолкнул старика и решил было не давать ему никакого ответа, как вдруг на второй вопрос господина Демосфена: «Я спрашиваю, господин Рологас, какая погода будет сегодня?» — ответил и сам потом не мог объяснить, как ему пришла в голову такая мысль:

— Землетрясение!

И бегом побежал на почту.

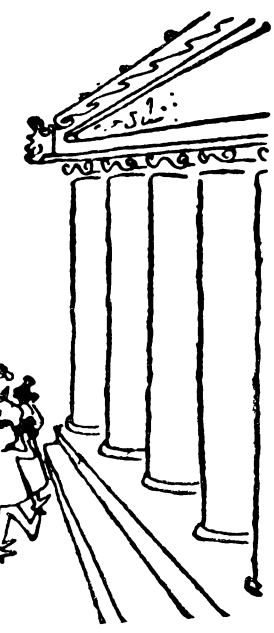
Он отправил телеграмму и повернул к школе, когда услышал первые крики и увидел толпы сограждан, спешно покидавших свои дома и город. Уважаемые отцы семейств, славные воины, увешанные орденами, пробегали мимо, охваченные паникой и смятением, и никто не пожелал остановиться и дать объяснения. Плакали женщины и дети, стучали двери и оконные ставни, забили в набат все четыре городские колокольни.

Стайка ребятишек, с воплями восторга выбежавших из школы, окружила учителя и объявила, что уроков не будет.

— Почему?

— Будет землетрясение!

Почва заколебалась у него под ногами. Вслед за бегущими горожанами устремились дома, улицы, все четыре храма вместе с колокольнями; туда же, без коня и без копья, побежал святой Георгий! Побежал и Дионисакис. Он тоже ринулся



Туристы

Из журнала «Тахидромос» (Греция)

Помощь

Рис. Б. КАНОВА (Италия)

вон из города, но вдруг вспомнил, что у него есть дети, жена и больная теща. Дионисакис на секунду приостановился, однако, поскольку все вокруг него неслось, да еще наращивая скорость, он тоже прибавил шагу. Чуть подальше он снова остановился и снова побежал и больше уже не останавливался...

Потом, когда все утряслось, он вспомнил, что где-то в толпе видел бегущего господина Демосфена. И только в ту минуту подумал: «А может быть?..» — но бешеная скорость захлестнула и эту минуту, и этот вопрос, и больше он не возник. И разве могло быть иначе при таком столпотворении?

Сильное землетрясение, которое разрушило половину города, но не повлекло за собой **ни одной жертвы,** произошло в то утро в 10 часов 15 минут 4 секунды и было зарегистрировано сейсмическими станциями. На это крупное событие откликнулись все газеты.

Известная своими научными интересами газета «Греческое прошлое» подчеркивала, что «в эпоху потрясающих научных открытий, когда человек, того и гляди, окажется на Луне или на Венере, Греция досадно устранялась от решения космогонических задач нашего времени. Но могло ли это длиться вечно? И вот явился простой школьный учитель, который оправдал наши чаяния... Так пусть же его пригласят в королевский дворец, пусть его примет правительство, пусть Академия распахнет перед ним свои двери!»

Через два дня газеты оповестили, что герой находится в Афинах. Премьер принял его и пожал ему руку. Говорят, его наградили Большой золотой звездой, и торжественная церемония вручения состоится на днях во дворце.

Правительственная газета сообщила о назначении Дионисакиса главой нового научного центра, который будет заниматься проблемами полетов человека к звездам. На него возложена почетная миссия поставить греческую науку в один ряд с последними триумфами мировой науки.

Перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ

АЛЬФ ПРЕЙСЕН

НОРВЕГИЯ

ДОЛЛИ

Когда брачное извещение напечатано в газете и отступать уже поздно, невеста посылает за Долли.

— Долли! У тебя новая шляпа? — восклицает, забывая о своих волнениях, девушка, которой сегодня предстоит стать молодой женой.

— Новая? Что ты, это старая шляпа Антона, я ее переделала, тут примяла, здесь пришила ленточку. А теперь я возьмусь за тебя,— смеется Долли, распуская волосы невесте.— Только больше уж не выходи отсюда, жениху тебя не положено видеть до самой церкви.

И Долли начинает причесывать невесту. Она делает это как заправский парикмахер, хотя никогда ничему не училась. Но недаром о Долли идет молва, что у нее золотые руки. Она перешивает и перелицовывает старые тряпки и детям и себе, не говоря уже о муже. По субботам, когда Антон приходит в пивную, на нем всегда чистая рубаха, и каждая складочка на брюках заутюжена.

— Ну, давай поглядим,— говорит Долли, усаживая невесту перед зеркалом.— Возьмем-ка сегодня чуточку румян, самую малость — так, чтобы пастор не заметил. Но главное прическа. До чего же хороши у тебя волосы, девочка! Только дотронешься гребнем, и они сами ложатся...

Да, не забыть бы нам цветок, у тебя ведь есть мирт? Венки нынче уже не носят — вышли из моды. Но один цветок на фату мы все-таки приколем. Если на нем задержатся дождевые капли — хорошая примета, значит, ты будешь счастлива. А сегодня — гляди, дождь льет как из ведра... И еще положим подкову на край фаты. Это тоже к счастью. А если, когда ты будешь танцевать с женихом, кто-нибудь наступит на фату и она порвется,— значит, тебе повезло: всегда будет достаток в доме.

В дверях церкви не забудь: глубоко вздохни и задумай три желания. Только смотри, заранее не задумывай, это не в счет, надо придумать как раз на пороге... Отвечай священнику громко и внятно. Это дурная примета, если кто-нибудь в церкви не расслышит, что ты отвечаешь.

Молодежь теперь смеется, говорит, все это суеверие и вздор, а все-таки сколько раз приметы сбывались!

Это говорит Долли, которая сама венчалась в ясную солнечную погоду, так что ни одна капля дождя не упала на ее фату, а когда она переступала порог церкви, на уме у нее было одно: «Лишь бы Антон не нализался так, что все в церкви заметят!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ

— Мама, правда ведь, как интересно, что я — это я? — рассуждает младший сынишка. Он простужен, его не пустили гулять, он сидит у окна, кашляет, чихает и что-то рисует на большом листе бумаги.

— Конечно, интересно,— отвечает мать.

— Мам, а ты когда-нибудь думаешь об этом?

— Да, милый. Правда, теперь не очень часто, но, когда была маленькой, думала, и мне тоже казалось, что это очень интересно.

— Мам, а ты знаешь, что еще интересно? Вот это шнурок. А если бы шнурок назывался «кулок», тогда я бы говорил: «Мама, закулуй мне ботинок». Правда, интересно?

— Очень интересно,— отвечает мать.

— А знаешь, что всего интересней? Что меня зовут Ян-Улаф. Кто-нибудь крикнет: «Ян-Улаф» — и я сразу оглянусь и знаю, что это меня. А кто-нибудь крикнет: «Мари-Кристина» — и она знает, что это ее. Правда, интересно?

— Очень.

— Мам, а знаешь, что самое-самое интересное? Что ты — моя мама, а папа — мой папа. А потом, почему мы плачем? Вот интересно — я не хочу плакать, особенно при всех, а слезы текут? Хорошо бы у нас была пуговица на спине, и вот, когда знаешь, что сейчас заплачешь, нажмешь на пуговичку: «Дзинь!» — и никто ничего не видит. Понимаешь?

— Ах, ты мой милый, глупый малыш! — говорит мать и целует сынишку.— Ну-ка, покажи, что ты нарисовал? Наверное, тоже что-нибудь очень-очень интересное?

— Что ты мама! Это просто Спутник.

ПОДВОХ

Нет, уж в этом году Юна не заманят на праздник Семнадцатого мая *. Он останется дома и не пойдет смотреть на праздничное шествие, даже если ему никогда больше не купят нового костюма и красивого банта к рубашке. Он останется дома, даже если мама пообещает купить мороженое в киоске на станции, даже если папа скажет, что посадит его на плечи, чтобы ему все было видно. Он уже видел майский праздник. Хватит с него. Больше его не проведут.

А как он в свое время ждал этого праздника, как ему радовался!

— Ты услышишь духовой оркестр, увидишь ребят в нарядных костюмчиках, они будут маршировать и дуть в огромные трубы. Когда ты пойдешь в школу, ты тоже научишься играть на трубе, и тогда мы купим тебе нарядный костюм горниста.

Юну каждую ночь снился костюм горниста. Он ходил по кухне и, когда рядом не было никого, кроме мамы, играл на игрушечной трубе.

За несколько дней до Семнадцатого мая Юн стал на редкость послушным, не шалил, не дерзил. Он почти перестал есть конфеты, во всяком случае перестал их грызть, а только сосал на той стороне, где в зубах не было дырки, чтобы зубы не разболелись.

И когда наступило Семнадцатое мая, Юн даже не стал играть с ребятами, чтобы не запачкать новые штанишки, и сидел дома, пока они всей семьей не пошли на площадь смотреть музыку и слушать праздник. То есть наоборот — смотреть праздник и слушать музыку!

Вначале все шло хорошо и было очень интересно, но от взрослых всегда жди какого-нибудь подвоха, вроде как в тот раз, когда мама повезла его в город, чтобы купить новые штаны. Насчет штанов это она только так сказала, а на самом деле привела Юна в какой-то дом, а потом в кабинет, и там стояло зубоврачебное кресло.

— Садись в кресло,— сказала мама и улыбнулась врачу.

А врач стал спрашивать, сколько Юну лет, но Юн и не подумал ответить, а когда врач сунул палец ему в рот, Юн укусил его что было мочи. А потом он так кричал, и дрался, и лягался, что пришлось увезти его домой, не поставив пломбы.

— Ничего, поставим в другой раз,— сказал зубной врач.

— Надеюсь,— сказала мама.

Но в другой раз тоже ничего не вышло, потому что «другой раз» — это оказалось Семнадцатое мая; только Юн устроился на плечах у отца и вдруг видит — на трибуну поднимается какой-то человек.

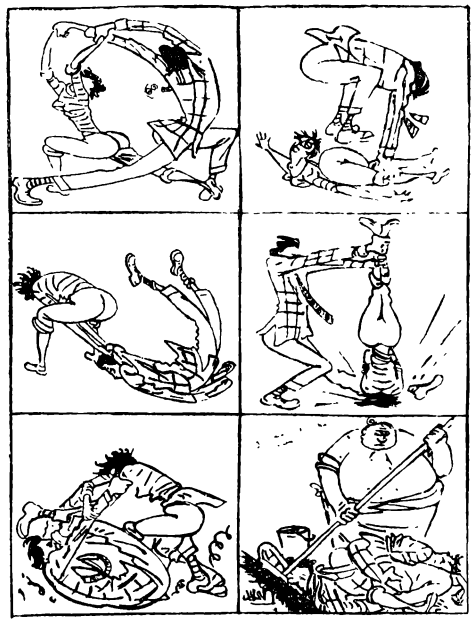
И кто бы вы думали это был? Зубной врач!

Нет. Пусть их празднуют свое Семнадцатое мая. Юна им не провести. Он останется дома.

Перевод с норвежского Ю. ЯХНИНОЙ

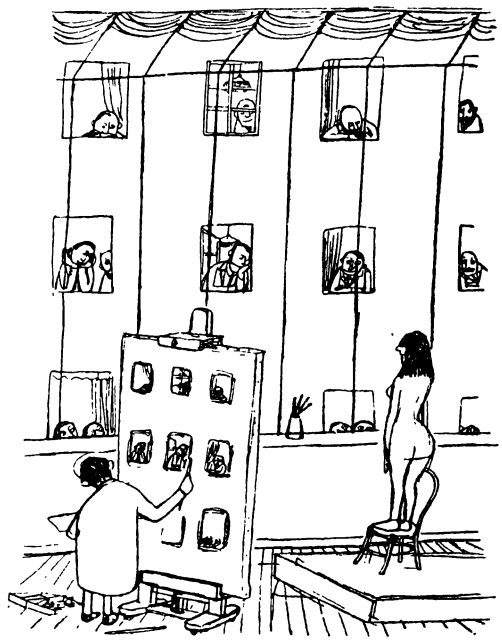
---

* Национальный праздник Норвегии.



Современный
салонный танец
Рис. Ф. БИЛЕК (ФРГ)

Рис. Л. ФРАНСУА (Франция)



Без слов

Рис. И. ХЕГЕДЮСА (Венгрия)

АРТ БУХВАЛЬД

США

СОВЕТ ПИСАТЕЛЯМ

Недавно м-р Ирвинг Уоллас написал роман. В основу его он положил результаты обследования сексуальных проблем, касающихся особ женского пола в штате Южная Каролина. Этот серьезный труд называется «Доклад Чэпмэна», по имени некоего вымышленного доктора Чэпмэна, который подробно излагает свои соображения относительно половой жизни шести «типичных» американок. Никого не удивляет, что подобная книга числится в списках бестселлеров. Даррил Ф. Занук купил ее для своего будущего фильма, и вскоре выйдет в свет ее карманное издание тиражом в четыре миллиона экземпляров.

Если все пойдет гладко и интерес к главной теме этой книги продержится до будущего года, м-р Уоллас заработает на ней миллион долларов.

Сейчас м-р Уоллас находится в Париже. Для этого были свои причины, и главная из них та, что на этой поездке настоял его личный бухгалтер. Перед Уолласом остро встал вопрос о немедленной выплате подоходного налога с огромного гонорара, который он получил за свою книгу.

— Мне отлично жилось и в Южной Каролине,— сказал мне Уоллас.— После выхода в свет четырех моих романов я наконец напал на золотоносную жилу, и мне хотелось насладиться ею до конца. Однако мой бухгалтер решил, что именно сейчас мне следует поездить по миру и потратить хоть часть из тех денег, которые я получил за эту книгу, чтобы списать их с облагаемой налогом суммы. Нельзя же просто так, спустя рукава сидеть и смотреть, как твои денежки забирает правительство, говорил мой бухгалтер. И пока не спишется со счета добрый процент гонорара за эту книжку, вам придется изрядно пошевелиться. Я прислушался к совету, приехал сюда и изо всех сил стараюсь тратить как можно больше!

По мнению м-ра Уолласа, все писатели проходят в своей жизни несколько этапов. В ту пору, когда автор еще молод и его никто не печатает, он, как правило, сидит в каком-нибудь парижском кафе или в экспрессо-баре в Гринвич-виллидж и ведет с приятелями серьезные беседы о Прусте, Стендале, Джойсе и Жиде. Большая часть дня уходит на то, чтобы обсудить главные и второстепенные идеи книг, поговорить о героях, фабульных линиях, сюжетных ходах и мотивировках поступков персонажей.

После того как автор начинает печататься, он сразу забывает Пруста, Стендаля, Джойса и Жида. Теперь он говорит о Рэндом-хаусе, Симоне и Шустере, Даблдее, Уильяме Моррисе и других издательствах, а также о журнале «Сэтердей ревью». А у тех, кто к этому времени добился настоящего успеха, находятся куда более интересные темы для разговора.

Я решил задать м-ру Уолласу ряд вопросов, типичных для интервью с писателями.

— Скажите, м-р Уоллас, над чем вы сейчас работаете?

— Я стараюсь по возможности растянуть срок оплаты подоходного налога и та-

ким образом уменьшить его сумму. Надеюсь что-нибудь придумать, чтобы оставить кое-какие деньги своим детям.

— Могли бы вы, как писатель, пользующийся большим успехом, рассказать нам, как вы работаете?

— У меня четыре юриста, бухгалтер и свой агент. Я встаю около восьми, иду в свою берлогу и вызываю юристов. Они мне докладывают положение вещей: не начал ли кто-нибудь дело против меня или же, наоборот, не надо ли мне самому начать судебный процесс. Потом я приглашаю бухгалтера, и он сообщает мне план наших очередных действий против департамента государственных внутренних сборов. Потом появляется мой литературный агент, и мы обсуждаем следующие тридцать книг, которые я должен написать, согласно заключенным им контрактам.

— Кто из писателей вам нравится больше всех?

— Ирвинг Стоун, он здорово выколачивает гонорар за издания за рубежом. Потом Эмили Хан, я люблю ее за ту свежую струю, которую удалось ей внести в трактовку вопроса о дорожных расходах. Неплох и Джером Вайдман, он стоит в первых рядах тех, кто по-новому толкует закон об авторских правах. Вайдман к тому же открыл больше юридических талантов, нежели любой другой писатель нашего времени. Очень симпатичен мне и Джеральд Фрэнк. Именно он лучше всех известных мне писателей сумел растянуть срок ежегодной выплаты налога за полученный гонорар, и последний среди моих фаворитов — это Эйзенхауэр, бывший президент. Всего в какие-нибудь двадцать минут он переделал закон об авторских гонорарах и тем самым заработал сразу миллион долларов.

— Что вы советуете читать современным писателям?

— «Уолл-стрит джорнал», «Киплингер рипорт» и другие финансово-экономические издания.

— Не считаете ли вы, что труд писателя в конечном счете дело одного человека?

— Разумеется, особенно когда закрывают биржу и нет возможности получить немедленную справку. Можно, конечно, поговорить с маклером, но когда речь идет о помещении твоих денег, лучше это делать самому.

— Некоторые писатели слишком болезненно реагируют на критику. Как к этому относитесь вы?

— По-разному. За фильм «Доклад Чэпмэна» я получил только пять процентов от сборов. А Джеймс Мичнер за «Гаваи» — десять процентов. Моя жена отнеслась к этому событию весьма критически, и вполне естественно, что и я тоже принял это близко к сердцу. Однако не в моих правилах обращать внимание на критику.

— Не хотели бы вы что-нибудь посоветовать молодым писателям?

— Им надо научиться видеть разницу между полным сбором и чистым доходом. Не следует продавать право на телевидение одновременно с оформлением сделки с кино. Надо стараться получить аванс побольше, когда имеете дело с карманным изданием. И еще — надо устраиваться так, чтобы издатель все расходы по рекламе брал на себя.

— Простите, а как же насчет сюжетных линий, психологических характеристик и содержания книги?

— А? — спросил м-р Уоллас.

ПОСЕЩЕНИЕ ПАРИЖСКОГО КИНО

Посещение парижского кино — целое приключение. Но лишь немногие американские туристы знают об этом. Большинство из них обычно заявляет: «Не для того я ехал в Париж, чтобы смотреть там фильмы». Именно этим людям мне хочется рассказать, что же представляет собой посещение кино во французской столице, скажем, где-нибудь на Елисейских Полях.

Сразу же сообщу, что французы не имеют ничего против того, чтобы постоять в очереди за билетами на хороший фильм. Судя по длине очереди, вы всегда с уверенностью можете сказать, какие фильмы в городе лучшие. Разумеется, самая большая толпа, как правило, собирается у кинотеатра, где демонстрируют фильмы, на которые дети до восемнадцати лет не допускаются.

Этому легко можно найти объяснение. Хотя в большинстве случаев картина ничего не стоит, но в ней всегда есть этакая сценка, которую друзья настоятельно советуют вам не упустить. Обычно в этой сцене Брижит Бардо принимает ванну или, скажем, Жанна Моро плещется под душем. А может быть, еще что-нибудь похлеще.

Итак, набравшись терпения, вы стоите в очереди у кинотеатра, где идет такой фильм, и наконец спустя вечность пробиваетесь к окошечку кассы. Поспешно протягиваете девушке стофранковую бумажку. Кассирша, перед которой возвышается груда купюр самого различного достоинства, резко бросает вам:

— Неужели нет ничего помельче?

Вы робко отвечаете, что помельче нет. Она очень сердится и говорит, что, дескать, если каждый будет приходить со стофранковыми бумажками, она вообще не сможет давать сдачу. А тем временем толпа за вашей спиной начинает гудеть, медленно, но верно наращивая давление. В конце концов кассирша, заметив, что вам уже порядком досталось, прекращает свои суровые нравоучения и выдает билет и сдачу. Контролерша у входа равнодушно разрывает этот билет на две половинки.

Первый барьер позади. Но внутри кинотеатра вас уже поджидает готовая к броску билетерша, одетая, словно надзирательница женской тюрьмы. Билетерше во Франции полагается давать на чай, и упаси вас бог попытаться занять место, отказавшись от ее услуг.

Итак, вы даете женщине в униформе 50-100 сантимов. Если вы пришли во время перерыва и огни в зале еще горят, вы можете, после того как билетерша вас усадит, успеть пересесть, выбрав себе место по вкусу.

Уж коль скоро вы устроились, вам волей-неволей приходится ждать, пока не начнется картина. Но для вас это время не пропадает даром. Во Франции нет коммерческого телевидения, но этот пробел успешно восполняется показом перед сеансом рекламных фильмов. Нередко бывает, что они оказываются лучше и интереснее, чем тот фильм, из-за которого вы пришли.

Одно из любимых развлечений кинозрителей — угадывать, что же все-таки рекламируется в коммерческих короткометражках. Это не так легко, как может показаться человеку неискушенному.

Представьте себе, девушка и юноша целуются на травке Булонского леса. Вдруг девушка садится и ни с того ни с сего говорит: «Подожди, дорогой, а ведь мы так и не приобрели пылесос...»

Или вы видите, как Людовик XVI взволнованно вышагивает по Версальскому дворцу. Минутой позже вы узнаете, что кто-то украл у короля чашку любимого растворимого кофе.

Сюжеты рекламных фильмов необычайно разнообразны: механик возится со спортивным автомобилем, а после работы моет голову своим любимым мылом — шампунем; полицейский останавливает очаровательную девушку за нарушение правил уличного движения, но, взглянув на ее стройные ножки, отпускает с миром — оказывается, она носит самые модные нейлоновые чулки... Словом, все это превращает ваше ожидание художественного фильма в подлинное удовольствие.

Рекламные фильмы закончились, но свет в зале все еще не гасится, потому что теперь по рядам начинают ходить билетерши, предлагая мороженое, конфеты и прочие сладости. На это уходит минут пятнадцать. Наконец, после того как все распродано, зрительный зал погружается в темноту и на экране появляется хроника. В течение одной минуты показывают генерала де Голля, прибывающего на церемонию открытия очередного памятника или, наоборот, покидающего ее. Несколько секунд посвящается каким-нибудь очередным событиям — в Конго или Алжире, пять минут — велосипедным гонкам и десять — новой электростанции, только что пущенной французским правительством в Пиренеях.

Потом показывают пару короткометражек. И вот наступает долгожданный миг — начинается художественный фильм. До этого момента в зале было совершенно тихо. Но появление на экране первых титров картины служит сигналом для билетерш, которые начинают громко переговариваться между собой и со зрителями.

Как я уже говорил, во французских фильмах всегда есть одна сцена, ради которой зритель и приходит в кино. Все остальное ужасно скучно и неинтересно. И вот она приближается... Герои уже вместе поплавали среди ночи, и теперь парень находится в спальне девушки. Он знает, она знает и вы знаете, что через несколько секунд, буквально через несколько...

...Вдруг в проходе появляется билетерша, а за ней четыре человека. Ослепляя вас ярким светом фонарика, она усаживает пришедших прямо перед вами. Пока они снимают пальто... пока кто-то из них роется в карманах, отыскивая мелочь на чай,— увы, все кончено! Когда ваши глаза вновь привыкают к темноте и вы вглядываетесь в экран, от сцены, из-за которой вы столько волновались, осталась только девица, горько плачущая в своей постели, да парень, с грохотом захлопывающий за собой дверь.

ПРЕСТУПНИКОМ БЫТЬ НЕ ХУЖЕ

Я получил письмо от заключенного, который отбывает наказание в одной из тюрем Америки. Он пишет, что, отсидев три года, через месяц выходит на свободу и хочет стать журналистом. Ко мне он обращается потому, что не знает, как к этому делу приступить. Обычно я не затрудняю себя ответами на такие письма. Но на этот раз я посчитал, что ответить надо обязательно, ибо, коль скоро этот человек уже оплатил свой долг перед обществом, ему нет никакого резона вновь возвращаться на путь преступлений. А именно это и может случиться, если он станет газетчиком. Поэтому я взял бумагу и написал:

«Дорогой № 189654!

Благодарю вас за ваше письмо. Вы меня спрашиваете, как стать газетчиком, но именно на этот вопрос мне ответить очень трудно.

Для начала вам придется украсть пишущую машинку. Потом стащить в пресс-бюро пачку бумаги. Заложите эту бумагу в машинку и начинайте творить свое лжесвидетельство. Когда статья будет закончена, вручите ее редактору, а уж он постарается убить все живое, что вы в ней написали. Когда окончательный вариант появится в газете, вы его ни за что не узнаете, вам захочется бросаться на людей и колотить в редакции всех подряд.

На следующий день вам позвонит человек, о котором вы написали свою статью. Он вам скажет, что вы жалкий подонок. Вы станете робко возражать, что вы-де честный человек и что во всем виноват редактор. Он же будет неистовствовать и твердить, что вас за такую штуку надо засадить в тюрьму и что, если вы ему когда-нибудь попадетесь на глаза, он вас просто пристрелит.

Вы пойдете к ответственному редактору и выразите свой протест по поводу того, как они изуродовали вашу статью. Ответственный редактор вежливо ответит: «У вас нет никаких прав. Вы ведь пока еще проходите испытательный срок».

«Но у меня есть право постоять за себя»,— скажете вы.

«Вы меня задерживаете,— рассердится ответственный редактор.— Кончим этот разговор, и не доводите меня до инфаркта».

Потом вы пойдете в бар и изо всех сил постараетесь позабыть обо всей этой истории. Но в баре вы наткнетесь на газетного агента, и он любезно поставит вам рюмочку. Теперь вы должны будете что-нибудь сделать и для него. Потом он поставит вам еще одну, и вы станете его должником дважды. Потом он подкупит вас обедом. И в конце концов вы окажетесь настолько в долгу перед ним, что вам придется согласиться написать статью о его клиенте.

А уж коль скоро вы попадетесь на его крючок, то скрыться от него в дальнейшем не будет никакой возможности и вы волей-неволей станете сообщником во всех его преступлениях.

За одним газетным агентом потянется другой, один обед повлечет за собой целую цепочку обедов. Очень скоро вы окажетесь в полной зависимости от подачек и, не получая их, уже просто не сможете работать. А потом настанет день, когда подачек не будет. Тогда вы вдруг покроетесь холодным потом и вас всего затрясет, да так, что зуб на зуб не попадет. Вы будете не в состоянии ни работать, ни чем бы то ни было заниматься. Вы пойдете к посреднику, но он передаст, что его нет дома. И вот вы сами побежите к агенту, но он скажет, что умывает руки, и вот тогда вы готовы на что угодно, лишь бы напечататься. А уж газетные агенты это хорошо знают, и вот тут-то они и явятся со своими гектографами и выудят у вас все, что им захочется.

Но, дорогой 189654, самая главная причина, по которой я советую вам не связываться в газетное дело, состоит совсем в другом. Обязательно настанет день, а это бывает у всех без исключения газетчиков, когда вы получите свой первый чек. И когда вы увидите, как ничтожно мало получает газетчик за свой труд, вам не останется ничего другого, как тут же бежать на улицу, чтобы ограбить первую попавшуюся бензоколонку.

Принимая все это во внимание, я бы посоветовал вам стать просто служащим в одной из крупных электрокомпаний Америки».

БАГАЖНАЯ КВИТАНЦИЯ ХУДОЖНИКА-БИТНИКА

У меня было назначено свидание в Париже с художником и поэтом Уильямом Моррисом — битником из Сан-Франциско. Но он так и не явился. Я не придал значения этому событию и не ломал над ним особенно голову, так как многие люди, назначающие мне свидания, не являются на них.

Шесть недель спустя мистер Моррис появился в моем кабинете и принес извинения за то, что не пришел на условленную встречу. Оказалось, последние шесть недель он провел в тюрьме. Естественно подобный оборот дела заинтересовал меня. Что же мог Моррис совершить такого, чтобы угодить за решетку?

Понять всю эту историю можно, только все время имея в виду, что Уильям Моррис — художник. Он художник большого размаха — некоторые из его полотен достигают сорока футов в длину. Как-то дома, в Штатах, состоялась его выставка, на которой была представлена только одна картина. Она заняла все четыре стены галереи. В Сан-Франциско Моррис произвел подлинную сенсацию своим полотном «Стоять до последнего», которое он создал с помощью автомобильной покрышки, отказавшись от традиционной кисти. У него, разумеется, и в прошлом были свои проблемы и трудности. И большинство из них находило отражение на страницах газет.

Прибыв в Париж, где Моррис собирался устроить выставку своих работ, он надеялся, что и здесь французская печать уделит ему внимание. Однако, как рассказал мне художник, у него вовсе не было желания добиваться этого, угодив в тюрьму.

Вот что с ним произошло. Он прилетел в Париж, везя с собой свернутую в рулон картину размером восемь на восемь футов под названием «Дерн»— из-за материала, с помощью которого она была создана. Это произведение было зарегистрировано компанией «Эр Франс» в качестве багажа. В аэропорту Моррис забрал свою картину, при этом никто не спросил у него багажную квитанцию.

Поселившись в Латинском квартале, Уильям Моррис встретил двух своих приятелей, рассказал им обо всем случившемся и показал квитанцию. Один из них убедил Морриса, что ему просто необходим свой агент, намекнув, что на компании «Эр Франс» можно заработать гораздо больше, чем на живописи.

Через несколько часов был готов детальный план совместных действий. «Агент» поехал вновь в аэропорт и, предъявив квитанцию, потребовал картину. Чиновники «Эр Франс», которые чрезвычайно горды тем, как поставлена у них транспортировка произведений искусства, пришли в ужас, узнав о пропаже картины, и принялись за немедленные поиски. В то время шедевр Морриса находился у него в комнате. Только позже, когда запахло жареным, он уничтожил свою картину.

Когда компания «Эр Франс» заявила, что никак не может найти пропажу, Моррис и его «агент» потребовали возмещения убытков. Они уверяли, что цена картины по меньшей мере две тысячи пятьсот долларов.

Но случилось так, что пока «Эр Франс» продолжала безуспешно искать картину, художник разругался со своим «агентом» и решил отказаться от 2500 долларов. Лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе, порешил он и отправился в Управление компании. Там его встретили в высшей степени учтиво и любезно — в конце концов, во Франции считается, что потерять картину иногда гораздо более неприятно, чем собственную жену. Юрист авиакомпании сказал огорченному художнику, что они попытаются сделать все возможное в рамках благоразумия.

Моррис попросил, чтобы ему предоставили краски, которые можно купить только в США, несколько холстов и подрамников. Он еще великодушно заметил, что небольшая чисто символическая сумма, скажем, долларов сто, его бы вполне устроила, и на этом он готов закрыть дело.

«Эр Франс» послала своего представителя в Соединенные Штаты для приобретения красок и холстов, которые и были доставлены Моррису авиабагажом. Теперь дело было за долларами. Чиновники на всякий случай спросили, не хочет ли он, чтобы расследованием пропажи картины занялась полиция. Моррис не сумел придумать причины, чтобы отказаться от вмешательства полиции, и сказал, что не возражает.

Полиция решила опросить друзей художника и тут же докопалась до истины. Допросили и Морриса, заверив, что, если он признается во всем, его отпустят, ограничившись порицанием. Моррис поверил, сознался и моментально оказался за решеткой.

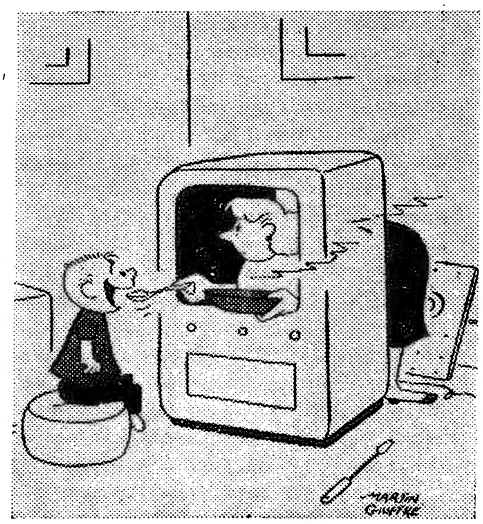
Несколько недель он пробыл в тюрьме «Санте» в мучительном неведении. Потом Моррис познакомился с одним австралийцем, который подделал чек и всучил его парижскому меховщику в обмен на норковую шубу. Узнав о беде Морриса, этот австралиец сообщил, что знает одного подходящего адвоката, который так обожает «современное» искусство, что займется делом Морриса, не потребовав за это ни сантима.

Действительно, нашелся такой адвокат, и после шести недель заключения ему удалось вызволить художника на поруки.

Моррис между тем полон энтузиазма. Он намерен в ближайшее же время устроить выставку своих произведений. Нужно сказать, что компания «Эр Франс» вела себя достойно во время процесса и даже не попыталась взыскать с Морриса стоимость красок и холстов, которые вынуждена была купить в Америке. В знак признательности художник собирается создать новое произведение размером примерно восемь на восемь футов, которое будет представлять собою серию решеток, очень похожих на те, что были в тюремной камере. Он назовет эту картину «Багажная квитанция».

Перевод с английского
М. ВИКТОРОВОЙ и Н. АГАЯНЦА.

Телевизор
как средство воспитания
Рис. М. ДЖЬЮФРА (США)



ЛЭНГСТОН ХЬЮЗ

США

ЕГО ПОСЛЕДНИЙ РОМАН

Каждые пять или шесть лет Генри Квентин Марстон приезжал в Нью-Йорк. Он любил Нью-Йорк по той очень простой причине, что ни души там не знал. В своем родном городе он знал всех и каждого, от мэра, который постоянно просил его поработать то в одной, то в другой комиссии, до мусорщика, который надеялся получить от него окорок на рождество, ибо мистер Марстон был человек богатый, добрый христианин и чуть ли не первое лицо в городе.

В Терр-Хоте его добродетели признавались без оговорок. В результате он не был хозяином своего времени Все благотворительные клубы и всякие организации, связанные с церковью, постоянно обращались к нему. Кроме того, у него было много работы в фирме, что отнимало массу времени. Он был человек деловой.

Мистер Марстон занимался недвижимостью, фуражом, зерном, яблоками и многими другими отраслями коммерции, связанными с почвой Индианы. Он был членом правления двух или трех банков. Его контора занимала целый этаж в деловом центре города, с отделениями в Индианаполисе и Тэри. Однако мистер Марстон предпочитал маленький городок Терр-Хот, где он прожил всю свою жизнь, вопреки честолюбию жены и дочерей, которых всегда тянуло уехать в другое место, ну хотя бы в Чикаго.

В пятьдесят лет, толстый, добродушный и самоуверенный, он был женат три раза, но уже успел похоронить двух жен. Третья жена, однако, вовсе не собиралась помирать; когда-то она состояла председательницей Объединенного женского клуба и много работала в Обществе трезвости и в церковном совете. Это была крупная дама в очках, она вела дом мистера Марстона твердой рукой и с большим достоинством, заботясь о родных дочерях и падчерицах в равной степени деловито и умело.

Мистер Марстон не мог пожаловаться на свою семейную жизнь, ибо она была безупречной, являя образец для всех семей в городе и пример христианской добродетели. Однако каждые два-три года мистера Марстона тянуло вон из города! Этой весной его жена отправилась в Калифорнию на какой-то очень важный конгресс женских клубов в Пасадене. Она уехала три недели назад. Не успела она выехать, как мистер Марстон полетел в Нью-Йорк. Давно уже его провинциальный нос не нюхал запахов Бродвея.

Мистер Марстон рвался на Бродвей, как жеребенок на зеленую травку. Он нашел, что там стало еще веселее и оживленнее и по-прежнему находилось сколько угодно злачных мест для провинциальных простаков. Когда мистер Марстон сорил деньгами в городе, где не знал ни души, он нисколько не боялся, что его примут за простака. Дома, в Индиане, такого рода поведение сочли бы неподобающим для христианина, но в Нью-Йорке никому до него не было дела, ни на кого оно не производило впечатления; и к тому же никто у него не клянчил денег на благотворительные дела, не требовалось работать в комитетах, и миссионеры не приставали к нему, чтобы он молился за язычников и жертвовал на них. Бродвей вообще не занимался спасением душ — эта улица сама себе довлела.

В Нью-Йорке мистер Марстон выпивал, обедал, танцевал и играл в карты — так прошло две недели из трех. Он побывал в Латинском квартале и в Пепперминт-Лаундж. Он встречался с женщинами, но не в своем отеле, и ни одной из них не назвался своим настоящим именем. О, он отлично провел время, живя инкогнито в городе, где ни души не знал.

Вообразите же его удивление, когда в одно прекрасное утро, как раз на углу Сорок седьмой авеню и Бродвея, где огни горят ярче полуденного солнца, нежный женский голос окликнул его по имени:

— Здравствуйте, Генри Марстон!

Мистер Марстон подивился: «Кто бы это мог быть?» Двинулся было дальше, но любопытство пересилило, и он обернулся. На самом углу стояла элегантно одетая молодая или, скорее, моложавая с виду женщина, высокая и спокойная.

— Здравствуйте, Генри!

— Гм... э-э... добрый вечер,— отвечал мистер Марстон, решив, что эта дама, может быть, снимает один из его домов в Индиане, а может быть, это незнакомая ему прихожанка, которая, конечно, знает в лицо своего церковного попечителя. Но все-таки эта женщина явно была жительницей Нью-Йорка, хотя в ней чувствовался слабый отзвук Среднего Запада. Мистер Марстон растерялся.

— Как поживаете, Генри? — фамильярно спросила она, протягивая ему руку в перчатке.— Столько лет мы с вами не виделись.

Ему стало легче — «столько лет». Но от ее руки шли такие флюиды, что мистер Марстон невольно выговорил:

— Очень рад, что мы с вами *наконец* встретились,— гадая в то же время, кто бы это мог быть.

— Много, много лет,— продолжала она.— Неужели ты не помнишь, Генри?

Может быть, она училась вместе с ним в школе? Или это дочь кого-нибудь из знакомых? Ее возраст трудно было определить. В конце концов мистеру Марстону пришлось спросить напрямик, где и когда они встречались.

— Генри, неужели ты вправду не помнишь? — спросила она, заглядывая ему в глаза и обдавая его волной приятнейших ароматов.

Ему очень совестно, но он не помнил. Может быть, он и вспомнит, если дать ему время. По-видимому, она решила, что следует дать ему время, так как предложила зайти к Линди выпить кофе и поболтать. Она была так очаровательна, что мистер Марстон согласился сделать этот шаг по дороге воспоминаний.

— Мне кажется, я вас знаю,— сказал он, ощущая что-то приятно знакомое от ее близости.

— И очень хорошо,— ответила дама.— Как же ты не помнишь?

— Мы встречались здесь, в Нью-Йорке? — спросил мистер Марстон, думая о тех временах, когда он еще не был богат и знаменит и приезжал в Манхеттэн под своим собственным именем.

— О нет,— отвечала она,— там, дома, в Индиане.

— В Индиане?

— Да, в Индиане.

— Кто же вы? — спросил Марстон, не в силах выдержать более.

— Калли,— просто ответила женщина.

— Калли! — ахнул мистер Марстон.— Калли? — вскрикнул он, не сводя с нее глаз.

— Теперь уже Калиста,—сказала она.— Калиста Лоуэри.

— Калли Лоуэри!

— После стольких лет...— улыбнулась она.— Ты все еще не разлюбил меня?

На этот вопрос было трудно ответить — мистер Марстон и сам не знал, разлюбил он или не разлюбил: он мог только сидеть и смотреть на нее, и ее черты становились ему все более и более знакомы: слегка припудренное лицо, еще красивее прежнего, теперь женское, уже не девичье лицо, зато полное жизни и своеобразия, как и в те времена, а волосы стали совсем золотые, вдвое лучше прежних. Калли!

Подошел официант. Они заказали обед — ни тот, ни другая еще не обедали.

— Мы ждали этой встречи,— с улыбкой сказала Калиста.

Генри не хотелось есть, аппетит у него пропал от волнения. Но он все-таки ел, заставляя себя проглатывать пищу. Его слишком взволновала Калиста. Он отлично помнил тот последний раз, когда они виделись. И вдруг перед ним возникло лицо ее матери, лицо его матери; слезы и брань и весь этот ужасный день; и то, как нелегко было отцу выручить его из беды — после его первого «романа».

Там, дома в Индиане, много лет тому назад они вместе с Калистой учились в школе. Она жила на «той стороне» города и собиралась стать актрисой. Невероятная профессия по тем временам, неприличная и совершенно неподходящая для порядочной девушки, но романтическая и притягательная для девочки-школьницы и для мальчишки, который не так уж много видел актрис. Каждый раз, как странствующая труппа или актеры местного театра давали спектакль, Генри сидел на галерке в здании Оперы; и Калли тоже бывала там, иной раз одна, иной раз вдвоем с матерью. Ей шел тогда

семнадцатый год — она была бедна, но честолюбива, и ее еще никто никогда не целовал.

Однажды вечером, встретив Калисту в театре одну, молодой Марстон проводил ее до дому — на «ту сторону» города, нереспектабельную сторону. Он поцеловал ее. Никогда он не переживал такого волнения — ни до этого, ни после. Воспоминание об этой минуте волновало его и теперь, когда он смотрел на Калисту, сидя за столиком у Линди.

Всю ту зиму, теперь уже давно прошедшую, когда еще не было ни радио, ни телевизоров, они встречались в кино или на галерке оперного театра, обычно по контрамаркам, и смотрели «Ист-Линн», «Хижину дяди Тома» или «Бастер Браун». Один раз они смотрели «Камиллу».

— Генри, моя мечта — побывать в Париже,— сказала Калли, и глаза у нее засияли как звезды.

Генри признался, что и ему тоже хотелось бы в Париж. После спектакля он провожал ее домой на «ту сторону» города — шел снег, а потом Генри возвращался один в родительский дом, в ту часть города, где жили «порядочные» люди.

Как-то весенним вечером Генри и Калли, возвращаясь домой, надолго задержались в парке. Так случилось еще несколько раз. И не успел Генри опомниться, как она объявила ему драматическим шепотом, подражая первой актрисе городского театра:

— Генри, милый, я беременна!

Это поразило молодого Марстона, который должен был вот-вот кончить школу первым учеником в классе. Поразило и его отца, когда он узнал эту новость. А его бедную мать уложило на две недели в постель.

— Эта Лоуэри, боже мой! Да ведь девчонка красится, пудрится и собирается в актрисы! Я думаю, она и курит тоже. И про ее семью никто ничего не знает.

С великим трудом они вытянули Генри из этой передряги. Были слезы, сцены — пришлось даже деньги заплатить ее мамаше, похожей на цыганку. Потом Калли с ее матушкой уехали в Чикаго. Больше он о них ничего не слышал. Это было давным-давно, действительно очень давно.

Запах старого оперного театра и ее волос вспомнился ему в эту минуту, когда он сидел за столиком у Линди и снова смотрел на Калисту. Интересно, так же ли, как прежде, пахнут ее волосы (теперь золотистые) и какой вкус у ее губ? Она замечательно сохранилась, даже похорошела, стала очень изящна и элегантна, и одевалась по самой последней нью-йоркской моде (хотя ей должно быть далеко за сорок). Невольно Генри сравнил ее с тремя здравомыслящими и внушительными провинциалками, на которых он был по очереди женат и с которыми прожил всю жизнь.

— Удалось тебе стать актрисой? — спросил он.

— Неужели ты никогда не слыхал про Калисту Лоуэри? — ответила она насмешливо.

— Я слыхал про Калли,— неудачно пошутил он. Оба они рассмеялись.

— Я актриса, но не очень знаменитая,— сказала она.— То есть не на первых ролях. Я играла эпизодические роли, раза два выступала и на Бродвее, но все это пустяки. Самое главное в моей жизни — это ты, Генри.

— Хотелось бы мне, чтобы так оно и было,— сказал мистер Марстон.

— А мне хотелось бы, чтобы все осталось по-старому,— ответила она.— Помнишь Оперу?

— Еще бы не помнить,— сказал мистер Марстон,— и парк тоже.— Тут он наклонился к ней через стол.— Калли, а был ли у нас... был ли у нас ребенок?

— Разве ты не помнишь? — ответила Калли.— Твой папа нам не позволил.

Бродвей, потоки света, непонятная музыка, и что-то хрупкое, милое рождается и тут же умирает. Жесткие лица, нежные сердца. Странное место. Джаз рыдает, оплакивая чьи-то безумные увлечения. Мечты и фантазии.

— Калли,— сказал мистер Марстон,— давай погуляем в парке, как тогда.

За последнюю неделю, которую ему оставалось прожить в Манхеттэне, мистер Марстон открыл, что своим цветом лица Калиста обязана модному институту красоты; что ее волосы пахнут шампунем из французской парикмахерской; что ее губы нама-

заны земляничного цвета помадой, но мягкость и нежность их оставались прежними — все теми же, как много лет назад, в родной Индиане.

Мистер Марстон никогда еще не проводил такой веселой недели в Нью-Йорке, никогда в жизни у него не было такой недели, как эта последняя неделя в Манхеттэне. Молодость и любовь снова вернулись к нему вместе с Калистой. Они даже пошли вдвоем в театр и сидели там на галерке, так же как в былые дни. Хотя пьеса была ничуть не похожа на старые мелодрамы, которые им так нравились когда-то, они были всецело поглощены друг другом и даже не заметили, что делается на сцене.

Потом мистеру Марстону надо было возвращаться домой. Его время истекло.

И вот он решил, что это было просто интерлюдией, или, лучше сказать, финалом, потому что мистер Марстон, разумеется, не мог себе ничего такого позволить — он был женат, имел пятерых детей, являлся столпом церкви и одним из первых людей на Западе. Нет, все это должно кончиться, как только он сядет в поезд.

Калли-Калиста согласилась. Но, расставаясь с толстым и седым Генри, она вела себя так, будто сердце у нее разрывалось. Даже две слезы скатились по ее щекам, покрытым лучшего сорта гримом. Разлучаться было почти так же тяжело, как и в первый раз, много лет тому назад. Но как только Генри сел в вагон и колеса начали отсчитывать милю за милей, унося поезд вперед, к Индиане, он стал понемногу забывать Калли — Калисту Лоуэри — и вспоминать о своей жене. В это воскресенье к обеду у них, верно, будут цыплята. Соберутся, должно быть, все дети. И вся семья будет радоваться, что он опять дома, живой и здоровый.

Жаль, конечно, что бедняжка Калли так и не стала знаменитой актрисой. Но она по крайней мере стала блестящей Калистой Лоуэри из Нью-Йорка, хорошо одетой и красивой, вопреки возрасту, и это все-таки хоть отчасти соответствует тем стремлениям, которые зародились у нее когда-то на галерке старого оперного театра в Индиане. Красивая, а все так же недалека, бедняжка. Ну, положим, женился бы он на ней в молодости, не посмотрел бы на родителей? Да нет, где уж там! Разве она справилась бы с его хозяйством так, как справлялись эти три внушительные дамы, на которых он был женат? Да и он сам тогда вряд ли преуспел бы, думал мистер Марстон. Слишком Калиста обольстительна, что-то в ней есть такое. Да и всегда было. Мужчину это отвлекает от дела.

Он приехал в Терр-Хот утром, как раз вовремя, чтобы встретить миссис Марстон, которая возвращалась из Чикаго с дневным поездом. И жизнь Генри потекла снова, спокойная и размеренная, именно такая, какая выпадает на долю пожилому дельцу в маленьком городе.

Но вот как-то днем, недели через две, когда мистер Марстон сидел в своей конторе и начинал уже подумывать насчет партии в гольф, зазвонил телефон.

— Вас вызывает Нью-Йорк, мистер Марстон,— сказала его секретарша.— Лично вас. Вы подойдете?

Он взял трубку и приложил ее к уху.

— У телефона Генри Квентин Марстон.

— Здравствуй! — В трубке зазвучал нежный женский голос.— Генри, милый, это Калли. Я опять беременна.

— Господи боже! — воскликнул мистер Марстон.— Боже ты мой! Чего... чего тебе надо? — спросил пожилой мужчина, сидя за письменным столом в Индиане, и перед его глазами заплясали и поплыли его жена, его дети, его дом, его церковь.

— Денег, милый,— сказала Калли.

— Денег? — Пот выступил у него на лбу.— А... а сколько же денег?

— Прошлый раз было уж очень мало,— ответила Калиста.— Помнишь? Едва хватило нам с мамой добраться до Чикаго. На этот раз я желаю поехать в Париж. Я еще никогда не была за границей, а Париж — это моя мечта. Генри, наш ребенок, может быть, родится в Париже!

— Двух тысяч хватит? — наивно спросил мистер Марстон, которому, естественно, не с кем было посоветоваться.

— Если умножить на десять, то, может, и хватит,— отвечала Калиста.

— О-ох-х-х! — простонал мистер Марстон.— Калли! Калиста! Калли!

— У меня нет больше матери, и за меня некому заступиться,— грустно пропел

женский голос на том конце провода.— У меня теперь есть только старики адвокаты, Генри.

— Не надо,— взмолился Генри, весь дрожа,— погоди одну минутку.

— Постараюсь подождать одну минутку,— сказала Калиста.

— Я... э-э... ты получишь эти деньги,— простонал он,— я вышлю тебе почтовый перевод на этой неделе.

— Лучше моим адвокатам,— сказал пленительный голос,— пускай уж все будет по закону.

Она продиктовала ему адрес.

— Хорошо,— прохрипел мистер Марстон.— Ладно. Будет сделано.

— Может быть, ты приедешь в Европу? — промурлыкал нежный голос в его ухо.

— Может быть,— задыхаясь выговорил мистер Марстон,— но только я очень занят.

— Тогда прощай, Генри,— деликатно сказала женщина в трубку.— Извини, милый, что я тебя этим беспокою.

Мистер Марстон, едва собравшись с силами, встал со стула, вытер потную шею, позвонил, чтобы ему принесли стакан воды, и занялся переводом двадцати тысяч долларов на имя некой Калисты Лоуэри в Нью-Йорк.

Неделей позже Калли улетала в Париж на реактивном самолете первым классом,— только что причесанная, с заново сделанным лицом, с орхидеей в вырезе платья и торжествующей улыбкой на губах,— в Париж, город ее мечтаний.

— «Я беременна» — лучше этой реплики у меня еще не бывало,— говорила она себе.— Я сама ее сочинила — *оба раза!* Я не только талантливая актриса, но и талантливый драматург. А Генри просто глуп для роли первого любовника! Ему и в голову не пришло, что я мулатка.

Перевод с английского Н. ДАРУЗЕС

Равенство возможностей

Рис. КЛОДА (США)

КРИШНА КРИПАЛАНИ
ИНДИЯ

ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ ОДНОГО ПЛЕБЕЯ

Как-то на одном вечере Плебея познакомили с поэтом, который утверждал, что пишет лучше Тагора.

— Стоит мне только взяться за ум,— заявил поэт,— и я в два счета его переплюну.

— Конечно,— согласился Плебей.— Было бы за что браться.

□ □ □

На днях Плебею представилась возможность посетить одного Министра. Не подумайте, что Плебей заигрывает с власть имущими — дело в том, что совсем недавно они тоже были простыми смертными, и Плебей был знаком с некоторыми из них. Поэтому он и решил засвидетельствовать Министру почтение, а заодно попросить, чтобы правительство поддержало одно полезное начинание. Министр встретил его с необычайной сердечностью: ему хотелось поговорить. Он разглагольствовал битых два часа — все о себе, о своих успехах и о глупости своих врагов. Будучи, однако, человеком, не лишенным чувствительности, он заметил к концу второго часа, что распространялся исключительно о своей персоне. Согрев Плебея ангельской улыбкой, он произнес:

— Простите, я увлекся своими делами. Давайте поговорим о вас. Что вы думаете о моем вчерашнем выступлении?

□ □ □

Одного из самых честных политиков Плебей встретил как-то на коктейле в одном частном доме. Увидев, что тот стоит без бокала в руке, хозяин предложил ему коктейль. Любезный гость изысканно извинился, объяснив, что должен отказаться по двум причинам.

— Что же это за причины? — полюбопытствовал хозяин.

— Когда я присоединился к национальному движению в 1920 году, я дал торжественное обещание никогда не пить.

— Ну, а вторая причина?

— Я выпил буквально минуту тому назад.

□ □ □

Политики подобны женщинам — они любят, чтобы ими восхищались. Чем неубедительнее их доводы, тем громче они кричат. В этой связи Плебей вспоминает совет, который один опытный адвокат дал своему юному коллеге:

— Если факты на твоей стороне, бей фактами по присяжным. Если же закон на твоей стороне, бей им по судье.

— А если и закон и факты против меня? — спросил новичок.

— Тогда бей кулаком по столу.

□ □ □

Восток по праву гордится своей учтивостью. На днях, поймав Плебея на бессовестной лжи, жена его только улыбнулась и сказала:

— К счастью, на тебя можно полностью положиться — стоит только вывернуть твои слова наизнанку, и узнаешь истину.

Пальму первенства в учтивости следует, пожалуй, присудить одному простому стрелку, которому махараджа приказал устроить охоту для гостившей у него очаровательной американской наследницы миллионера. Когда охота закончилась и охотники вернулись домой, махараджа вызвал к себе стрелка и спросил:

— Ну, как госпожа стреляет?

— Госпожа стреляет божественно,— отвечал стрелок.— Но бог был милостив к пташкам.

□ □ □

Свобода печати есть, в сущности, свобода редактора говорить то, что угодно его боссу. За день до празднования рождения Будды некий газетный босс вызвал к себе редактора и велел ему написать для утреннего выпуска передовицу о Будде.

— Будет исполнено, господин,— сказал редактор.— Разрешите только узнать: мы за него или против?

□ □ □

Летом в Новом Дели приятно погулять по опустевшим улицам после десяти часов вечера — ни шум толпы, ни грохот транспорта не нарушают в это время тишины. Те, кому не посчастливилось обзавестись собственным домом с лужайкой, ищут отдохновения по вечерам в прогулках по безлюдным улицам, надеясь насладиться нечаянным дуновением непостоянного летнего ветерка. В один из таких вечеров Плебей и его жена медленно брели по улице, как вдруг их взорам предстал некий член парламента. Он метался по лужайке перед своим домом, взволнованно бормоча:

— Нет, нет, нет...

— Что с ним? Может, он того? — спросил Плебей, постучав себя по лбу.

— Не беспокойся,— ответила с улыбкой жена.— Он совершенно здоров. Просто он так привык всем поддакивать, что теперь пытается вернуть к себе уважение.

□ □ □

Среди множества развлечений, которыми гордится Дели, не последнее место занимает возможность насладиться оглушительной музыкой всякий раз, когда в пределах мили от вашего дома празднуется свадьба. Добрых два дня громкоговорители изрыгают мелодии далеко за полночь. Всякий, кому приходилось быть жертвой подобного истязания слуха, согласится с человеком, заявившим, что пение есть «узаконенный способ орать на людях то, что звучит слишком глупо или слишком интимно для нормальной речи». Плебей нисколько не возражает против того, чтобы люди женились, если уж они решились искушать судьбу, но он никак не может понять, зачем ему, подобно этим несчастным, терять из-за этого сон.

Хотя музыка и кажется новобрачным нектаром любви, который они готовятся вкушать всю жизнь, Плебей разделяет в этом отношении чувства Бернарда Шоу. Однажды великий драматург обедал в ресторане под бравурные звуки оркестра, исполнявшего одну мелодию за другой. Шоу подозвал метрдотеля и спросил:

— Скажите, оркестр может сыграть что-нибудь по заказу посетителей?

— Конечно, сэр,— отвечал метрдотель.— Что вам хотелось бы, чтоб они сыграли?

— Передайте им: пусть сыграют в покер, пока я кончу обедать,— отвечал Шоу.

□ □ □

Некий святоша-политик закончил свою вдохновенную речь об охране коров призывом к согражданам решить, что «для них важнее — коровы или соображения экономии». Сам он, если верить его словам, никогда не позволял экономическим соображениям брать верх, и с 1908 года не носил кожаной обуви. Если иногда он и снисходил до кожаных сандалий, то только удостоверившись предварительно, что они сделаны из кожи животного, умершего естественной смертью.

В западных странах, где люди не так короволюбивы, скот хорошо питают и охраняют. Там кормят скот, потому что кормятся им. Мы же морим скот голодом — возможно, потому, что не ждем от него никакой выгоды.

На днях один парс, знакомый Плебея, позвал своего быка — старое и дряхлое животное, страдавшее неизлечимым недугом,— к ветеринару. Объяснив ему, что он не в состоянии более содержать быка из-за недавних осложнений с фуражом, парс попросил ветеринара избавить животное от бессмысленных страданий. Ветеринар, который был богобоязненным индусом, возмутился:

— Великий боже! Разве я могу взять такой грех на душу?

Хозяин быка озабоченно спросил:

— Что же мне тогда делать?

— О, это очень просто,— отвечал добросердечный ветеринар.— Не корми его — недели не пройдет, как он протянет ноги.

Так и поступили. Бык умер голодной смертью — зато на совести индуса не осталось ни малейшего пятнышка. Сандалии, выделанные из его кожи, несомненно, радуют какого-нибудь святошу-политика, ибо он твердо знает, что обут благочестивым и ненасильственным способом.

Перевод с английского Н. ДЕМУРОВОЙ

Рис. Четтерджи из газеты «Блитц» (Индия)

МАХМУД ТЕЙМУР

ОАР

СТОПРОЦЕНТНЫЙ УСПЕХ

Меня зовут Мансур Рафиу-д-Дин, вернее — устаз * Мансур Рафиу-д-Дин. По профессии я журналист, еще точнее — потомственный журналист. Ремесло журналиста я унаследовал от отца, отец — от моего деда, а тот в свою очередь — от моего прадеда. Журналистика вошла в плоть и кровь нашей семьи.

Из-под моего пера вышли нашумевшие статьи. Об этом свидетельствуют мои друзья. Я преуспевающий журналист — для этой профессии у меня вполне достаточно и одаренности, и прочих способностей. Успех сопутствует мне во всем, кроме получения гонорара, который обеспечил бы мне и моей жене сносную жизнь.

Я работаю редактором в газете «Управляемые ракеты». Все отдают должное моим произведениям. И только главный редактор их совершенно не ценит. Он настойчиво утверждает, что статьи мои лишены какой бы то ни было занимательности. Более того, он считает, что я ретроград. Нисколько не церемонясь, он может во всеуслышание заявить, что идеи мои несовременны, а стиль неотесан, как грубый камень.

Сколько раз он обрушивался на меня:

— Дайте же что-нибудь новенькое, милостивый государь!.. Задумайтесь, наконец, над темами, которые могли бы увлечь читателя!.. Освежите стиль, сделайте его более мягким и гладким.

Очевидно, он хотел бы, чтоб я уподобился тем писакам-халтурщикам, которых немало среди моих коллег. Прошу прощения, коллеги! Вынужден огорошить вас таким эпитетом — что поделаешь! Но вы быстро утешитесь, стоит лишь вам принести редактору свою дешевую и лживую стряпню. Нет, я никогда не окажусь в вашей компании. Я далек от той пропасти, в которую вы уже скатились. Я доволен самим собой — совесть у меня чиста. Но, увы, нужда меня очень стесняет, а откровенно говоря — просто душит. Я с головой погряз в долгах.

— О, мое пропащее счастье! — без конца повторяет моя жена.— О, надежды, которые не сбылись! О, Рафиу-д-Дин, в черный день пошла я за тебя замуж!..

Причитания жены терзают меня, и я спешу ее успокоить:

— Не печалься, радость моих очей. Все уладится. Не век же быть беде. Терпение — ключ к радости...

В ответ она награждает меня такими тумаками, что я едва удерживаюсь на ногах.

Я спешу запереться в своей комнате и начинаю лихорадочно искать оригинальную тему, которая помогла бы мне, наконец, завоевать благосклонность главного редактора.

---

* Принятое в арабских странах обращение к интеллигентным образованным людям.

И темы не обходят меня стороной. Они роятся, громоздятся передо мной, наползая друг на друга. Но ни одна из них не приходится мне по душе...

Со всех сторон меня окружают книги — это моя домашняя библиотека. Из них-то я и черпаю мысли и вдохновение, выражения и обороты речи. Как он величествен, этот шкаф! Ему нет цены — ведь он ровесник моему прадеду, главе и основателю нашего славного рода Рафиу-д-Динов. Гиганты мысли и интеллекта переполняют этот шкаф. Но моя жена! Она никак не хочет признать достоинства этого шкафа, постоянно изливает на него всяческую хулу; а стоит мне помянуть его добрым словом, тут же затыкает мне рот.

Я заметил, что каждый раз, когда наше положение особенно ухудшается, из шкафа убывают книги. Оказывается, моя невежественная, легкомысленная жена (да простит ее аллах) использует мою книжную сокровищницу для того, чтоб прокормиться. За жалкие гроши она продает корифеев мысли и покупает на эти деньги съестное. А когда я упрекнул ее, она разразилась криками:

— Уж не хочешь ли ты, ничтожество, чтобы я готовила тебе еду из собственного мяса! О, презренный!

«Аль-Альфийя» Ибн Малика и «Макамы» аль-Харири*, по убеждению моей жены, равноценны тарелке варева. И, к величайшему моему стыду, должен признаться, что с некоторых пор я вынужден поглощать за обедом и ужином гениальнейших мыслителей.

...Заперевшись в комнате, я лихорадочно работаю. Часы бегут за часами. Я пишу набело и начерно, тут же снова переписываю начерно и набело, чтобы создать шедевр, венец творенья! Затем сломя голову мчусь в редакцию «Управляемых ракет», чтобы немедленно вручить свое произведение главному редактору.

Вот он листает страницы моей рукописи. Прочитав несколько абзацев, кривит рот и презрительно фыркает:

— Окаменелые мысли, а слова — что твой булыжник или железобетон. Неужели вы не способны принести, наконец, хоть одну статью, годную для печати? — Он сверлит меня взглядом.— Вы читали, что пишут ваши коллеги?

— Нет, не читал.

— А зря. С них надо брать пример, подражать им надо, если хотите добиться успеха.

— А вы не порекомендуете что-нибудь из написанного ими?

— Сколько угодно. Вот, например, великолепное руководство «Как зарезать тещу без боли». А вот чудесная новинка «Папа с дочкой танцуют рок-н-ролл». Или другая волнующая вещь — «Губы из пластмассы — на любой вкус»... Видите, о чем пишут ваши собратья по перу, идущие в ногу с веком? А что вы нам предложили? Хм! «Мужчины как покровители женщин» или трактат «В человеке два начала — сердце и язык его». А это что такое? Хуже не придумаешь: «Преимущество соединительной хамзы** над разделительной». Эх вы! И откуда только, уважаемый, вы извлекаете подобные темы?

— Из книжного шкафа, фундамент которого заложил мой прадед.

— Ах, вот где корень зла. Да ищите лучше темы на базаре, на улице, в гуще людей, ищите необычное и интересное в самой жизни.

Я покинул «Управляемые ракеты», проклиная тот день и час, когда я решил стать журналистом. Да, надо бросать эту профессию. Она не для вас, обиженные судьбой неудачники и несчастливцы. Надо выбирать новую дорогу в жизни, искать другую работу, любую. Я готов стать дворником, официантом, чистильщиком сапог, курильщиком благовоний на похоронах — кем угодно, только не журналистом. С этого дня рука моя не прикоснется к перу. Стоит ли его брать, чтобы писать о том, «как зарезать тещу без боли», когда на самом деле ее надо убивать с болью, и притом с превеликой!

Устало и бесцельно я брел по дороге, «влача тяжкое бремя поражения», как говорили великие стилисты прошлого.

Вдруг в голову мне пришла блестящая мысль. Она ободрила меня, вселила надежду. Я немедленно направился в кофейню «Реактивный самолет» и устремился к

---

* Ибн Малик и аль-Харири — известные средневековые арабские филологи.
** Грамматическое понятие в арабском языке.

столику, за которым обычно сидит мой приятель Азуз. Он и на этот раз оказался там в компании чистильщика сапог, торговца четками и продавца бананов. Полный язвительного сарказма, он, как обычно, спорил, вкладывая в это дело все свое упорство, несговорчивость и бычий норов.

Увидев меня, он обрадовался, потребовал для меня кофе и наргиле и тут же вернулся к спору.

Заметив, что я молчу с мрачным выражением лица, он воскликнул:

— Что с тобой? Храни тебя аллах от зла!

— Зло во всем,— ответил я, ковыряя пол носком ботинка.

— Объясни же, в чем дело?

И тут я рассказал ему, почему я решил навсегда покончить с журналистикой.

— Все кончено, к ней нет возврата,— решительно заявил я.

— Ты прав,— сказал он.— Я сам не питаю никакого доверия к тому, что называется журналистикой или какой-нибудь там редакцией. Журналисты, по-моему, более всего похожи на ярмарочных клоунов или бродячих шутов. Вечно пляшут на канате, балансируя, чтоб не свалиться вниз.

— Вот затем-то я и пришел к тебе. Избавь меня от этого каната, с которого так легко упасть!

— Ты хочешь, чтобы я подыскал тебе другую работу?

— Никто с этим лучше тебя не справится. Не ты ли глава квартальных старост всего города и их полновластный хозяин? Тебе нетрудно будет найти мне подходящее место.

Долго чесал в затылке Азуз.

— Ну что же, это нетрудно, если пожелает аллах.

Я впился в него взглядом и слушал, стараясь не пропустить ни одного слова.

— Что ты думаешь насчет работы в мясном заведении? Это прекрасное дело...

— Мясник, плотник, кузнец! — воскликнул я.— Мне все равно! Я согласен на любой труд, лишь бы быть подальше от этой проклятой журналистики.

Он извлек из портфеля свою визитную карточку, начертал высокопарную рекомендацию и вручил ее мне со словами:

— Отправляйся с этой карточкой к моему уважаемому другу мяснику Фахда. Он сразу возьмет тебя к себе. Я позвоню ему предварительно по телефону и подготовлю почву.

Я крепко пожал ему руку, глаза мои увлажнились.

Домой я шел полный радужных надежд.

— Ты спасена, радость очей моих, выход есть,— торжествующе вскричал я, едва завидев жену.— Я нашел клад: поступаю на одно из крупнейших торговых предприятий.

— Что это за предприятие?

Несколько мгновений я колебался, затем смело выпалил:

— Национальное предприятие по производству мяса, возглавляемое господином Фахда.

— Ты что,— набросилась на меня жена,— хочешь работать у мясника? Горе ты мое!

И она разразилась слезами.

— Ну что ты. Образумься, родная,— пробовал я успокоить ее.— Отныне мясо не будет сходить с нашего стола!

Утром я направился в «крупнейшее национальное предприятие». Оно встретило меня бараниной, телятиной и говядиной, развешанными у входа. На освежеванных тушах красовались красные штампы, как почетные ордена, полученные за героизм на поле боя. Над тушами царили мясники. Ловко орудуя ножами, они резали мясо на части и складывали его в кучи. Я представил себя в центре этой картины или еще хуже — на бойне. По телу забегали мурашки.

Набравшись храбрости, я стал прокладывать себе путь среди груд мяса. В нос ударял тошнотворный запах.

В контору меня проводил мальчик в забрызганной кровью рубахе; в руках он держал длинный нож, напоминавший меч палача.

Контора помещалась позади бойни. Почти все ее пространство было заполнено

телесами хозяина, фигура которого от непомерной тучности казалась квадратной. Рядом с ним находилась усыпанная мясными ошметками тумба, на которой стоял телефон. Хозяин оседлал беднягу так, что тот вот-вот готов был испустить дух.

Когда я вошел, хозяин не обратил на меня никакого внимания. Я стоял, а хозяин все говорил и говорил. «Наверно, беседует с другом»,— подумал я: уж очень фамильярный был разговор, без всяких церемоний и стеснений, пересыпанный грубыми шутками. Наконец хозяин разразился громоподобным хохотом, сопроводив его смачным плевком, который шлепнулся, как бомба, на пол и обдал меня брызгами. Это означало, что разговор окончен.

На мгновение пристальный, изучающий взгляд хозяина остановился на мне. С застывшей улыбкой на лице я вручил ему визитную карточку. Прочитав на ней имя Азуза, хозяин радостно зарычал и указал мне на стул. Я сел. Он же сосредоточенно крутил свои страшные, сильно нафабренные усы. На хозяине был ярко-желтый европейский костюм. Сквозь расстегнутую рубашку виднелась волосатая грудь. Из кармана пиджака небрежно торчал белый с красными полосками шелковый платок — он издавал тяжелый аромат, который, смешавшись с запахом сырого мяса, был просто нестерпим.

Хозяин начал превозносить достоинства Азуза. Он уверял, что может выполнить его просьбу — надо только кое-что выяснить. Например, способен ли я выполнять работу секретаря и насколько я силен в телефонных переговорах.

Не успел он договорить, как задребезжал телефон. Звонила женщина, обладавшая громким, резким голосом. Через мгновение хозяин вступил с ней в яростную перепалку, и у меня не осталось никаких сомнений, что это была его жена.

«Беседа» закончилась тем, что хозяин яростно бросил трубку на рычаг телефона и злобно закурил черную, огромную сигару. Стараясь овладеть собой, он возобновил разговор.

— Да, безусловно, я должен иметь представление о ваших способностях по части телефонных разговоров. Ведь это главное в вашей будущей работе.

Тут опять зазвонил телефон, и хозяин взял трубку.

До моего слуха донесся нежный голосок, полный ласки и легкого кокетства. Сердце хозяина дрогнуло; он весь преобразился и засиял от радости. Тело его обмякло, пальцы ласково заиграли толстой черной сигарой. Он вкладывал в этот разговор все свое искусство соблазнителя, отчаянно пересыпал его словечками и оборотами, почерпнутыми из «реалистической» бульварной литературы. При этом он так раскачивался в кресле, что я начал опасаться, как бы он не опрокинулся назад.

Игривый диалог невыносимо затягивался, а я страдал от удушающего запаха сырого мяса, смешанного с тяжелым благоуханием духов и черной сигары. Однако спустя некоторое время я с удивлением заметил, что эта беседа стала меня увлекать. Постепенно для меня становился ясным смысл игривых переговоров: хозяин приглашал телефонную подругу провести с ним интимный вечер в каком-нибудь укромном уголке...

Беседа кончилась. Любовно и нежно водворил хозяин телефонную трубку на место. Затем сделал глубокую затяжку, медленно, со смаком выпустил дым и, обернувшись, продолжил прерванный разговор.

— Итак, вы видели теперь, что такое телефон. А смогли бы вы обращаться с этим аппаратом с соответствующим умом, умением и тактом?

— Я не знаю, кто может сделать это лучше меня! — пылко вскричал я.— Я просто создан для телефонных разговоров! Вот увидите. Я сумею вам угодить!

Хозяин выбросил изо рта жирное кольцо дыма.

— Прекрасно! Прекрасно! Вот и договорились.

А телефон заголосил снова...

Очень скоро мне стало ясно, что им опять завладела жена. Шум нарастал волнами. Жена требовала, чтобы муж пошел с ней вечером в театр комедии. Муж отказывался, то ссылаясь на дела, то нападая на комедийный жанр, который-де обходит стороной добродетель и не имеет ничего общего с высоким искусством.

Страсти разгорались. Наконец хозяин трахнул трубкой об аппарат, изрыгая потоки брани и проклятий, вряд ли имеющих отношение к добродетели и высокому искус-

ству! После этого наша беседа вновь устремилась в русло выявления моих телефонных способностей.

Телефон же затрезвонил с новой силой.

И так продолжалось все время. Битых два часа пробыл я в этой душегубке, вкушая ассорти из телефонных разговоров хозяина — то с женой, то с красотками, то с друзьями. Я имел возможность аккумулировать в своей голове уйму сведений, которые могли бы послужить материалом для очерка. С удивительной быстротой в моем воображении возникали различные лица, сценки и картины. Я почувствовал, как вселившаяся в меня сатанинская сила так и подмывает меня выскочить вон и бежать без оглядки. А тем временем хозяин заканчивал составление договора об условиях моего найма.

— В добрый час, милейший. Пожалуйста, распишитесь вот здесь. Жалованье хорошее, и работа приятная.

Взглянув в этот миг на его огромные усы, в которых застряли кусочки сырого мяса, я невольно отвел взор. К горлу подступила тошнота.

— У вас есть возражения, сударь?

Я пробормотал:

— Нет, совершенно... Как можно... Ведь это... это...

— Ну так что же?

Я вскочил с места и пулей вылетел вон, стремительно пересек кровавую бойню и пустился бежать по дороге.

Вбежав в ближайшую кофейню, я немедленно потребовал целый кофейник и стопку бумаги.

Работа захватила меня целиком. Я писал, дав полную волю своей фантазии, не стесняясь в выборе выражений и оборотов, отбросив в сторону высокий стиль. Перо мое без всяких опасений смело изображало картины действительности. Я вживался в то, что видел и слышал сам в моем новом университете, деканом которого оказался мясник Фахда.

Как только очерк был закончен, я поспешил в редакцию «Управляемых ракет». Влетев в кабинет главного редактора, я торжественно развернул перед ним свой труд. Тяжело дыша, я промолвил:

— Вот моя новая статья.

Он окатил меня презрительным взглядом.

— Прочитайте, пожалуйста, и сообщите ваше мнение,— продолжал я.

Главный редактор еще раз окинул меня взглядом и отрезал:

— Приходите завтра, и я скажу вам свое мнение.

...На другой день я вышел из дому и направился в редэкцию. Взволнованно дыша, я подошел к кабинету главного редактора. Увидев меня, он поднялся и радушно меня приветствовал:

— Поздравляю, устаз. Я включил вас в редакторскую группу первого разряда. Отныне всегда будете получать гонорар по высшей ставке. А вы должны нас почаще радовать такими оригинальными журналистскими находками.

Не веря своим ушам, я пробормотал:

— Да продлит аллах ваши годы...

Главный редактор вручил мне свежую газету и указал на статью, напечатанную на видном месте.

— Это ваша статья! Я изменил в ней лишь название и придумал вам новое, более подходящее литературное имя, которым вы будете подписывать теперь ваши публикации.

Я взял газету и приступил к чтению.

«МЯСНИК НА БОЙНЕ, ИЛИ МУЖ «ОСВЕЖЕВЫВАЕТ» СОБСТВЕННУЮ ЖЕНУ НА ПУБЛИЧНОМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ ВЕЧЕРЕ. *Блестящий пресс-репортаж писателя-юмориста устаза Фигляра».*

...С этого дня все изменилось в моей жизни: и мое жалованье, и образ мыслей, и литературный почерк — даже имя! Действительно, переворот так переворот: был Рафиу-д-Дином, стал устазом Фигляром!

Изменилось все!

Высохли слезы жены, умолкли ее вопли и причитания. Их сменил звонкий, радостный смех. Что же касается книжного шкафа, то я порвал с ним всякие отношения и повесил на него тяжелый замок. Расстался я и с аль-Мутанабби *, и с Ибн Хальдуном **, и с аль-Джахизом ***, и с другими выдающимися умами и корифеями мысли. Пусть они спят глубоким сном в своем книжном склепе! У меня уже нет необходимости прибегать к высокому авторитету этих гигантов мысли.

Теперь я провожу вечера, лавируя между кофейнями и ресторанами, ночными клубами и другими увеселительными заведениями. Я танцую рок-н-ролл и вдохновляюсь в своем творчестве бедрами красавиц. Я охочусь среди столов питейных заведений за остротами и забавными выражениями, ловя их из уст шутников и их веселых подруг.

Хватит с меня того злосчастного времени, когда я жил со скованным умом и отсталым мышлением, прозябая в безвестности.

Приветствую тебя, сегодняшний день! Теперь я иду в ногу с веком и не отстаю от духа времени.

Перевод с арабского А. МЕТЛОВА

---

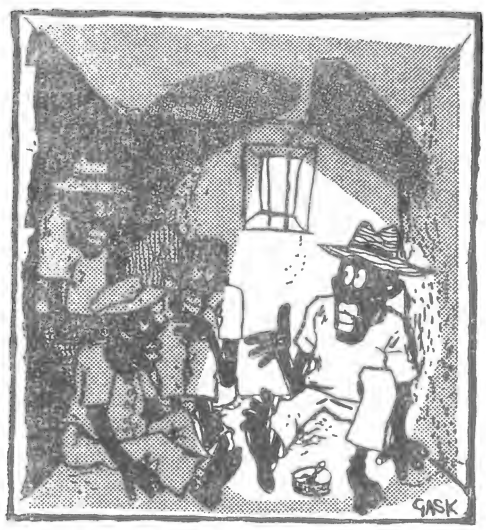
* Арабский поэт (915—965).

** Магрибинский историк и социолог (1332—1406).

*** Арабский литератор, философ и филолог (умер в 869 г.).

Хозяин лавки (сыну):
— Скажи матери, чтобы сварила бобы. То, что в лавке, нам не по карману.

Рис. ЛЕЙСИ (ОАР)



— Верно! Весь мир — театр. Но почему же нам достаются только самые плохие роли?

(Из журнала «Южная Африка в изгнании»)

— Для черной Африки тут достаточно света!

(Из журнала «Южная Африка в изгнании»)

АВСТРАЛИЙСКАЯ ШУТКА

ПАЧКА НЕБЫЛИЦ

Вагон аделаидского поезда распирало от табачного дыма, бакенбард и небывальщины — здесь собралась типичная компания доморощенных юмористов. Шло нечто вроде состязания — доказать, кто из самых дальних мест родом. Собрали полную шляпу монет, выигравший должен был забрать все деньги.

— Так вот,— начал один,— родом я из тех мест, искать которые нужно в самом верху карты. Родом я оттуда, где берут начало волны жаркого воздуха, что так часто проходят над Австралией. Там бывает так, что иным утром по одну сторону ограды тебе может опалить брови, а по другую — отхватить морозом ногу.

— Недурно! — отозвался другой, раскуривая трубку старой шведской спичкой.— Только моя история еще почище этой. Я родился в тех местах, где берут начало дожди. Дальше тех мест, откуда я родом, уже нет никаких дождей. Бывают дни, когда вот тут хлещет дождь, а вон там, в зарослях, бушует пожар. Станешь под дождь — захлебнешься, побежишь от него — сгоришь.

— А спастись-то как же? — спросил кто-то, думая поймать рассказчика на слове.

— А вот так,— ответил старый болтун.— Когда был потоп, я затыкал рот пробкой от бутылки из-под виски и пускался вплавь, а когда был пожар — надевал асбестовый костюм. Понятно?

Небылицы громоздились одна на другую, так что в конце концов крыша вагона стала подниматься. Но вот очередь дошла до последнего. Это был стреляный воробей. Шляпа с отвислыми полями прикрывала его целиком, наподобие тента, из-под которого выглядывало лицо, точь-в-точь как корень низкорослого эвкалипта.

— Ничего не скажешь,— заметил он.— У вас получалось недурно, совсем недурно, только все равно я вас за пояс заткну. Место моего рождения дальше, чем у всех вас, вместе взятых. Там, где я родился, нет ни одной мухи (при этих словах у всех отвисла нижняя челюсть!), но это еще не все. В местах, откуда я родом — и это сущая правда,— так вот, в местах, откуда я родом, люди не знают, что такое пиво!

Монеты достались ему.

МОЯ ЛУЧШАЯ ОВЧАРКА

Недавние наводнения в северо-западной части Нового Южного Уэльса унесли массу людей. Наш корреспондент, проведший идиллическую неделю в тех местах, никак не ожидал увидеть здесь цветущий край, а не пустыню, ибо мы именно так представляли себе эту местность.

Из сборника «Австралийский юмор, баллады, легенды и предания австралийского народа».

Наводнения здесь такие, что сегодня перед вами — солончаковая равнина и красные пески, а завтра, насколько хватает глаз,— сплошная водная гладь.

Однажды утром, прекрасно выспавшись, наш корреспондент вышел на балкон, и его взору предстало нечто вроде океана грязи, плескавшегося у его ног. Но больше всего его поразил собачий хвост, торчавший над водой наподобие перископа подводной лодки. Продвинувшись на сотню ярдов вправо, хвост замер на месте, затем передвинулся на полсотни ярдов влево. Какой-то старик, пристроившись в углу балкона, внимательно наблюдал за собакой. Наш корреспондент спросил:

— Что с ней? Она тонет?

Губы старика скривились в презрительном смешке.

— Как бы не так,— медленно проговорил он.— Это моя лучшая овчарка. Я приказал ей загнать стадо овец, и никакое наводнение, черт подери, не помешает ей сделать это!

ДЕЙВУ ДЕЛАЮТ ВНУШЕНИЕ

Дейв, недовольный жизнью на ферме, собирался покинуть родное гнездо и поступить на военную службу.

Мама, беспокоясь за своего тридцатипятилетнего сына, который отныне будет подвержен всем соблазнам большого города и превратностям армейской жизни, сказала папе, что следовало бы сделать мальчику внушение.

Улучив момент, когда они были в поле за фермой, папа, покашливая, начал:

— Остерегайся там этих самых... напитков, Дейв.

— Что ты, папа! Я сроду не брал в рот спиртного.

Продолжая лекцию, папа разразился тирадой против азартных игр. Дейв заверил, что он за всю свою жизнь и пенса на карту не поставил.

— А теперь, значит, насчет женщин...— сказал папа.— Это ловушка для молодых парней, ты можешь нажить через них кучу неприятностей.

— О господи! — сказал Дейв.— Связаться с женщиной — вот уж чего я никогда не сделаю!

Папа возвратился к маме несколько обескураженный и задумчивый.

— Ты поговорил с ним? — спросила она.

— Да,— ответил папа,— можешь быть спокойна. Его вряд ли возьмут в армию: он ненормальный!

□ □ □

Чтобы сварить хороший суп из какаду, птицу кладут вместе с обухом в котелок и кипятят до тех пор, пока обух не размякнет. Это верный признак, что какаду поспел.

□ □ □

У меня был один знакомый погонщик волов по имени Мик Восьмидесятимильный. Для краткости мы звали его Мик Семидесятидевятимильный.

И волы у него были такие худющие, что дождаться от них тени можно было, лишь заставив их стоять на месте полчаса, не меньше.

□ □ □

Свэгмен. Есть тут где-нибудь колодец, Джеки?

Абориген. Откуда ты знаешь, что меня зовут Джеки?

Свэгмен **(подмигивая дружку).** Догадываюсь.

Абориген. Тогда догадайся, где колодец!

— «Поезжайте в Австралию, там есть работа для всех».
— Смотри-ка, оказывается у нас, в Австралии, есть работа для всех.

Рис. МОУЛЛИК (Австралия)

КАЮТЫ «САМОЦВЕТА»

«Самоцвет» был одним из знаменитых колесных пароходов прошлого века, сновавших вверх и вниз по Муррею.

Про его каюты, которые были слишком тесны, говорили, что они нарочно построены с таким расчетом, чтобы в них вмещалось как можно меньше комаров.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Всем известен анекдот об указателе на стыке двух дорог, гласившем: «На Тимбукту. Кто не умеет читать, пусть спросит кузнеца напротив». Не знаю, существовало ли в действительности именно такое объявление, зато мне случалось видеть другие, столь же необычные. Например, невдалеке от вершины горы Большого Джека, что на южном побережье Нового Южного Уэльса у пересечения дороги и небольшой речушки стоял столб с объявлением: «Если знак под водой, пересекать реку опасно».

В Парраматтском районе (Новый Южный Уэльс) есть большая вывеска, на кото-

рой значится: «Дом Большого Булочника». Однако вывеска висит не на его доме, а на булочной! Взглянув на надпись: «Берегись пешехода», воздвигнутую на Кольцевой набережной, можно подумать, что пешеходы Сиднея — свирепые, опасные существа. Надпись была задумана как напоминание водителям быть осторожными на слепом перекрестке — это было нужно, пока строилась подземная железная дорога.

Наиболее выразительный дорожный знак из всех, какие мне приходилось видеть, висел над въездом на большое кладбище. Это был знак: «Одностороннее движение». Будем надеяться, это относилось только к транспорту!

На бакалейной лавчонке в деревне, куда часто наезжали рыболовы, висела надпись: «Сегодня есть черви». Имелась в виду приманка для рыб. В Синих горах Нового Южного Уэльса кто-то соорудил небольшое объявление: «Замри и вслушайся в тишину». Мне нередко случалось видеть там людей, напряженно к чему-то прислушивавшихся, и удивительно ли, когда один спрашивал другого: «Я ничего не слышу. А вы?»

Один парикмахер, он же табачный торговец в сиднейском пригороде, очень ловко играл на пристрастии австралийца к азартным играм. В витрине его заведения виднелось объявление: «Здесь можно З. П.». Первое, что приходит в голову австралийцу при упоминании «З. П.»,— это заключить пари с денежной ставкой. Но надпись мелкими буквами, которую можно было разобрать, лишь подойдя вплотную к витрине, уведомляла вас, что в данном случае «З. П.» означает: замечательно побриться.

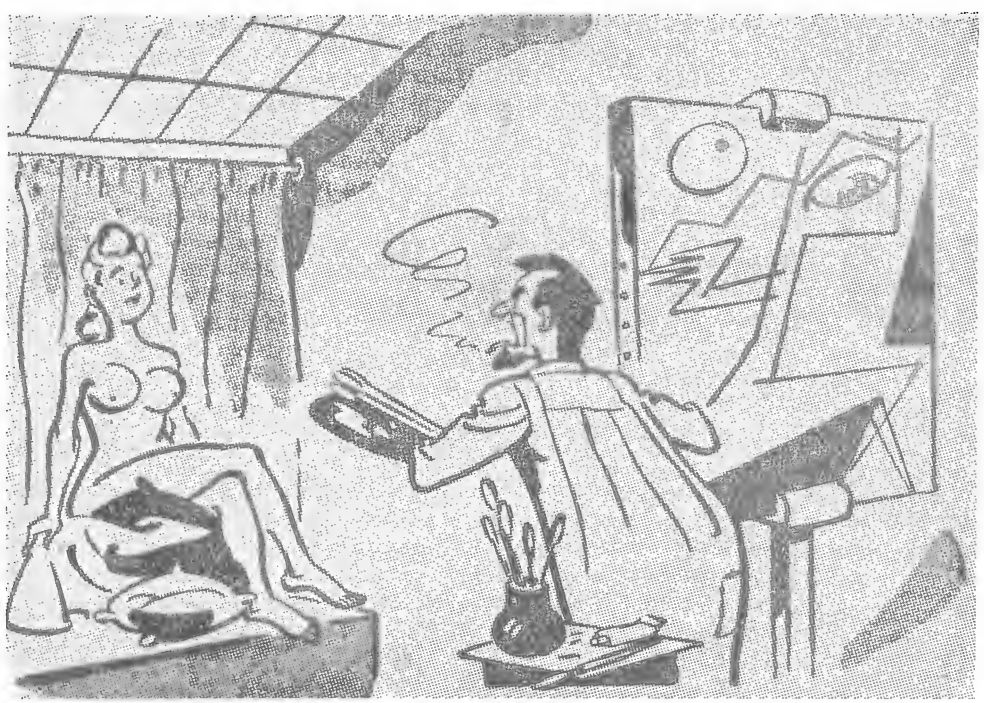
Один старик, которого сильно донимали посетители, вечно оставлявшие калитку открытой, вместо обычного: «Закрывай калитку» вывел на ней краской: «Ты оставил ее открытой при входе».

Около номерного знака одной машины я однажды заметил небольшое объявленьице, гласившее: «Если можно прочесть эту надпись, ты подъехал слишком близко», а на задней части кузова другой было написано: «Пожалуйста, не корябайте мне зад».

Перевод с английского В. СМИРНОВА

«Не двигайтесь. Вы мне мешаете!»

Рис. ЛАСБИ (Австралия)



Е. ГАЛЬПЕРИНА

ЖАК РУМЭН

Когда жизнь призывает,
надо ответить: «Здесь!»
Ж. Румэн
«Властители росы»

Трубач, возвещающий зарю окровавленной медью своего горна...

Этот драматический образ заканчивает элегию Н. Гильена, написанную на смерть Жака Румэна.

Трудно найти образ, который выразил бы сильнее смысл и пафос жизни Румэна. Все знавшие его неизменно говорят о редком обаянии его личности. Выдающийся деятель Гаити и основатель Гаитянской коммунистической партии, поэт и романист, ученый-этнограф и дипломат, Румэн удивляет своей разносторонностью, но еще более цельностью своей стремительной, трагической, рано оборвавшейся жизни. Поэт и революционер во всем. Может быть, это хотел сказать Гильен своей строкой: «Он был из лунного света и стали».

В этом году исполняется двадцатилетие со дня смерти Жака Румэна. Но не только эта дата заставляет нас вспомнить о нем. Конечно, для гаитянской интеллигенции имя Румэна — знамя. Ж.-Ст. Алексис верно назвал его постоянным послом Гаити во всем мире. Но значение наследия Жака Румэна, думается, гораздо шире. Во многих дискуссиях наших дней, которые ведутся в кругах африканской интеллигенции, мог бы громко прозвучать голос Румэна, его призыв к интернационализму, к единству народов всех рас, связанных общностью страданий и борьбы. Опыт поэзии Румэна, поэзии высокого мастерства, значим для молодых поэтов не только его родины. Переведенный на многие языки роман Жака Румэна «Властители росы» пролагал путь не только революционной гаитянской литературе, но и литературам новых молодых государств на других континентах.

Голос Румэна слышится и там, где идут споры о судьбе и возможностях человека нашего времени — века, породившего величайшие страдания и унижения людей, низводимых до уровня «насекомого» Кафки, и века величайшего героического взлета, породившего тысячи и тысячи героев, которые далеко оставили за собой людей эпохи Возрождения.

■

Жак Румэн не вышел из глубин народа. Он родился в 1907 году в среде мулатской гаитянской знати и был внуком бывшего президента Гаити. Богатство, имя, талант, высокая культура открывали перед ним то, что обычно называли «блестящим будущим». Румэн отверг его и отдал жизнь за босоногих, голодных и нищих негров — за будущее своего народа.

Друг Румэна гаитянский поэт Жан Бриер писал после его смерти:

...Он презирал все то, что поколенья предков
скопили для него —
все эти титулы, и ранги,
и привилегии, и предрассудки,
и золото, и власть...
...он знал, что там, вдали,
за пышными кварталами Буа Верна,
где улица сменяется дорогой,

а дом — убогой хижиной,
страдает раса угнетенных...
Он вырвался.
Отрекся.
Сжег эполеты, найденные в колыбели.
Издевался
над обществом лакеев...
...и с горечью проклятий на губах
он во главе бойцов пошел в атаку
на эти титулы, и ранги,
и привилегии, и предрассудки,
и золото,
и власть.

Получив образование в университетах Швейцарии, Румэн побывал в Германии, Франции, Англии, Испании. Владея немецким, английским и испанским языками, он смог глубоко узнать европейскую культуру. Ему едва минуло 20 лет, когда он в 1927 году вернулся на родину и бросился в политическую борьбу.

Как и его ближайшие друзья и соратники, Жак Румэн принадлежал к поколению, которое в Гаити называют «поколением оккупации».

В 1915 году экономическое проникновение на Гаити Соединенных Штатов сменилось открытой интервенцией. Американская морская пехота («марины») высадилась на Гаити, и верховный комиссар США стал фактическим хозяином страны. В годы оккупации (1915—1934) положение Гаити немногим отличалось от положения колонии. Золото Национального банка было вывезено в США. («Альбиносы бросились на звон монет, как псы на добычу»,— скажет позднее поэт Эмиль Румэр.) Президентами утверждались ставленники США. Законодательные органы стали игрушкой госдепартамента. В деревнях свирепствовала жандармерия под началом американцев. Крестьян сгоняли на строительство дорог, как в африканских колониях. В деревнях стали ходить слухи о восстановлении рабства. В 1918 году на севере и в центре Гаити с большой силой вспыхнуло восстание крестьян (какосов) во главе с Шарлеманом Перальтом. В 1919 году Перальт был убит «маринами», и к 1920 году восстание было подавлено со страшной жестокостью. Ограбленная, разоренная страна, в прошлом страна героической и победоносной революции, тяжело переживала унижения оккупации. Грохот сапог янки по земле Лувертюра и Дессалина отдавался в сердцах, как погребальный звон. Горечь и гнев, охватившие интеллигенцию, жажда защитить свое национальное достоинство, утвердить свои национальные культурные ценности породили литературное движение «эндиженизма» *. Когда в 1927 году двадцатилетний Жак Румэн вернулся на Гаити, он стал одним из создателей и вдохновителей журнала «Ревю эндижен», объединившего передовую литературную молодежь. В нем были напечатаны первые стихи, рассказы, переводы Румэна.

Литература идеологического Сопротивления обращалась к своим, национальным, гаитянским ценностям, резко отталкиваясь от подражания европейской, особенно французской, культуре, подражания, столь распространенного на Гаити в начале века. Одни обратились к национальной истории, ее героям и победам. Так, Жан Бриер в своих драмах и поэмах воспел героические дни гаитянской революции. Другой формой национального самоутверждения стало обращение к Африке. В атмосфере оккупации гаитянин снова остро ощутил себя негром. Легко понять причины этого. Историк гаитянской литературы Г. Гуреж пишет о высокомерии американцев, почувствовавших себя после первой мировой войны хозяевами положения: «Средний американец хотел, чтобы Америка была повсюду и чтобы он всюду находил свою яичницу с ветчиной и своего негра, которого он мог бы презирать». Что же говорить о зверствах солдат янки, среди которых было немало южан, привыкших к линчеваниям и очутившихся вдруг в завоеванной ими стране людей с черной кожей. Не удивительно, что последовала немедленная ответная реакция гаитян, и она определила тогда образы и интонации молодой литературы. Возник острый интерес к гаитянскому фольклору, к гаитянским религиозным верованиям (воду́), к общности исторических судеб гаитян и африканцев. Позднее Румэн напишет:

Африка! Я стал твоей памятью, Африка!
Ты во мне,
Как заноза, засевшая в ране,
Как священный фетиш посредине селенья.
Преврати меня в камень твоей пращи,
Мои губы — в края твоих ран,
Мои ноги — в повергнутые колонны
твоего унижения...
(Перевод Д. Самойлова)

Африка — прародина негров Вест-Индии— осознавалась не только как Мать-Страдалица, чьих сыновей превратили в рабов, но и как земля великих древних цивилизаций, которыми могли гордиться и гаитяне.

Однако для Румэна, а возможно и для некоторых из его друзей-интеллигентов, образ «негра» имел еще другой, более личный и вместе с тем социальный смысл. В стихотворении «Когда бьет гамтам» Румэн писал о глубинном потоке, увлекавшем его жизнь

* От слова «indigène» — туземный, местный *(франц.)*.

к далекой земле предков, склонивших над водами темные лица. Отречение от верхушки гаитянского общества, путь к народу естественно осознавался и как путь к миллионам негров-крестьян, которые стали героями книг Румэна и его больших поэм.

Но движение «эндиженизма» было весьма пестрым. Для некоторых литераторов «негризм» становился самодовлеющим, а увлечение фольклором — самоцелью. К ним принадлежал и гаитянский ученый Ж. Прайс-Марс, близко связанный впоследствии с группой «Презанс африкэн». За кратковременным «Ревю эндижен» возник журнал «Гриоты», редактором которого был Карл Бруар, в то время яростный певец африканизма, а впоследствии столь же безудержный апологет католической мистики. Другими путями шли Румэн, Жан Бриер и их друзья. Для них своеобразный «негризм» той поры был лишь полемической формой национального патриотического возрождения, этапом, через который они шли к иным идейным рубежам. История этой эволюции невольно вспоминается сейчас, когда всматриваешься в идеологические процессы современной Африки.

К концу 20-х годов оцепенение, ужас и подавленность, в которые была повергнута страна террором оккупации и разгромом крестьянских восстаний, сменяется новой волной сопротивления. Вероятно, известную роль сыграл здесь и кризис, начавшийся в США в 1929 году. Казавшийся всесильным, противник обнаружил свои слабые стороны. Во всяком случае, в 1929—1930 годах страна снова увидела крестьянское восстание, снова залитое кровью. Но на этот раз оно было поддержано мощной волной забастовок, широкой волной оппозиционного движения. Город и деревня, крестьяне, национальная буржуазия, интеллигенция, учащаяся молодежь поднимались против оккупантов.

Румэн с головой ушел в политическую борьбу, и его влияние в стране было связано прежде всего с его политической ролью. В широком фронте антиимпериалистического Сопротивления Румэн возглавил авангард, объединивший студенчество, передовую интеллигенцию, немногочисленных в стране рабочих. Он стал председателем созданной им «Лиги патриотической молодежи Гаити». Его решительность, твердость, пылкость, постоянное презрение к опасности создали ему огромную популярность.

Румэн был во главе тех молодежных выступлений, которые поддержали крестьянское восстание и переросли во всеобщую стачку и вооруженное сопротивление.

Впервые арестованный в 1929 году и вскоре выпущенный, Румэн был вновь брошен в тюрьму. Но американская интервенция шла уже к концу. В 1931 году 24-летнему Румэну предлагают пост в министерстве внутренних дел. Он соглашается, но через несколько месяцев уходит. В том же году президентом был избран Стенио Венсан, правый лидер антиамериканской оппозиции. Снова Румэн приглашен на пост в правительстве. Популярного вожака левых и молодежи пытаются то изолировать, то приручить. Из попыток приручить, однако, ничего не вышло. Напротив, в 1932—1933 годах резко определяется противоположность путей народных масс и гаитянских верхов, протестовавших против военной интервенции, но готовых принять экономическую интервенцию 30-х годов. Румэн окончательно уходит из правительства. В его взглядах идеи национального освобождения все более отчетливо и неразрывно связываются с задачами социальной революции, с идеями коммунизма. Первой попыткой марксистского освещения гаитянской действительности стала написанная в это время работа Румэна «Схематический анализ 1932—1934 годов». В 1934 году он стал основателем Коммунистической партии Гаити и ее генеральным секретарем. В том же году Румэн снова арестован. На этот раз его судил военный трибунал и приговорил к трем годам тюрьмы. В том же 1934 году новый президент США Ф. Рузвельт наконец отозвал американские войска с Гаити. Открытая военная оккупация была закончена. Начинался период, когда, опираясь на проамериканскую политику гаитянских властей, США превращали разоренную, нищую страну в свою полуколонию.

■

В 1930—1931 годах, в годы лихорадочной политической деятельности, Румэн издал свои первые книги прозы: сборник рассказов «Добыча и тень» (1930), «Марионетки» (1931) и повесть «Заколдованная гора» (1931).

«Добыча и тень», как и «Марионетки»,— это портрет гаитянской интеллигенции «по-

коления оккупации». Иронический, гневный портрет поколения, уже привыкшего к унижениям, к мысли, что все равно ничего сделать нельзя, что все они обречены на бессилие и бесплодие. Несколько характеров дают разные варианты этой «привычки к отчаянью». Даниэль, признавая свою трусость перед жизнью, испытывает болезненное удовлетворение в самой горечи стыда. Поэт Эмилио находит свою музу в вульгарной жирной торговке, но, презирая и ее, и себя, и свою «игру в слова», где-то в глубине души мечтает о величии, о подлинности («Оборванные слова»). Ученый-педант— это хранитель идей-трупов. Он — «поле, ставшее бесплодным», «дерево, откуда разлетелись птицы». Но он и сам знает это, сам признает свое банкротство («Отрывок из исповеди»). Молодой поэт Севр слышит в баре слова случайного соседа, которому висящая на гвозде куртка напоминает повешенного. Севр идет домой и вешается. Почему? Потому что отчаянием пропитан самый воздух, сама нависшая надо всем ночь. Довольно пустяка, чтобы победила смерть («Куртка»).

Проза подчеркнуто скупая, точная, предельно напряженная, как ранние стихи Румэна. Проза, освобожденная от описаний, декораций, сюжета. Ощущение сгущенной духоты. Редкие метафоры, эпитеты всегда жестки: «Раздавленная плоть домов», «Металлический цвет моря...», «Лучи рассвета тянутся, как бледные пальцы, оставляющие на холмах грязные следы...»

В «Предисловии к жизни бюрократа», может быть, есть известная автобиографичность: минуты возвращения на родину и счастье снова увидеть свой народ; дом Мишеля Рэя —богатая и пошлая тюрьма; уродливая теща, отрекающаяся от своего негритянского прошлого,— символ жалкого «общества». У Рэя есть все — имя, место в министерстве, мир в семье. Нужна ли борьба, где ты заранее видишь себя жертвой? Способен ли ты на этот прыжок, на этот подвиг Геркулеса? И, наконец, самый страшный вопрос «зачем?», который уже и не вопрос, а ответ.

Даже самые смелые, самые сильные знают эти минуты, когда человек говорит себе: «Да минует меня чаша сия». Все дело в том, как он поступит после этих минут. Мишель Рэй достает револьвер. Кончить? Он берет лист бумаги и пишет просьбу о месте в министерстве. Общество втянуло его. Ирония Румэна безжалостна.

Что это, исповедь или свидетельство? — спрашивал в своем предисловии Антонио Вьё. И отвечал: свидетельство, говорящее не только о судьбе одного, но и о моральной нищете целого поколения. Был ли Румэн свидетелем обвинения? В этих страницах — и понимание, и жалость, и презрение, но прежде всего желание разбудить если не «живых», то тех, в ком еще теплится жизнь.

Развивая эту тему в «Марионетках», Румэн взял эпиграфом слова Ф. Сологуба о том, что есть бесполезные люди—кажется, что это человеческие существа, но в действительности они не существуют. «Марионетки» — не роман и не повесть. Это наброски, объединенные сквозными персонажами. Редакция газеты, светский бал, предвыборная кампания, любовная история, и всюду, во всем то же бесплодие интеллигентов. Блеск афоризмов, фразы, за которыми — души, изъеденные скепсисом. Молодой Марсель Баскэ (новый вариант Рэя) не может ни любить (ирония превращает чувства в мучительство), ни творить (зачем?), ни действовать (он презирает политику и патриотизм). Остается поза, а за ней отчаяние и ненависть к себе. Наиболее зрелый из них журналист Сантьяг, умный, одинокий, усталый, как будто находит какое-то равновесие в «мудром» созерцании. Но он знает, насколько этот внешне достойный путь никуда не ведет. Это мнимая жизнь. И если есть честный политик, то он беспомощен перед демагогами. И если есть воля к сопротивлению, то вот она: жалкий, дряхлый, опустившийся старик генерал, оловянными солдатиками играющий в сопротивление оккупантам.

Интеллигенция, которая не может ни приспособиться к атмосфере оккупации, ни бороться против нее. Сейчас, через 30 лет, характеры, созданные молодым Румэном, сохраняют всю свою остроту для гаитянской интеллигенции. И только ли для Гаити? Причины в разных странах и в разных условиях меняются. Но повторяются эта болезнь воли, бессилие мысли и чувства, это пригибающее человека «зачем?». Разве мы не видим их во «втором потерянном поколении» Европы и Америки? Важно, чтобы нашлись люди, способные, как Румэн, бросить жесткую правду в лицо своего поколения, как он, яростно сопротивляться духовному распаду.

Если в этих книгах Румэна — трагедия интеллигенции, то в повести «Заколдованная гора» — трагедия деревни. Эта повесть

вводит в гаитянскую прозу народ, крестьянство, пролагая путь для ряда гаитянских романов о деревне 30-х и 40-х годов. Традиции этой крестьянской повести в гаитянской прозе отзовутся в романах Ж. Синеаса «Драма земли» (1933) и «Месть земли» (1933), в «Хижине Дамбаллы» (1939) П. Савэна, в книгах Тоби Марселена, вплоть до более позднего романа Эдриса Сент-Амана «Господь бог смеется» (1952).

Герои «Заколдованной горы» — гаитянские негры, о которых шла речь в манифестах журналов «Ревю индижен» и «Гриоты», крестьяне с их бытом, фольклором, суевериями. Но достаточно сравнить предисловие к повести гаитянского ученого Прайс-Марса и самую повесть, чтобы увидеть, насколько различное понимание вкладывалось разными литераторами в понятие «негризма», фольклоризма и т. д. (В других условиях и в другом варианте этот контраст повторяется сейчас в африканских литературах.) Прайс-Марс хвалил молодого автора за обращение к крестьянской теме, а она для Прайс-Марса прежде всего связана с религией, поскольку «примитивное всегда религиозно». И достоинство этой прозы для Прайс-Марса было в том, что в очаровании гаитянских верований, где причудливо смешано христианство с древними африканскими религиями, пропитывавшими весь быт и фольклор крестьян. Румэн видит народ иным. У него нет речи об «очаровании древности». Эта жесткая, сухая проза говорит о жестокой печали деревень, о людях, отданных во власть стихий. Земля, растрескавшаяся от засухи. Ливни, уничтожающие урожай. Дети и животные, погибающие от лихорадок, от непонятных болезней. Безысходный голод. Бог не сжалится — «ведь он белый, как и святые». Люди пропитаны суевериями. Они знают, что они бессильны. Они уже привыкли к отчаянию, к нищете. Они даже не ищут выхода. И только когда страх перед гибелью становится неистовым, они в попытке отвести злую руку судьбы идут на преступление. Убивают старую Пласинетту, подозреваемую в колдовстве, и ее дочь. Повесть мрачная, предельно лишенная идилличности и какой бы то ни было идеализации религии. Единственный ее пафос — ужас этой неподвижной, застывшей в нищете деревни. Но в крестьянах Румэна нет ничего звериного. Это — люди, искренние, хорошие люди. Дух «кумбиты», дух общины еще теплится в них. И видно, что звериная жестокость их преступления — только от беспросветной темноты. Как вырвать из нее крестьян? Вот единственный вопрос, встающий перед читателем. В повести нет ответа.

Ответом было создание коммунистической партии.

1934 год. Жак Румэн в тюрьме, в той же самой мрачной тюрьме Фор-Диманш, где сейчас заключен Жак-Стефен Алексис. И именно в романе Алексиса «Генерал Солнце» (1955) мы под чуть измененным именем Пьера Румеля находим Румэна. Видим его зверски избитого, но по-прежнему дерзкого, упрятанного в карцер — каменный гроб, но не сломленного, находящего в себе силы подбодрить простого негра, сказать ему «волшебные слова»: «Верь в свои силы!»

Румэн был освобожден досрочно, но ему дали понять, что его пребывание на Гаити могло бы кончиться «несчастным случаем». Ему пришлось уехать, оставляя родину и небольшую раздробленную партию, он уехал непокоренным, но с подорванным здоровьем.

Позднее он будет вспоминать этот день, когда начиналось изгнание, в лирическом вступлении к поэме «Черное дерево»:

Если лето дождливо и пасмурно,
И небо, полуприкрытое веками туч,
Сонно глядится в пруды,
И пальма разорвана ветром в лохмотья,
И гордыня деревьев чернеет в ветрах
и туманах,
И ветры кидают саванне обрывки
траурных песен,
И тень притулилась у брошенного очага,
И дикие крылья, как парус, несут наш
остров к крушеньям,
И в сумерках тонет разодранный взлет
прощальных платков,
И птица изранена криком разлуки,
Ты уйдешь,
Ты покинешь родное селенье.
Залив и горькие лозы,
Следы твоих ног на песке...

(Перевод Д. Самойлова)

■

Изгнание началось в Бельгии. Потом Париж, Париж времен Народного фронта, антифашистского подъема, гражданской войны в Испании. Все жили Испанией. Стихи Румэна появлялись во французских коммунистических журналах. В 1937 году в «Коммюн» было напечатано стихотворение Румэна «Мадрид» — трагический образ испанской земли, истерзанной войной и все же бывшей для всего мира символом надежды. Сквозь искаженный страданиями облик Испании у Румэна проступал облик иной вой-

ны, прелюдией к которой была испанская. Проступал «век огня и стали», «время апокалиптической саранчи», когда все мирное и нормальное — шорохи листвы или женский смех — кажется немыслимым и неправдоподобным. Сколько раз потом в мировой литературе повторялась эта мысль! Как и многие, Румэн понимал, что у стен Мадрида решаются судьбы не только Испании, что там уже начиналось столкновение сил «преступления» и «братства», прошлого и будущего. Для него «в этой безымянной крови рабочих и крестьян рождается мир, где с лица людей будет стерто горькое клеймо единственного равенства — равенства отчаяния».

Гильен вспоминает, как он познакомился с Румэном в 1937 году в Париже, проезжая в Испанию на II Международный конгресс в защиту культуры. Возвращаясь из Испании, Гильен снова встретился с Румэном, и тогда-то между ними завязалась тесная дружба, которая была продолжена на Кубе в 1939 году, где Румэн провел часть своего изгнания.

В Париже Румэн занялся этнографией и палеонтологией, работая под руководством известного ученого Поля Риве. Но наука и политика были для Румэна неразрывны. Этнограф и публицист сражались вместе. С какой остротой звучит сегодня статья Румэна «Обиды негра», написанная в пору расистских погромов в Германии и легализованных линчеваний в США, когда разговоры о чистоте «стопроцентных американцев» перекликались с расистскими бреднями Геббельса. Румэн с иронией писал об утверждениях этнографов-расистов о чистоте белой расы, указывая, что смешение рас лежит в основе населения современной Европы. Он издевался над утверждениями расистов о якобы неполноценности черной расы, о пресловутой «защите белой женщины» (а кто же защищает черных женщин от посягательств белых?). Он вскрывал не только корни расизма на отсталом американском Юге, но и смысл натравливания друг на друга белых и черных американцев, ибо вместе они представили бы грозную силу, которая могла бы потрясти установленный порядок. Намного возвышаясь над идеями «негритюда» *, Румэн всюду, в статьях и поэмах, звал к *единству народов всех рас*. Этот пафос интернационализма пронизывает и созданную в то же время лучшую поэму Румэна «Черное дерево».

В 1939 году надвигалась война, и Румэну пришлось перебраться в США, где он продолжал работу по этнографии в Колумбийском университете. В 1941 году с приходом на Гаити к власти президента Эли Леско Румэну разрешают вернуться на родину. «В это время,— вспоминает Гильен,— я впервые увидел Румэна на родине и видел огромное влияние на молодежь его личности и его книг... Его жизнь имела почти магический отзвук...»

В сложных условиях военных лет на Гаити власти развернули кампанию против водуистских суеверий, католическая церковь уничтожала в деревнях святилища воду́. Румэн повел блестящую и острую полемику против католического духовенства в газете «Нувеллист» и в большой статье «По поводу кампании против суеверий».

Бессмысленно пытаться уничтожать эти верования террором, писал там Румэн, их могут уничтожить только наука, школы, как знахаря может уничтожить только больница. Надо вести кампанию не против суеверий, но против нищеты.

Шла война. Политическое положение обострялось. Румэну был предложен пост консула в Мексике, почетный, но все же удалявший его от родины. В те годы в Мексике собралось много интеллигентов-антифашистов — консул Чили Пабло Неруда, немецкие писатели Анна Зегерс, Людвиг Ренн. Румэн работал, переводил стихи своего друга Гильена, писал роман «Властители росы», законченный за месяц до смерти. В 1943 году он внезапно тяжело заболел, но все же поправился. В августе 1944 года, проезжая на родину через Гавану, он показывал Гильену свои переводы его стихов, которые собирался опубликовать на Гаити. Он не смог этого осуществить, как и многих других замыслов. Он умер 18 августа 1944 года в Порт-о-Пренсе, 37 лет, не исчерпав и малой доли своих творческих сил, умер как раз тогда, когда приближающийся конец войны открывал возможность нового революционного подъема. Уже посмертно был опубликован роман «Властители росы» и маленький сборник, куда вошли две поэмы: «Черное дерево» и «Грязные негры» (1945). В Гаити никогда не издавались ни сборники стихов Румэна, оставшихся разбросанными

* «Негритюд» — идеология «паннегритянства», характерная для некоторых писателей и общественных деятелей Африки. Согласно теории «негритюда», существует некая «общенегритянская культура», негро-африканская цивилизация.

в журналах и антологиях Гаити, Франции, США, Латинской Америки, ни его переводы, ни роман «Поле Потье» и другие неоконченные прозаические наброски. На родине Румэна, где после кратких революционных выступлений 1945—1946 годов свирепствует жестокий и мрачный произвол, власти предпочитают изгонять и уничтожать поэтов, а не издавать своих классиков.

■

Жизнь и смерть Жака Румэна неразрывно связаны с трагическим обликом Гаити. Гильен писал:

Но ты останешься навеки
Огромной каменной страницей,
Дочитанной сегодня до конца,
Огромной, всеми читанной страницей,
Которую все знают наизусть,
Которую никто не повторит,
Которую никто не вырвет
Из этой страшной книги гаитянской,
Трагической открытой книги,
Где та единственная страшная страница
Открыта уже триста лет.

Кровь на спине негра-раба,
Кровь из легких Лувертюра,
Кровь на руках Леклерка,
Дрожащих от лихорадки.
Кровь на биче генерала Рошамбо
И его жадных ищейках,
Кровь на Пон-Руж,
Кровь на Цитадели,
Кровь на ботинках янки,
Кровь на ножах Трухильо,
Кровь на небе и в море,
Кровь в реках, на горах, на деревьях.
Кровь в самом воздухе...

И называя Гаити губкой, пропитанной кровью, Гильен писал:

Кто выжмет эту губку, ненасытную
губку? Он,
сын неистового века. Он,
с руками мечтателя. Он,
с его чудесной силой...
Он, Жак Румэн,
говоривший от имени
негра-Императора, и негра-Короля,
и негра-Президента,
от имени бесчисленных и неизвестных
негров, которых звали просто

Жан,
Пьер,
Виктор,
Кандид,
Жюль,
Шарль,
Раймон,
Андре,

. . . . . .

от имени бесчисленных тех негров,
которые пока лишь тени, привиденья,
медлительные призраки с плантаций
тростника и кофе,
тела, истерзанные, в лихорадке,
встающие из первобытной тишины болот...
он выжмет эту губку,
он выжмет ее...

■

О поэзии Румэна писать нелегко. Мы знаем далеко не все стихи, и, кроме «Мадрида» и «Черного дерева», датировки их нам неизвестны.

Поэзия Румэна—поэзия высокого мастерства и самобытности.

Уже с первых шагов она полемически противостояла той подражательной и сентиментальной гаитянской поэзии начала века, которая покорно шла в русле французского неоромантизма и эстетства, поэзии «слез, грез и роз», легко укладывавшейся в рамки традиционного французского стиха с четкой строфикой. Этой бессодержательной поэзии Румэн (и некоторые другие молодые гаитяне) противопоставлял свободный, гибкий стих, который должен был выразить новизну и энергию чувств нового поколения, стремившегося не убаюкивать, но пробуждать.

Однако полемика против традиции отнюдь не вылилась у Румэна в столь модные в 20—30-х годах формы сюрреализма с его страхом перед разумом, с его безволием и культом «автоматического письма», с его резкой затрудненностью стиха и произволом субъективистских ассоциаций. В основе поэтики Румэна всегда лежит мысль, ясность, точность слова.

Таковы и его отточенные маленькие пейзажи, и трагические миниатюры последних лет, и открывающие Румэна-трибуна большие, страстные, сильные поэмы, обращенные к толпе, к народу, к миру.

Уже с первых стихотворений Румэн ищет такие формы поэзии, которые могли бы с предельной сжатостью выразить внутреннее напряжение, дать точный образ. Очевидно презрение Румэна к инфляции слов, к безвольной расплывчатости. Но он ищет энергию стиха не в патетике, и тем более не в риторике, но часто в предельном лаконизме. Рифмы порой буквально прижаты друг к другу. Каждое лишнее слово как бы срезано резцом скульптора, хочет ли Румэн показать напряжение бега или скупыми линиями нарисовать маленький пейзаж. Очень точно переданы лень и скука полдня или внезапно возникающий в ночи город («Мирагоан»). Но как и в ранней прозе, здесь почти нет красок. Не чувственная сторона пейзажа интересует Румэна, не чувственная прелесть мира. Это скорее этюды точного слова.

Разрушая рамки четкой строфики, Румэн не терпел бесформенности. Его свободный,

гибкий стих всегда четко организован. Разбросанные в кажущемся беспорядке рифмы его миниатюр в действительности стягивают стихотворение тонкой, но крепкой нитью. В «Грозе» через все 18 строк протянута двойная нить конечных и внутренних рифм. Но странным образом эти созвучья, которые у других поэтов создают пенье стиха, у Румэна воспринимаются скорее как сеть легких, точно расставленных колонн, на которых держится хорошо рассчитанное здание стиха.

Строгость, сдержанность, отсутствие всякой песенности, музыки, «волны», несущей стих, характерны для интеллектуальной поэзии Румэна. Он кажется скульптором, графиком или зодчим, он лепит или строит стих, но менее всего он отдается на волю музыки. Это особенно подчеркивают излюбленные Румэном переносы:

...У самого сердца огромного сердца
стук,

или:

...как столетье скуки, зевает каждый
миг.

Несовпадение конца фразы и строки разрушает здесь всякую напевность.

Но в ряде более значительных и глубоких стихотворений организованность стиха достигается у Румэна иначе. В трагической «Гвинее» эффект достигнут прежде всего ритмом, который задан уже строкой зачина:

Долгий путь ведет до Гвинеи.

Медленный напряженный ритм, переносы, все новые призрачные образы, несущие в подтекстах тему смерти:

Слышишь — ветер шумит сквозь вечную
ночь
Ее длинных волос...
...а костяные четки ручьев
негромко стучат по камням.

Все это неумолимо ведет к конечному образу «жесткого надгробного камня», где внезапно разрешается напряжение:

чтоб наконец
голову
приклонить.

Но совсем по-особому, трагически звучит сдержанный лаконизм Румэна в ряде стихотворений («Мираж», «Дождь», «Ожиданье», «Бессонница», «Покой») — стихотворений очень личных, написанных, вероятно, в изгнании или в последние годы жизни. Ночь, одиночество, бессонница, монотонность бесконечно длящихся часов, монотонный стук дождя. Постоянная боль. Тоска. И во всем — близкая смерть. Порой легкой и нежной тенью проходит образ женщины, далекой, недостижимой...

Совсем иной мир и иная поэтика в больших поэмах Румэна. В «Грязных неграх», «Новый проповеди негра» и «Черном дереве» перед нами Румэн-трибун. Это речь страстная, не считающая слов, обращенная к народу и к народам, резкая, убеждающая, исполненная ненависти к врагу, угрожающая, призывающая, ведущая вперед. Это речь агитатора, речь поэта — лидера своего народа. Это политическая поэзия, достигающая своих целей целой системой поэтических приемов. Этим поэмам свойственна своя композиция, своя логика. Как опытный оратор, Румэн исходит из того, что пережито каждым простым негром и понятно ему,— из его страданий и унижений, и ведет его к финалу, где его борьба сливается с борьбой всех угнетенных. Румэн ведет его к Интернационалу, и недаром строками или образом «Интернационала» кончаются все эти поэмы.

В «Грязных неграх» интонация сарказма задана с самого заглавия, с первых строк: «Ну, вот что... хватит! С нас хватит!» С покорностью покончено, настал век сопротивленья. Тут уж не до утонченных метафор. Тут иные приемы. Поэма хлещет врага в упор. Короткая рубящая строка — пощечина, иронические троекратные повторы — удары. Нарочитая, вызывающая грубость лексики: «сутенеры и обрильянченные шлюхи», «пинками в зад» и «черт возьми». Поэт-бунтарь рассчитывается со всеми — плантаторами и хозяевами, банкирами и попами, с белыми шлюхами и самим богом, для которого «мы ублюдки, а не дети». Он угрожает: «Слишком поздно», и повторяет еще и еще: «Слишком поздно, говорю я вам, ведь даже наши тамтамы узнали язык «Интернационала». Это поэма предельного динамизма. Стих несется, задыхаясь от ненависти и жажды возмездия, несется в атаку, увлекая своим яростным и гневным потоком, вплоть до следующих слов, которые поэт бросает в лицо противника:

Чтобы покончить
раз
и
навсегда...

«Новая проповедь негра» тоже ведет простого негра к гимну «проклятьем заклейменных всей земли». Но ведет иначе. В сознании негра-крестьянина Христос евангельской легенды сливается с образами замученных, распятых, линчеванных негров; он — «черный Христос», вождь восставших рабов. Но все эти богачи, фарисеи, бан-

киры «выбелили его лицо», сделали из окровавленного страдальца — кровавого бога, чьим именем покрывают войны и грабежи, чьи руки в соборах распростерты, как крылья ястреба (вот где зрительная точность образа становится его разящей силой!). Но если это так, то нечего петь смиренные гимны. Рождается иная песнь — песнь буревестника, песнь Интернационала. Здесь агитационная сила достигнута острым переосмыслением образа Христа.

Наиболее сложно, широко говорит Румэн о судьбах негритянских народов в своей лучшей поэме «Черное дерево» (1939).

Румэну-интернационалисту были близки судьбы различных негритянских народов, прошедших через трагедии рабства и колониализма. В «Черном дереве» он обращается ко всем ним и говорит от их имени, создавая образ Негра, прошедшего всеми дорогами мира, начиная от строителя пирамид или африканцев, едва бредущих в караванах рабов, до пастуха Эфиопии, уничтоженного итальянским фашизмом. Нет, не заунывная песнь должна быть ответом на все страдания и унижения, но бунт. Через сдержанные интонации Румэна прорывается здесь неудержимая патетика. Устами поэта говорит трагическое молчание смерти, которое нельзя ни заглушить, ни прикрыть побрякушками лжи. «Молчание, раздирающее как самум ассегаев, рычащее, как циклон обезумевших стад», призывающее к возмездию:

...Тимпаны небес, пробитые кулаком справедливости.

Но в отличие от некоторых антильских и африканских поэтов, Румэн никогда не приходил к мысли, что именно чернокожий человек, изведавший последние глубины человеческого страданья, более других несет в себе мир высокого гуманизма.

И все же я хочу быть только вашей расы, рабочие и крестьяне всей земли.

Общность страданий и бунта для Румэна преодолевает все различия рас и наций, утверждая великое единство народов нашей планеты. Это высоко поднимает Румэна над теми, кто, начав с «негритюда», родившегося в условиях гаитянской оккупации или колониализма в Африке, так и остался на позициях расовой обособленности, кто из фольклора, обычаев, религий и суеверий делает барьер, разъединяющий народы разных континентов.

Сейчас, когда с самых различных сторон предпринимаются настойчивые попытки расколоть или задержать с таким трудом создающееся единство «всех народов на земле», интернационализм Румэна звучит как завещание.

Как завещание воспринимается поэзия Румэна и в литературном плане.

Сегодня, когда мутная волна сюрреализма порой захлестывает молодых поэтов Гаити, Мартиники или африканских стран, когда порой они поддаются искушениям иррационализма, жажде разрушить Разум и Ясность в поэзии, утвердить бесформенность и безволие, когда их «бунт» становится порой столь герметичным, что теряет всякий общественный смысл, наследие Румэна приобретает особое значение. Нельзя сказать, что образы Румэна и его формы так уж просты и всегда общедоступны. Часто они сложны. Но его поэзия всегда общезначима. Она никогда не опускалась до понимания человечества как конгломерата одиночек, косноязычно бормочущих свои жалобы.

■

«Дорога кончается с шагами путника...» — написал Румэн как-то в тяжелую минуту. «Властители росы» * — роман, законченный Румэном за месяц до смерти, утверждает обратное: дорога не обрывается, когда затихают шаги путника, по ней уходят вдаль другие.

Как и в ранней «Заколдованной горе», во «Властителях росы» перед нами снова умирающая гаитянская деревня, снова засуха, голод, темнота крестьян, власть суеверий и даже убийство в конце книги.

И, однако, весь смысл «Властителей росы» иной, контрастный. Там земля, растрескавшаяся от засухи, становилась обобщающим образом неподвижной и обреченной деревни, образом безысходности. Композиция повести была замкнутой, запертой. В этом романе тот же жестокий образ засухи: земля, рассыпающаяся серой пылью, израненные до костей, обнаженные склоны, мертвые поля, неумолимое небо, слепящее, как раскаленный лист железа. Но здесь им противостоит победоносный,

* Опубликован в «Иностранной литературе» № 1 за 1956 г. под названием «Хозяева росы».

легкий и поэтический образ воды, может быть, центральный в книге, ибо вода здесь — это жизнь, побеждающая смерть. И не случайно в заглавии вода названа росой. Слово «роса» несет в себе поэтические подтексты — утро, свежесть, заря... В «Заколдованной горе» — безысходность, здесь — открытый конец, неудержимый порыв к победе.

Именно здесь впервые в прозе Румэна появляется герой. Герой в настоящем смысле слова, «сын неистового века», ведущий свою деревню к временам изобилия и умирающий за эту цель.

Пафос романа и пафос жизни Манюэля в том, чтобы победить. Победить покорность судьбе, как бы ни называть ее — богом, засухой или роком. Победить чувство, что все равно ничего не поделаешь, роднящее самого отсталого и темного крестьянина с самым утонченным интеллигентом. Победить невежество, заставляющее крестьянина винить во всем природу, не умея часто различить своих врагов среди людей. Победить дух собственничества, породивший вражду между братьями одного народа. Победить, возродив для новой, несравненно более великой цели древний дух гаитянской кумбиты, объединявшей крестьян в общем труде всех для каждого.

В этом смысл жизни Манюэля, как и самого Жака Румэна.

Молодой Манюэль, вернувшийся с плантаций Кубы и узнавший там, что такое «мудрость стачки» и сила борьбы, ищет спасения для своей деревни. Спасение в воде. И он находит источник. Вражда в деревне зашла, однако, слишком далеко. Манюэля убивают. Но его смерть скрепляет единство крестьян. Общими усилиями воду приводят в деревню. Крестьяне на пороге царства «росы» и «изобилия».

Как, могут спросить, и это реализм? Социализм в масштабе одной нищей гаитянской деревни? Наивность сентиментальных социалиотических утопий XIX века? Могут возразить (и возражали), что такая попытка была бы обречена, и лучше написать об этом с трезвостью настоящего реалиста, чем сеять напрасные иллюзии.

Но «Властители росы» невозможно понять, видя голько первый, поверхностный план книги. За реальным образом умирающей деревни, за реальными фигурами крестьян (а их реальность особенно подчеркнута сочным деревенским говором, разбросанными кое-где креолизмами), за точными пейзажами все время просвечивает иной, второй план. «Властители росы» — это лирическая, поэтическая проза, созданная тонким поэтом и имеющая свои законы. И засуха, и роса, и кумбита, оставаясь вполне реальными чертами вполне реальной деревни, одновременно получают здесь и смысл притчи, поэтического иносказания. Нет, не только об этой деревне, и вообще не только о деревне идет речь, но о родине, измученной нищетой и отчаянием, жаждущей избавления. Эта земля, так страстно жаждущая влаги, росы, жаждущая живой воды, чтобы воскреснуть,— поэтический образ родины. Именно потому так высоко, лирически, настойчиво зазвучал здесь мотив воды. Разве это просто пейзаж — этот прохладный тенистый свод под гигантскими ветвями дерева, где таится родник, где поет чистый голос воды? Вода, «нежная, добрая, струящаяся, певучая, свежая, благословение наше и жизнь»,— почти «живая вода» сказок. И не случайно с образом воды сплетена любовь Манюэля и Аннаиз, вода здесь — жизнь, будущее, счастье каждого и всех.

«Властители росы» — поэтическая проза, и именно поэтому Румэн, мастер слова и поэт, не от наивности, а намеренно позволяет себе облагораживать речь Манюэля или его матери Делиры, подтягивая ее к своей поэтической речи. Достаточно вспомнить слова Манюэля: «Жизнь — это вечное возвращение. Говорят, что умершие возвращаются в Гвинею, и даже сама смерть — только иное название жизни. Плод сгнивает в земле, но он питает надежду молодого дерева... Если ты падешь, ты станешь семенем для непобедимого урожая». Это, конечно, говорит автор «Гвинеи», поэт. А потрясающее «ламенто», плач Матери над гробом Манюэля. Она как ветвь среди бури, отданная во власть горькой и бесконечной ночи: «Милосердия, милосердия прошу я, господи, милосердия и избавления, возьми меня, господь, ибо я устала, старая Делира так устала, так устала, господи. Дай мне сопровождать моего мальчика в великой саванне смерти, дай мне вместе с ним переправиться через реку в страну мертвых: девять месяцев я носила его в моем чреве, и всю жизнь — в моем сердце, и я не могу его оставить... Манюэль, о Манюэль, ты был моим дыханьем, ты был моей кровью: я видела твоими глазами, как ночь видит звездами,

я дышала твоими устами, и вены мои открылись, когда пролилась твоя кровь, твои раны ранили меня, твоя смерть убила меня. Мне нечего больше делать на земле. Только ждать где-нибудь в уголке жизни, как лохмотья, забытые у стены, как жалкая нищенка, протягивающая руку; подайте милостыню, говорит она, но милостыня, которую она просит,— смерть»... Это говорит не старуха Делира. Это «Pietà» XX века. Мать, теряющая своих сыновей-героев, павших в битвах своего времени.

«Властители росы» — книга о родине и в то же время книга о себе, книга очень личная, книга-завещание. Быть может, прежде всего книга о себе, страстная попытка Румэна перед смертью осмыслить свою жизнь, найти смысл и оправдание своей безвременной гибели. Манюэль с его озаренным лицом, с его упрямым ртом и затуманенным, мечтательным, вдаль уводящим взглядом — разве это не сам Румэн, искавший и нашедший «живую воду» революции, чтобы воскресить родину? Не Манюэль, неграмотный резчик сахарного тростника, говорит слова о Великой Кумбите, на которую соберутся труженики всей земли, но автор «Черного дерева» и «Грязных негров».

Жизнь Манюэля обрывается. И умирая, Манюэль велит передать крестьянам, что была нужна человеческая жертва. Что его кровь должна была пролиться, чтобы скрепить примирение. Можно ли видеть в этом идеи жертвенности? Думается, что нет. Манюэль хотел жить и добиться изобилия для всех и для себя, и даже построить дом для своей подруги. Он не хотел ни жертв, ни смерти. Но понимая, что умирает, он поступил так, как остается поступить революционеру,— превратил самую свою смерть в подвиг и в действие. И то же сделал Румэн, когда он, зная, что обречен, написал «Властителей росы», свое поэтическое и политическое завещание. Смысл этого завещания: «Верь в свои силы»; смысл его — единство. Преодоление вражды и раздробленности. Собирание сил. Единство маленькой партии, единство народа перед лицом врага. Невозможно не увидеть в романе этих мыслей, хотя они и выражены не прямо. Это последний, предсмертный призыв командира, который гибнет, не дождавшись решающего боя.

Не будем схоластически рассуждать, что представляет собой этот роман,— черты, элементы, зерна, ростки или побеги социалистического реализма. И сколько в них процентов революционного романтизма.

Важно в нынешних идеологических боях заставить снова зазвучать голос Румэна. Может быть, лучше просто повторить слова крестьян из Фор-Руж: «Если когда-нибудь на трудном пути нашей жизни усталость будет искушать нас своими «зачем» и «не стоит» — мы услышим твой голос, и мужество вернется к нам».

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО

Составление и перевод Е. КАЦЕВОЙ

Большое место в наследии выдающегося немецкого поэта и общественного деятеля Иоганнеса Р. Бехера занимают теоретические работы. В последние годы жизни писателя были изданы четыре тома его заметок и высказываний по различным проблемам литературы и искусства, перевод избранных страниц из которых составил выпущенную в 1959 году Издательством иностранной литературы книгу «В защиту поэзии».

В 1962 году в берлинском издательстве «Ауфбау» вышел подготовленный Марианной Ланге и сотрудниками Архива Иоганнеса Бехера большой сборник его работ «О литературе и искусстве», включающий в себя, наряду с известными высказываниями, ранее не собранные статьи и выступления, публиковавшиеся в свое время на страницах газет и журналов, заметки из дневника, архивные материалы.

Мы печатаем в этом номере некоторые еще не издававшиеся на русском языке статьи и заметки Иоганнеса Р. Бехера. Это не только яркие документы того времени, когда они были созданы; они имеют непреходящее значение в нашей сегодняшней борьбе за утверждение высокой общественной роли литературы, за утверждение принципов социалистического искусства.

РОСТ И ЗРЕЛОСТЬ

Я буду исходить из факта, который, пожалуй, еще недостаточно известен и над которым мы сами еще слишком мало задумывались. Речь идет о том, что Советский Союз стал новой великой родиной немецкой поэзии. Понятие родины я в данном случае применяю не в том смысле, что в СССР книги прогрессивных немецких писателей распространяются в огромных тиражах, что в Москве издаются два немецких литературных журнала «Интернационале литератур. Дейче блеттер» и «Ворт» и что материальное положение немецких писателей-эмигрантов предоставляет здесь благоприятнейшие возможности для профессионального литературного творчества,— все это важно, даже очень важно, но это известно. Построение социализма в СССР, социалистическая действительность оказывают глубокое революционное влияние на процесс развития нашей литературы. Мы знаем выражение Гёльдерлина: «То, чем мы являемся, ничто, то, чего мы хотим, все». Трагическая неудача союза между «хотеть все» и «являться ничем», между мечтой и действительностью — один из признаков немецкого литературного убожества. История немецкой литературы, если говорить о многих ее значительнейших явлениях,— это галерея неудачников, погибших от голода, сошедших с ума, самоубийц. То, что не полностью удалось сделать прежним временам, довершил фашизм: он настолько унизил и принизил литературу, что слово перестало быть человеческим, настоящим, вообще немецким словом. Здесь же, в СССР, в этой нашей новой, великой родине, поэзии удался союз между мечтой и действительностью. Даже более того: наши мечты недостаточно смелы и часто отстают от сказочной действительности. Эта возможность говорить «да» окружающей нас действительности, а не позиция стороннего наблюдателя или человека, который должен сказать свое яростное «нет»,— это вооду-

шевленное утверждение оказывает глубокое влияние на внутреннюю жизнь нашей литературы. Здесь нет места ни изображению плоской обыденщины, ни изощренным формальным выкрутасам: мы живем в исторически здоровой атмосфере, которая очеловечивает и поэта. Наша поэзия, теснейшим образом связанная с жизнью, приобретает те здоровые реалистические черты, которых она давно лишилась. Есть все условия для того, чтобы освободиться от всего ненадежного и половинчатого, от наших человеческих и поэтических дурных привычек и пережитков и стать настоящими, подлинными поэтами. Нас окружают необыкновенные люди и необыкновенные обстоятельства, и одаренность в этой свободной стране все больше становится чем-то обычным и само собой разумеющимся. Многие из нас лишь теперь начинают постигать сущность искусства, обнаруживать и открывать для себя его законы. В гегелевской «Эстетике» есть фраза о том, что хотя субъект, как таковой, отрешается от формы и содержания, «это не следует понимать в том смысле, будто индивидуум, для того чтобы иметь возможность лирически выразить себя, должен освободиться от всех и всяких связей с национальными интересами и воззрениями и формально стоять только на собственных ногах. Напротив, при такой абстрактной самостоятельности в качестве содержания остались бы лишь совсем случайная и частная страсть, произвол необузданного желания и прихоти, а дурное упрямство причуд и странная оригинальность ощущений нашли бы для себя неограниченный простор. Подлинная лирика, как всякая настоящая поэзия, призвана выразить истинное содержание человеческого сердца». Множество подобных мыслей мы находим у Гете и Пушкина, все великие поэты подтвердили в своем творчестве непреложную справедливость этих слов. Поэтому и немецкая поэзия нашла в Советском Союзе свою новую великую родину — здесь, как ни в какой другой стране и ни в какое другое время, поэты могут жить, не понуждаемые лгать. Здесь, в этой подлинной стране поэтов и мыслителей, мы можем быть самими собою.

Есть такой вид высокомерия, который называется «западный человек». «Западный человек» дает свое заключение о событиях в Советском Союзе; в лучшем случае, он пользуется средствами, которые не могут объяснить до конца нынешнее положение вещей. Чем меньше у него классового или народного сознания, тем больше он подчеркивает, из какой страны света он происходит, и потому заключение его неизменно настроено на один лад: «Мы как западные люди». Никому не придет в голову оспаривать наличие четырех стран света или отрицать существование западной культуры. Но «западный человек», так назойливо подчеркивающий свое западничество по отношению к СССР с явственно различимой интонацией «мы лучшие люди», по-видимому, хочет заставить забыть, что Запад населен разными народами, а они в свою очередь состоят из разных классов и слоев. Ничто, таким образом, не дает «западному человеку» права говорить от имени страны света. Нельзя изображать из себя совесть Запада, похваляясь наличием лишь большего комфорта, «модерности», более богатой и дифференцированной шкалы чувств, как это пытается делать какой-нибудь Андре Жид. Одними ссылками на старую культуру, в созидании которой сами едва ли участвовали, не только не создать новой культуры, но и старая культура будет обречена на распад — ссылки не могут создать преграды. Ромен Роллан, скажем, мог бы говорить от имени Запада, ибо все достойные черты старой культуры представлены в нем в живой связи с мечтой и волей нового времени, оказывающего уже сильнейшее влияние на народы Европы. Кто из немецких поэтов мог бы говорить от имени немецкого народа? Наверно, лишь тот, в чьей жизни и чьем творчестве соединяется величие немецкого прошлого с величием немецкого настоящего, выражающегося в героизме подпольной антифашистской освободительной борьбы. Что же касается прошлого величия западной культуры, то сегодня оно менее чем когда бы то ни было определяется географическими границами. Социалистическое настоящее СССР находится гораздо ближе к периоду расцвета западной культуры, нежели тот роковой час, который переживают ныне западные страны. Для немецкой поэзии было бы смерти подобно дать возможность такого рода «западным людям» оттеснить ее в глубь Запада, искать силы в распаде.

Необязательно быть коммунистом, достаточно быть честным и порядочным чело-

веком, чтобы с радостью выполнять свой долг по отношению к Советскому Союзу, дающему нам право спокойно создавать свои произведения. Свобода неделима: творческая свобода писателя и свобода его народа нераздельно связаны друг с другом. И каждый, кому дорога подлинная и истинная литература, должен охранять незыблемость СССР, и не только в заявлениях и призывах, но прежде всего в самом своем творчестве и всем своим человеческим поведением. Именно от нас, писателей, нужно требовать ясного видения и всестороннего знания человека. Писатель должен уметь совсем в особом смысле просвечивать и просвещать, открывать людей и указывать пути. Задача писателя — с особенной бережностью и ответственностью обращаться со словом, письменным и устным. Фразы и штампы помогают противнику прятать свое истинное лицо. Невежество и дилетантизм — плохие дозорные. Бдительность по отношению к другим ослабляется у человека, который недостаточно контролирует самого себя; совершенствование формы, если стремиться не к пустой виртуозности, а к подлинному совершенству, идет от дисциплины, подчиняющей себе всего человека. И это как раз и есть то, чем наша литература обязана Советскому Союзу и что окажет решающее воздействие на будущее развитие немецкой литературы: здесь мы наблюдаем уже первые признаки преодоления кризиса немецкой литературы, который в разнообразных формах и направлениях восходит к середине девятнадцатого столетия, или, как выразился Генрих Манн: «Что, если это уже первое, далекое, еще за горизонтом — мерцание второго Ренессанса?!» Дополнить и возродить человека в поэте и в его образах — вот что мы должны сделать, чтобы подняться из низин к высотам социалистической поэзии. Не случайно время, когда мы за это беремся, не случайно место...

Для образования нужен образец. Чтобы наглядно пояснить это, обращусь к собственной юности. Я вырос в среде, проникнутой любовью к Баху, Бетховену, Шиллеру и Гете. Во всех комнатах висели шедевры Тициана, Микеланджело, Рембрандта — хотя и в копиях,— я с детства восхищался ими. Я постоянно посещал картинную галерею, каждую неделю у нас дома составляли трио, и я слушал классическую музыку. Это была та особенно благоприятная и привилегированная обстановка, в которой тогда, в девяностые годы, еще позволяла себе жить часть состоятельного немецкого бюргерства. Тем сильнее ощутил я противоречие между этой «жизнью души» и тем, что ее окружало. Дисгармония общества не могла не затронуть семейную гармонию. И что я позднее ни делал, чтобы забыть и погасить в себе эти сияющие образцы, это, к счастью, удалось мне лишь частично: там, где моя поэзия еще несла в себе что-то истинное и подлинное, она обнаруживала следы тех красок, звуков и слов, что с детства запечатлелись в моей душе. Моя ненависть к лицемерию и лживости общества была безмерной. Она превосходила все границы и распространялась на все, что как-либо было связано с моим происхождением и воспитанием. Это была не сознательная, зрячая, а тупая, сама себя пожирающая ненависть, часто удовлетворявшаяся мелочным изощренным ехидством, поскольку не было у нее никакой высокой цели, не было веры, не было любви. Так Гете стал для меня олицетворением немецкого мещанства, я считал, что кличкой «тайный советник» покончил с ним; ярлыком «рабовладельческий строй» я разделался с древними греками; органные звуки какой-нибудь пьесы Баха казались мне — поскольку они не были подходящим объектом для моей ненависти — пригодными лишь для услаждения слуха безнадежных дураков, святой ложью.

Мы не довольствовались заменой использованных оборотов новыми, «неслыханными» вариантами, наш протест странным, хотя и не совсем нелогичным образом заставлял нас «разрубать» язык, ибо им пользовались эксплуататоры и поджигатели войны; чистые рифмы были под запретом, применялись лишь ассонансы — это должно было звучать как вызов, и особенно почетным считалось презирать все правила ненавидимой со школьной скамьи грамматики. Я настолько был захвачен отрицанием, что потерял всякую способность распознавать что-либо, и голубое небо наверняка показалось бы мне зеленым или красным, если б мой отец осмелился утверждать, что оно голубое. Незачем и говорить, что такой дух противоречия можно было бы легко обуздать — стоило только всегда требовать от него противоположное тому, чего хотели добиться от него.

Не удивительно, что при подобных взглядах совершались чудовищнейшие вещи. Я

лишился всякого образца. О добросовестном поэтическом образовании или воспитании не могло быть и речи. Все было предоставлено произволу и анархии. Собственные недостатки стали мерой вещей. То обстоятельство, что такие поэты, как Андреас Грифиус и Фридрих Гёльдерлин, могли для меня что-то значить, объясняется тем, что в школе я не должен был учить их наизусть, и безумие Гёльдерлина достаточно часто приводилось мне как предостерегающий пример.

Вот великий урок, который мы можем извлечь из классической литературы: и в литературе все дело в человеке. Характер, личность — вот то, вокруг чего кристаллизуется поэзия и что дает ей настоящую опору. Всякий излом в характере сказывается в творчестве, никакой язык, сколь бы мудреным он ни был, никакая изощреннейшая стихотворная техника не в силах скрыть человеческие недостатки. Поэт очень плохой хранитель тайны. Поэт сам себя просвечивает в стихотворении. Равнодушие, безразличие чувств сами выдают себя, глупцу не удается здесь сыграть в прятки. Качество стихотворения есть следствие качества человека, и нетрудно доказать, что это человеческое качество теснейшим образом связано с передовыми силами времени. Когда бы выдающийся писатель ни высказывался о литературе, он всегда подчеркивал, что человеческая значимость поэта, его правдивость и искренность — предпосылки всякого подлинного художественного творчества.

Я встречался, конечно, со многими поэтами. Но нигде я не встречал так много поэтов, как здесь, в Советском Союзе. Я не говорю сейчас о своей личной встрече с Максимом Горьким, которая произвела на меня неизгладимое впечатление и оставила в моем творчестве глубокий след. Это не случайно, что здесь, в Советском Союзе, я снова встретился с классической поэзией. В то время как за границей классики зачастую становятся мертвыми музейными экспонатами или же объектами эксплуатации бесчисленного количества эпигонов, классическая литература в Советском Союзе празднует свое воскрешение во всей своей непосредственности и живости. До сих пор я мало читал Пушкина. Советский Союз сблизил меня и с этим великим поэтом. Родство Пушкина и Гете несомненно. Но ведь и все великие поэты мировой литературы находятся в таком глубоком внутреннем родстве, и общее у них — стремление «выразить истинное содержание человеческого сердца». У Пушкина сказано: «Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность... Д. слишком гладко, слишком правильно, слишком чопорно пишет для молодого лицеиста. В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства». Эккерман цитирует Гете: «В целом стиль писателя — верный отпечаток его натуры: если кто-нибудь хочет писать ясным стилем, пусть прежде будет ясность в его душе; а если кто-нибудь хочет писать величественным стилем, он должен иметь величественный характер... Но, как сказано, были бы только значительные персонажи... тогда, по крайней мере с нашими молодыми поэтами лирического склада, дело обстояло бы очень хорошо». Пушкин был истинным и искренним поэтом. Какое достоинство поэзии воплощает в себе, скажем, Пушкин, по сравнению с поэтами, которые угодничают перед реакцией или же «гениально» опускаются! Прелесть и легкость пушкинского стиха — плод богатой, открытой всему человеческому души. В пушкинской простоте нет ничего пустого или разжиженного. Он прост, как прост был Ленин... Подлинное величие во всех областях человеческого духа тесно связано друг с другом и характеризуется одинаковыми признаками.

Пушкин воспитывает в человеке поэтическое чувство. Он очищает и обновляет нас. Всем своим творчеством он обращается к нам, словно заклиная, чтобы мы освободились от известных пороков, которые через короткое время будут иметь лишь ценность курьезов. Эти пороки, порожденные особенно экспрессионизмом и «новой реальностью», еще не преодолены большой частью нашей литературы, хотя они и не выражаются уже с такой программной обостренностью и у некоторых поэтов сошли на нет, так сказать, физиологически, с возрастом. Наша поэзия стоит под знаком преодоления...

Пушкин нашел ныне в СССР свой народ. Мечта Пушкина осуществилась. Народ и поэт стали едины.

Рост и зрелость нашей литературы мы измеряем тем, насколько поэт и народ стали

едины. Народ растет. Народ достиг вершин понимания Пушкина. Единство народа и поэта будет достигнуто на вершинах поэзии.

1937 г.

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА НА ВТОРОМ КОНГРЕССЕ НЕМЕЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В той мере, в какой мы любим мир, в той мере, в какой мы любим нашу страну, нашу дорогую отчизну, нашу немецкую родину, в той мере, в какой мы исповедуем братскую любовь всех народов мира, в той мере, в какой мы являемся приверженцами Советского Союза как единственной страны, которая, создав новый человеческий порядок и показав отчаявшемуся, несчастному человечеству пример будущего, достойного человека и превосходящего красотой своей все мечты, тем самым гарантирует мир во всем мире,— итак, в той мере, в какой мы страстно любим власть мира, власть свободы, в той же мере мы страстно ненавидим всех неисправимых апологетов системы, которая, будучи повинной в смерти семидесяти миллионов людей в течение пятидесяти лет, неопровержимо доказала свое историческое банкротство. Мы ненавидим этих поджигателей войны, опустившихся до положения наемных писак, мы не только ненавидим их, но и испытываем отвращение и гадливость к этому антибольшевистскому сброду, нам противна болтовня этой уголовной клики о свободе личности, за которой стоит не что иное, как попытка помешать развитию личности в свободном народе и снова допустить, чтобы миллионы личностей пали на полях сражений героической смертью свободной личности. Нас бы ничему не научила история, и стоило бы отбросить нас как жалкое тряпье, если б мы позволили распространять в нашей республике подстрекательскую писанину этих военных преступников и открыли ей доступ к сердцам молодых людей, именно сейчас начинающих строить новую, достойную человека жизнь. Нет, мы не допустим, чтобы подобная нечисть и дрянь распространялись в Германской Демократической Республике. Ваши так называемые проблемы нас не интересуют. Ваши сложности, душевные неурядицы, изображаемые с большей или меньшей литературной сноровкой, для нас ничего не значат. Мы не хотим больше знать вас, не хотим вас ни видеть, ни слышать. Конечно, пока мы еще вынуждены обращать на вас внимание, но лишь в том смысле, в каком обращают внимание на опухоль, которую пора оперировать. Вы наводите на нас скуку. Как вы скучны в так называемом блеске вашей «интересности» — это не настоящий блеск, а фосфорический свет гниения. Можете называть меня terrible simplificateur — ужасным упрощенцем, меня это не пугает. Жизнь, что мы хотим построить, на самом деле проста, прекрасна в своей простоте, проста в своей человечности. Возможно, эта в высоком смысле столь великолепно простая жизнь будет пугающей и страшной для вас, испорченных до мозга костей,— так оно и будет, это можно сказать с уверенностью. И потому я принимаю упрек в ужасном упрощенчестве с наичистейшей в мире совестью. Мы уже начали жить этой новой жизнью. Какова эта жизнь, нам показала Свободная Немецкая Молодежь во время Всегерманской встречи, происходившей в троицын день нынешнего года. Нет, ни одному военному преступнику, пусть он выдает себя хоть за литератора, мы не дадим возможности сбивать с пути и портить молодых людей. Когда мы говорим, что хотим мира, мы говорим это всерьез. Воля к миру — *это наша воля к власти*; и гораздо более гуманно не допускать болтовни поджигателей войны и обезвреживать военных преступников при их обнаружении, нежели предоставлять им свободу вершить кровавые дела и таким образом и самим стать повинными в будущих катастрофических событиях.

1950 г.

ЗАМЕТКИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Неприятный допрос. Однажды я написал стихотворение, чересчур горячее, воинственное стихотворение, и сразу же надо мной нависла угроза ареста. Этот арест был бы равнозначен смерти. И когда я скрылся от моих врагов, я представил себе, как бы я держался на суде и в каком душевном состоянии готовился бы к смерти. В общем или, как говорят, «в общем и целом», не было никакого сомнения в том, что это хорошее и справедливое дело, лучшее дело в мире, за которое я пожертвовал бы жизнью. Но не об этом шла речь, речь шла о том, что мне нужно было защищать свои взгляды и свое мировоззрение в конкретном, определенном случае, а именно —

в стихотворении. Я несколько раз прочитал его про себя наизусть — итак, вот, значит, за что я должен отвечать, за каждое отдельное слово. Я не мог не сказать себе, что в стихотворении содержится гораздо больше того, что я внутренне, слово за словом, мог бы отстаивать: в нем были безмерные преувеличения — теперь, когда я анализировал его спокойно, я видел, что оно далеко не соответствовало моему внутреннему отношению к делу. Местами оно казалось мне даже смехотворным, и, будь оно зачитано вслух пред судом, мне было бы стыдно за некоторые места, так сыры и плохи они были. Мои сокровеннейшие убеждения не нашли своего выражения в этой поделке. Но врагам своим я облегчил бы задачу обвинить меня за это стихотворение, ибо я и сам обвинял себя за него; я, конечно, взял бы на себя ответственность за это стихотворение, но со стиснутыми зубами. А разве не знал я в литературе такие произведения, за которые можно было бы нести полную ответственность и за которые стоило бы и умереть? О, есть много таких произведений, и подобные стихи, произнесенные в смертный час, осветили бы смерть особым смыслом и сиянием. Но с моим стихотворением на устах я бы не стал умирать, я должен был бы найти уж себе другую последнюю молитву.

Я ушел от преследования моих врагов, но я не ушел от вопроса, который с тех пор преследует меня: как обстоит дело с тем или иным твоим поступком, как вообще обстоит дело с твоей жизнью? Не вообще, не за «общее и целое» тебя когда-нибудь, возможно, привлекут к ответу, а за *одну* строчку, за *один* поступок или за *один* не совершенный поступок, за *одну* фразу, за *одно* слово, сказанное легкомысленно, не от души,— и какое же это будет неприятное судебное заседание и какая плохая смерть, если то, в чем тебя будут тогда упрекать, не будет полностью соответствовать твоему внутреннему к нему отношению.

1952 г.

■

Поэзию необходимо защищать как внутри, так и вне ее пределов. В этом вопросе мы за наступательную войну (что в данном случае не противоречит защите). Мы отыскиваем противника даже в самых отдаленных уголках и не сложим оружия до тех пор, пока он не будет уничтожен. Эта война воистину священная, гуманистическая, это крестовый поход поэзии, духа. Наша борьба, само собой разумеется, направлена и против тех, кто предает поэзию, дух. Мы всегда недвусмысленно выражали свое неприятие, свою страстную враждебность по отношению к ним. Мы и впредь будем так поступать. Нельзя защищать поэзию, не клеймя тех, кто беспрестанно совершает преступления против поэзии — в мнимопоэтической форме.

1955 г.

■

Уже нет... или еще нет...— вот в чем дело. Каждый писатель должен задаться вопросом, в каком положении его поэтическое произведение — на него уже нет спроса или еще нет спроса. Если на этот «вопрос жизни» каждого поэта вообще существует ответ, то, я думаю, с уверенностью можно сказать лишь следующее: соответствует направление его произведения направлению развития человечества, осуществлено это направление художественно, человечески убедительно — тогда есть полная вероятность того, что произведение, пусть сегодня еще не общеизвестное и не общепризнанное, в будущем окажется долговечным. Из этого правила, несомненно, будут исключения. Иное стихотворение, автора которого мы отнюдь не считаем свободолюбцем, борцом за правду, сохранится, но стихи порой удаются как бы вопреки воле и без ведома их создателя. И сохранится многое, что отнюдь не назовешь художественно совершенным, но оно показывает новое так живо, непосредственно, что может явиться для будущих поколений как бы исторической ценностью и оказаться поучительным.

1955 г.

■

В каком-то сочинении я нашел меткое замечание, что литература, которая не в силах додумать до конца свое время, лишается ведущей роли в духовной жизни народа. С этим замечанием можно полностью согласиться, причем это «додумывание до конца» надо понимать конкретно, исторически. Само собой разумеется, Гете не «додумал до конца» мировые загадки, чудеса, творимые человечеством, но он додумал их до конца в той мере, в какой это вообще возможно было в его время. Если

проверять нашу сегодняшнюю литературу этим критерием — «додумыванием до конца», то, с одной стороны, действительно можно говорить о «бедной немецкой литературе», с другой же — нельзя не заметить, что уже есть довольно ярко выраженные тенденции преодолеть эту «бедность» и придать литературе новые силы. Тот, кто говорит *только* о бедности нашей сегодняшней немецкой литературы, тот еще больше обедняет ее и тем самым лишь показывает, что сам он не в состоянии додумать эту проблему (не говоря уже о времени, в котором живет) до конца. Бедность нашей немецкой литературы нужно показывать во всей ее бедности, то есть во всей ее исторической взаимосвязи, а это как раз даст возможность вновь обрести богатство. Духовное богатство литературы заключается, разумеется, не только в том, чтобы литература следовала общественно необходимой, исторически верной линии. Во всяком случае, можно сказать, что, если она следует этой общественно необходимой, этой исторически верной линии, она рано или поздно, преодолев первоначальные трудности, осознает, что богатая литература только тогда до конца сможет додумать свое время, до конца воссоздать его, когда она будет тематически разнообразной, богатой полнокровными человеческими образами и включит в себя всю жизнь в ее глубочайших особенностях и во всех ее формах. Писатель не может абстрактно додумать до конца свое время, он может додумать его до конца только как писатель, так же как скульптор может додумать свое время до конца только как скульптор, философ — только как философ, причем писатель двадцатого века иначе додумывает свое время до конца, чем писатель предшествующих времен, даже независимо от различного материала, различного содержания мысли, отличающих одного писателя от другого.

1955 г.

■

«Все немецкое убожество отражается в недостатке общности, который накладывает отпечаток на нашу литературную жизнь, в этой ненависти литератора к самому себе, в его ничтожной гордости и его неспособности жить в литературе».

С этой фразой, сказанной в столь общей форме, можно согласиться, но в процессе конкретизации выявляется разногласие между автором этой сказанной вообще фразы и нами. Жить в литературе значит жить вместе со своим временем. Жить вместе со своим временем значит привести себя в согласие с исторически решающими тенденциями своего времени (и все время приводить себя в согласие), и вместе с тем это значит — всем богатством образов быть связанным со своим временем,— вот что значит для писателя жить в литературе, при этом само собой разумеется, что он в силах воссоздать эту жизнь в литературе. Но никоим образом нельзя жить в литературе, судорожно пытаясь сохранить жизнь отжившему и назойливо демонстрируя тот факт, что сам являешься отжившей фигурой.

1955 г.

■

Когда справедливость, разумность и мир достигают власти, тогда возрастает и власть поэзии, при условии, если она познает смысл общественных изменений и становления новой власти. Правда, поэзия и прежде обладала властью, но при новых отношениях, когда весь народ имеет возможность постичь ее красоту и глубину мысли,— в таком государстве она не только равноправна и общественно полезна, но сама становится важнейшим фактором воспитания человека и оказывает влияние на формирование государства. С уничтожением противоречия между духом и властью исчезает и враждебность поэзии, присущая капиталистической эпохе. Но некоторое время поэту нужно будет прежде всего выступать против тех поэтов, которые сами себя обессиливают, утешаются своим бессилием и противятся попыткам поднять их поэтическое самосознание...

1955 г.

■

Мы знаем, что наша культура не может быть независимой от общих исторических условий нашей страны и что она на жизнь и смерть связана с теми формами, которые принимает наша политическая жизнь. Мы поняли, что знание лишь тогда становится властью, когда оно претворяется во власть, и что дух, отказываясь стать реальным фактором власти в нашей общественной жизни, уже утратил тем самым свою сущность. Таким образом, когда нас упрекают в том, что мы политически завербованы, мы отвечаем: в интересах развития и подъема нашей культуры мы завербованы во всяком

деле, служащем единству Германии. Мы завербованы во всяком движении, которое серьезно борется за мир. Мы завербованы всюду, где преодолевается роковое отчуждение между интеллигенцией и народом; так, мы завербованы для культурной работы на предприятиях и в селе. Мы завербованы всюду, где возвещает о себе историческая новь, где она пробивает себе дорогу и стремится к росту.

Только так, познавая новь и действуя в ее интересах, мы сможем стать другими, новыми людьми. Нашу личную свободу мы ищем не в том, чтобы потакать своим капризам и настроениям, кичиться своими индивидуальными особенностями и гнаться за экстравагантной оригинальностью. Только пустельга нуждается в таких уловках, чтобы скрыть свое ничтожество и вырядиться в одежды Личности. Никто не становится личностью благодаря тому, что он из принципа ведет себя не так, как другие, и старается делать противоположное тому, что от него требуется. Сущность личности не в разобщении, не в отделении себя от других, не в том, чтобы находиться в стороне от развития человечества и по ту сторону явлений, а в глубокой и всесторонней увлеченности миром и жизнью людей. Когда в какой-либо личности олицетворяется судьба ее народа, более того, судьба человечества, тогда мы по праву называем ее Личностью. «Нет большего раба, чем тот, кто считает себя свободным, не являясь таковым». Пусть эти слова Гете служат нам предупреждением и наставлением. Свою политическую свободу мы усматриваем в том, что приводим себя в согласие с великими историческими потребностями нашего времени, свобода — это согласие. Только в согласии с такой осознанной исторической необходимостью мы сможем стать в полном смысле слова и действительно живыми личностями и достичь подлинной свободы личности.

1955 г.

■

Литература, которая не возвещает новое, не воплощает новое, не может притязать на значительность. Мы возвестили новое, мы воплотили новое. К этому новому относится и наше постоянное стремление создать новый живой образ нашей великой немецкой литературы и, учась у нее, оказаться достойными ее. Ибо мы знали — и никто никогда не лишит нас этой уверенности,— что мы только в том случае сумеем защитить и сохранить достижения прошлого, если присоединим к ним новые, еще более значительные достижения. Мы не переставали стремиться к самому высокому и делом служить рабочему классу, так же как служили прежде величайшие представители человечества своему классу.

Необходимо подчеркнуть эти факты, чтобы показать, что наша литература не возникла откуда-то более или менее случайно или что она искусственно «сделана»,— она была исторической необходимостью, пробивала себе дорогу и мужала в суровых, ожесточенных боях. Наши писатели находились всюду, где надо было выставить против фашизма голову, а также и кулак, и история этих лет свидетельствует о том, что наши поэты — в первую очередь Эрих Вайнерт — не только были исполнены желания выступать на митингах перед тысячами и тысячами людей со смелым и зажигательным поэтическим словом, наделяя его новой силой,— но писатели наши не щадили себя и не плошали в уличных боях и словесных битвах. Это не была литература для лакомок и снобов, для пресыщенных, для жаждущих сенсаций. Но это не была и литература зевающей скуки, для ханжей и лицемеров. Это была литература пионеров, литература засученных рукавов, литература великолепных, уничтожающих атак на господствующий класс, литература, выкорчевывающая чащи предрассудков, первобытности, разрежающая, словно ножом, джунгли капиталистической анархии.

Ибо новое возникает только тогда, когда человек целиком захвачен новым и без малодушия и боязливости отваживается на целое, наступает на целое. Так же как истина становится целостной лишь в процессе своего осуществления, чтобы затем открыть нам новые истины, так и литература выполняет свою задачу целиком лишь тогда, когда ее образы становятся реальностью и когда она энергично борется за то, чтобы ее постулаты обрели реалистический характер.

1956 г.

■

«Нет ничего терпеливее бумаги» — так можно было бы начать оду и воспеть всетерпение бумаги в ее сияющей чистоте.

Сколько лжи, обмана, недоразумений, варварских заявлений, нечеловеческих законов восприняла ты, всетерпеливая бумага, в твоей сияющей чистоте. Чего только всемогущий человек не требовал от тебя, всетерпеливая бумага, в твоей сияющей чистоте. Но и сколько же изумительной красоты, правды, человеческого величия, подлинной человечности ты приняла на себя, всетерпеливая бумага, в твоей сияющей чистоте, и потому ода «Нет ничего терпеливее бумаги» станет одой во славу человека, всемогущего терпеливца. Он только доверил изобретенной и изготовленной им массе, называемой бумагой, то, что он сам нес в себе,— беду и счастье, преступление и красоту, бессмыслицу и правду, для того чтобы она запечатлела и передала дальше все то, что он, человек, должен вынести; может быть, благодаря этому мир изменится к лучшему и человек сам переменится, и из всетерпеливой бумаги, из доверенных ей мыслей и творений вырастет преобразующее мир деяние, новый человеческий порядок, мир мира. «Нет ничего могущественнее человека» — об этом прежде всего свидетельствует бумага.

1957 г.

■

«Никакое время не нуждается так в поэте, как то, которое полагает, будто может обойтись без него»,— читаем мы у Жана-Поля Рихтера. Какая глубокая правда заключена в этой фразе; и вместе с тем она побуждает нас, поэтов, особенно серьезно отнестись к нашей миссии и никогда не дать себя сбить с толку теми врагами человечества и губителями времени, что полагают, будто можно обойтись без поэта. (И не в последнюю очередь — теми поэтами, чьи жалкие творения с совершенной очевидностью доказывают, что без них можно, более того, нужно обойтись, дабы сохранить хороший художественный вкус, способность здравого суждения.)

1957 г.

■

«Я все больше убеждаюсь,— замечает Гете,— что поэзия есть всеобщее достояние человечества и что она повсюду и во все времена проявляется во множестве сотен людей. Один это делает немножко лучше другого и держится на поверхности немножко дольше другого, и только. Поэтому господин фон Маттиссон не должен думать, будто это он, и я не должен думать, будто это я, но каждый должен сказать себе, что поэтический дар не такое уж редкое дело и что ни у кого нет особых оснований возгордиться, если он напишет хорошее стихотворение».

Это и есть то самое, о чем говорил Мюссе: «В каждом человеке умер поэт», или, что я попытался выразить в словах: «Присущность каждому — вот будущность искусства».

Поэтому поэзию и надо превозносить и не надо. Надо превозносить ее, поскольку она представляет собой одну из возвышенных форм нашего существования и она есть вполне нормальное, отнюдь не исключительное состояние жизни, состояние, в котором, по мере того как общество будет становиться все более человечным, смогут оказаться все больше и больше людей. Но поэзию не надо превозносить, потому что поэтам нечего особенно кичиться своей способностью поэтически выражать свои мысли и чувства. Надо считать само собою разумеющимся то обстоятельство, что поэты развивают в себе эту свою способность и постоянно совершенствуются. Так что не нужно превозносить поэта за то, что он работает над собой. И не нужно превозносить поэта, если он прилежен. Это присуще его профессии; столь же абсурдно было бы превозносить велосипедиста, нажимающего ногами на педали, ибо в этом движении — суть езды на велосипеде. Изумление должны вызывать, напротив, такие поэты, которые слишком вялы и ленивы, чтобы «нажимать на педали», и предпочитают, чтобы их подталкивали, нежели ехать самим. Таких поэтов надо брать за ушко, да на солнышко, ибо они совершенно бесполезные, если не вредные члены человеческого общества, и надо постараться, чтобы их использовали в каком-либо другом производственном процессе.

1957 г.

■

Так же как красота включает в себя познание и деятельность человека, так эстетические оценки включают в себя процессы мышления, познания и историческую практику человеческого общества. Таким образом, нет чисто эстетической оценки или красоты самой по себе. Возможно, некоторые люди сочтут этот тезис банальным. Мы

не премину сказать, что эта банальность — «душа» поэтического принципа и имеет важнейшее, решающее значение для развития эстетики, понятия красоты и самой поэзии. В эпоху, опирающуюся на прочное мировоззрение, допустимо, чтобы художник необязательно был слишком «завербован» идеологически, он может полностью довериться «духу времени», дающему ему возможность «свободно вращаться в материале». Художник целиком и полностью проникнут господствующим духом времени, он настолько слит с ним, что уже и не думает о том, что он служит и кому именно служит. Он волен в своих действиях. Его свобода состоит именно в том, что он находится в полном согласии с тем, что исторически необходимо. Его художнические возможности соответствуют исторической необходимости, и только в мелочах может он отличаться от господствующей системы. Но другое дело, если дух времени сам распадается и предстоит смена эпох. Здесь уж художник должен держать ухо востро, дабы не сбиться с пути и не оказаться со своим художественным творчеством на ложной службе. Он должен разобраться, занять определенную позицию, стать на ту или иную сторону. Значительную, даже самую значительную часть своей художественной деятельности он должен посвятить тому, чтобы ориентироваться в этих столь противоречивых, противоборствующих друг другу обстоятельствах времени и выяснить для себя, на какой стороне правда и красота. Художник должен, таким образом, заключить союз с мыслителем, более того — он сам должен стать мыслителем, мыслящим художником. Только таким путем он сумеет «свободно вращаться в материале» или творить вольно. Конечно, требуется время, пока новое войдет в него настолько глубоко и он так освоит его, что будет владеть им «автоматически», даже во сне. Только после такого овладения новым он создаст творения, являющиеся *цельными* произведениями и потому способными захватить человека целиком.

1957 г.

■

Культ личности не только вреден для людей, вынужденных его создавать или же добровольно занимающихся этим, он вредит и самой личности, являющейся объектом и жертвой таких преувеличенных восхвалений. Мера и ценность смещаются и иной раз оборачиваются своей противоположностью. Для того чтобы восстановить пропорции, зачастую вопреки здравому смыслу снова начинают преувеличивать — в обратную сторону; такое положение раньше или позже опять-таки надо будет выправлять, пока проблема не сбалансируется и не будет достигнуто равновесие. Высоко чтя выдающихся людей, мы должны как раз и предохранять их от культа личности и следить за тем, чтобы наши восхваления были «умеренными». Умеренное — это подлинное, истинное, в то время как безмерное не только назойливо, но к тому же и лживо и причиняет лишь вред. «Меньше есть больше» — в любом случае. Если чего-то было слишком мало, потомки смогут это восполнить, но если чего-то было слишком много, потомкам гораздо труднее будет навести порядок. Будем же думать и о том, как воспримет нас потомство, если хотим, чтобы оно благодарило нас,— и будем восхвалять в меру.

1957 г.

■

Если история поднимает какой-либо вопрос и вопрос этот остается без ответа, то такое промедление с ответом причиняет огромный вред — когда-нибудь этот исторический вопрос должен будет получить ответ, но тогда это произойдет уже при гораздо более неблагоприятных условиях. Это относится и к литературе. Если литература или отдельный писатель избегает либо тем или иным способом пытается уклониться от вопросов, которые ставит история, то этот отказ от исторической ответственности сказывается в целой серии бессодержательных и вместе с тем и формально неинтересных публикаций того или иного писателя. Кто не в состоянии выбрать исторически значительную тему, тот неразборчив по отношению ко всевозможным «близким» ему по тем или иным причинам материалам, которые он и обрабатывает по своему произволу и привычными навыками. Литература, освобожденная от исторической ответственности, становится бессильной и заметно утрачивает свою общественную позицию. Наверстать эту потерю позиции — дело трудное, оно часто может потребовать десятилетий. Поколение, повинное в этой

потере позиции, вряд ли сможет вернуть литературе ее власть. Мы тоже повинны в такой потере позиции, в этом мы должны отдать себе отчет,— и вот на нас надвинулась новая тема; ведь еще почти двадцать лет назад история повелела нам разработать ее, а мы в лучшем случае от нее уклонились. Правда, с нами согласятся, что эта тема истории — самая трудная из всех, какие когда-либо требовали разработки от поэта, и трудность эта не в последнюю очередь заключалась также и в том, что политическая и вместе с тем и литературная ответственность была настолько исключительной, что никто не был, пожалуй, достаточно сильным — также и в литературном отношении,— чтобы нести эту ответственность.

1957 г.

■

Поэт тоже человек — из этого следовало бы исходить прежде всего и в первую очередь, но иные люди не хотят считаться с этим «человеческим фактом». Они, правда, хотели бы, чтобы поэт был человекоподобным существом, но или не обладал бы определенными человеческими свойствами, или же не проявлял бы их. По мнению этих людей, он не должен испытывать грусти, а тем более отчаяния, он должен любить, но умеренно, быть женатым и воспитывать благонравных детишек. И прежде всего сам он должен быть благонравен и — по возможности — бодр, вежлив и предупредителен, удовлетворять потребности, исполнять приказы, предоставлять думать другим и поэтически иллюстрировать мысли этих других. Таким образом, поэту надлежит быть прежде всего иллюстратором — вот чего хотят эти люди — и подпевалой. Но поэт все же человек, «к сожалению», и если ему не позволить быть таковым и в качестве поэта, то в случае, если он подчинится этим бесчеловечным желаниям, он погибнет как человек и его «иллюстрации» тоже будут мало пригодны и вряд ли еще смогут кого-нибудь убедить (человечески), ибо всякое подлинно человеческое побуждение возвышает нас, даже отчаяние, если оно вырывается из измученного человеческого сердца стихийно, безудержно. Также и в этом направлении надо все время взывать к «защите поэзии» и признавать в поэте человека, признавать неотъемлемые человеческие права поэта в его собственном лице, в лице *человеческого* поэта.

1957 г.

ИЗ ДОКЛАДА НА ПЯТОМ КОНГРЕССЕ КУЛЬТУРБУНДА

Социалистическая культура — это высшая форма человеческой культуры. Она опирается на рабоче-крестьянскую власть, на марксизм-ленинизм как самое современное мировоззрение, самое прогрессивное учение о познании действительности. Социалистическая культура включает в себя все завоеванные доныне достижения культуры, она расширяет и углубляет нашу культурную жизнь в такой степени, что мы по праву можем говорить о социалистической культуре как о настоящем расцвете культуры человечества. Социалистическая культура — непримиримый враг всяких остатков варварства, всяких фашистско-клерикальных уродств в области культуры и, не в последнюю очередь, также и всяких извращений, которые мы наблюдали в искусстве последних десятилетий.

Ведь пройтись по галерее абстрактных картин человеку с более или менее нормальными чувствами — значит испытать муки и страдания — да будет это сказано определенным художникам,— и если посетитель такой галереи и пытается защититься смехом и шутками, все равно в душе его остается глубокое сожаление — сколько времени и отчасти таланта истрачено здесь зря. Абстрактная живопись это не вопрос техники, это вопрос мировоззрения, и деформацию и расчленение человеческого облика, обезображивание мира и человека нельзя считать пустяком, отговариваясь тем, что это эксперименты, так же как вопрос об обесчеловечении или очеловечении не есть лишь профессиональный вопрос, который должны решать между собой художники...

Многим из наших друзей неясно, что понимают под декадансом. Понятие декаданса легче постигнуть, если вспомнить, что Гете обозначал дух всех восходящих эпох мировой истории как объективный, а всех закатывающихся — как субъективный. И еще больше объясняет понятие декаданса мнение — в нем сходны Гете и Горький,— что не только художник, но и каждый человек являет собой коллективное существо, в котором сконцентрирован и обнаруживает себя опыт многих поколений. И когда Гете далее говорит: «В немецком народе господствует своего рода духовная экзальтация. Искусство и философия носят абстрактный характер, стоят оторванно от жизни, далеко от

источников природы, которые должны их питать»,— то и это заключение указывает на то, что нам следует понимать под сущностью декаданса. В декадансе образ человека предстает одиноким, изолированным, хилым и изуродованным. Человек, говоря словами одного из модных философов декаданса Хейдеггера, в своей «покинутости» беззащитен, он отдан во власть Ничто, и кроме отчаяния и смирения у него ничего не остается. Правда, эти последователи декаданса пребывают не в таком отчаянии и смирении, в каком им следовало быть,— большей частью они чувствуют себя довольно хорошо, чертовски хорошо в своей декадентской шкуре, даже и не предаваясь отчаянию, ибо одна из характерных черт декаданса как раз в том и состоит, что он является лишь игрой и в то же время и сам себя не принимает всерьез. Им кокетничают, кокетничают отчаянием, не предаваясь отчаянию. Овеществленный и существующий как товар человек, сформированный капиталистическим способом производства, выставляется напоказ, словно фигура в паноптикуме, которая никакой иной ценности, кроме как курьез, не имеет. Кокетничают безнадежностью и безысходностью, и при этом исключительно большое значение придают тому, чтобы создать себе обеспеченное существование, совершенно неэкзистенциалистское, реалистическое существование с помощью экзистенциалистских дам — состоятельных, разумеется. Декаданс оказывается не чем иным, как методом духовного и морального разложения, так как людей, наивно воспринимающих его как современное направление, он лишает способности к объективному и взаимосвязанному мышлению, приводящему к выводам, совершенно нежелательным для империализма. Некоторые утверждают, что шовинизм — противник декадентства и наоборот, но это вовсе не так. Мы достаточно часто видели в прошлом, как оба эти направления взаимно дополняли и обуславливали друг друга, так же как, скажем, Шопенгауэр не был противником Ницше, а его пессимистическая философия подготовила «Волю к власти» Ницше и учение о сверхчеловеке.

Декаданс — вот против чего мы должны выступать, но при этом нельзя допускать ошибки, называя декадентами художников, в произведениях которых еще имеются декадентские черты. У многих наших художников, если не у всех, это переходное явление, и только тот, кто думает, что социализм одним ударом ликвидирует любой конфликт, может высказывать подобные односторонние суждения. Конфликт не будет ликвидирован и при социализме, напротив, лишь при социализме он выступит в своем подлинно глубоком, человеческом величии. А такие переходные явления, какие мы обнаруживаем у наших художников, представляют собой конфликт нового со старым в человеке, и опять-таки мы можем получить совет у Гете, который говорит, что каждый выдающийся человек связан не только с величием своего времени, но и с его убожеством. Но и здесь все дело заключается в распределении света и тени, в пропорции. Все дело в том, что художник лишь тогда избегнет декаданса, если он в главном деле своей жизни — в своем творчестве — неуклонно преодолевает имеющиеся в нем декадентские элементы и ни при каких обстоятельствах не поддается искушению делать из нищеты декаданса модную добродетель.

Сущность декадентской культуры заключается в том, что она отказывается от объективных критериев и ценностей, от объективного изображения и вместо этого возводит в меру всех вещей индивидуалистическое, эгоцентричное. Подобная культура не только остается далеко позади всего того, что было достигнуто античностью, Ренессансом и классикой, но ее превосходит и натурализм и критический реализм. В лучшем случае эти дегенеративные порождения годятся для музеев, чтоб иллюстрировать сумятицу и путаницу времени.

1958 г.

МАРЬЯН ЮРКОВИЧ

ПИСАТЕЛИ И КНИГИ

Письмо
из Белграда

Боюсь, что мое письмо займет больше места, чем письма, которые вы печатали до сих пор. Но дело в том, что в Югославии за последнее время появилось несколько примечательных книг и было бы несправедливо, да и невозможно, коснуться в этой статье только двух или трех из них.

Вне всякого сомнения, книгой года была «Лелейская гора» Михайло Лалича. Роман под этим названием появился еще в 1957 году, но спустя несколько лет автор снова возвратился к нему и выпустил его сейчас в новом варианте, значительно отличающемся от первого в художественном и идейном отношении, хотя в свое время первый вариант также явился литературным событием.

Лалич родился в 1914 году в Черногории, у него были трудные детство и юность. Он участвовал в восстании 1941 года против оккупантов, попал в плен, был приговорен к смерти, затем казнь была заменена заключением в концлагерь, откуда он бежал и присоединился к греческим партизанам.

Лалич — автор пяти романов и нескольких сборников новелл.

«Лелейская гора» — книга о потерянном и вновь найденном пути человека к человеку; это прославление победы человека над одиночеством, торжество восстановления его связей с людьми и с обществом. Роман рассказывает о том историческом периоде, когда под натиском фашистских войск партизаны были вынуждены покинуть Черногорию; но смысл его шире, речь идет здесь об условиях, которые порождают «отчужденного» человека.

Герой романа — Ладо Тайович оставлен партизанами в тылу врага; он живет в мрачном Лелейском лесу и, терзаемый сомнениями и страданиями, постепенно отказывается от революционной морали, скатывается к абсолютному нигилизму и провозглашает свою собственную жизнь самой большой ценностью. Однако во время долгого болезненного самоанализа, в бесчисленных беседах с дьяволом — его злым духом,— стремящимся до конца разрушить его мораль и доказать ему бессмысленность всех принципов, тщетность всех людских стремлений, в душе Тайовича вновь рождается луч веры в человека, в возможность его возрождения, его победы. Он отправляется на поиски своих товарищей, вместе с ними выходит навстречу возвращающейся партизанской армии и снова встает под знамена революции.

Герой «Лелейской горы» понял, что в одиночестве, в отчуждении от людей его покидает все человеческое; он осознал, что только возвращение к людям и участие в их борьбе со Злом могут вернуть ему утерянную гармонию личности, утраченную человечность, дадут ему возможность стать богатым человеком в том смысле, в каком понимал это Маркс. Отвергая анархистское отрицание, признавая всю его абсурдность и бесплодность, он полностью осознает, когда человек может считать себя коммунистом: «Мы коммунисты, когда мы все вместе; одинокий человек не может быть коммунистом». И где-то в конце книги измученный Тайович говорит: «Для меня важно то, что я еще живу и верю в коммунизм. Только это одно, а все прочее—предрассудки и глупости церковников, в которые давно уже и звонари не верят». Коммунизм для него — «самый вдохновенный союз надежды и разума». Сопоставле-

ние первого и второго вариантов романа (здесь нет, разумеется, возможности его проделать) убедительно свидетельствует об идейном и художественном росте Лалича и дает нам ответ на вопрос о том, почему он снова вернулся к этой своей книге. Ведь всех приведенных выше цитат, равно как и многих других, говорящих о значительном идейном росте Лалича, не было в первой редакции. Хмурая Лелейская гора, по которой пробирается одинокий человек, остается по-прежнему хмурой, но в новом издании романа — почти сразу же, с первых страниц и затем через всю книгу — в этот мрак врываются потоки света. И это не надуманная, искусственная радость, но отблеск новой, зрелой веры автора. В первом варианте отсутствовал свет человеческой солидарности, столь могуче и вдохновенно озаряющий теперь конец романа. Лалич наполняет новым смыслом то прекрасное место в финале книги, где говорится об обретенном пути к людям (хотя и прежде эта глава была проникнута надеждой). В первоначальном варианте мы читали: «Я нагнулся, чтоб разглядеть ее поближе, нагнулся с недоверием и ощупал ее ладонями. Да, это дорога». А во втором варианте: «Я нагнулся, чтоб разглядеть ее поближе, нагнулся с недоверием и ощупал ее ладонями. Да, это дорога, старая дорога, по которой людям часто приходилось уходить в горы и возвращаться назад, чтобы всем вместе взяться за оружие». Идейному росту писателя сопутствует в новой редакции «Лелейской горы» и рост художественного мастерства. Лиризм, который и прежде преобладал в прозе Лалича, сейчас приобретает новые качества, становится более глубоким и тонким: это особенно ощутимо в превосходных картинах природы. О творческом росте писателя говорит и бóльшее языковое богатство этого варианта, его неудержимая образность, сочетающаяся с необычайной простотой. Переплетение реального и фантастики, столь характерное для реализма Лалича, для его многослойности и полихромии, получило в этой книге новое блестящее воплощение. Рядом с изображением будничной черногорской действительности мы находим картины кошмаров, ужасов, испытываемых человеком, приговоренным к одиночеству. Новый вариант «Лелейской горы»—результат плодотворной работы одного из самых оригинальных талантов югославской литературы. Роман воспринимается нами как свидетельство живой силы реализма в нашей литературе. Роман этот — частица той литературы, которая несет самую революционную функцию искусства: помогает человеку жить.

Критика была почти единодушна в высокой оценке книги Лалича. «Вероятно, это самое крупное его произведение,— писал молодой критик Павле Зорич.— Полный свежести, красоты и чудесной поэзии, этот роман раскрывает все грани таланта Лалича».

В центре внимания читателей оказался также роман Мирослава Крлежи «Знамена» (несмотря на то, что книга не вышла еще отдельным изданием и в загребском журнале «Форум» печаталась лишь первая ее часть). Крлежа знаком советскому читателю: выпущенный несколько лет назад на русском языке однотомник дал возможность получить представление о творчестве этого писателя. Крлежей написано очень много: собрание его сочинений, выходящее сейчас в Загребе, будет состоять из сорока томов. Невозможно, конечно, в нескольких словах рассказать о том, какое место занимает творчество Крлежи в югославской литературе, каково его художественное и идейное богатство, сколь велика сила его влияния. Лирик, драматург, романист, эссеист, сатирик, публицист, страстный полемист, писатель оригинальной творческой силы и большой эрудиции, страстный обличитель буржуазии, Крлежа еще в 1919 году в журнале «Пламен», который он редактировал вместе с Августом Цесарцем, приветствовал Октябрьскую революцию; с тех пор писатель стоит в рядах борцов за социализм в Югославии. Влияние, которое творчество Крлежи вопреки всем внутренним его противоречиям оказало на развитие югославской литературы и особенно на интеллигенцию, огромно, и по сей день оно не оценено во всей полноте. Чувства читателей к Крлеже особенно ярко проявились в 1963 году, когда вся страна праздновала семидесятилетие со дня рождения и пятидесятилетие его творческой деятельности.

Эпоха, в которую переносит нас роман Крлежи, была решающей для Европы канун первой мировой войны. Действие книги происходит в Хорватии, тогда еще именовавшейся королевством и входившей в состав австро-венгерской империи. Извечная мечта хорватов о своем национальном освобождении, казалось, близилась к осуществлению: на Балканах сербы наносили поражения туркам, а среди хорватской молодежи нарастала волна национально-революционного движения. На улицах феодального Загреба все чаще раздавались револьверные выстрелы патриотов. Герой романа «Знамена» — молодой хорватский аристократ Камило Эмерички, сын крупного чиновника. Еще гимназистом он участвовал в антивенгерских выступлениях и тем не менее по желанию отца должен продолжить образование в Будапеште. Здесь он тайно сотрудничает в оппозиционной газете, издаваемой его университетским профессором-либералом, и переживает первую большую любовь к жене профессора поэтессе Анне, женщине, которая старше его на семнадцать лет. Все глубже окунаясь в национальную борьбу, внимательно приглядываясь к внутренним междоусобицам южнославянских националистов в Загребе, Будапеште, Вене и Белграде, юноша постепенно приходит к убеждению, что под руководством буржуазии нельзя добиться полного и подлинного освобождения народа. Его старый друг Бруно (прототи-

пом которого, возможно, является Август Цесарец) пишет ему из тюрьмы (куда он попал как организатор покушения на королевского комиссара в Хорватии), что группа националистов пришла к выводу о необходимости сменить знамя: «...если уж мы поднялись и пролили кровь, необходимо избавиться от дилетантизма и твердо взять дело в свои руки. Пусть развернутся новые, истинные знамена, ведь мы решили поднять новые, социалистические знамена, и наша молодежь должна отказаться от национализма, должна пойти влево, на крайний левый фланг, к отрицанию всякой лжи, к Интернационалу...»

Созданная Крлежей картина Хорватии 1913 года — печальна и мрачна. Это растоптанная страна, в которой с помощью оторвавшихся от народа аристократов, подлых чиновников и полиции правят чужеземцы. Портреты этих изменников созданы рукой умелого мастера. Юный Эмерички, образ которого рельефнее выступает на этом фоне, по существу своему является новым вариантом излюбленного Крлежей образа бунтарей, которых — как свое отрицание — порождает старое общество. Болезненно чувствительный интеллигент, перегруженный «комплексами», Эмерички с трудом, по извилистой тропе поднимается к свету, иногда смело наступая на горло собственному индивидуализму. Отказавшись от хронологической последовательности в повествовании, Крлежа тем самым еще сильнее подчеркнул всю трудность и сложность этого пути; большие куски романа как бы пропущены через воспоминания юноши, и минувшие печали, невзгоды и смерти снова возникают в ткани романа, изображенные под новым углом зрения. Впрочем, тягостная атмосфера, которая нередко царит в романах и пьесах М. Крлежи, здесь связана с образом поэтессы Анны, «самые искренние лирические настроения которой неизменно были настроениями смерти и увядания». Любовь Анны, женщины, переживающей пору увядания, больной и пресыщенной жизнью, к юноше, для которого это первое большое чувство, окрашена глубокой меланхолией, еще сильнее подчеркнутой лиризмом печальных и очень типичных для Крлежи пейзажей, столь щедро рассыпанных по всей первой книге «Знамен». И недостатки романа связаны с его достоинствами: блестящий стиль писателя, водопад его фраз — весь этот грандиозный поток в некоторых местах (а их, к сожалению, немало) перехлестывает через край. И второе — создавая картину эпохи, писатель слишком много внимания уделяет историческим, политическим, финансовым, юридическим, статистическим деталям, которые нисколько не способствуют прояснению всей этой картины, но, напротив, затемняют ее. И, видимо, поэтому при чтении статей некоторых молодых критиков, писавших о «Знаменах» (все рецензии были весьма положительны), создавалось впечатление, что многие детали этой огромной фрески недоступны им, что многие намеки и иронические пассажи романиста так и остались для них нераскрытыми.

О широком развитии югославской прозы неопровержимо свидетельствует и роман «Молчание» Оскара Давичо, первая из анонсированных четырех книг о борьбе коммунистов в тюрьмах старой Югославии. Давичо принадлежит к среднему поколению современных югославских писателей — он родился в 1909 году в городе Шабац в Сербии. Давичо очень плодовит. «Молчание» — его пятый роман, кроме того он выпустил несколько сборников стихотворений и поэм, несколько книг статей и очерков. В тридцатые годы он принадлежал к группе сюрреалистов, в пятидесятые — был одним из основателей журнала «Дело».

Фабула романа заключается в следующем: молодой рабочий, бывший студент, порвавший со своим прошлым и изменивший даже свое имя, арестован за распространение коммунистических листовок. Сначала тянется полицейское следствие, затем — суд; его приговаривают к десяти годам тюрьмы, первые девяносто дней которой он проводит в одиночке. Но из этой единственной нити Давичо выткал целую драму, повествующую о страданиях и героизме коммуниста, рассказывающую о том, как революционная борьба продолжается даже тогда, когда ее носитель «одет в камень» каземата. В этом случае молчание приобретает особый смысл — оно становится оружием, последним оружием, которое может прервать цепную реакцию провалов, предупредить арест других товарищей. Непрерывная пытка в полиции, продолжающаяся несколько дней и ночей, превращает героя в «мешок мелко истолченных костей, рваной кожи и воспаленного мяса». И все же молчание побеждает: оно спасает многих людей, работающих во имя достижения подлинной свободы. И лишь позже, в одиночке, молчание становится орудием пытки в руках мучителей, машиной для истязания осужденного, для издевательства над его душой, оно становится новым средством уничтожения всего человеческого в человеке.

Давичо хорошо передал мрачную атмосферу королевской югославской тюрьмы. И это понятно: писатель огромного художественного опыта, Давичо сам провел пять лет в каземате. И хотя в первой книге тетралогии немного героев (почти все действие сводится к страшным поединкам Слободана Раденика с его мучителями и с самим собой), тем не менее мы находим в ней (помимо сильного характера главного героя, психическая и физическая пытка которого составляет тему всей книги) еще три-четыре запоминающихся образа. Это — следователь полиции, следователь суда, старый партиец слесарь Груич и македонский националист, борющийся против великосербского шовинизма средствами индивидуального террора. Однако образ этого террориста (который вообще может считаться одним из лучших в прозе Давичо) отмечен печатью мессианства. Невозможно также согласиться и с той оцен-

кой индивидуального террора, которую дает в романе коммунист Груич: «Нет,— ответил ему Груич почти так же тихо, но не так решительно и твердо, как, бывало, он реагировал на ложь,— никакая борьба не бывает ошибочной. Существует только более и менее эффективная борьба». Да и в характере самого Груича появляется один, несколько иронический штрих: закаленный коммунист, отлично знающий жизнь и людей, Груич не имеет понятия о том, что такое настоящая литература; словно верующий — библию, он с таким же увлечением читает какой-то плохой роман. Удивительно, однако, что два критика в числе недостатков романа Давичо назвали нечто, на самом деле являющееся его достоинством. Они упрекнули писателя в том, что он не изобразил врага глупцом, но «интеллект врага сделал равным своему интеллекту». «Тирады следователя, например, слишком абстрактны, интеллектуализированы и философичны почти до невероятия — впрочем, очевидно, это соответствует личному представлению Давичо о враге, какого ему хотелось бы видеть перед собой»,— писал критик газеты «Политика» З. Гаврилович. В образе следователя, однако, нетрудно узнать портрет одного из судей печально знаменитого «Суда по защите государства», который сам был известным поэтом; Давичо не побоялся изобразить его в романе под его подлинной фамилией. Действительные недостатки романа заключаются совсем в ином: в упорном сохранении сюрреалистской манеры письма, в перегруженности метафорами, жаргонными выражениями и неологизмами, многоэтажными ассоциациями, которые, к сожалению, иногда вовсе лишают читателя возможности проникнуть в суть авторской мысли. Все это создает впечатление искусственности, которое еще более усугубляется оттого, что многие главы романа написаны легко и свободны от вычурности. И когда читатель сталкивается с фразой, в которой пятнадцать раз стоят скобки — то есть, иными словами, находится пятнадцать новых фраз,— ему ничего не остается делать, как поднять руки вверх.

Однако, несмотря на все эти замечания, «Молчание» — лучшая книга О. Давичо после «Песни», его первого романа, опубликованного в 1952 году.

Немало разговоров вызвала книга совсем молодого писателя Анджелько Вулетича — роман «Дерево у адских врат», о котором критика высказалась почти единодушно отрицательно и необыкновенно резко. Роман написан в форме исповеди молодого человека, жизнь которого исполнена циничного эгоизма, равнодушия к людям и их страданиям, безграничной ненависти ко всему, что свято для каждого, кто достоин называться человеком. Герой презирает, ненавидит и унижает своего отца и свою мать, он не желает знать родного брата, умирающего в мучениях. «Как будто мы рождены, чтобы жить, как будто мы живем, чтобы на что-то надеяться и чему-то радоваться; как будто мы надеемся потому, что действительно существуют основания и веские причины для чего-то подобного. Глупости! Глупости!» — восклицает он. Этот молодой человек не знает, что такое любовь. «Этого я не знал и не узнаю. Только брать! Жадно и бездумно. И ничего больше». Вся книга полна картин, словно взятых из учебника сексуальной патологии. Автор не оригинален: воспоминания об уже прочитанном часто, слишком часто возникают у читателя, следящего за событиями в литературах западного мира. И, когда он переворачивает последнюю страницу книги, перед ним встает вопрос: откуда у молодого писателя такое отношение к жизни? Есть ли на свете что-нибудь, чего он не оплевывает? Почему так ненавистно ему все окружающее? Однако на эти вопросы роман не дает никакого ответа.

Критик еженедельника «НИН» З. Глушчевич, признав стилистические достоинства книги, отрицательно отозвался об этом романе и заметил, что «гнев автора не совсем объясним», а его «сексуальный герой — асоциальная, аморальная личность». М. Бандич в «Политике» также охарактеризовал этот роман, как «печальную тень, явившуюся из чужих литературных мастерских», и добавил, что главного героя книги «невозможно ни жалеть, ни ненавидеть». С последним утверждением я не могу согласиться; когда в конце книги крестьяне окружили это чудовище с криком: «Гони наверх! Гони его на кладбище и убивай как собаку!» — признаюсь, мне захотелось, чтобы так оно и случилось. Но писатель сохранил жизнь своему герою. Резче всех отозвался о книге И. Фогл в сараевском журнале «Живот» («Жизнь»). Он охарактеризовал роман как «клевету на жизнь и на то время, в которое мы живем», и обратился к писателю с вопросом: почему он так страстно привязан к мертвечине, почему он копается в отбросах, почему он бродит по околице жизни, где правда искажена, где ее не видно... почему он славит преступление и отрицает общественное бытие человека? Вулетич откликнулся длинным, но бессодержательным письмом, в котором не дал ответа ни на один вопрос.

Одобрительную оценку читателей и критики вызвала новая книга поэта Стевана Раичковича. Это — книга сонетов «Каменная колыбельная», которая была, вероятно, наиболее читаемой поэтической книгой в 1963 году в Югославии. Война отравила детство этого тонкого лирика, оставив в его стихах горечь воспоминаний, окрашивающую всю его поэзию. Он пишет о ранах войны и о своей тревоге за будущее человека. Прошли годы, но война остается кровоточащим воспоминанием. В одном из лучших стихотворений сборника поэт возвращается в небольшой городок на реке Тисе, где прошло его детство. Все

мертво, отовсюду исчезла жизнь, нигде нет людей, яма зияет на месте церкви, и стены синагоги напоминают об уничтоженных евреях. Куда исчез этот мир? «Словно в Тису скатился отбитый ногой ком земли». Образы тишины и травы становятся в поэзии Раичковича символами протеста против войны, против дегуманизации человека. Как и в ранних стихах Раичковича, для которых характерны простота формы и искренность чувства, даже в самых трагических из этих сонетов всегда появляется надежда. В стихотворении «Путь на равнину» человек идет на фоне унылого, однообразного пейзажа: вокруг него озерца и камыши, лягушки, а впереди — одна лишь пыль... Но, может быть, там, далеко, далеко, говорит Раичкович, ждет нас красный цветок. Мы знаем, что он далеко, однако в завершающих двух строках поэт не лишает нас надежды: «О, мы это знаем, знаем, знаем, но — мы идем». Радость надежды живет и в самой интимной лирике поэта — например, в сонете «Букет». В воспоминаниях о путешествии по России это чувство словно бы расцветает еще ярче. Мрачное настроение в стихотворении «Ни просторы мглистые» разрушается словами: «Я закрываю глаза и призываю цветок — мак с русских полей, на который я смотрел». А в сонете «На Невском проспекте» он говорит: «Никогда со столь открытой душой я не стоял под небом, маленький и гордый».

Я не льщу себя надеждой, что перечислением тем поэзии Раичковича и цитированием нескольких вырванных из контекста строк смог многое сказать читателю об этой лирике, тем более что ее прелесть не только в содержании, но и в совершенстве выполнения — особенно в последнем сборнике, где поэту удалось оживить старую форму сонета.

В приведенных выше оценках пяти произведений югославских писателей, очевидно, есть и субъективные моменты — впрочем, я думаю, было бы плохо, если бы они не чувствовались. Но именно поэтому не лишним мне кажется добавить в конце, что три книги из этих пяти отмечены крупными литературными премиями: «Лелейская гора» Лалича получила самую значительную и единственную общеюгославскую премию имени Негоша (учрежденную недавно в самой маленькой югославской республике — Черногории), «Знамена» М. Крлежи — «Премию критики» белградского еженедельника «НИН», а сборник Раичковича «Каменная колыбельная» отмечен премией социалистической республики Сербии имени Седьмого июля*.

---

* День начала восстания в Сербии в 1941 году.

ПОЛЕМИКА

А. ЕЛИСТРАТОВА

АМЕРИКАНСКИЙ БАЛЬЗАК, ИЛИ ОБ ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОДДЕЛКЕ

Имя Германа Вука получило широкую известность в США после выхода его романа «Марджори Морнингстар» в 1955 году. Роман этот выдвинулся в число «бестселлеров». И не удивительно: Вуку нельзя отказать в превосходном знании обывательских вкусов. В его массивном романе — своего рода коктейле литературной пошлости — были уверенной рукой смешаны все необходимые ингредиенты: здесь был и щедро отмеренный «секс», и антикоммунизм, и немножко религии, и очень много пресловутого американского «успеха». Героиня романа, Марджори Моргенстерн, дочка нью-йоркского бизнесмена, наделенная конфетной красотой и неизъяснимым очарованием, следовала на протяжении нескольких сот страниц от одного искушения к другому. По выражению одного из героев романа, в скачке по жизненному пути «левой шпорой» Марджори была «американская идея успеха», а «правой шпорой» — «идея респектабельности». Эта комбинация, по воле Германа Вука, сработала безотказно. Пройдя через многие соблазны (одна из частей романа красноречиво озаглавлена «Содом») и некоторые разочарования, Марджори Моргенстерн приходит к желанному финишу. Правда, ей так и не удалось стать, как она мечтала, знаменитой актрисой Марджори Морнингстар. Но зато ее свадьба с преуспевающим адвокатом Моррисом Шварцем была сыграна по первому разряду и обошлась ровнехонько в шесть с половиной тысяч долларов! А какой огромный бриллиант был в ее обручальном кольце! И какая счастливая, спокойная, респектабельная жизнь в прекрасной собственной вилле с образцовыми детьми и заботливым мужем ожидала ее в будущем, как узнавал из эпилога читатель!

Эта откровенная проповедь сытого мещанского благополучия, представленного в качестве общей нормы американской жизни, резко противостояла лучшим традициям американского реализма XX века. Драйзер в «Сестре Керри» и «Дженни Герхардт», Синклер Льюис в «Главной улице», Шервуд Андерсон в своих рассказах показали, как трудна судьба американской женщины, которая хочет стать человеком. Герман Вук предлагал своим читателям нечто прямо противоположное. И вполне понятно то радостное одобрение, с каким встретили «Марджори Морнинг-

стар» такие журналы, как «Лайф» и «Тайм». Им вторили и литературоведы. Лесли Фидлер, автор обширного фрейдистского сочинения «Любовь и смерть в американском романе» (1960), возвел даже образ Марджори Моргенстерн в степень некоего мифологического обобщения важнейших тенденций американского сознания. Более скептически настроенный Максуэлл Гейсмар с тревогой задавался вопросом: неужели американская литература вступает в «век Вука»?

После довольно продолжительного молчания Герман Вук обнародовал новый роман, претендующий, так же как и «Марджори Морнингстар», на известную «проблемность». Если «Марджори Морнингстар» была романом о судьбе американской женщины, то «Янгблад Хок» — это роман о судьбе американского художника.

Трагедия американского художника — одна из магистральных тем литературы США. «Мартин Иден» Лондона и «Гений» Драйзера — два наиболее широко известных, классических ее воплощения.

Их создатели шли от жизни. Трагедия безвременной гибели художника, его вынужденного молчания, изгнания, забвения — или же «успеха», купленного ценой сделок с совестью и развращения таланта,— разыгрывалась десятки и сотни раз на подмостках литературной истории США. Френо и Пейн, По, Брет-Гарт, Мелвилл, Крейн — это лишь первые приходящие на память имена из длинного мартиролога затравленных, отвергнутых или загубленных буржуазной Америкой писателей.

О трагедии американского художника как следствии глубокой враждебности буржуазного общества искусству размышляли с горечью и болью крупнейшие писатели США. Эта мысль проходит через записные книжки Твена и воплощается в драматической символике новелл Генри Джеймса. Она звучит в публицистике Фрэнка Норриса, Драйзера, Эптона Синклера, Шервуда Андерсона, Синклера Льюиса, Хемингуэя. «Ведь мы делаем из наших писателей черт знает что,— говорит Хемингуэй в диалоге с воображаемым собеседником в «Зеленых холмах Африки».— Мы губим их, и для этого имеется много способов. Во-первых, губим экономически. Они начинают сколачивать деньгу... Разбогатев, наши писатели начинают жить на широкую ногу, и тут-то они и попадаются. Теперь уж им, хочешь не хочешь, приходится писать, чтобы поддерживать свой образ жизни, содержать своих жен, и прочая, и прочая,— а в результате получается макулатура... Есть и такие, кто пытается спасти душу своими писаниями... Других губят первые деньги, первая похвала, первые нападки, первая мысль о том, что они не могут больше писать, первый случай, когда они убеждаются, что ничего другого делать не умеют».

Роман Германа Вука по своей сюжетной схеме кажется прямой иллюстрацией этих мрачных суждений Хемингуэя. Некоторые персонажи романа самыми темными красками рисуют обстановку, сложившуюся в литературе. «Вас возносят наверх, Хок, на вершину жертвенной пирамиды, а потом, когда все вас увидят, когда вы напечатаете следующую книгу, с вас сдирают одежду, выхватывают сверкающие ножи и начинают вырубать куски живого мяса из вашего тела... Кто остался сейчас на арене? Три-четыре изувеченных страшилища, которые выжили после этих пыток и теперь еле ползают,— Хемингуэй, Фолкнер, Стейнбек, Марканд; все они покрыты шрамами, как жертвы авиационной катастрофы, отупели и онемели от боли и не хотят промолвить ни слова ни о литературе, ни о литературной хронике, делая вид, что они любители спорта, фермеры, бизнесмены — все что угодно, только не художники» — такова, например, драматическая, хотя и несколько односторонняя характеристика литературных нравов США, которую высказывает вымышленный Вуком литератор Хоуард Фейн (впрочем, в трактовке самого автора отнюдь не соответствующий «образцовым показателям» истинно американского писателя). При первом знакомстве с замыслом этого объемистого тома читателю может показаться, что перед ним действительно серьезная попытка разобраться в обстоятельствах, приведших к безвременной гибели героя романа — талантливого молодого писателя Артура Янгблада Хока. Жизнеописание этой восходящей звезды американской литературной жизни XX века развертывается с величественностью, достойной социально-исторической эпопеи. Отдельные части романа многозначительно обозначены датами: «1946 год», «1947 год», «1948—1950 годы», «1951 год», «1952 год», «1952—1953 годы». В биографии Хока читатель, если он хоть сколько-нибудь поддается авторскому внушению, должен услышать неотвратимую поступь

Судьбы. А вместе с тем автор не скупится на подробности в изображении закулисной жизни американских издательств, коммерческих театров Бродвея, голливудских кинокомпаний. Он шаг за шагом следует за своим героем, начиная с того дня, когда этот юнец провинциал, сам не веря своей удаче, заключает первый договор с нью-йоркской издательской фирмой «Принсхауз».

Проходит всего семь лет — и последним этапом этого бурного, отмеченного фантастическими взлетами и падениями пути оказывается кладбище в Хови, захолустном городишке штата Кентукки. Над одной из могил водружена плита с надписью: «Артур Янгблад Хок. Хови, 1920 — Нью-Йорк, 1953»; за этим следует строка из его романа: «Смерть — только печаль. Трагедия — в напрасной растрате сил».

Так что же перед нами — подытоженное этой эпитафией негодующее обвинение, обращенное против тех, кто ускорил гибель одаренного молодого писателя? Не означает ли это, что по замыслу Германа Вука даже камень вопиет о свершившейся трагедии — о «напрасной растрате сил» еще одного таланта?

Не будем, однако, торопиться с выводами. Сперва присмотримся повнимательнее и к Артуру Янгбладу Хоку, а вместе с тем и к его создателю и биографу Герману Вуку.

Романист не жалеет средств, чтобы «подать» нам своего героя в наивыигрышном виде; щедрость, которую он здесь проявляет, подчас граничит с безвкусицей — но чего не сделаешь от полноты чувств! Наружность Янгблада Хока не менее победоносна, чем его имя и фамилия («Youngblood» по-английски значит «молодая кровь», а «Hawke» — «сокол»). Его мощная фигура, грубоватая, но мужественная физиономия, его манеры (напоминающие бессмертной памяти Тарзана) и восхитительно неправильный южный выговор безотказно обеспечивают ему успех даже у самых многоопытных кинозвезд и миллионерш, которые прямо-таки тают при его приближении. В соответствии с этим биограф Хока принужден с особой тщательностью живописать достопамятные ковры, кушетки и прочие предметы обстановки роскошных отелей и особняков, где его герой встречается с этими дамами; Вук так обстоятелен в исполнении своих обязанностей, что не забывает даже сообщить нам, сколько раз менялась обивка одной кушетки на протяжении романа.

Другой бесспорный талант молодого Хока — это его способность поглощать в неограниченном количестве спиртные напитки. Бутылки виски сопровождают его повсюду — черта, правда, не столь уж оригинальная, но дорисовывающая этот образ американского «сокола с молодой кровью», расправляющего крылья для полета.

А творчество? Что ж, нас хотят уверить, что и здесь Янгблад Хок молодец хоть куда. Он высоко метит: когда при первой встрече с ним Жанна, редакторша его рукописи, позволяет себе неосторожно сравнить его с О. Генри, он воспринимает это как жестокую обиду. Он ценит себя подороже. В начале романа мы узнаем, что его любимые мастера «три Д»: Диккенс, Драйзер, Достоевский. Читателю предлагается, до поры до времени, руководствоваться этими масштабами для определения творческих возможностей Хока. По временам, для того чтобы мы не забыли, с кем имеем дело, нам подкидывают новые сопоставления то с Хемингуэем, то с Марком Твеном, то с Львом Толстым... Янгблад Хок так дьявольски талантлив, что даже из отходов одного его романа — длиннот, повторений, «сырых» описаний, выброшенных все той же редакторшей из рукописи,— могла бы, как уверяет автор, выйти новая, американская «Война и мир»! С ним не шутите: ведь сам Фолкнер (который вовремя умер, а потому уже не может ни опротестовать, ни подтвердить этот примечательный факт) прислал ему, оказывается, прочувствованное ободряющее письмо!

Постепенно из множества сопоставлений выдвигается один классический образ, американским аналогом которого собирается стать Янгблад Хок. Это — Бальзак. У Хока — как нам не раз напоминают по ходу действия — немало общих черт с создателем «Человеческой комедии». Он тоже предпочитает писать по ночам. У него тоже есть долги... А в будущем он тоже намерен написать свою великую «Американскую комедию» — десятка два романов-«панорам», изображающих разные стороны американской жизни. Но вот беда: по твердому убеждению нашего американского Бальзака, он сможет приняться за осуще-

---

ствление этой миссии только тогда, когда в его распоряжении будет миллион долларов. А потому ближайшая цель его усилий заключается в том, чтобы раздобыть этот миллион, да побыстрее. Оно бы, оказывается, и нетрудно (как увидим, Герман Вук убежден — или, по крайней мере, хочет убедить в этом своих читателей,— что раздобыть миллион долларов в Америке — дело нехитрое); но, к несчастью, молодой южанин неопытен, доверчив и самонадеян. Вместо того чтобы сразу положиться на советы преданной редакторши и консультацию специалиста по налоговому законодательству, он подписывает, не читая, рискованные договоры, пускается очертя голову в спекуляции недвижимостью, основывает собственное издательство и крайне усложняет свои отношения с налоговым управлением.

К тому же бессовестная Фрида Уинтер — одна из возникших на его пути миллионерш — невзирая на разницу лет и наличие четверых детей кружит ему голову и мешает сосредоточиться и вовремя жениться на благоразумной редакторше, которая наверняка уберегла бы его от многих просчетов. Дело доходит до того, что Хоку — бедняжке! — приходится даже бежать в Европу, чтобы спастись от налоговых инспекторов, а заодно и от любовных чар. Впрочем, Европа не оправдывает его надежд. Французы встречают его неприветливо; между тем, к своему возмущению, он замечает в парижских театрах и ресторанах негров, которые, по-видимому, чувствуют себя как дома и даже осмеливаются появляться в обществе француженок. Шоферы парижских такси обращаются с ним непочтительно. Американскому Бальзаку начинает казаться, будто все «парижане вступили в заговор, чтобы заставить американцев почувствовать себя не в своей тарелке и людьми второго сорта». Но наш гордый сын Америки не остается в долгу и находит способ публично утвердить свое превосходство перед лицом Европы. Раздосадованный тем, что в венецианском кабаре негр пианист осмелился играть в четыре руки с Фридой (снова появившейся на сцену), Янгблад Хок выбрасывает в канал оба рояля, а в довершение, чтобы не оставить уж никаких сомнений насчет своей «первосортности», молодецким жестом разбивает зеркало.

Все это, однако, не улучшает финансовых дел молодого гения, и он по-прежнему изрядно побаивается того иска, какой грозится предъявить ему налоговое управление. Правда, у него появился теперь опытный советчик по налоговым делам, Гэс Адам, который, состоя профессором финансового права в Колумбийском университете, «по совместительству» выручает уолл-стритских дельцов, помогая им обходить налоговое законодательство США. К тому же и его редакторша, вышедшая было замуж с досады, успела вовремя овдоветь и готова стать его женой. Казалось бы, обстоятельства складываются благоприятно для нашего героя, тем более что контракты с кино, театром и издательские договоры сулят ему немалые куши. Но «сокол» напоследок уподобляется скорее зайцу: спасаясь от долгов, запутавшись в делах, он теряет голову, начинает петлять и — по старой привычке — решает сделать ставку еще на одну миллионершу (хотя уже и назначил день своей свадьбы с редакторшей). На этот раз он возлагает свои надежды на миссис Гауптман — эта космополитическая дама, американка родом, немка по мужу, проживает в Перу, где расположены ее огромные латифундии. Как проницательно подметил еще ранее Хок, «Уинтеры — мелкая сошка по сравнению с Гауптманами». Миссис Гауптман (никогда не скрывавшая своего особого интереса к нашему «кроткому великану») также весьма своевременно овдовела, и Хок решает отправиться к ней в Перу в надежде получить от нее заем, чтобы расквитаться с налоговым управлением. Ему и нужны-то пустяки, всего какая-нибудь сотня тысяч долларов. Впрочем, в его воображении маячит и другая, более заманчивая перспектива: быть может, «Гонор Гауптман не только одолжит ему необходимую сумму, но станет, в конце концов, его миллионершей. Посмотрите-ка на Шоу! Ведь Шоу взял себе в жены миллионершу... и после этого великий писатель мог заниматься своим делом и не помышлять о деньгах». Перуанский вояж, предпринятый со столь возвышенными целями, по-видимому, мог бы оказаться успешным. Но волнения, усталость и привычное пьянство, в сочетании с полученной когда-то контузией, делают свое: по возвращении из Перу Янгблад Хок скоропостижно умирает в нью-йоркском госпитале, «добитый» визитом несносной Фриды Уинтер, которая и тут нашла нужным докучать ему своим вниманием.

Литература Соединенных Штатов лишилась, таким образом, своей «Американской комедии» на собственный лад — таков патетический вывод, к которому подводит было своих читателей Герман Вук. Но не спешите огорчаться и сетовать: дело, оказывается, обстоит не так плохо. Эпилог романа придает всей истории Хока неожиданный и — по замыслу автора — весьма успокоительный оборот. Уезжая с кладбища, где несколько лет назад похоронили Хока, Жанна (его преданная редакторша, в конце концов вышедшая замуж за деловитого Гэса Адама) спрашивает мужа: «Как ты думаешь, написал бы он «Американскую комедию», если бы остался в живых?» На это Адам веско отвечает: «Жанна, я наверняка не знаю — сейчас еще никто не может сказать это наверняка,— но я думаю, что он, может статься, уже написал «Американскую комедию». Слова эти, как видно, призваны служить ключом ко всему роману: нам предлагается увидеть в Артуре Янгбладе Хоке не неудачника и не самозванца, а великана литературы, американского Бальзака XX столетия!

Жанна восхищена этим выводом. Но читатель ощущает в нем еще один из тех трюков, на которых построен весь этот роман, мнимая серьезность и откровенность которого служат лишь прикрытием целой серии подлогов.

Фальшивым является самый конфликт романа. Ведь «трагедия» Хока в изображении Вука заведомо мнимая: достаточно было ему вовремя остановить свой выбор на Жанне и воспользоваться деловым опытом друзей, чтобы ни одна из постигших его катастроф не могла иметь места. Более того, Вук подчеркивает, что его герой (даже если он и пострадал от чрезмерной бдительности налогового управления) отнюдь не в ссоре с существующим американским общественным строем, а, напротив, стоит за него горой. Он — убежденный противник марксизма; в своем последнем романе, «Страна Буна», посвященном прошлому и настоящему Кентукки, он уверяет, будто бы все экономические и социальные бедствия, постигшие население этого штата за последние десятилетия, произошли всецело по вине профсоюзов! На весь мир прогремела в свое время книга «Говорят горняки Харлана» (1932), содержавшая свидетельства самих рабочих о положении в штате Кентукки. Как писал в предисловии к этой книге Драйзер, в ней были собраны «показания относительно преступлений, жертвами которых были горняки, а также относительно того, какой экономический, политический, социальный и иной вред нанесли им и продолжают наносить шахтовладельцы и должностные лица, которые... вели против углекопов настоящую войну». С тех пор положение ничуть не улучшилось. Но «американский Бальзак» Германа Вука пытается опрокинуть эти свидетельства, запечатленные реалистической литературой США. Он уверяет, будто всему виной — сами горняки Кентукки, поддавшиеся уговорам заезжих агитаторов, организовавшиеся в профессиональные союзы, добившиеся непомерного (!) повышения заработной платы и этим якобы вконец расшатавшие экономику своего края. Янгблад Хок «опровергает» и обобщения американского реализма XX века, показавшего растущую власть капиталистических монополий в США. Он утверждает, будто деньги в США так легко переходят из рук в руки, что капиталистом может стать каждый. Герман Вук всячески старается подкрепить всем действием романа этот тезис. Внезапные обогащения совершаются у него на каждом шагу. Кроме того желанного миллиона, который уже плыл в руки Хоку, другой миллион долларов получает напоследок его старуха мать. Она оттягала эти деньги по суду у угольной компании в возмещение стоимости угля, добытого на участке, за который заплатила всего полтораста долларов тридцать лет назад, в 1921 году. А для ровного счета — или для большей убедительности — владельцем третьего миллиона оказывается невзначай и зять Хока, Джон Уэлтман, поначалу скромный банковский служащий. Этот золотой дождь, столь щедро проливающийся на страницах Германа Вука, должен, по-видимому, окончательно успокоить читателей относительно всеобщего благоденствия в современной Америке.

Той же задаче служит и не менее фальшивая трактовка антикоммунистического террора в США 50-х годов, времен разгула маккартизма. Стопроцентному американцу Хоку противопоставлен в романе литератор Карл Фрай, первый муж Жанны. Пе-

рестав быть членом компартии, он якобы сохраняет к ней симпатии и долгое время упорствует, не желая назвать агентам ФБР имена людей, с которыми когда-то работал. Однако в последний момент, на заседании сенатской комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, он (при виде плачущей жены) пересматривает свое решение и называет требуемые имена. Ситуация по-своему поучительная. Но Вук и здесь подготовил нам один из своих трюков: оказывается, Фраю не стоило и волноваться из-за того, что он станет доносчиком (а он переволновался так, что скоропостижно умер той же ночью). Ведь все названные им имена и ранее были отлично известны ФБР. Вся беда была в том, намекает Вук, что у нижних чинов этого ведомства, первоначально допрашивавших Фрая, не хватило такта, чтобы «сработаться» с ним, как «сработалась» с ним сенатская комиссия. А, впрочем, все к лучшему — ведь со смертью этого субъекта с подозрительным прошлым Жанна избавилась от не слишком любимого мужа и снова стала свободной!

Так, вчитываясь в роман Германа Вука, убеждаешься в фальшивости этого по видимости столь подробного, откровенного и патетического повествования о судьбе писателя в современном американском обществе. Вук ухватился за актуальную, важную тему, вдохновлявшую многих честных художников США, лишь для того, чтобы ее скомпрометировать и опошлить. Его роман об американском Бальзаке XX столетия остается довольно неуклюжим подлогом, по-своему, однако, любопытным для характеристики приемов реакционной пропаганды в литературе США.

КУЛЬТУРА и СОВРЕМЕННОСТЬ

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

ЧУДЕСНЫЕ ПЛОДЫ

Пять лет со дня великой победы кубинской революции наши друзья с острова Свободы отмечали и как праздник кубинской культуры. И это закономерно.

> «Победа революции создала необходимые условия для развития национальной культуры,— подчеркивалось в известном Манифесте, опубликованном еще в 1960 году литераторами, киноработниками, артистами и художниками Кубы.— Это революция всего кубинского народа, как рабочих и крестьян, так и писателей, деятелей искусств и культуры... От судеб революции зависит судьба кубинской культуры. Защищать революцию — означает защищать культуру».

Сколь символично было для кубинской революции, что вслед за «годом аграрной реформы» был объявлен «год просвещения». Революционное правительство не забыло мудрого завета великого сына кубинского народа Хосе Марти, который почти сто лет назад писал: «Революции бесплодны, если они не скреплены пером в школах и плугом на полях». Кубинская революция, бесспорно, уже принесла много плодов, чудесных плодов, и созреванию их не смогли помешать враги Кубы. Под угрозой вооруженной агрессии, в обстановке непрекращающихся провокаций, несмотря на всевозможные трудности, Куба строит социализм, успешно осуществляет культурную революцию.

Чтобы представить себе величие свершений кубинского народа в области культуры, даже нет надобности приводить цифры, хотя они и красноречивы. Вполне достаточно напомнить лишь об одном факте: Куба, та самая Куба, которая пять лет назад была одной из отсталых стран Западного полушария — большинство ее граждан не умело ни читать, ни писать,— сегодня идет в авангарде всей Латинской Америки. Социалистическая Куба обогнала Соединенные Штаты, где число неграмотных в процентном отношении несравненно больше! Высшее образование для кубинской молодежи стало реальной действительностью. Человек с книгой в руках — уже обычное явление и в Гаване, и где-нибудь в отдаленном селении, на плантации или на рыбачьем судне. Все же нельзя не привести такие цифры: за 1963 год на Кубе было издано свыше 16 миллионов экземпляров книг, из них более десяти миллионов — учебники (население в республике, как известно, составляет семь миллионов человек).

Издающийся в Гаване журнал **«Куба»** недавно опубликовал весьма интересную беседу с видным кубинским писателем **Феликсом Питой Родригесом.** В ходе беседы Пита Родригес рассказал и о своем творчестве, и о том, что внесла революция в литературную жизнь Кубы и какие новые задачи ставит она перед кубинскими литераторами.

Феликс Пита Родригес не новичок в литературе, и ему, как говорится, «виднее», легче судить о переменах, сравнивать. Это о нем как-то писал Николас Гильен: «Если меня вызовут в качестве свидетеля, я заявлю: знаю Питу Родригеса с 1927 года и с тех пор остаюсь его другом. С тех пор — а ведь сколько с тех пор пролилось дождей, сколько появлялось у нас имен, тут же молниеносно исчезавших! — именно с тех пор в кубинской литературе пустил крепкие корни его многогранный и высокого звучания талант... Он — хороший поэт и хороший новеллист. Его произведения по достоинству стоят в ряду лучших произведений, написанных на нашем языке, иными словами — на языке Кубы и Испании». Сам Феликс Пита Родригес отмечает, что на формирование его творчества оказали благотворное влияние, в частности, советские писатели, «раскрыв правду о человеке в обществе и пробудив во мне дух возмущения против несправедливости». Среди своих учителей он называет Горького, Бабеля, Гладкова, Федина, Шолохова.

На вопрос корреспондента журнала «Не смогли бы вы рассказать нам о состоянии кубинской литературы до и после революции?» Феликс Пита Родригес ответил:

«Отношение между «до» и «после» в этой области соответствует, очевидно, «до» и «после» в любом другом проявлении жизни Кубы. Правда, поскольку речь идет о литературе или об искусстве, то в этих областях, на которые наша невежественная буржуазия традиционно посматривала свысока, контраст особенно разителен. В прошлом «столпы общества» видели в книге своего врага, а писателя, чье творчество воодушевлено прогрессивными идеями, они рассматривали как носителя социального разложения. В подобных условиях каждый творческий работник должен был проявлять подлинный героизм, чтобы не покинуть поле битвы.

Наша социалистическая революция, поставившая своей непосредственной задачей подъем культурного уровня широких масс, должна была предпринять радикальные меры по изменению существовавших условий. И результаты этого — в полной мере, разумеется, они скажутся значительно позже — уже начинают проявляться. Возникают новые критерии оценки, книга превратилась в предмет первостепенной необходимости. В прошлом ни один писатель не мог даже мечтать о тиражах в двадцать, пятьдесят, сто тысяч экземпляров, а теперь книги выпускаются такими тиражами и немедленно поглощаются нашим народом, жадно стремящимся к культуре».

Развивая свою мысль, Пита Родригес далее сказал:

«До революции книга на Кубе не могла попасть в руки народа. Много препятствий возникало на ее пути. Часто она издавалась за счет автора, и ее тираж крайне редко достигал пятиста экземпляров... которые, кстати, не распродавались. Могу привести пример из личного опыта. В 1954 году вышел тиражом в пятьсот экземпляров сборник моих рассказов «Тобиас». Хотя критика встретила эту книгу весьма благожелательно, книжные магазины не смогли продать и сотни экземпляров, и вот какая разница между этим примером из прошлого и нашей революционной действительностью: моя книжка стихов «Летописи», первое издание которой появилось в конце 1961 года, уже выдержала три издания — последнее только что вышло из печати — общим тиражом в двадцать тысяч пятьсот экземпляров! Разве это не свидетельство тех перемен, какие произошли у нас благодаря революции?.. Потрясающе возрастает число читателей...»

В связи с выходом в свет нового сборника рассказов Феликса Питы Родригеса корреспондент спросил писателя, какое значение он придает жанру рассказа и каковы, по его мнению, перспективы этого жанра. Писатель ответил:

«Я считаю, что рассказ, короткое повествование должны играть особую роль в новой, революционной кубинской литературе. Мы переживаем этап, который я назвал бы эпическим. Подвиги, факты, события — и те, что произошли, и те, что происходят,— в изобилии дают кубинским новеллистам великолепные темы. Отразить в художественной форме эти факты и события, а стало быть, нашу современную историю — великая задача наших новеллистов...

Революция — богатейший источник тем. А другим неиссякаемым родником для творчества писателя служит строительство социализма на нашей родине».

«Какова миссия писателя в наше время?» Отвечая на этот вопрос, Феликс Пита Родригес подчеркнул:

«Благородная миссия — служить обществу. Что же касается миссии писателей Кубы, то я не понимаю, как можно призывать простого труженика, рабочего и крестьянина, к тому, чтобы он самоотверженно вкладывал все свои силы в дело строительства новой Родины и счастливого будущего, и в то же время делать в этом отношении исключение для творческих работников — писателей и деятелей искусств. А если иметь в виду широкий резонанс литературного произведения, его воздействие на общество, то надо серьезно спросить, имеет ли кто-нибудь право отвлекать хоть частицу своей энергии на то, что не содействует строительству нового, социалистического общества».

Обращаясь к молодым кубинским писателям, Феликс Пита Родригес советует:

«Отточите до совершенства свой рабочий инструмент, чтобы в литературных произведениях, художественный уровень которых должен непрерывно повышаться, полнее отражать нашу чудеснейшую действительность...»

Ж.-П. САРТР О РОМАНЕ XX ВЕКА

Недавняя поездка **Жана-Поля Сартра** и **Симоны де Бовуар** по Чехословакии, где они встречались с литераторами, философами, студентами, подробно освещалась в прессе. Еженедельники **«Культурны живот»** и **«Литерарни новины»** публиковали высказывания Сартра, резюмирующие его взгляды на идеологическую борьбу, отношение литературы к действительности, задачи и возможности романа XX века, роль советской литературы в развитии мировой культуры.

Сартр последовательно отстаивает связь художественной литературы, в частности прозы и драматургии, с социальной действительностью. Большая литература — здесь Сартр спорит и со школой «нового романа» и с мелкотравчатой буржуазной литературой, уводящей своего героя в сферу частной жизни, выключенной из времени,— может, по его мнению, вырасти только на почве общественного опыта, она должна быть отражением основного исторического конфликта нашей эпохи.

«С моей точки зрения,— сказал Сартр, выступая перед писателями в Добржише,— в каждом столетии существует только одна большая тема для большого романа. Поэтому на вопрос, какова должна быть тема романа, чтобы он мог стать для нашего столетия тем, чем был «Дон Кихот» для семнадцатого или «Война и мир» для девятнадцатого, есть только один ответ: тема нашего века — великий опыт социализма от 1917 года до наших дней. И даже шире, ибо социализм был определяющим для жизни людей уже перед Октябрьской революцией, и социалистическая революция будет оказывать влияние на все наше столетие...»

Именно советскому народу, первостроителю социализма, должна, по убеждению Сартра, принадлежать и роль первосоздателя того романа, который в сознании человечества останется «романом XX века» — «Войной и миром» нашего столетия. Этот роман о новой действительности, как считает Сартр, требует новых форм — здесь нельзя ни слепо следовать старым традициям, как бы они ни были прекрасны сами по себе, ни тем более заимствовать готовые формы у современного западного модернизма:

«Роман, о котором я говорю, не будет, разумеется, романом-потоком, как может на первый взгляд показаться. Нет, нужно будет найти форму, соответствующую содержанию. Вы не сможете ее найти на Западе,— обращается Сартр к чешским писателям, как к представителям литературы социализма,— вы должны сами выработать форму, которая даст возможность выразить новое содержание наиболее сжато, добиться максимальной плотности действительности на минимуме литературного пространства».

Убежденность Сартра в том, что подлинная литература нашего времени будет создана в странах социализма, вызвала у слушателей даже забавное опасение, не скидывает ли Сартр вовсе с весов истории западную культуру. Это, разумеется, не так. Как известно, Сартр, неоднократно возвращавшийся к этому вопросу в своих выступлениях последних двух лет, является активным сторонником политики мирного сосуществования и считает, что неизбежным следствием этой политики должно явиться обострение идеологической борьбы в недрах мировой культуры.

«Когда я говорю о единстве мировой культуры,— поясняет Сартр,— я ни в коей мере не предполагаю, что это единство гармонично, свободно от противоречий. Напротив, я полагаю, что оно — борьба, борьба острая, борьба именно в сфере идеологии. Нельзя себе представить, к примеру, что писатель одной из социалистических стран может последовательно перенять форму у «нового романа», оставшись на позициях социалистической идеологии, как нельзя себе представить, что Роб-Грийе — по сути, мелкий буржуа, удовлетворенный положением во Франции,— может стать на социалистические позиции... Это единство — борьба и противоречия... И так как я лично являюсь социалистом, я убежден, что победу в ней одержит Восток — при условии, что Восток будет действительно завоевывать эту победу. Я представляю себе это так: социалистические писатели сохранят полностью характер своего творчества, обусловленный марксистским мировоззрением, и в то же время будут смело осваивать все, что в западном искусстве является хорошим, правдивым, решительно отбрасывая все буржуазное, фальшивое и, наконец, антикоммунистическое. Мои наблюдения в Советском Союзе, Чехословакии, Польше убеждают меня в возможности этого».

Считая необходимым и полезным диалог между деятелями культуры и искусства Востока и Запада, Сартр вовсе не предлагает и не предполагает «взаимопроникновения» социалистической и буржуазной идеологий. Он предостерегает художников социалистических стран от заимствования формальных приемов, от неразборчивого переноса «техники» с одной почвы на другую:

«Я подчеркиваю: вы должны овладеть всеми нашими формальными достижениями, но не для того, чтобы с их помощью культивировать формализм (именно в этом состоит ошибка некоторых ваших художников), а для того, чтобы использовать их как орудие воплощения в искусстве величайшего опыта нашего времени — социализма».

ИСКУССТВО БОРЕТСЯ!

В 1955 году, когда появилась книга ныне широко известного испанского писателя Хуана Гойтисоло «Траур в раю», когда весь мир заговорил о «новой волне» в молодой испанской литературе, в Мадриде родилась Группа народного эстампа, основанная молодыми прогрессивными художниками

Испании. Принадлежащая к этой Группе художница **Глория Рохо** пишет на страницах итальянского еженедельника **«Ринашита»:**

«Мы должны были найти действенный способ общения с людьми, должны были на языке, доступном всем, рассказать людям о них самих... Это было время глубокого внутреннего брожения среди молодежи. Много раз в среде друзей мы обсуждали волновавшие нас проблемы, а так как большинство участников этих разговоров были художниками, то мы решили добиваться нашей цели с помощью искусства. Средствами искусства мы хотели рассказать испанцам о жизни и об условиях существования их соотечественников».

Участников Группы объединяло желание служить своему народу. Но, чтобы перейти к действию, они должны были избрать «метод выражения», отвечающий цели. Отвергая абстракцию как искусство, далекое от народных масс, они остановили свой выбор на методе «социального реализма», воплотив его в графике и продолжив таким образом традиции знаменитой школы мексиканской народной графики.

В поисках самого широкого контакта с массами, рассказывает Глория Рохо,

«мы делали сотни оттисков с наших гравюр, используя до конца технические выгоды этого вида искусства, распространяя наши работы где только возможно. Если у нас не было помещения для выставки, мы экспонировали свои работы прямо на улице. Мы разбрасывали репродукции с балконов, с машин, раздавали посетителям кинотеатров...»

В 1960 году в Группу народного эстампа вошли видные испанские графики: Кристобаль, Ибаррола, Мария Дапена, Матеос, Альварес, Саморано, Ортега и др. Тема их творчества — жизнь шахтеров, крестьян, городского люда. Несмотря на замалчивание критики, работы художников становятся популярными не только в Мадриде и в крупных городах, но также в провинции и деревне.

«Мы понимали, что необходимо создать школу, которая изменила бы традиционные представления о назначении искусства и возглавила бы широкое движение деятелей культуры за новое искусство, ставящее своей целью служение людям. С большим энтузиазмом к нам присоединились многие писатели и поэты Испании, представляющие цвет нашей творческой интеллигенции».

Франкистские власти не на шутку встревожены размахом движения. Они прекрасно понимают силу воздействия истинного искусства. Недаром Франко начал свой кровавый путь репрессий с того, что обезглавил испанскую поэзию, лишив ее Федерико Гарсиа Лорки, Мигеля Эрнандеса и Антонио Мачадо. Участники Группы подвергались жесточайшим преследованиям со стороны фашистского правительства.

«Сейчас, в конце 1963 года,— продолжает Глория Рохо,— мы подводим итоги: Мария Дапена, художница, осуждена на три года и находится в бургосской тюрьме. У нее двое детей. Хосе Ортега, художник, изгнан из Испании и работает сейчас в Париже. Мигель Васкес, художник, заключен в бургосскую тюрьму. Хосе Мария Морено Гальван, критик Группы народного эстампа, несколько раз в течение этого года подвергался аресту. Художник Ибаррола арестован и подвергнут пыткам... В тюрьмах Бургоса, Дуэсо, Алькалы томятся скульптор Фернандес-Паласуэло, художники Эдуардо Энсинас, Мануэль дель Паласио и многие другие деятели искусства».

Но творческая интеллигенция Испании не сдается.

«Еще в 1936 году фашисты провозгласили лозунг: «Смерть интеллигенции!» Тщетно,— пишет Глория Рохо.— Сегодня нас тридцать. Завтра будет сорок. Послезавтра еще больше. Во всех городах Испании от страны басков до Андалузии организуются такие же группы. Мы знаем, что Франко не прощает тем, кто имеет смелость, несмотря ни на что, чувствовать себя человеком и кто видит в искусстве орудие борьбы. Но люди всего мира уже знают о нас. Мы ощущаем поддержку выдающихся представителей литературы и искусства других стран, которые с интересом и сочувствием следят за нашей борьбой.

ПУБЛИЦИСТИКА

ЭЛИЗАБЕТ МАНЬЯН

ГОЛОС ФРАНЦУЗСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

(Несколько коротких интервью)

Человек не может жить без надежды. У каждого надежды свои. Безработный мечтает получить наконец работу, чтобы избавить от голода свою семью. Крестьянин надеется на хороший урожай в новом году. Ученый — на успех эксперимента. Писатель — на популярность новой книги. Человеку свойственно стремиться к лучшему и мечтать о лучшем. У каждого свои заботы.

Но есть одна общая забота для всех. О ней думает вьетнамский рыбак и французский винодел, итальянский художник и батрак из Бразилии. Это забота о мире.

Есть на свете чудовищная сила, которая, будучи использована во зло, исключает наши мысли о лучшем, нашу мечту о счастье, потому что она исключает самое главное — наше будущее. Это сила ядерного оружия. Стремление ее обуздать, исключив возможность употребить ее против человечества, объединяет всех честных людей мира. Оно особенно сильно среди нас, французов, потому что наше правительство не подписало Московский договор о запрещении ядерных испытаний в трех сферах.

Всего несколько месяцев прошло с момента ратификации Московского договора, как снова до миллионов людей долетел знакомый голос неутомимого борца за мир: Н. С. Хрущев предлагает всем главам государств заключить международное соглашение об отказе от применения силы при решении территориальных споров...

Французы не остаются в стороне от насущных проблем человечества. Любое предложение, которое направлено на дело укрепления мира, на разрядку международной напряженности, французский народ горячо приветствует.

Я расскажу здесь о четырех беседах, которые состоялись у меня с представителями французской интеллигенции.

■

Причина, которая привела меня к Леониду Моги — деятелю французской кинематографии, сценаристу и режиссеру, создателю более десятка кинокартин, среди которых несколько получили международные премии,— проста: Л. Моги два года назад закончил фильм «Люди хотят жить, или Преступление доктора Шардэна». История создания этой картины более чем поучительна. «Убежденный пацифист,— говорит мне Леонид Моги,— я вот уже 12 лет борюсь за разоружение». Его вдохновил на работу над сценарием фильма патетический призыв профессора Эйнштейна, с которым он обратился к людям после атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки.

«Мы живем в мире,— взволнованно говорит Л. Моги,— который может исчезнуть в

любую минуту, через месяц, через день... Никогда не было на свете столько смертоносного оружия! Чтобы нас успокоить, нам говорят: именно потому, что это оружие такое страшное, к нему никогда не прибегнут. Но для чего же тогда продолжать его производить? Почему не ассигновать затрачиваемые на него огромные средства на другое — на постройку жилищ, на школы, на больницы?.. Еще в 1954 году я не раз беседовал на эту тему с покойным Жолио-Кюри, говорил ему о своем желании создать антивоенный фильм. Великий ученый горячо приветствовал мое намерение».

И Леонид Моги решает по-своему, как умеет, бороться за мир на земле. Он хочет создать кинокартину простую, человечную, чтобы люди, посмотрев ее, поняли, почему нужно немедленно, сейчас же, пока не поздно, бороться против создания атомного оружия.

«Я сознательно не хотел вызывать ужас у зрителя показом документальных кадров атомных взрывов. У меня в картине нет ни Хиросимы, ни Нагасаки. Я рассказываю о жизни трех ученых. Двое из них тяжело переживают противоречие между ответственностью перед человечеством и служебным долгом...»

Кинофильма «Люди хотят жить» я не видела, его вообще мало кто видел. Его нет на экранах Парижа. Вы спросите: почему? Вот в этом-то «почему» все и заключается.

«Плоха или хороша моя картина, не мне судить. Я вложил в нее идею, мне кажется, верную, нужную,— идею борьбы за разоружение. Почему же на наших экранах безотказно демонстрируются кинокартины, в которых подчас нет ничего, кроме женских ног, и почему моему кинофильму нет на этих экранах места?»

В архиве Л. Моги сотни документов, писем, газетных вырезок. Передо мной проходит вся история рождения фильма. На первом этапе Моги ищет деньги на реализацию фильма; идею создания антивоенного произведения многие «приветствуют», автору обещают поддержку. Второй этап— средств нет, но кинокартина, однако, делается. Режиссер влезает в долги, но тем не менее выпускает кинокартину. Третий, и последний,— фильм вышел, но не рекламируется, не идет в прокат. «Мафия, тайный заговор»,— говорит Леонид Моги, беспомощно разводя руками.

«Но я не теряю надежды, мне кажется, что есть какой-то сдвиг. С тех пор как был подписан Московский договор, я получил несколько предложений на продажу картины...» Наш разговор естественно, логически переходит на Московский договор.

Договор в Москве — еще не разоружение, но это, так сказать, возможность надеяться, что наконец когда-нибудь предадут праху огромные запасы ядерных, бактериологических и химических средств уничтожения. Так думают и кинорежиссер Леонид Моги и академик Андре Моруа.

— В многотомном труде, посвященном параллельной истории США и СССР, который вы создали совместно с Луи Арагоном,— обратилась я к Андре Моруа,— подчеркнута колоссальная роль на международной арене «двух гигантов» современности — Советского Союза и Соединенных Штатов. Как вы расцениваете значение заключенного в Москве соглашения о частичном запрещении испытаний ядерного оружия?

— Лично я был очень счастлив, что США и СССР подписали Договор о запрещении ядерных испытаний. Это, конечно, лишь первый шаг, но очень важно, что он сделан.

Ту же точку зрения разделяет другой активный борец за дело мира — Жозеф Кессель, писатель и журналист, который совсем недавно стал академиком.

...Жозеф Кессель приехал во Францию десятилетним ребенком. Его родители эмигрировали из России не то в 1906, не то в 1907 году.

В первой мировой войне он участвует добровольцем, ему 18 лет. Закончив краткосрочные военные курсы в Фонтенбло, он получает чин офицера. В возрасте 21 года принимает французское гражданство.

— В 1918 году мы все наивно верили,— говорит мне Кессель,— что новой войны никогда не будет. На войну я насмотрелся вдоволь — оставаться военным после этого не хотелось. Я стал журналистом. Но и как журналисту мне пришлось пережить ряд войн — гражданские, колониальные, вторую мировую. Я был в Испании и во Вьетнаме, в Египте, Израиле, Алжире. За свою долгую, бурную жизнь я перевидал тысячи людей, видел их страдания и горе, видел трупы, много трупов. Не скрою, в юности я не все понимал. В 20-х годах я выступал в печати с антикоммунистическими заявлениями против молодой Советской Респуб-

лики: заключение Брестского мира мне казалось предательством.

В 1930 году впервые случай свел меня с советскими людьми, это было где-то у Красного моря. Я встретился с двумя представителями советской экономической миссии. Это были чудесные парни; то, что они рассказывали о Советском Союзе, заставило меня многое переоценить. Вам хочется знать, что я сейчас думаю? Миру нужен мир. Так говорю я, старый вояка, который раньше находил в войнах даже нечто позитивное. Это может показаться варварством, но для меня с окопами были связаны воспоминания о чувстве товарищества, о дружбе, самопожертвовании, которые так остро проявляются во время войны. Но я еще раз повторяю: атомная война — это ужас, это самоуничтожение человечества, вот почему для спасения народов священен каждый новый шаг в борьбе за мир.

Я не коммунист и никогда им не был, но мне хочется сказать: Хрущев, в искренность которого я верю, делает огромное дело для спасения человечества. Московский договор, предложения о мирном урегулировании территориальных споров — именно то, что всем нам необходимо сегодня.

...Передо мной старый заслуженный ученый и молодой (не прошло еще и года с момента его избрания) академик, профессор Жан Орсель. Этот высокий человек с сухим, аскетическим лицом чем-то напоминает мне Жолио-Кюри, другом и соратником которого по подполью он был в годы гитлеровской оккупации. Тот, кто знал Жолио, помнит, сколь подвижны были руки ученого: о чем бы он ни говорил, рука его как бы рисовала в воздухе кривую, иллюстрируя мысль геометрической линией; Жан Орсель в разговоре чертит кривую на лежащем перед ним листке бумаги, набрасывает на нем некоторые свои мысли, и я уношу листок с собой. Мне остается лишь изложить, что думает автор этих строчек о проблемах мира, о насущных задачах человечества.

«Стремительное развитие науки и техники налагает на человека огромные требования, непосредственно связанные с его воздействием на материальную и социальную среду, частью которой он является и которая определяет самое его существование. Если человек хочет достичь цели, поставленной перед ним еще Декартом,— стать хозяином и владыкой природы,— его активность должна непрерывно расти и становиться более всесторонней.

Этого можно достичь лишь напряженной коллективной работой, соответствующей масштабам нашей эпохи. Возможность понимания действительности, открытия науки и техники не могут продолжать впредь оставаться достоянием и привилегией некоей небольшой кучки людей. Перед обществом стоит проблема воспитания последующих поколений, задача широкого распространения науки и культуры. Каждый гражданин, каждая гражданка без исключения должны иметь возможность получить образование, иметь базу для развития индивидуальных способностей, для проявления любознательности, исследовательской мысли.

Каждый должен испытать высшую радость созидания на благо людям, этого так горячо желал Жолио-Кюри.

Но подобная интенсивная коллективная работа, необходимая для прогресса человечества, может плодотворно осуществиться лишь в мирной обстановке, в мире, окончательно отбросившем всякую мысль о применении грубой силы для решения разногласий или конфликтов между нациями.

Великое требование всех народов, и в частности французского народа, требование мира и всеобщего разоружения является поистине знамением нашей эпохи. К несчастью, приходится убеждаться, что одни и те же лица отказываются у нас строить школы и отклоняют использование атомной энергии в мирных целях, предпочитая, чтобы эта грозная сила служила делу смерти.

Необходимо признать, что сейчас наша страна стоит перед выбором: либо десятки миллиардов франков на «ударную силу», либо эти же деньги на университеты, на дело социального прогресса.

Вспомним, что когда-то говорил Жолио-Кюри:

«Денег, затрачиваемых на постройку одного лишь крейсера, хватит на постройку десяти научно-исследовательских институтов, в которых можно добиться победы над такими страшными врагами человека, как рак и туберкулез... Средств, необходимых на содержание сотни солдат с командирами, было бы достаточно на открытие большой лаборатории, где могли бы работать 40 ученых с докторскими дипломами».

ЭЛИЗАБЕТ МАНЬЯН
ГОЛОС ФРАНЦУЗСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Уже более ста стран подписали Московский договор, и мы с грустью и негодованием признаем, что правящие круги нашей страны выбирают альтернативу подготовки к термоядерной войне и тем самым наносят ущерб национальным интересам и всему человечеству.

Между тем Московский договор может помочь созданию условий для переговоров, открыть путь к запрещению и уничтожению ядерного оружия, а затем привести и к всеобщему контролируемому разоружению. Сделан еще один шаг вперед, благодаря предложениям Советского Союза, направленным к мирному урегулированию территориальных и пограничных споров.

«Цепная реакция», как говорят физики, началась; мирное сосуществование приведет к миру, и этой эволюции остановить нельзя».

И в заключение я хочу сказать несколько слов от себя, не как журналистка, а как гражданка Франции. Пусть это будет еще одним коротким интервью.

Случай свел меня сразу с тремя академиками — представителями интеллигенции сегодняшней Франции. Все они обеспокоены будущим человечества, их поддержка предложений Советского Союза о решении спорных пограничных конфликтов между государствами мирным путем и частичном запрещении испытаний ядерного оружия — требование ученых-граждан, обеспокоенных судьбой человечества, вклад в дело мира, к которому я горячо присоединяюсь.

Образно представил однажды Н. С. Хрущев, чем была бы сегодня война для человечества. Он говорил, что, случись сегодня военный конфликт, он мало бы чем походил на конфликты тех времен, когда дерущиеся хватали друг друга за волосы, вырывали их клочьями, а волосы после этого благополучно отрастали. Сегодня, увы, ничего не останется, что вообще могло бы произрасти, и поздно будет, снявши голову, плакать по волосам. Очевидность того, что люди хотят сохранить свои головы, что все больше и больше правительств вынуждены считаться с этим требованием рода человеческого, неоспорима. Ну, а что касается правительств, не желающих соглашаться ни с какими доводами, то мне хочется им напомнить, что рано или поздно последнее слово всегда произносят народы.

МАЙК НЬЮБЕРРИ

ЙЕХУ СО СНАЙПЕРСКИМИ ВИНТОВКАМИ

(Главы из книги)

Обстоятельства убийства президента Кеннеди до конца не выяснены. Но и в самой Америке и за ее пределами знают и прямо называют те силы, которые вложили снайперскую винтовку в руки преступника. Гнусные «теории» и деяния этих «ультра», этих бешеных потомков звероподобных йеху, гневно осужденных еще Джонатаном Свифтом, автором «Путешествий Гулливера», выносит на суд народа американский публицист Майк Ньюберри.

Книга Ньюберри, главы из которой мы публикуем, закончена автором незадолго до трагических событий в Далласе и недавно вышла в Соединенных Штатах.

Подземные гробницы

По милости господней мы в нашей стране обладаем следующими тремя драгоценнейшими сокровищами: свободой слова, свободой совести и благоразумием не пользоваться первыми двумя.

Марк Твен

Вопрос о том, должна ли власть принадлежать народу или высшему сословию, служил причиной непрерывных смут, раздиравших в древности Грецию и Рим, точно так же как теперь он вызывает раскол в каждом народе, если только кляп деспотизма не лишает его возможности мыслить и говорить.

Томас Джефферсон

Поведение нации в первую очередь определяется стремлением обезопасить себя от внешней угрозы. Даже самая пылкая любовь к свободе через какой-то срок должна отступить перед требованиями безопасности.

Александр Гамильтон

Наверно, существуют две Америки...

Марк Твен

Под горными склонами Грейт-Фолс (штат Монтана) молодые люди погребают себя в глубоких норах.

Среди дремучих лиственничных, сосновых и еловых лесов в сердце диких Скалистых гор природа сохранила все свое царственное великолепие и красоту. Этот глухой уголок, не затронутый переменами последних двух столетий, остался заповедником старины. И туристы приезжают сюда отдать дань уважения прошлому и познать новое, как некогда Льюис и Кларк, которые в 1803 году путешествовали здесь, разведывая тайны Дикого Запада. Современный человек, подобно своим предкам, приходит сюда. благоговея, в поисках мира и успокоения.

Он ищет их — обретает, ибо эти горы всегда были прибежищем мира и источником жизни.

В горах Монтаны, питая широкую Миссури, бьет Джайент Спринг — самый большой источник в мире. По хребтам Элкхорн, Биг-Белт и Драй-Рэндж проходит матери-

ковый водораздел, посылающий реки на восток и на запад поить поля Америки. Здесь обитают черные и бурые медведи, лоси, чернохвостые и белохвостые олени, горные козлы, рыси и дикие собаки. Водятся лысые и золотые орлы — великолепные птицы, символ нашей веры в силу личности и ничем не стесненную ее свободу. Орлы искали жизни вольной, не знающей ни пут, ни грязи, и обрели ее здесь, где они могут свободно парить в небесах, не опасаясь охотника, где их мирный полет не будет прерван метким выстрелом.

Здесь, короче говоря, был тихий оазис Америки. Был — но теперь его больше нет.

Теперь сюда явились молодые люди, великолепные в своей щегольской военной форме со стрижкой «морячок», веселые, белозубые, явились, чтобы похоронить себя в подземных гробницах, придавленных толщей горных пород. Эти молодые люди явились сюда, чтобы ждать судного дня.

Где-то в горах штата Монтана, вблизи Грейт-Фолс, военно-воздушные силы Соединенных Штатов выкопали сто пятьдесят глубоких колодцев. В каждом из них была укрыта ракета «Минитмен» со смертоносной ядерной боеголовкой. Не отличающаяся скромностью, падкая до сенсаций пресса хвастливо заявила, что, кроме того, неподалеку погребены в земле пятнадцать «контрольных кабинок», где будто бы в «отрезанных от мира казематах» за метровой толщей бетона и стекла сидят, может быть, по двое, молодые люди. Они сидят перед распределительными досками с кнопками, при помощи которых по сигналу могут обрушить гибель на наш мир. Эти молодые люди, как нам рассказывают, располагают всеми привычными удобствами, чтобы бдение их было приятным. Книги, пища, вода, электричество, собственные запасы кислорода — на случай, если ядерное пламя поглотит весь кислород, предназначенный для простых смертных в реальном мире на поверхности земли,— кровати, стулья и даже шахматы.

Эти молодые люди с помощью внутреннего телефона могут беседовать между собой, обмениваться впечатлениями о знакомых девушках или играть в шахматы. Но «они не могут коснуться друг друга». Говорят, изолированные полусферы их гробницы, площадью двадцать на двенадцать футов каждая, разделены стеной из бронестекла. Бронестекло — предосторожность на случай, если один из двоих вдруг решит начать ядерную войну по собственному почину.

Пентагон со всей своей мудростью устроил так, что эти молодые люди, чтобы привести в действие свое оружие, несущее ядерную смерть, должны одновременно вставить ключи в замки, одновременно повернуть стрелки на циферблатах, одновременно нажать на кнопки.

Джон Фишер, редактор «Харперс», не слишком успокаивающе описал возможные последствия какой-нибудь ошибки или просчета:

«Если кнопка будет случайно нажата, исчезнет Москва (или Ленинград, или Киев) и возникнет война, которая может уничтожить почти все человечество; поэтому возможность несчастных случайностей должна быть исключена».

Именно такого «случайного» уничтожения почти всего человечества мудрецы из Пентагона и пытались избежать, придумав предохранитель из бронестекла. (Уничтожить человечество с заранее обдуманным намерением или случайно — большая разница.) Вот как Фишер описывает назначение стены из бронестекла:

«Если в весьма мало вероятном случае один из контролеров сойдет с ума и решит своей волей ввергнуть земной шар в атомный хаос — в некий Армагеддон, он окажется бессилен. Он не может принудить своего напарника повернуть выключатель и не может убить его, чтобы завладеть вторым ключом».

Жизнь этих добровольных затворников не слагается из одних тревог. Она имеет и свою светлую сторону. Университет военно-воздушных сил предложил, чтобы молодые люди, ожидающие в своих подземных гробницах судного дня, коротали время, изучая науки, связанные с авиацией и космосом,— воспаряя в мечтах к небесам, они будут охотнее ползти, подобно кротам, к преддверию ада.

Один мыслитель из университета военно-воздушных сил уже видит, как «летчик будущего является на свой командный пост в сорока футах под землей, насвистывая «Беспредельную синеву». Он высказывает предположение, что «дежурство в подземных казематах не будет считаться тягостной обязанностью. Наоборот, оно будет рассматриваться, как большое удобство: где отыщешь более спокойную обстановку для систематических занятий?»

Организаторы интеллектуальной жизни в университете военно-воздушных сил, очевидно, не замечают всей парадоксальности этого плана. Изучение науки о пространстве, чудеса космоса, неведомые небеса, по-видимому, не слишком волнуют погребенного глубоко в земле интеллигента нового стиля — интеллигента Армагеддона; ибо, как отметил Джон Фишер, «служащие военно-воздушных сил издавна являются самыми антиинтеллектуальными из представителей всех родов войск».

Однако в подземных гробницах все по-иному.

Предполагается, что в капсулах из бронестекла начнется подлинный ренессанс науки. «Военно-воздушные силы чуть ли не с яростью добиваются высшего образования для своих служащих. В ближайшем будущем каждый из 120 000 офицеров должен иметь степень хотя бы бакалавра искусств или бакалавра наук,— пишет Фишер.— Кроме того, в дальнейшем офицерский чин будет присваиваться только лицам, имеющим

законченное университетское образование». Разумеется, погоня за знаниями в этих, как их называет Фишер, «подземных башнях из слоновой кости» будет несколько ограничена пространственно, но, как бы то ни было, ясно одно: ядерному палачу будущего, прежде чем претендовать на эту должность, придется запастись университетским дипломом или даже степенью доктора философии.

Как случилось, что здоровые, интеллектуально одаренные, энергичные, любознательные молодые люди с такой удивительной жизнью и с таким будущим впереди, мечтающие о полетах в небеса, где поет душа, о победах над пространством, о путешествиях на далекие планеты, послушно, словно мыши, заползают в стеклянные клетки глубоко под землею, чтобы, подобно этим подопытным мышам, кротко ждать, не прикажут ли им нажать кнопку, которая низвергнет и их самих, и их мечты, и весь мир в пылающий ад?

Как случилось, что американская молодежь, воспитанная на джефферсоновской вере в демократию и права личности, с охотой готова стать орудием массового уничтожения?

Как случилось, что люди с высоким интеллектом, овладевшие частью самых сложных тайн природы, опускаются до поведения, столь же упрощенно-прямолинейного, как у удава или у пиявки?

Как случилось, что порядочные, терпимые, добросердечные люди, которые в большинстве своем не способны убить даже одного человека, безмятежно, без протеста и сомнений, принимают образ жизни и образ мышления, допускающий убийство миллионов таких же людей, как они сами?

Как случилось, что такой физик, как доктор Ральф Лэпп, сообщает о наличии у правительства Соединенных Штатов запаса водородных и атомных бомб, которого «хватит, чтобы двадцать раз переубивать весь Советский Союз», и ни в конгрессе, ни в одном из высоких собраний страны, ни в церквах христовых никто не задает вопроса, почему продолжается изготовление средств для «переубивания», кому выгодно это «переубивание» и почему считается необходимым «переубивать» граждан Советского Союза по двадцать раз каждого?

На каком основании помощник министра обороны Артур Силвестр так расценивает настроение страны, что, не сомневаясь в своей безнаказанности, осмеливается публично заявить, будто правительство Соединенных Штатов, конституционный слуга народа, в вопросах, связанных с войной и военными приготовлениями, имеет «право лгать» народу, которому оно служит?

Что произошло с Америкой? Что происходит с Америкой сейчас?

Разумеется, задавать подобные вопросы легче, чем отвечать на них. И все же ответы при желании можно найти в самих вопросах.

Некоторые из этих ответов скрыты под горными склонами вблизи Грейт-Фолс в сознании молодых людей, заключенных в подземные гробницы, где они тихонько поигрывают в шахматы и ожидают сами не зная чего. Нам неизвестны политические взгляды этих добровольных узников, но, во всяком случае, можно предположить, что они искренне считают свое поведение логичным и разумным. И верят, что иного разрешения всемирных проблем не существует; что угроза, которая им чудится, существует в действительности; что смерть, возможно, придется принять, хотя это и нежелательно, поскольку другого выхода нет; что неизбежное лучше всего принимать стоически.

Весьма вероятно, что эти молодые люди за всю свою жизнь не имели ни единой передышки от войн или от угрозы войн. Войны — большие и малые, холодные, теплые и горячие, войны с помощью огнеметов и напалмовых бомб, войны грязные и джентльменские, ограниченные и неограниченные, внутренние и внешние,— ими до предела наполнена жизнь целого поколения.

Однако эта печальная истина не травмировала достаточно глубоко общественное сознание. Наоборот, с ней свыклись, как свыкаются с хромой ногой или с больным сердцем. Все средства массового воздействия — радио, пресса, телевидение — долго и упорно добивались этого. Все учебники — от детского сада до университета,— все учебные курсы. Той же цели служат «комиксы», кинофильмы деятели гражданской обороны, сознательно культивирующие атмосферу страха, и государственные мужи — прежде всего государственные мужи, вдохновляющие глашатаев отчаяния рангом пониже,— непрерывно подавали сигнал опасности, словно сирены воздушной тревоги, которые никак не остановятся. А народ тщетно ждет сигнала отбоя — его все нет.

Обработка человеческого сознания превратилась в профессию. В ход по очереди пускались то самые грубые, то самые тонкие методы — и они принесли свои плоды.

Представители этой профессии, почти или вовсе неизвестные широкой публике и стране в целом, в подавляющем большинстве, как мы попытаемся доказать в этой книге, тяготеют к крайним правым оттенкам нашего политического спектра.

Прежде считалось, что психологическая война должна вестись против армий «враждебной» нации, но сэр Брюс Локкарт, старейший деятель английской разведки, думает по-другому: для того чтобы успешно создать милитаристские настроения, он рекомендует «адресовать ее массам». «Холодная война» прошла и эту стадию. «По сути дела, мы втянуты во всемирный конфликт идей»,— пишет в своей книге «Оружие на стене. Мысли о психологической войне» Меррей Дайер, подвизающийся в Управ-

лении изучения боевых действий (психологической войны.— **М. Н.**) университета Джона Гопкинса. И поэтому:

«Лица, отвечающие за деятельность правительства в этой области, были бы виновны в халатности, если бы сосредоточили все внимание на своей мишени (на «враге») и не занялись бы положением в стране, которое препятствует им выполнять их миссию...»

Даейр, который прежде чем стать сотрудником нашего Отдела психологической войны, до тридцать девятого года был преподавателем в Императорском японском военно-морском училище, весьма деликатно именует этот пропагандистский процесс «культивированием сознания внутри страны».

Хотя пропаганда, словно ядовитый туман, пропитала всю атмосферу, воздействуя на сознание людей, она не совместима с основными убеждениями нации. Этим объясняется парадокс так называемого опроса Гэллопа, который показывает, что большинство американцев хочет мира с Кубой и не желает войны или вторжения, но в то же время склонно приветствовать блокаду (военную акцию) и свержение кубинского правительства. Этим объясняется парадокс в поведении американской молодежи, которая в другой анкете объявляет «коммунистическим» «закон о гражданских правах» и тут же высказывается в пользу государственной собственности на коммунальные услуги и тяжелую промышленность, не усматривая в этом ничего «коммунистического». В этом парадоксальность нашей внешней политики, которая во имя свободы заручилась надежной поддержкой наименее свободных, наиболее авторитарных наций: Западной Германии, Испании, Португалии, ЮАР, Парагвая, «Национального Китая» и бывших диктатур Трухильо и Батисты; НАТО, который объявляет главным оплотом мира возрожденный немецкий вермахт, возглавляемый почти исключительно офицерами прусского и нацистского генерального штаба; неомаккартистских сил, самый излюбленный и эффективный боевой клич которых — свобода личности; «корпуса мира», учрежденного в надежде выиграть сражение в «холодной войне».

Эта двойственность существует на самом деле. Двухголовый дьявол — или два дьявола в одном политическом теле — не был просто сотворен специалистами по общественным отношениям, он является давней и неотъемлемой чертой американской жизни, наша нация одержима им с момента своего «совершеннолетия».

Марк Твен видел этих двух дьяволов, обретших полную силу к началу двадцатого века, и окрестил их противоестественное братство «Трестом благ цивилизации». Начиная с мальчишеской наивности Гекльберри Финна и кончая скептической зрелостью «Человека, сидящего во тьме», Твен отражает становление новой нравственной атмосферы, которая утверждается в Америке с превращением ее в мировую державу и с развитием империалистического лицемерия. Что сталось с такими добродетелями прошлого, как Любовь, Справедливость, Защита Слабого, Свобода, Равенство, Честь, Милосердие? — спрашивает он. Предназначались ли они «исключительно для экспорта»? И мы обменяли наше светлое наследие «на стеклянные бусы и богословие, на пулеметы «максим» и молитвенник, на дешевый джин и дымные факелы прогресса»?

И подводя итог, Твен угрюмо отвечает на свой же вопрос: «Наверно, существуют две Америки...»

Адепты психологической войны, добиваясь полной свободы рук для того, чтобы обеспечить единодушную поддержку «холодной войне», стоят перед угрозой поражения. «Два дьявола» прошлого и настоящего, мир и война, демократическая вера в право на несогласие и всеобщая покорность целям Пентагона в «холодной войне» неизбежно должны были вступить в конфликт.

И этот конфликт достиг сейчас в Америке своего апогея. Возможно, это последнее столкновение между теми, кто верит в неизбежность войны и считает, что наша нация была учреждена как «республика», а не как демократия, и теми, кто, какую бы политическую философию они не исповедовали, защищают, охраняют и расширяют демократическое наследие, которому наш народ обязан своим величием, и полны надежды, что это величие можно сохранить и умножить при мирном развитии. Никогда еще в новейшей истории этот конфликт не был столь острым.

Настоящая книга представляет собой попытку исследования этого конфликта.

Это не разоблачение правых и не осуждение коршунов войны в обычном смысле. Это и не очередной бухгалтерский перечень действующих лиц многочисленных кабинетов и кулуаров политических Ничегонезнаек *.

Эта книга стремится установить, почему молодые люди в кельях, погребенных под не знавшей плуга землей Грейт-Фолс, принимают, как свои собственные, идеи, которые методически культивируются на ракетном кладбище «Минитмен». Каким образом эти идеи были внедрены в их сознание? Зачем? Кем? Какие методы и орудия применялись теми, кто пытался ввести контроль над мыслями? И почему, вопреки всем усилиям мастеров психологической войны, этот план вовсе не обязательно должен увенчаться успехом?

---

* Прозвище членов тайной организации, существовавшей в США в середине XIX века и ставившей своей целью значительное ограничение политических и гражданских прав граждан неамериканского происхождения. Прозвище это возникло потому, что члены организации на все вопросы о ней отвечали: «Я ничего не знаю».

Охотники за головами

Что может сделать один человек? Один человек, Адольф Гитлер, подал решающий голос в пивном путче, с которого начался пожар, охвативший весь мир.

Томас Андерсон (член Национального совета «Общества Джона Берча»)

Если Роберт Уэлч прав, настал момент оставить пишущую машинку, ораторскую трибуну и радиомикрофон и вместо них возложить надежды на свою винтовку.

Иногда меньшинство может настоять на своем только с помощью силы; в этих случаях ему следует решить, стоит ли его цель того, чтобы ради нее пустить в ход силу.

Уильям Бакли-младший

РУЖЬЯ, ДРОВОВИКИ, ПИСТОЛЕТЫ покупайте сами... В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ РУЖЬЕ МОЖЕТ СПАСТИ ВАШУ ЖИЗНЬ. У нас они есть. Пишите, что вам требуется. Брошюра «Все об огнестрельном оружии»... Как приобрести его законным путем, что приобрести, как стрелять.

Рекламное объявление из «Нейшнл ревью»

Следует ли, отрубив «безбожные» головы коммунистов, оставлять «безголовые трупы» на дорогах, или же лучше развешивать обезглавленные тела на деревьях как грозное предупреждение «богобоязненным»?

Эта философская проблема поставлена в книге «Уходите в высокие горы» преподобного Далласа Рокмора, которая рекомендуется как «руководство по боевым действиям, необходимое каждому родителю-христианину и каждой родительнице-христианке». Книга распространяется вашингтонской «Либерти лобби», подвизающейся при «Консервативной коалиции», как она сама себя именует. Пожалуй, с точки зрения людей, воспитанных на образцах обычной политики, охота за головами как-то не вяжется с повседневной деятельностью вашингтонских лоббистов. И все же этот справочник по вопросам предвкушаемых ими антикоммунистических боевых действий на самом деле продается в Вашингтоне на расстоянии выстрела от Капитолийского холма. И издается он влиятельной лоббистской организацией, пользующейся поддержкой многих из наших наиболее видных и уважаемых сенаторов и конгрессменов.

Может быть, следует просто посмеяться над руководством по методике охоты за головами, распространяемым деятелями вышеупомянутой организации, ежегодный бюджет которой, достигающий 90 000 долларов, вдвое превышает бюджет Американского института нефти или индустриального отдела АФТ-КПП? Но смешок получается какой-то неловкий, нервный, прерывистый.

Право же, к этому нельзя отнестись серьезно. Нельзя? Может быть, мозговой трест «Консервативной коалиции» впал в буйное помешательство? Или за предложениями правых действительно спрятан пистолет?

Книга-учебник «Уходите в высокие горы» прямо указывает, где следует прятать пистолеты, как их прятать, как чистить огнестрельное оружие, как им пользоваться и в кого стрелять. Кроме того, книга зовет и вдохновляет «армии господни» разделаться с «адскими силами антихриста — русскими коммунистами» и несет следующую «христову весть»:

«Огнестрельное оружие должно храниться в «надежном тайнике».

Для его укрытия есть немало удобных мест, но особенно рекомендуются Скалистые горы.

Вы можете либо приобрести достаточный запас патронов, либо купить соответствующее снаряжение и изготовлять собственные патроны по мере их расходования.

Форму для отливки пули подбирайте по калибру своего ружья или пистолета. Такое снаряжение можно приобрести за 25 долларов.

Оружие — важнейшая часть вашей подготовки.

Каждый боевой отряд должен также научиться чистить и смазывать свое оружие в темноте. Даже во время сна его не следует выпускать из рук.

...Упражняйтесь в боевых действиях непрерывно, каждую минуту, так, чтобы в полной готовности встретить их настоящее начало. Научитесь прятаться и маскироваться».

Так же недвусмысленно разъясняется, в ведении каких действий преподобный Рокмор рекомендует своим читателям «упражняться», чтобы как следует набить руку. Его справочник учит, что врага необходимо терроризировать: для «терроризирования врага» можно не брезговать выдавливанием глаз, отравлениями, охотой за головами и самыми утонченными садистскими пытками.

Учитесь, говорит почтенный священник, у «древних ассирийских армий, которые выдавливали глаза и применяли еще худшие пытки. Они водили своих пленных по улицам за кольца, продетые через носы или челюсти, чтобы внушить страх побежденным». Подобные варварские пытки были «поистине пределом жестокости», соглашается учебник, но тут же появляется оговорка: «Это полезно помнить». Затем, все

больше увлекаясь, автор учебника переходит к методике охоты за головами. Его интерес к оттяпыванию голов порождается следующей теорией: «Когда возникает необходимость убить врага, следует обставить это так, чтобы произвести внушительное впечатление на других врагов». Имея в виду эту благородную мысль, распространяемый «Либерти лобби» учебник предлагает следующий совет:

«Трупу безразлично, есть у него голова или нет, но по законам психологии человек, столкнувшийся с подобным зрелищем, представляет себе свой обезглавленный труп, и сердце его наполняется ужасом. Вот по какой причине участникам боевых отрядов следует руководствоваться этим принципом. Не потому, что нам нужны трофеи (!), а потому, что, оставляя тела, носящие какой-либо знак, общий для всех боевых отрядов, мы можем вселить страх в солдат армии вторжения».

Как всегда в демократическом обществе, предусматривается и свобода мнений касательно методов вселения страха: «Например, трупы можно подвешивать на деревьях за ноги или в любой другой позе, могущей послужить назиданием врагу...»

Кто же такой этот преподобный Рокмор, столь благодушно наставляющий своих учеников в искусстве охоты за головами? Он — «воин креста».

«Воины креста» — это полувоенная ультраправая организация, возглавляемая Кеннетом Гоффом. Гофф — антисемит, любитель произносить речи. Он сработан и отшлифован машиной ненависти. Гоффа предназначали в «вожди молодежи». Несколько лет он подвизался в качестве помощника Смита. Его любимый рефрен — «От Организации Объединенных Наций разит еврейским духом, как от Кони-Айленд*». Недавно, стараясь не отстать от времени, Гофф напялил на себя потрепанную мантию «эксперта по коммунизму» и стал лектором и преподавателем в Калифорнии у доктора Шварца, организатора «Христианского антикоммунистического крестового похода».

Помощником Гоффа в его «миссионерских трудах» является преподобный Даллас Рокмор. Как национальный руководитель «Воинов креста», Гофф безоговорочно приветствует книгу «Уходите в высокие горы» и пишет:

«Даллас Рокмор в течение нескольких лет работал с нашими юношескими отрядами и воспитал молодежь, способную существовать в горах в самых тяжелых условиях».

Приверженцы «Консервативной коалиции», заказывавшие эту книгу в качестве «рождественского подарка», были, возможно, неприятно поражены, получив ее не от «Либерти лобби», а непосредственно от террористической организации «Воинов креста». Недоумение и смущение особенно велики потому, что перечень членов так называемого Политического комитета «Либерти лобби» представляет собой своего рода биографический справочник крупнейших деятелей консервативного направления, притом отнюдь не склонных к умопомешательству. Это такие уважаемые деятели правого крыла, как бывший губернатор штата Юта Брэкен Ли, генерал-лейтенант воздушных сил в отставке Джордж Стрейтмейер, писатель Тейлор Колдуэлл, Тайр Тейлор — юрисконсульт Промышленного совета южных штатов и Конгресса торговой политики, а также Мервин Харт — известный антисемит и старейшина правого движения. Можно назвать еще судью Тома Брэди — члена Совета белых граждан штата Миссисипи, издателя с Юга Томаса Андерсона — члена национального совета «Общества Джона Берча» и, что особенно важно, преподобного Билли Джеймса Харгиса — виднейшего деятеля «Христианского крестового похода». Эти люди являются представителями основных консервативных организаций страны. «Либерти лобби» была и остается рупором консерватизма в конгрессе; она настолько влиятельна, что «способствовала созданию в конгрессе «Консервативной коалиции» и была инициатором первой «национальной конференции «Консервативной коалиции».

Кроме того, о степени ее влияния дает представление поддержка, которую оказывают ее деятельности сенаторы Джон Маклеллан, Томас Додд, Фрэнк Лош, Карл Мундт, Фрэнк Карлсон и Уиллис Робертсон — все они выступали в организованных ею радиопередачах.

Так почему же столь влиятельная организация лоббистов снисходит до чтения пресловутого учебника «Воинов креста» по охоте за головами?

На самом деле это вовсе не политическое безумие, как может показаться на первый взгляд. Одной рукой сжимая избирательный бюллетень, а другой хватаясь за ружье, правые следуют своей политической философии. Дилемма Бакли «ружье — пишущая машинка»: таков выбор, который, по убеждению правых, ставит перед ними будущее; тот же, кто, уклоняясь от выбора, хватает и то и другое оружие, может считать себя дальновидным.

«Уходите в высокие горы», во всяком случае, почти не отличается от «Писем Джона Франклина» и других столь же популярных у правого крыла учебников «боевых действий». «Письма Джона Франклина» так же настойчиво проповедуют создание «тайников с оружием», обучение «патриотических отрядов боевиков» и подготовку убежищ в горах. В этом руководстве, выпущенном в серии «Книга — почтой» и включенном в рекомендательные списки «Общества Джона Берча», говорится:

«Вы хотите знать, как мы намереваемся вести боевые операции с помощью этого американского подполья? Первое и самое главное — мы будем военной организацией.

---

* Пляж и место народных гуляний близ Нью-Йорка.

У нас, несомненно, будет большое число кадровых военных из регулярной армии... но будут еще тысячи обученных людей и тайные склады оружия.

Охотники, спортсмены и близкая нам интеллигенция войдут в ряды Вольных стрелков... В ход будут пущены охотничьи ружья и самодельное оружие».

Газета Роберта Уэлча, рупор фашистских идей «Общества Джона Берча» «Американ опиньен», приветствовала это «руководство для боевиков», как «блестящее», и предупредила своих читателей, что «оно содержит сведения о способах выжить, которые могут ему (читателю.— **М. Н.**) понадобиться в самом скором времени», поскольку в нем содержится «логическая проекция в будущее современного направления американской жизни». Сведения, которые скоро могут понадобиться, содержит и следующее бодрое воззвание из «Писем Джона Франклина»:

«В век атомного и межконтинентального оружия, как мы все единодушно верим, спрятанное личное оружие — винтовки и пистолеты — послужит арсеналом конечной победы.

Желаю счастливого рождества.

Извините, тороплюсь. Джон Франклин».

Это «руководство для боевиков», носящее печать берчизма, было одобрено газетой «Общества» в блаженные дни — до того, как общенациональное возмущение заставило наиболее консервативно мыслящих правых публично отречься от своих личных связей с его «основателем» Уэлчем. В то время в реакционной консультативной комиссии «Американ опиньен» состояло ровно четыре бывших президента Национальной ассоциации предпринимателей, не говоря уж об отставном генерале Ведемейере, бывшем начальнике Отдела военного планирования при Объединенных начальниках штабов, о полковнике Лоренсе Банкере, бывшем личном адъютанте генерала Макартура, и о достопочтенном Сприлле Брейдене, бывшем помощнике государственного секретаря.

В голливудской книжной лавке «Бедный Ричард», одном из десятков центров распространения ультраправой литературы, открытых по всей стране, имеется целая секция, где все шесть полок от пола до потолка уставлены книгами о «боевых отрядах». По-видимому, среди потенциальных «боевиков» существует значительный спрос на такого рода руководства. Известный издатель Прэгер выпустил полуофициальную серию книг о «боевых действиях» и «контрпартизанских операциях», пользующуюся популярностью у читателей правого толка. Организация «Книга — почтой» — центр распространения берчистской литературы — называет «Письма Джона Франклина» в числе наиболее ходких своих книг. Преподобный Рокмор в библиографии к учебнику «Уходите в высокие горы» рекомендует читателям в качестве источника дополнительных сведений «Как выжить. Справочник военно-воздушных сил на 1964—1965 годы», выпущенный министерством военно-воздушных сил, «Что следует знать о наземных армиях» полковника Джозефа Грина, а также различные публикации ведомства гражданской обороны. «Все роды войск издали превосходные брошюры на эту тему как для военных, так и для гражданских лиц»,— пишет преподобный Рокмор.

Согласно инструкциям этих брошюр и по настоянию ультраправых прорицателей были созданы боевые группы «вооруженных правых». Роберт Боливар Депу, главнокомандующий «минитменов», который, между прочим, открыто признал себя членом «Общества Джона Берча», имеет личную библиотеку из 300 берчистских книг, посвященных «партизанской войне».

Организация «минитменов», однако,— это не просто овеществленная бредовая фантазия «Общества Джона Берча». Депу с гордостью сообщил репортерам, что его армия имеет отряды «во всех главных городах страны» и в сорока штатах. Эти отряды располагают тайными арсеналами «полевых орудий» и пулеметов, не считая ручного огнестрельного оружия и боеприпасов, проводят регулярные «семинарские занятия по боевым действиям в тылу» и имеют «свыше 25 000» человек под ружьем. Их командование надеется со временем завербовать до миллиона потенциальных «бойцов подполья». Добровольцы, предлагающие свои услуги для выполнения этого «патриотического» долга, объединяются, по утверждению Депу, в небольшие отряды по месту жительства. «Семинарские занятия по боевым действиям», которые должны координировать деятельность этих отрядов, проводились в Нью-Йорке, Филадельфии, Канзас-Сити, Омахе, Сан-Антонио и в других местах; однако рядовым рекрутам не разрешается присутствовать на этих высоких совещаниях, и им не положено знать имена командиров, как местных, так и общеамериканских.

Деятельность «минитменов» старательно окутывается тайной. «Мы спрашиваем только фамилию и адрес руководителя отряда, а они могут быть вымышленными»,— заявляет Депу; такая предосторожность совершенно необходима, поскольку этими отрядами очень часто руководят «адвокаты, врачи и представители других интеллигентных профессий».

Когда главнокомандующего Депу спросили, почему он решил создать организацию «минитменов», он процитировал годовой отчет Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности за 1960 год, в котором говорилось, что, поскольку «коммунистическая тактика» была «рассчитана на то, чтобы сделать обычные войска как можно менее пригодными для целей обороны», американскому народу, возможно, придется опереться на другие силы, помимо этих «обычных войск».

Впрочем, оружие «минитменов» как нельзя более обычно. На одном из тактических «семинаров» новобранцам-«минитменам» была показана выставка оружия, включавшая «60-миллиметровую мортиру, 75-миллиметровое безоткатное орудие, 20-миллиметровое противотанковое ружье, несколько пулеметов, а также разнообразные винтовки, пистолеты и ручные гранаты». Вполне естественно, что подобный арсенал старательно прячут. Ведь мистер Джонс может быть весьма неприятно удивлен, если окажется, что его сосед мистер Смит тоже держит у себя на веранде 20-миллиметровое противотанковое ружье.

Для дальнейшей маскировки их подпольной деятельности эти отряды получают множество названий: «Верный орден горцев» (в Сан-Диего), «Иллинойские внутренние силы безопасности» и т. п. Депу проявил в этом отношении понятную сдержанность, но «Первый национальный справочник «правых» групп, изданий и некоторых лиц в Соединенных Штатах», опубликованный «Ассоциацией бдительных американцев» и распространяемый «Либерти лобби», дает возможность ознакомиться со многими подробностями. Перечисляя «правые группы», справочник помимо центров «минитменов» в Калифорнии и Миссури (на родине Депу) сообщает еще о существовании таких отрядов (номера указаны, как в списке):

99. «Ассоциация недремлющих американцев», Айрон-Маунтин (штат Мичиган).
1232. «Национальная отборная гвардия», Ардсли (штат Пенсильвания).
1240. «Национальный стрелковый союз», Чикаго (штат Иллинойс).
1246. «Национальный комитет охраны законов», Луисвилл (штат Кентукки).
1808. «Минитмены США», Новый Орлеан (штат Луизиана).
1832. «Американки начеку», Уотсика (штат Иллинойс).
1879. «Западные минитмены», Спокан (штат Вашингтон).

По периферии этих организаций располагаются такие полувоенные группы, как «САН» — «Сражающиеся американские националисты» со штаб-квартирой в Вашингтоне и «отделениями» в Майами, Рединге, Новом Орлеане и Балтиморе; «Арийская лига Америки» в Стонтоне (штат Виргиния), «Американская нацистская партия», которая, по ее утверждению, имеет среди своих членов тысячу «штурмовиков» и «ложи» в большинстве крупных городов; «Национальная партия защиты прав штатов», которая была связана с нацистским аппаратом и приложила руку к бесчинствам на Юге, когда в синагоги подбрасывались бомбы, и у которой, согласно справочнику, имеется 36 «лож» по всей стране, начиная от Сиэтла (штат Вашингтон) и кончая Шароном (штат Массачусетс); «Партия национального возрождения» в Нью-Йорке; «Ассоциация американских ультра» в Небраске, «Лига американских ветеранов» в Миннесоте и другие группы вроде «Воинов креста».

Короче говоря, помимо «минитменов» как таковых имеется еще несколько сотен подобных им организаций. Вот как они действуют.

Тайная армия «Боевой отряд граждан» состоит из питсбургских «предпринимателей и людей свободных профессий, которые проходят обучение в глухих сельских уголках к северу и западу от города». Эти респектабельные «боевики», возглавляемые морским офицером в отставке Эрлом Уилкинсоном, отвергают обычное оружие и рекомендуют пользоваться «ручными бомбами», так как их «химические ингредиенты могут быть куплены в любой аптеке или хозяйственном магазине».

«Отряд белой молодежи» имеет штаб-квартиру в Чикаго и «местные отряды» в нескольких штатах. Типичным для этих «местных отрядов» является организация в Уиллоу-Гроув (штат Пенсильвания), возглавляемая «капитаном» Томом Б., который подписывает свои сообщения: «Зиг хайль! Я — за Рокуэлла» — и добавляет свастику для большего впечатления.

«Девушки-коммандос» — группа, учрежденная неизменно бдительной «Галф телефон компани». Эти воительницы, перепоясанные ремнями и «весьма привлекательные в своей форме» (мнение одного из органов печати), проводили маневры по изучению так называемой «тактики боевых действий», вооружившись карабинами, винтовками и автоматами «френдс». Журнал «Дженерал моторс», предназначенный для сельских местностей, восторженно описывал этих «боевиков» женского пола, как «вооруженный до зубов и очень мобильный отряд гражданской обороны». Под руководством главы телефонной компании Джона Снука эта оригинальная боевая единица, состоящая из двадцати трех молодых женщин, училась убивать «вторгшихся коммунистов» с помощью реактивного миномета, установленного на самосвале. «Мы будем сражаться против любого завоевателя, агрессора или врага Соединенных Штатов»,— заявил Снук.

Независимые «минитмены» в Висконсине, объединившись с так называемым «Движением национального действия», распространяют антисемитские «Протоколы сионских мудрецов».

«Ультра» Юты и Невады учреждают собственную «Американскую республиканскую армию» и взрывают несколько ретрансляционных мачт, являющихся собственностью народа Америки.

«Убей!» — так называется журнал Американской национальной партии, отпочковавшейся от нацистской партии Рокуэлла, лидер которой Дэн Беррос является «национальным секретарем» Рокуэлла. В этом журнале была напечатана статья под заголовком «Как важно убивать». В статье говорится: «Человеку свойственно убивать! Он

должен убивать, чтобы выжить! Он должен убивать, чтобы идти вперед! Давайте покажем им, кто принадлежит к числу избранных! Кто величайший убийца мира? Белый! Вырви из ножен свой грозный меч! Круши своих врагов! Убивай! Убивай! Убивай!» Кровожадный журнал «Убей!» издается в тишайшем местечке Холлис на Лонг-Айленд — в чопорном и мирном пригороде Нью-Йорка.

Вот так вооружаются правые — от респектабельных буржуа Питтсбурга до скрывающихся в подполье куклуксклановцев Джорджии и штурмовиков, вылупившихся на задворках провинциальных городишек.

В Калифорнии, где все крупнее, хотя и не всегда лучше, особенно процветают эти доморощенные воинства. Губернатор Пат Браун считает, что в штате имеется 2400 «вооруженных правых». Их отряды, по большей части состоящие из «минитменов», вооружены, по заявлению одного из «боевых вождей» Гарольда Хатона (он же Дон Олдредмен), базуками и легкими пулеметами. Генерал Родерик Хилл, адъютант калифорнийской национальной гвардии, присутствовавший на маневрах «минитменов», неизвестно, впрочем, в качестве кого и при каких обстоятельствах, с некоторым удивлением заявил, что они располагают «оружием, предназначенным для уничтожения значительных людских групп».

Это, как выразился губернатор Браун, возвращение к пещерному варварству, разумеется, не ново. «Бдительность» — старинная, хотя и малопочтенная традиция.

Гораздо более опасно то, что появление всех этих провинциальных воителей отражает проникновение реакционных идей не только в политику правых, но и в государственный аппарат.

Иллюстрацией тому может служить карьера генерала Уокера. Этот офицер-берчист был уволен из армии, в частности, за то, что под видом политического просвещения насильно скармливал своим подчиненным писания «христианина-крестоносца» доктора Шварца, одного из основателей «Общества Джона Берча» Уэлча и воинствующего антикатолика доктора Карла Макинтайра. В результате респектабельные правые сделали его своим кумиром. Кент Куртней, координатор «Общества Джона Берча» в Луизиане, выпустил целую книгу, полную горячих восхвалений Уокера, где приводятся всяческие лестные высказывания сенаторов Барри Голдуотера, Строма Термонда и Карла Мундта. Книга эта в свою очередь снискала одобрение членов конгресса Дейла Олфорда и Джеймса Атта. Однако наиболее изысканный словесный букет поднесла Уокеру «Нейшнл ревью»:

«Генерал Уокер — подлинный герой, и тот, кто не признает этого, не способен разобраться в душах человеческих. Так не будем же осыпать цветами его могилу, которая еще не вырыта, а приготовимся сражаться на его стороне, когда, выбрав по своему усмотрению время и место, он снова пойдет в бой с врагом».

В следующий раз он «пошел в бой» во время проводившегося в сенате по требованию сенатора Строма Термонда расследования «затыкания рта военным»: под этим подразумевалось недоброжелательное отношение правительства Кеннеди к «семинарам по антикоммунизму», которыми баловались некоторые руководящие военные под водительством «крестоносцев-христиан» и прочей братии. Экс-генерал Уокер, как были вынуждены с сожалением признать даже его сторонники, вырыл себе на этом деле политическую могилу, однако «Нейшнл ревью» по-прежнему отказывалась его хоронить.

Таким образом, респектабельные правые восхваляли генерала Уокера отнюдь не из-за преклонения перед героизмом. Его поклонников скорее объединяло политическое единство цели. Когда Уокер, решивший «идти на бой с врагом», появился среди вооруженных расистов в университете штата Миссисипи, предварительно воззвав по радио к невидимой десятитысячной армии, которую он надеялся поднять по всему Югу, теоретики консерватизма уже не могли отступиться от этого «человека действия». В своей книге «Вперед — подальше от либерализма» Уильям Бакли, о котором уже говорилось на этих страницах, анализируя положение на Юге, вполне серьезно оправдывает уместность насилия.

«Иногда меньшинство может поставить на своем только с помощью силы; в этих случаях ему следует решать, стоит ли его цель того, чтобы ради нее пустить в ход силу».

Вопрос о применении силы — это отнюдь не риторический вопрос, когда речь идет о защите сегрегации, заверяет Бакли, поскольку, если негры Юга будут голосовать, «они проголосуют за уничтожение раздельного обучения». Таким образом, «это опасение дает белому весомое основание не допускать негра, которого он считает чуждым своей культуре, к голосованию», чтобы защитить «имущий класс, в основном состоящий из белых», следовательно, «перед белым обществом возникает следующий вопрос — стоят ли требования цивилизации (а также культуры, общественной жизни, социального строя) выше принципа всеобщего избирательного права?» В результате «весомое основание» сводится к... противопоставлению: демократия или «сила».

В своем тактическом споре с Робертом Уэлчем Бакли излагает позицию более утонченных правых:

«Если Роберт Уэлч прав, настал момент оставить пишущую машинку, ораторскую трибуну и радиомикрофон и вместо них возложить надежды на свое ружье».

Выступая от имени группы Голдуотера, Бакли утверждает, что «момент» еще не настал. Но он не отрицает возможности того, что в будущем применение силы окажется необходимым — в борьбе за сохранение сегрегации, например. И более простодушный «минитмен», читая инвективы Бакли против демократии и философские рассуждения, оправдывающие применение «силы» правыми, вполне естественно чувствует, что уже настало время «возложить надежды на ружье».

«Вооруженные правые» как общественное явление порождены непосредственно «холодной войной» и той милитаризацией жизни страны, которую она принесла с собой. Внешняя политика, писал сенатор Голдуотер, стала «по сути военной кампанией, во время которой намечают объект действий, сосредоточивают силы и овладевают им!» Его «Внешняя политика для Америки», опубликованная и распространяемая «Нейшнл ревью», представляет собой взгляд на внешнюю политику с огневой позиции. Эта дипломатия под барабанный бой такова: Раз! **«Разоружение.** Мы начинаем с заявления, что мы против него»; Два! **«Организация Объединенных Наций.** Мы начинаем с того, что не принимаем ее всерьез». Таким образом, вопрос о мире выносится за пределы обсуждений и переговоров. «Сосуществование — это рабство»,— говорит Голдуотер, перефразируя заявление Бакли: «Сосуществование — это смерть». Голдуотер пишет: «...если мы должны выбирать между сохранением мира и допущением коммунистов в Берлин (!), то мы должны воевать». Поскольку «коммунисты» всегда были в Берлине, его выбор, очевидно, предопределен. Собственно говоря, и выбор-то этот иллюзорен. Под пером Голдуотера «холодная война» явно становится горячей: Восточная Европа — «мы начинаем с серьезных планов относительно нее»; Африка — «мы должны открыто и тайно восстанавливать там влияние Запада»; Куба — мы должны «открыто помогать» контрреволюции, «если необходимо, путем морской блокады».

И чтобы не оставалось ни малейших сомнений насчет того, как это можно осуществить, Голдуотер пишет: «Мы сами должны быть готовы начать военные операции против уязвимых коммунистических режимов».

Комментируя предложения сенатора Голдуотера, «Нейшнл ревью» заявляет: «Означает ли эта программа войну? Голдуотер доказывает, что это маловероятно, но подчеркивает, что мы должны быть готовы и к этой возможности или согласиться на единственную альтернативу — рабство».

К чести Голдуотера надо сказать, что он гораздо более прямодушен: «Влечет ли такая политика за собой риск войны? Разумеется...»

Брент Бозелл, писавший речи сенатора Маккарти и главный оратор на съезде сторонников Голдуотера весной 1962 года в Нью-Йорке, без обиняков заявил, что «мы должны сохранить наше «ультимативное» оружие и **быть готовыми без колебаний пустить его в ход».** Затем он стал доказывать, что «уничтожение гражданского населения» с помощью водородных бомб вполне «допустимо», если «благие результаты» войны «перевесят зло, заключенное в убийстве миллионов мирных жителей».

Таким образом, философия Бозелла смыкается с политикой Бакли и Голдуотера. «Минитмены» и «вооруженные правые» воплощают ее в жизнь. «Минитмены» обязуются «совершать любые действия — пусть самые зверские».

Если респектабельные правые и «вооруженные правые» и не принадлежат к единой организации, они, во всяком случае, составляют звенья единой цепи.

Пушечная философия

Если бы не политики, я бы за один день покончил с войной, разбомбив Россию.

Генерал военно-воздушных сил США в отставке Натан Туайнинг

Дайте мне приказ сделать это, и я за одну неделю разгромлю все пять атомных гнезд России. А когда я предстану перед Христом.. я думаю, мне удастся убедить его, что я спас цивилизацию.

Генерал Орвил Андерсон

Проблемы национальной обороны должны разрешаться с военных, а не с политических позиций.

Бригадный генерал в отставке Генри Рейли

Если вы хотите войны, так делайте то, о чем вы кричите. Это верный способ начать ее.

Бывший президент Гарри Трумэн на съезде «Американского легиона» в 1961 году

Раз в пятьдесят лет у старинного форта Сэм Хаустон тихо распускаются «свечи пустыни».

Их мирные цветы гармонируют с безмятежностью старого форта. Вокруг все дышит светлым покоем, чтобы не сказать просто — ленью.

В пустыне, простирающейся за погруженными в сон казармами, все застыло, все

неподвижно. Безмолвие, неизменный спутник юкки, кактусов и рогатых жаб, с незапамятных времен царящее в Западной пустыне, переводит дух и вновь замирает.

В ближайшем городе — Сан-Антонио — улицы под палящими лучами солнца пусты. Даже в прославленном Аламо, где в стеклянных витринах покоятся сувениры, связанные с легендой о завоевании пустыни, поток туристов почти иссяк. Но все это — лишь обманчивая внешность.

В этот жаркий августовский день 1961 года техасский послеполуденный сон разодран в клочья отчаянными телеграммами и телефонограммами, помеченными «спешно» и «правительственная», которые летят по проводам из Вашингтона в форт Сэм Хаустон. Офицеров созывают на тревожные совещания. Вскоре вечерние газеты разразятся визгом заголовков, словно сообщая о зреющем мятеже. В этом укромном приюте командования Четвертой армии США, под пальмами, где царит невозмутимый покой, напоминающий об эпохе испанской колонизации, готовится кампания протеста — открытое выступление против воли президента и «меморандума Фулбрайта», опубликованного месяц назад. Грядущая битва предвещает настоящую бумажную войну.

Сенатор Дж. Фулбрайт, председатель комиссии по иностранным делам, 10 июля заведомо с одобрения президента и Объединенных начальников штабов опубликовал программное заявление, в котором осудил увлечение в среде военных модными «семинарами по «холодной войне», проникнутыми так называемым «правым радикализмом». «Меморандум» Фулбрайта предостерегал:

«Если армия поражена вирусом правого радикализма, эту опасность нельзя игнорировать».

После этого военнослужащим было официально запрещено участвовать в «семинарах», проводимых «ультра». Узнав, что Четвертая армия совместно с Нижней торговой палатой Сан-Антонио организует подобный «семинар», военный министр Элвис Стар через своего офицера службы информации полковника Легара недвусмысленно потребовал, чтобы всякая деятельность такого рода была прекращена:

«Четвертая армия не участвует в организации этого семинара и не могла в ней участвовать, так как это противоречило бы всей внутриармейской политике. На соответствующий запрос Четвертая армия ответила министерству, что она не участвует в организации этого семинара и никогда никому, включая и прессу, не сообщала о своем участии».

Наконец «Пренса», старейшая и самая респектабельная из газет Сан-Антонио, обратилась к представителю Четвертой армии с вопросом, участвует ли все-таки армия в организации запрещенного «семинара», и получила недвусмысленный ответ: «Да, участвует».

Выяснилось, что планы этого «семинара» были разработаны еще за год до того, но лежали без движения до появления фулбрайтовского «Меморандума». Именно в этот момент, как ни странно, началось их осуществление.

Невзирая на все требования и выговоры Вашингтона, «семинар» был «координирован» так, что в списках лекторов числились люди, «известные своими крайне правыми взглядами... некоторые из них являются членами и принимают участие в деятельности таких правых организаций, как «Линия жизни», «Общество Джона Берча» и «Христианский коммунистический крестовый поход». Представитель штата Техас Дэн Струве обратился с протестом непосредственно к президенту Кеннеди, указывая, что «лекции, как и было объявлено, будут иметь крайне правую ориентацию».

Но все просьбы такого рода остались без ответа, а семинар, как и было ранее намечено, состоялся 22—23 сентября. Генерал в отставке Альфред Ведемейер, открытый сторонник «берчистов», выступая перед аудиторией в три с половиной тысячи человек, «ставил в вину» президенту (иначе говоря, главнокомандующему) «умиротворительные уступки Советскому Союзу»; Клион Скаузен, бывший сотрудник ФБР, активный пропагандист «Христианского антикоммунистического крестового похода», настаивал на разрыве дипломатических отношений со всеми социалистическими странами и требовал полного прекращения торговли с Советским Союзом. Так проходил этот «неполитический семинар», организованный Четвертой армией.

Покинув милый старинный городок Сан-Антонио, генерал Ведемейер на самолете отправился в Даллас, где в аэропорту его встретил хвалебной речью нефтяной магнат Г. Хант, финансовый ангел-хранитель маккартизма.

Там, вдохновленный речью «христианина-крестоносца» Скаузена, генерал повторил требование, чтобы «Соединенные Штаты порвали дипломатические отношения с Советским Союзом и со всеми коммунистическими сателлитами».

К несчастью, «опасность», о которой говорил Фулбрайт, не исчезла. Наоборот, судя по некоторым признакам, то, что недавно было вызовом, брошенным Четвертой армией «всей внутриармейской политике», вскоре стало этой самой «политикой». Несколько месяцев спустя, в апреле 1962 года, генерал Барксдейл Хэмлетт, помощник начальника штаба армии США, давая показания перед сенатской комиссией, без всяких фанфар, без кричащих газетных заголовков всячески защищал право военных принимать участие в «семинарах» того типа, который считался запрещенным. На вопрос, думает ли он, что военные должны «участвовать в семинарах, проповедующих бдительность», генерал Хэмлетт ответил:

«Да, думаю. С моей точки зрения, мы находимся в состоянии войны. Мы участвуем в «холодной войне», и должны быть готовы и рады сделать все, чем военные могут способствовать победе в этой войне».

Историк Альфред Вагтс в своей монументальной «Истории милитаризма» много размышляет над теми социальными и психическими аспектами национальной жизни, которые заставляют считать войну желанным выходом из политических трудностей. Одной из причин — если не главной — он считает весь «строй общества» в целом. Он пишет:

«Кроме того, в тех случаях, когда множество людей начинает утрачивать надежду на индивидуальное счастье, когда им приедается покой и комфорт или спокойная жизнь бедняка, когда они считают, что общество не оценило их по достоинству, а дерзания ни к чему не приводят, когда партийные раздоры кажутся бессмысленными, а литература — лишенной стержня, тогда жизнь военного начинает представляться заманчивой, по крайней мере на время. Объявив: «Мы против уютной жизни», Муссолини поставил подобные настроения на службу фашизму».

Опираясь на эти настроения, которые, подобно тяжкому грузу, тяготеют над поколением «холодной войны», и на связанный с ними нравственный упадок, «ультра» провозглашают, что сумеют возобладать над страхами, разочарованиями и болезнетворными силами, которые терзают страну. На этом они строят свои расчеты. Они возносят славословие войне, утверждая, что простота военных условий и связанная с ними необходимость жертв очистят политическую систему от скверны — реальной или воображаемой. Естественно, что наиболее надежными сторонниками правых оказываются сами военные. Таким образом, политика правой ориентации и милитаризм сливаются воедино. Анализируя эту тенденцию военных и правых искать и находить общую почву, Вагтс пишет: «Почти все военные в европейских парламентах были связаны с партиями и группами правых и с реакционерами».

Эта тенденция проявилась и в Соединенных Штатах.

В конце концов, демократия опирается не на военную историю. Еще в 1932 году, когда генерал Макартур был главой армии, а генерал Эйзенхауэр — молодым лейтенантом в его штабе, «Официальный учебный справочник» армии Соединенных Штатов (№ 2000—25) с полной невозмутимостью следующим образом разделывался с демократией:

«**Демократия.** Правление масс... Приводит к власти толпы. Коммунистическое отношение к собственности — отрицание права собственности... Приводит к демагогии, распущенности, волнениям, недовольству, анархии».

Этот справочник был воскрешен «Обществом Джона Берча» и стал настольной книгой правых.

Бывший президент Ассоциации офицеров-резервистов полковник Неблетт, человек отнюдь не либеральных воззрений, в своей книге «Политика Пентагона» приходит к выводу, что антидемократические тенденции военщины непосредственно связаны с ее антикоммунизмом. «Если Пентагону и некоторым политическим деятелям удастся еще несколько лет поддерживать в общественном сознании страх перед коммунистической агрессией,— писал он,— им удастся создать «армию прусского типа», так как Пентагон сумел использовать эти страхи для навязывания обществу военного контроля. Кампания запугивания, начатая Пентагоном, принесла успех, превзошедший самые смелые мечты генерального штаба».

«Правые тенденции, пронизывающие весь военный аппарат страны, проявились в том, что в последнее время многие видные военные деятели — как находящиеся на действительной службе, так и в отставке,— открыто связали себя с группами вроде «Общества Джона Берча» или «Христианского антикоммунистического крестового похода»,— писал заместитель директора Фонда Форда Уолдемар Нильсен.

Это относится не только к генералу Эдвину Уокеру, но и к целой группе «видных военных деятелей». Адмирал Эрли Берк, не успев уйти в отставку, стал постоянным оратором «Христианского антикоммунистического крестового похода»; генерал Бонер Феллерс является не только «советником по вопросам внешней политики» при сенаторе Голдуотере, но и консультантом «Общества Джона Берча»; к ним примыкают генерал Стретмейер («Либерти лобби» и «Христианский антикоммунистический крестовый поход»), генерал Пейтон Кемпбелл («Национальная программа просвещения» и «Христианский антикоммунистический крестовый поход»), адмирал Льюис Страусс и генерал А. Ведемейер (Национальный консультативный комитет «Молодых американцев, борцов за свободу»), генерал Чарльз Б. Стоун («Общество Джона Берча»), генерал К. Уиллоуби («Христианский антикоммунистический крестовый поход»), генерал Натан Туайнинг, Дж. Медарис и адмирал Рэдфорд из Института военной промышленности, с которым связаны также контр-адмирал Честер Уорд, адмирал Феликс Стомп и многие, многие другие... Чтобы упомянуть всех генералов и никого не обидеть, потребовалась бы отдельная глава. «Первый национальный справочник «правых» групп» приводит перечень таких имен, как генерал Эдвард Элмонд, генерал-лейтенант Кевин Кемпбелл, генерал Марк Кларк, бригадный генерал Мерритт Кертис, генерал Джеймс Ван Флит, контр-адмирал Роберт Теоболд, адмирал Уильям Стендли и многие, многие другие.

Список длинен, и все же он дает далеко не полное представление о блестящем созвездии военных светил в боевых батальонах правых.

Чарльз Роллс, бывший главнокомандующий Организации ветеранов иностранных войн, сообщает в журнале «ультра» «Уорлд» об образовании «Национального комитета действенной гражданской обороны», который должен «выработать такую программу, чтобы каждый член организации имел определенные обязанности в пассивной обороне нашей родины». Роллс без тени иронии отмечает, что эта «пассивно-оборонительная» деятельность будет основываться на «боевом» опыте. Он пишет:

«Теперь время действий, Америка,— время дебатов прошло».

Вооруженные правые, с самодельным оружием, с учебниками по ведению боевых операций, с винтовками и лопатами в руках, чеканя шаг, вышли в поход...

Правые культивируют героику пионеров и «минитменов» прошлого, но рядом с этим существует еще отрицающая интеллектуализм и демократию тенденция, основывающаяся не столько на романтике, сколько на фашистской мистике. Если политическая проблема может быть решена военными средствами, то почему нельзя уничтожить идеи с помощью пушек? И это по-своему вполне логично.

Бывший редактор «Уорлд» Карл Хесс в дни, когда он еще не достиг своего нынешнего положения в мире журналистики, написал для «Американ меркюри» статью, которая отлично иллюстрирует такой ход мыслей. «Следует ли вам обзаводиться огнестрельным оружием?» — так было озаглавлено эссе Хесса. И на свой вопрос он ответил — да! «Во всякому случае, нет никаких причин, которые делали бы это нежелательным. А если взглянуть на вопрос серьезно, то есть множество причин, делающих это **весьма желательным»** (Подчеркнуто Хессом.); ибо, продолжает он, наша «свобода, основанная на идеале и на внутренней необходимости, родилась в артиллерийском огне, охранялась артиллерийским огнем и даже теперь поддерживается силой оружия». Хесс заключает свою мысль следующим выводом:

«...интеллектуальные излияния совершенно бесполезны. Еще ни разу свобода не явилась результатом мыслительного процесса. В жизни ее утверждает борьба».

«Интеллектуальные излияния» — мысли, идеи, убеждения,— это всего лишь мусор, нелепые «излияния», не идущие ни в какое сравнение с пушечными залпами. Пушки, а не книги! Огнестрельное оружие, а не идеи!

В своем небольшом, выпущенном массовым тиражом в виде отдельной брошюры произведении Хесс излагает именно политическое кредо правых, и хотя он, отвергая «интеллектуальные излияния», превозносит «артиллерийские залпы» как единственное политическое оружие длительного действия, сам-то он был все-таки редактором еженедельника, издававшегося в столице нашей страны. Вся его работа заключалась в «интеллектуальных излияниях», которые он так презирал. Пока Голдуотер занимается политикой, а Бакли — и Хесс — теоретическими выкладками, правоверные «ультра» возлагают надежды на тайники с оружием. Таково «разделение труда». Ирония заключается в том, что учебники «боевых действий» об охоте за головами выпускаются «респектабельными правыми» — «Либерти лобби» — на расстоянии выстрела от министерства юстиции, на расстоянии короткого перехода от ФБР, поблизости от Управления по контролю за подрывной деятельностью; однако руководители всех этих немаловажных учреждений слишком поглощены расследованием «подозрительных» выступлений в защиту мира и «подрывных» пацифистских настроений, чтобы расслышать топот вооруженных «ультра», марширующих совсем рядом...

(Окончание следует)

Перевод с английского
И. ГУРОВОЙ

НА КИНОЭКРАНАХ

ХОДЖА АХМАД АББАС

НИКАКИХ УСТУПОК!

Искусство должно стремиться к изображению жизненной правды. Это в равной мере относится ко всем его видам — к поэзии, живописи и даже к самому молодому из всех искусств — кинематографии.

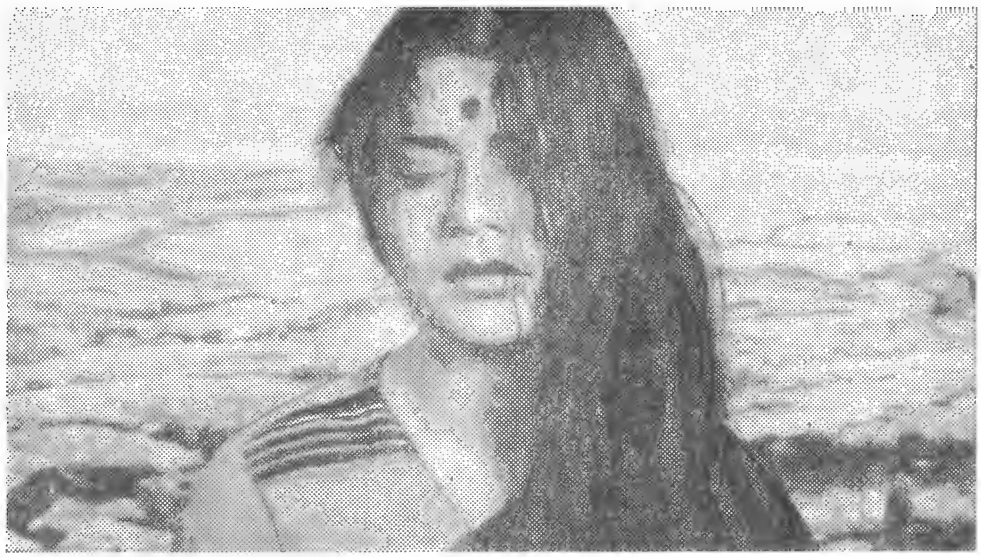
В этих извечных поисках правды художнику нередко приходится идти на компромисс, соглашаясь на полуправду, то ли в результате беспощадного давления, которое оказывает на него капиталистическое общество, то ли в силу существующей хитроумной системы бюрократических препон или же из-за личной ограниченности художника, его искаженных социальных представлений.

Должен признаться, что в обществе, в котором еще идет борьба за преодоление феодальных традиций и преобразование капиталистической экономики в социалистическую, и я как режиссер иногда вынужден идти на компромисс с жизненной правдой. Но однажды я и мои коллеги по киностудии «Найя Сансар» («Новый мир») решили выпустить хотя бы один фильм, где не было бы никаких уступок финансовым соображениям или так называемым «вкусам публики» — термин, который расшифровывается как эстетическое кредо коммерческого кинопроизводства.

Я постараюсь рассказать здесь о том, что пришлось пережить мне и моим коллегам, когда мы попытались сообща создать фильм, правдиво отражающий жизнь в Индии.

С начала съемки и до того дня, когда фильм был утвержден цензурой, прошло три с половиной года, но сам замысел картины зародился значительно раньше.

Роли главных героев в фильме Ходжи Ахмада Аббаса «Город и мечта» исполняют не профессиональные актеры, а студенты Дилип Радж и Сурекха.



Сурекха в фильме «Город и мечта»

В 1957 году муниципалитет Бомбея распорядился провести перепись бездомного населения — тех, кто ночует на тротуарах. В итоге было установлено, что в городе 15 000 бездомных и вдвое больше скваттеров — людей, которые, не получив на то разрешения властей, соорудили себе на земле, принадлежащей муниципалитету города или частным лицам, кое-какое подобие жилья из досок, бамбуковых палок, старых циновок и железного хлама. И вот именно тогда я решил провести свою собственную перепись; меня, как писателя, интересовала не простая статистика, а жизнь людей, лишенных крова. Каждую ночь я бродил по улицам Бомбея и каждый раз убеждался, что и здесь жизнь идет своим чередом. Несмотря на весь ужас подобного существования «под крышей до самых небес» (как шутливо заметил один из скваттеров), большинство из них не падает духом. Я видел, как люди спят, смеются, обмениваются шутками, объясняются в любви в укромных уголках, читают газеты и книги при свете уличных фонарей или даже пишут стихи, как мне случилось однажды наблюдать. Я познакомился с семьей, которая жила в канализационной трубе, брошенной у дороги. Эта бедная семья внушала мне чувства любви и восхищения, потому что даже в этих страшных условиях люди не утратили способности любить и смеяться, сохранили глубокую человечность. Результатом моих ночных наблюдений явился рассказ «Тысяча ночей на ложе из камня», опубликованный в Индии в 1957 году и включенный под тем же названием в сборник моих рассказов, который в 1960 году вышел в Советском Союзе.

Этот рассказ и послужил основой сценария, написанного мной для нашего фильма, хотя название и было впоследствии изменено на «Шехар Аур Сапна» («Город и мечта»): оно было короче и больше подходило для кинофильма. Поскольку мы хотели создать реалистический фильм, мы решили по возможности отказаться от макетных декораций и широко использовать натурные съемки, снимать на улицах, в поселках скваттеров, на пляже и, для контраста, на вилле миллионера.

По тем же соображениям было решено пригласить на главные роли совершенно неизвестных артистов. Нам казалось, что, если в числе наших героев не будет примелькавшихся уже кинозвезд, это поможет зрителю поверить в их реальность. После продолжительных поисков и многочисленных проб мы выбрали на роль главного героя Дилипа Раджа, сына моего друга Джайраджа, известного киноактера. Роль героини была поручена юной Сурекхе — студентке университета; я увидел ее впервые в студенческом спектакле, нежное, грустное лицо и живые глаза поразили меня. Ни Радж, ни Сурекха никогда раньше не снимались в кино, и прежде чем предстать перед объективами кинокамер им пришлось пройти основательный курс актерского мастерства. Поскольку многие сцены фильма должны были происходить в узком цилиндре канализационной трубы, я заставлял актеров репетировать под моим письменным столом, куда им с трудом удавалось втиснуться. Разумеется, эти упражнения не доставляли удовольствия, но они безропотно выносили абсолютно все во имя искусства.

Мы начали съемки в июне 1960 года с величайшим энтузиазмом, так как понимали, что делаем нечто новое и по-настоящему нужное. Однако очень скоро нам пришлось убедиться: для того чтобы выпустить фильм, одних хороших намерений еще недостаточно. Ту небольшую сумму, которую мне удалось наскрести, мы истратили в первый же месяц, отсняв примерно

только одну шестую фильма. Обычно на этом этапе продюсер может продать свой фильм и ему будет выплачен аванс; он может также получить заем от государственного управления по финансированию фильмов или от частного финансиста. В нашем же случае денежные тузы решительно воротили нос. Прошел слух, будто мы готовим «немыслимый» в Индии фильм, без танцев и песен, без кинозвезд, без пышных декораций,— фильм о жизни бедняков, снятый на улицах и в трущобах. «Нет,— заявляли все в один голос,— такой фильм финансировать не представляется возможным». Но мы не унывали: ведь бывали случаи, когда служителям искусства удавалось, преодолев все преграды, одержать победу над служителями денежного мешка. Нелегко дался Бималу Рою его фильм «Два бигха земли», получивший впоследствии такое высокое признание во многих странах, в том числе и в Советском Союзе, а Сатьяжит Рэй, отчаявшись, чуть не прекратил съемку картины «Патер Панчали», принесшей ему позднее мировую славу.

Итак, мы решили ждать и ждали в течение целого года. К счастью, вся съемочная группа, начиная с актеров, оказалась верной нашей идее; понимая всю трудность положения, они не торопили с выплатой им жалованья. Время от времени я получал гонорар за книгу или сценарий от какого-нибудь издателя или кинорежиссера, и мы тотчас же возобновляли съемки на один-два дня, а потом опять принимались ждать, надеясь на чудо. И чудо случилось.

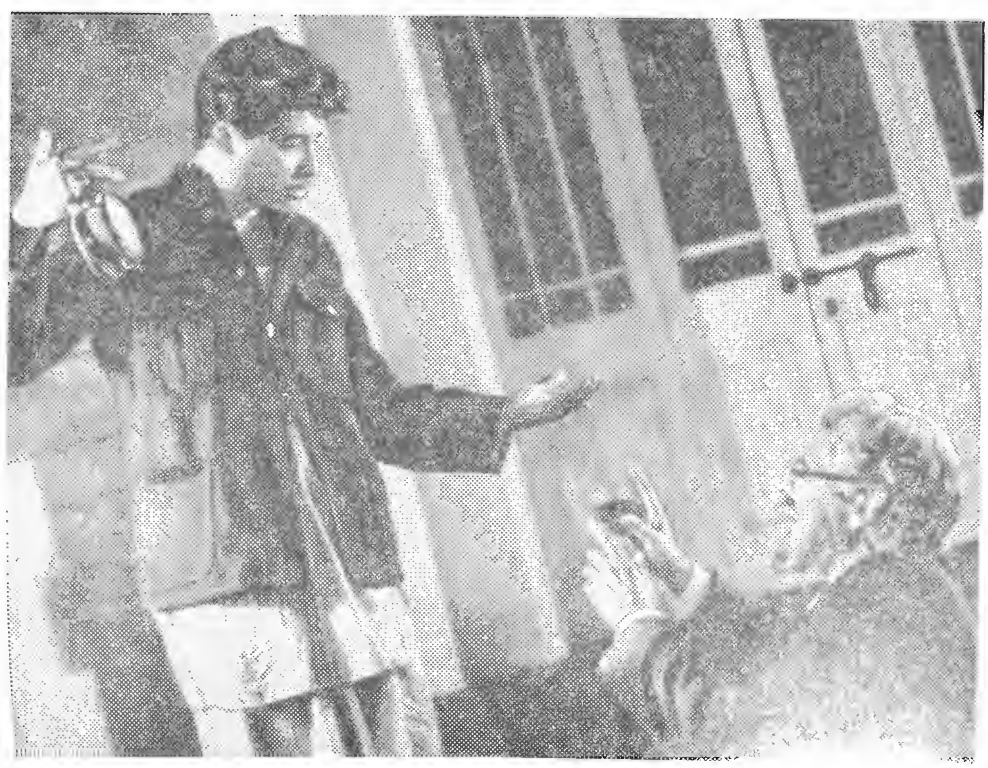
Прошел уже год с лишним, а мы не отсняли еще и четверти картины. И вот однажды ко мне явились все мои коллеги и единодушно предложили закончить фильм без всякого вознаграждения за свой труд; они отказывались даже от тех денег, которые им уже причитались. «Мы готовы на все, чтобы помочь вам,— заверили они меня.— Вы должны сделать фильм так, как он был задуман». Я был растроган — среди работников нашего кино немало таких, которые славятся своим цинизмом, и благородные жесты в этой среде — редкость. Но, видимо, после многих лет, проведенных в коммерческих студиях, этим актерам тоже очень хотелось сделать хотя бы один фильм без каких бы то ни было прикрас и компромиссов.

«Хорошо,— сказал я,— коли вы так решили, мы будем в этом фильме равноправными компаньонами».

И мы подписали единственный в своем роде документ, согласно которому пятнадцать человек — режиссер-постановщик, поэт, пять актеров, актриса и семеро специалистов-техников — становились равноправными компаньонами в создании фильма «Шехар Аур Сапна». Это само по себе уже было осуществленной мечтой — многие из нас давно мечтали снять фильм на таких объединенных социалистических началах.

Но нам нужны были деньги, чтобы брать напрокат кинокамеры и другое необходимое оборудование, покупать пленку и платить жалованье младшему персоналу нашей группы — эти люди не могли позволить себе работать бесплатно. Я надеялся как-то собрать деньги и написал двадцати девяти друзьям, которые располагали небольшими средствами и верили в необходимость таких фильмов, как наш. Двадцать два из них согласились «финансировать» нас, предложив взаймы без процентов суммы от пяти до пятнадцати тысяч рупий. И вот, когда эти деньги стали поступать, мы снова могли возобновить съемки.

Кадр из фильма «Город и мечта»



Кадр из фильма «Город и мечта»

После того как финансовая проблема была решена, нам оставалось решить еще творческие, художественные и технические вопросы. А таких вопросов оказалось немало. Например, мы сняли несколько кадров на фоне дождевых облаков, и, чтобы закончить эти сцены, нам пришлось ждать наступления следующего сезона дождей. Один из актеров должен был научиться играть на гитаре, другой освоить борьбу, бокс и просто технику драки. Наша героиня чуть не погибла под ударом гигантской морской волны, и герою картины пришлось, бросившись в воду, спасать ее; но, увы, ручки кинокамеры не крутились в этот момент — операторы присоединились к спасательной команде, иначе мы запечатлели бы на экране подлинную трагедию. Сцены в обезлюдевшем городе мы могли снимать только по воскресеньям, когда все магазины и учреждения закрыты. Както ночью мы лежали на пляже, дожидаясь утра, чтобы снять несколько кадров рассвета, и нас чуть было не арестовал полицейский, приняв за воровскую шайку. Нам пришлось построить свой поселок скваттеров. При съемке бульдозера, безжалостно ломающего убогие лачуги бедняков, вокруг собралась разъяренная толпа, которая угрожала избить нас, приняв съемочную группу за бессердечных чиновников, не только разрушающих жилища обездоленных, но еще и снимающих на пленку свои чудовищные действия. Однако во всех остальных случаях, когда приходилось работать на улицах, в городских трущобах или в поселках скваттеров, люди, узнав, о чем будет наш фильм и какова его идея, с готовностью предлагали свою помощь; они понимали, что задача фильма — показать их жизнь, их трудности.

И вот наконец фильм готов. Работа над ним принесла нам много радости, потому что мы снимали его не для финансового магната, не для кинопродюсера, а для народа, для самих себя. Теперь мы отдали наш фильм на суд зрителей, не только наших соотечественников, но и зрителей других стран и, в первую очередь, Советского Союза.

Из путевого альбома

В. ЗАЧИНЯЕВ

В НАРОДНОМ ВЬЕТНАМЕ

На моем столе среди книг, красок и кистей стоит небольшая фоторепродукция с рисованного мной портрета вьетнамской девушки Чан Тхи Ли — «вьетнамской Зои», как ее называют на родине. С фотографии внимательно смотрят на меня волевые с оттенком печали девичьи глаза. Каждый раз, встречаясь с ней взглядом, я вспоминаю полюбившийся мне Вьетнам.

Как кинематографисту, мне довелось проделать много разных дорог — далеких и близких, трудных и легких. Но никогда еще передо мной не лежал такой долгий путь, как дорога во Вьетнам.

Вьетнам рисовался в сознании еще с детских лет — по первым книжкам,— как страна экзотики, легенд и романтических преданий.

Несколько дней из окна вагона я видел необъятные поля Сибири, заваленные сугробами, реки и озера, скованные толстыми льдами. А сегодня — вот он, Вьетнам. Здесь как в сказке, предстал передо мной мир зелени и цветов. Хочешь увидеть небо — в поле зрения обязательно попадает силуэт пальмы. И везде бананы! Они у окна дома, в огороде, у реки, просто на обочине дороги. Позднее, путешествуя по стране, я попадал в районы, где пальм нет или они редки, но бананы сопутствовали мне повсюду.

Проходя по улицам Ханоя, невольно останавливаешься у цветущих деревьев. Не цветут они, а ярко-красным костром полыхают их горящие кроны. Чем больше вокруг зелени, чем голубее небо, тем цветение ярче, насыщеннее.

Улицы Ханоя полны жизни, движения. Сигналы автомашин, звонки велорикш и велосипедистов, голосистые выкрики уличных продавцов всевозможных сладостей, повизгивание ребят, которые группками копошатся на тротуаре, занятые своими ребячьими делами,— неповторимая атмосфера восточного города.

К уличному точильщику подошел клиент. Сняв с плеча бамбуковое коромысло, точильщик усаживается здесь же, у дороги. На одном конце коромысла подвешен брусок, на другом — банка с водой и обрывок тряпки, вот и весь нехитрый инструмент.

Рядом уже стоит переносный «ресторан» — две фанерные тумбочки, которые несколько минут назад также покачивались на коромысле. На тумбочках — фарфоровые чашечки, фарфоровый чайник или термос. Здесь на ходу можно выпить горячего чая. Зеленый чай пьют без сахара. Зимой он хорошо согревает, летом — лучшее средство для утоления жажды. Чай вьетнамцы пьют целый день — во время работы, в перерывах, в ходе деловых бесед.

Через дорогу, пробираясь сквозь поток движущихся пешеходов, велорикш и автомашин, проходит женщина. Она, как и все женщины во Вьетнаме, одета в черные широкие шелковые штаны, облегающую блузку с разрезами по бокам. На голове — шляпа из пальмового листа на бамбуковом каркасе, на плече — бамбуковое коромысло с двумя плетеными корзинами. Одна из них наполнена апельсинами, в другой, держась за края, сидит малыш. Ребята постарше с завистью смотрят на счастливца. Впрочем, они быстро отвлекаются. Стоит мне, залюбовавшись импровизированным уличным базаром, присесть на свой раскладной стульчик с намерением сделать зарисовки, как они сейчас же окружают меня такой плотной стеной, что вскоре я уже не вижу ни базарчика, ни улицы, а одно только небо.

«Лиен-со» — значит советский человек. Эти слова произносятся вьетнамцами с большим уважением и любовью. Каждый школьник знает, что есть такая далекая страна друзей — Советский Союз. Не раз ребятам доводилось ездить на экскурсии в красных советских автобусах, они вместительны и удобны. Видели наши тракторы. Родители рассказывали детям о советских станках, которые работают на заводе. Читают ребята книги советских писателей, переведенные на вьетнамский язык. Но, конечно, больше всего они знают и любят советских космонавтов. Портреты их вывешены в каждой школе.

Когда советские суда приходят в портовый город Хайфон, ребята — частые гости на борту. Побывали они и на огромном советском турбоэлектроходе «Юрий Гагарин», который привез машинное оборудование, тракторы и автомобили...

Через дорогу устремляется милиционер. Я догадываюсь об этом по его свистку. Раздвинув толпу и убедившись, что ничего недозволенного не произошло, он прикладывает руку к пробковому шлему и, успокоенный, удаляется. Пробираюсь через толпу и я: о рисовании нечего и помышлять.

Знакомясь со страной, я повсюду видел созидательную деятельность народа. Строится новая дорога, в этом участвуют члены сельхозкооператива. Во Вьетнаме еще мало техники. Работы ведутся вручную. Насыпи приходится подчас создавать искусственным путем, используя землю, привезенную на деревянной тачке или просто принесенную на коромысле в корзинах.

Нужны новые жилища — и на окраине Ханоя сооружен и продолжает строиться целый городок многоэтажных домов. Я рисую все это. Надо успеть сделать зарисовку

ВЬЕТНАМСКАЯ КОМСОМОЛКА ЧАН ТХИ ГАЙ

С МЛАДШЕЙ СЕСТРЕНКОЙ

ДОМА, ДЖОНКИ И РЕКА ТАМ БАК

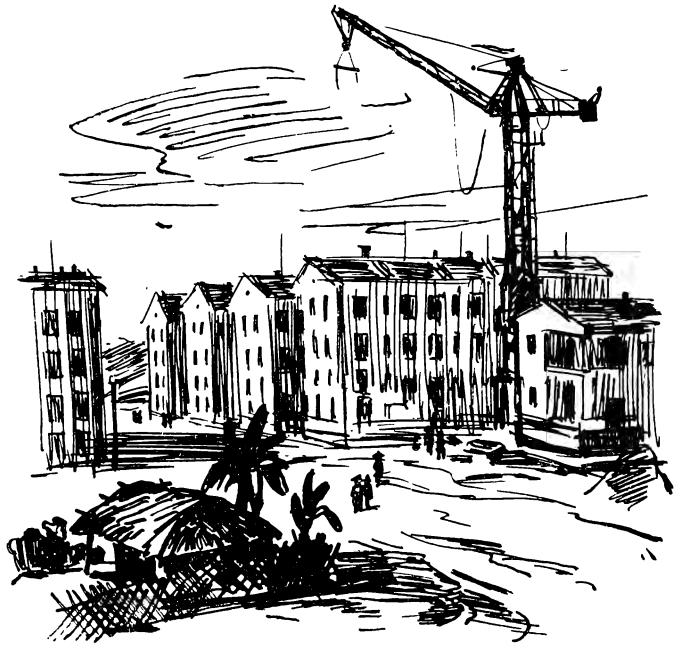
ГОЛУБЫЕ ДАЛИ
ВЬЕТНАМА...

ЮНАЯ ДЕВУШКА
НАРОДНОСТИ МЯО

Домой с работы

Перед заходом солнца

Рис воинам Дьен-Бьен Фу

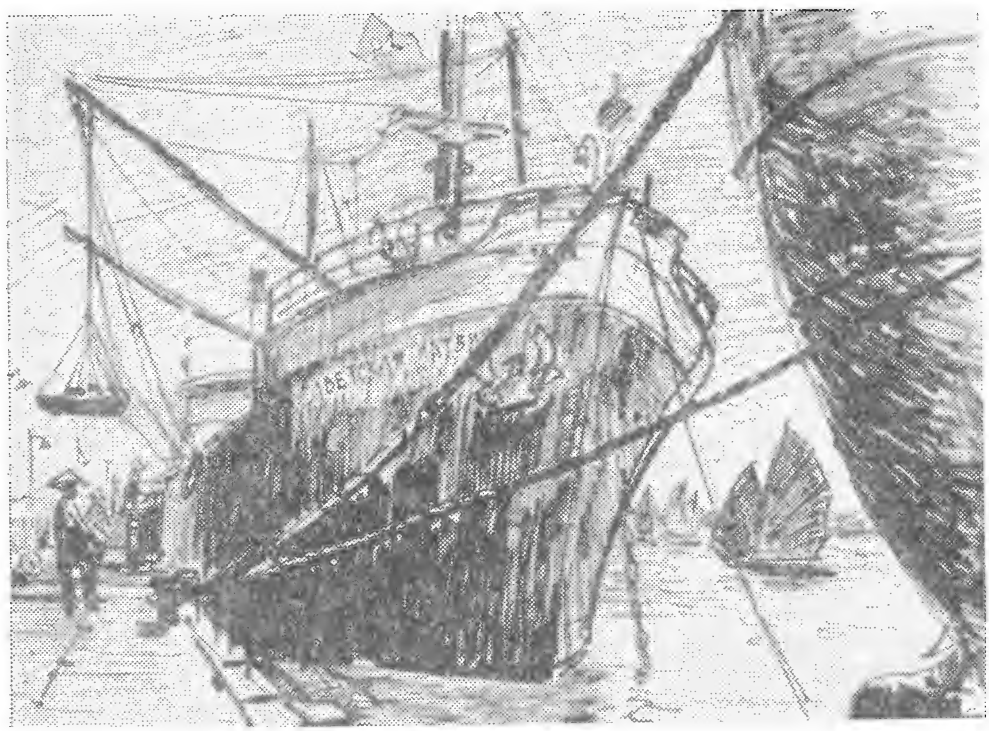


Строительство нового жилого района в Ханое

Вьетнамская деревня

Медсестра

Пришел советский корабль



в один сеанс — завтра пейзаж будет уже другим.

В небе, рядом с силуэтами пальм и бананов, четко прочерчены контуры башенных кранов. Они — примета нового времени, нового Вьетнама.

Во Вьетнаме все учатся. Понедельник и четверг — дни учебы. В каждом учреждении, на каждом заводе имеется «Свободная трибуна». Это доска — своего рода стенгазета, где каждый может написать и вывесить свою заметку. Рядом с такой газетой классная доска. В обеденный перерыв здесь выводятся различные формулы или пишутся фразы на русском языке, который изучают многие и в кружках, и самостоятельно.

Рисовое поле, разделенное на небольшие участки, уходит вдаль, растворяясь где-то у горизонта в голубой дымке гор. Крестьянин пашет, согнувшись над плугом, куда впряжен буйвол. У обочины дороги пасутся буйволы, на которых сейчас не работают. На широкой спине каждого сидит мальчонка. Он следит, чтобы буйвол не свернул с обочины и не потравил урожай риса. Сидеть на спине у буйвола большое удовольствие. Времени много и можно прочесть интересную книжку, приготовить заданный урок, а на досуге и поиграть. В сумке среди книг всегда хранится бамбуковая флейта.

Нелегок труд вьетнамского крестьянина. Два урожая риса снимает он в год. Весеннему урожаю грозит засуха, осеннему — тропические ливни. Рис растет в воде; при засухе приходится накачивать воду на поля вручную — бамбуковым лотком.

На реке

В годы войны этот же крестьянин был не только земледельцем, но и воином народной армии. На пешеходной тропе, которая отделяет залитые водой участки, рядом с узелком, содержащим вареный рис и батат, лежал, блестя на солнце вороненой сталью, автомат или самодельное, изготовленное из велосипедной рамы ружье, а то и просто лук-самострел. В любую минуту крестьянин был готов вступить в схватку с врагом.

Много горя простому крестьянину принесли французские колонизаторы. Терпел он беспросветную нужду и гнет местных феодалов. Участок земли был слишком мал, чтобы прокормить семью. Надо было арендовать землю у мандарина, внося непосильный процент с урожая. Деревня была почти сплошь неграмотной.

«Рис — воинам Дьен-Бьен-Фу» — так я назвал линогравюру с изображением крестьян, несущих на бамбуковых коромыслах корзины с рисом.

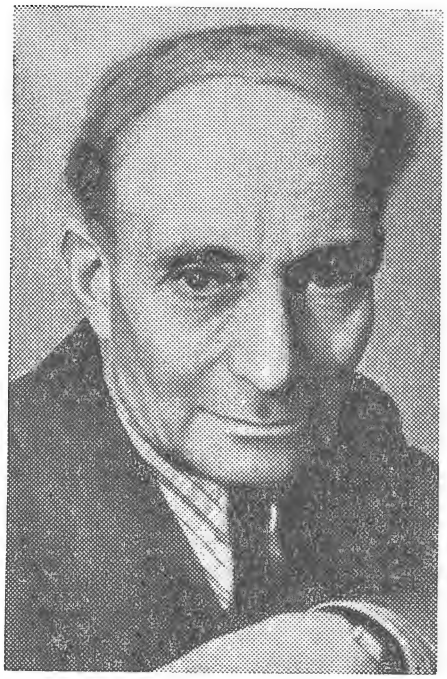
Общеизвестно, какое значение для победы над французскими захватчиками имело сражение у Дьен-Бьен-Фу. Именно здесь на нескольких высотках, окруженных горами, решалась судьба вьетнамского народа! Каждый вьетнамец знал это и каждый, по мере возможности, вносил свой вклад в дело победы. Вьетнамской армии нужен был рис, и тысячи добровольцев тянулись по горным тропам через джунгли из провинции Фу-То к Дьен-Бьен-Фу, перевозя на велосипедах, а чаще просто перенося вручную нужный армии рис. Шестьсот километров туда, шестьсот — обратно.

Как памятник неувядаемой славы стоит на пьедестале в Дьен-Бьен-Фу подбитый французский танк. Рядом два невысоких холмика — две могилы молодых воинов, бросившихся с взрывчаткой под этот танк. Такой же танк-памятник стоит у обочины дороги в районе города Хоа-Бинь.

В Дьен-Бьен-Фу на месте сражений сооружен небольшой музей. По боевым трофеям воссоздается картина битвы.

Экскурсоводу Фам Фэ Дену было всего двадцать лет, когда он сражался у этих высоток. Каждому, кто осмотрел места боев и музей, он непременно в заключение покажет последний экспонат. Это фотография: у подбитого французского танка валяется простреленная каска, вокруг растут белые цветы. Под фотографией надпись «Нет — войне!»

Около десяти лет народ Демократической Республики Вьетнам строит у себя социализм. «Нет — войне!» — скандируют простые люди Вьетнама. Пусть вечно будет мир на земле, пусть вечно цветут цветы!



ЖАН-РИШАР БЛОК

К 80-летию со дня рождения

Замечательному французскому писателю-борцу Жану-Ришару Блоку исполняется в этом году восемьдесят лет. Вот уже семнадцать лет, как его нет в живых. Когда в 1947 году мы узнали о том, что Жан-Ришар Блок скончался в Париже, это известие было как удар, направленный в наше собственное сердце,— настолько близким и родным стал нам этот человек, особенно за годы войны. И поскольку у смерти есть свойство сразу выпрямлять ушедшего, в полный рост,— значение духовной личности французского писателя внезапно прояснилось, выросло и закрепилось в сознании. И он предстал перед нами как герой, о жизни которого можно написать роман или драму, и в них отразится вся первая половина нашего века. Именно таким Жан-Ришар Блок входит в историю современного поколения.

Октябрь 1941 года. Немцы с трех сторон обложили Москву. Гитлер бахвалится, что в считанные дни судьба войны будет решена и он примет парад своих войск на Красной площади. Решением Центрального Комитета партии группа московских писателей, а также иностранные писатели-антифашисты — среди них немцы, французы, итальянцы, испанцы, венгры — эвакуированы на восток. Этот не слишком счастливый ковчег причаливает к берегам Волги, в Казань. Тогда-то я и узнал впервые Жана-Ришара Блока.

Его демократический и в то же время изящный облик не мог не броситься в глаза. В поношенном кожаном парижском пальто, туго стянутом ремнем, и в меховой московской ушанке он казался ни молодым, ни старым, а в каком-то вечно солдатском возрасте. Да, да, вечный солдат, но и вечный «интеллигент» — не то школьный учитель-словесник, не то странствующий с юных лет следопыт-журналист. У него были блестящие, горячие, юношески веселые, если даже не озорные, глаза. Мы читали в них крайнее напряжение, жадность ко всем новым впечатлениям жизни. Какое-то неутолимое бодрствование духа и души. Может быть, и спал-то он в полглаза, всю ночь кося зрачком на светящийся циферблат своих часов, чтобы, не дай бог, не проспать, вовремя очнуться и как ни в чем не бывало продолжать суровое и прекрасное дело жизни. Он стремился всюду и везде быть полезным, участвовать в жизни всего этого писательского разношерстного коллектива разноязыких и весьма по-разному настроенных и поразному ведущих себя людей.

И сразу принялся за работу! А это было нелегко. Денно и нощно обретались все мы в огромном зале казанского Дома печати; здесь рядами стояли длинные канцелярские столы, на которых мы спали, за которыми работали, пили обжигающий горло кипяток и ели хлеб. Никогда не затихал разноязыкий гомон. Жана-Ришара это нисколько не смущало. Чуть ли не в первое же утро застучала его портативная, видавшая виды на своем веку, так же как и кожаное пальто, сильно потрепанная пишущая машинка. И через несколько дней писатель читал нам свои стихи о великом Октябре, об октябрьском празднике сорок первого года. Седьмого ноября они были напечатаны в «Правде».

Жан-Ришар Блок. Писатель. Француз. Антифашист. Коммунист со времен знаменитого съезда французских социалистов в Туре, когда родилась Французская коммунистическая партия. Деятель и борец Народного фронта в середине тридцатых годов.

Автор книги «Испания! Испания!». Автор романа «...и компания». Друг Ромена Роллана. Солдат первой мировой войны, участник битвы за Верден. И еще и еще... множество пьес, лирических стихов, выступлений, речей, поступков, снова своевременных книг, снова смелых поступков. Им нельзя было не любоваться. И надо всем господствовало впечатление от его собранности, не показной, не дидактической — дескать, учитесь вы, младшие! — нет, это было естественное поведение человека, который и не умеет иначе жить. Он был как пуля, которая летит, пока она не на излете,— вот и все. Заряд доброй и добросовестной энергии.

А еще через несколько дней он читал нам одноактную, умело и изобретательно сделанную пьесу «Обыск в Париже», рисующую первые попытки парижского населения сопротивляться гитлеровским оккупантам. А еще через считанное число дней в нашей печати уже публиковались одна за другой его политические статьи. Они явились началом знаменитых теперь выступлений Жана-Ришара Блока, сыгравших немалую роль и у нас и на Западе в деле общей победы над фашизмом. В них звучал боевой задор, но рядом с ним было полное самообладание зрелого, глубоко осведомленного трибуна и мастера слова. Простые, короткие фразы без придаточных, стройная латинская логика и сжатость изложения, суровый аскетизм формы — это было самым нужным делом в те суровые дни.

Нам приходилось выступать вместе с ним перед разными аудиториями. Человек другого народа и другой культуры, пользующийся услугами переводчика, чтобы быть понятым, Жан-Ришар прекрасно находил дорогу к сердцам слушателей. У железнодорожников он завоевал общее доверие, вспомнив традиции своей семьи — и отец и дед его были железнодорожниками. У танкистов или в госпиталях он рассказывал о битве за Верден, о собственной солдатской юности.

И всюду и всегда его волновало то же самое, что волновало всех нас: борьба с чудовищной военной машиной гитлеризма. Как нам удастся выстоять в эти крутые времена? Выдержим ли мы? Благодаря чему? Жан-Ришар говорил примерно так — привожу его слова не точно, по памяти, но за смысл сказанного им ручаюсь:

— Я всегда приглядывался к вашим солдатам, к красноармейцам. А этой весною, пересекая границу Советского Союза, я всматривался в ваших пограничников с особым чувством: какие милые, мирные, добрые, пожалуй детские лица! Все в них напоминает о материнской ласке, о школьном уроке, о недочитанной книжке. И вот таким юношам предстоит встреча с гитлеровской молодежью! И, думая об этой встрече, я как-то содрогнулся — простите, в этом надо сознаться. Гитлер действительно воспитал поколение волчат, из него вытравлено все человеческое, вы и не представляете себе, что это за экземпляры! Да дело и не только в нацистском режиме, тут два столетия прусской муштры, стрельбища на изрытых свинцом полях Померании, вся история Германии, от Фридриха до этого Адольфика. Как же произойдет столкновение двух армий? Да что там армий? Двух миров, двух мироздаций. Выдержит ли ваша армия, ваша молодежь? Выдержите ли вы все? Так вот, поверьте мне, ветерану,— с каждым днем моя уверенность растет. Да, да, Красная Армия дрогнула, зашаталась, ей не легко сегодня, но ведь она выстояла («el-le re-ste de-bout,— отчеканивал он каждый слог густым, низким голосом,— elle tient tête a l'ennemi»), она продолжает драться, существует, а это значит, что она победит.

Так рассуждал этот пятидесятисемилетний француз, не знающий русского языка, рассуждал за полтора месяца до декабря 1941 года, когда еще никак не наметился перелом в битве за Москву и все мы рядом с ним цепенели каждое утро, слушая по радио печальные сводки Информбюро. Не ради того, чтобы приободрить кого-нибудь, говорил эти веские слова Блок, да и не себя подстегивал оптимистическими прогнозами— он просто думал вслух, как много повидавший на своем веку, немолодой, ничем не рисующийся, совестливый человек.

Весенняя ночь 1943 года. Много тяжелого пережито всеми нами, многое навсегда легло рубцами на сердце — и снова мы рядом с Жаном-Ришаром Блоком, на этот раз у него в гостях, в номере московской гостиницы, тщательно затемненном, с наглухо занавешенными окнами. Он читает только что законченную им драму «Тулон». Читает как великолепный драматический актер, по ходу действия легко перевоплощается и в тулонского докера, и в старика адмирала, и в ветреную женщину, и в ничтожного посланца из Виши. В одной из картин ему приходится пропеть первый куплет «Марсельезы», и Жан-Ришар затягивает ее глуховатым и хриплым голосом, в темпе великого марша, как будто сам участвует в огромном шествии по столбовой дороге истории. За этой глуховатостью и хрипотой угадывается тысячеголосая, хоровая и в то же время нестройная бурная ярость народной толпы, и все это в движении, в смене живописных групп, идущих не в ногу, спорящих, горланящих... Нет, не мы навоображали невесть что в темной комнате московской гостиницы, это он сам владел артистическим секретом и вкладывал в свое — по меньшей мере, любительское — пение, в детонирующие звуки, вылетавшие из слабого и простуженного горла, огненную страсть патриота и поэта.

И еще один яркий вечер в самом начале 1944 года, ровно двадцать лет назад. У меня дома мы с Жаном-Ришаром Блоком и его женой Маргерит слушаем по радио о прорыве ленинградской блокады. В полночь приходит Володя Луговской и с ним Николай Тихонов — седой, загорелый, завьюженный до бровей на московских улицах, он скидывает шинель, отряхивает ушанку. Сегодня он приехал из Ленинграда. У Жана-Ришара Блока чуть хмельные, влажные и, как всегда, блестящие глаза. Он влюбленно смотрит на Тихонова, поднимает стакан в

честь нашей армии и победы. Таким взволнованным я никогда не видел его. Все в нем растроганно трепещет, весь он растворился в пытливом внимании к рассказам Тихонова. Но тут же овладевает собою и разговором, читает стихи из только что полученного из Парижа гектографированного подпольного сборника «Честь поэтов». Под знаменательными псевдонимами Жан Колер, Жак Дестен, Жан дю О мы пытаемся угадать имена Арагона или Элюара...

Август 1944 года. Блок перед картой Европы. Наконец-то существует второй фронт. Союзники высадили десант на нормандском берегу. Перед ними дорога на Париж. Перед Блоком дорога на родину. Это произойдет не завтра и не послезавтра, но настает и последний вечер Жана-Ришара и Маргерит Блок в Москве, и мы сдвигаем стаканы в честь этой прекрасной человеческой четы, говорим на прощание искренние и, как водится в таких случаях, изрядно неуклюжие слова. И вот над всей этой суровой эпохой жизни нашего поколения опускается занавес, он кажется всех семи цветов радуги и сулит множество надежд на счастье, покой, долголетие...

В славной жизни нашего замечательного французского друга наступает последний акт. Он оказался трагически коротким. Вскоре мы узнали, сколько тяжелого горя навалилось на его плечи, сколько скорбных и страшных вестей ждало его дома. Его дочь была обезглавлена гамбургским палачом в застенке гестапо, его зять погиб в концлагере. Дочери давно уже не было в живых, а запоздавшие письма от нее продолжали приходить к родителям, каждый раз заново раздирая их сердце. Чужие или знакомые люди возвращались во Францию из тех же проклятых мест, где погибла дочь Блока, и привозили безумно запоздавшие приветы родным.

Мы узнавали о доблестной работе писателя, читали редактируемую им газету «Се суар». О его замыслах нам тоже рассказывали. Потом мы узнали, что Жан-Ришар Блок скончался на шестьдесят четвертом году жизни. Эта утрата одинаково невозместима и для французов, и для нас, и для тех, кто знал его лично, и для тех, кто знает его по книгам, только по ним. Вскоре ему была присуждена Золотая Медаль Мира. И мертвый, как полагается бойцу, он встал в один ряд с живыми борцами за мир и продолжает свое благородное и вечное дело.

В июне прошлого года в Париже снова вышел его роман «... и компания» в очаровательно нарядном издании «Клуба друзей прогрессивной книги». Роману предпослана горячо и увлекательно написанная статья Пьера Гамарра. Нет смысла выписывать здесь цитаты из нее, обрывая этим непосредственную эмоцию ее автора и стройную логику рассуждений. Ограничусь тем, что приведу заключение Гамарра:

«Младшие среди нас и те, что еще моложе этих младших, должны будут воспринять его жизнь и его труд, как свою духовную пищу и свое вдохновение. Они разовьют и продолжат его действенную традицию. От несуществующего некуда двигаться дальше. От работы Жана-Ришара Блока для нас открываются бесконечные дороги...

Я думаю об универсальном дыхании этой широкой культуры, значение которой Жан-Ришар Блок утверждал непрестанно,— в те самые дни, когда нацисты обрушились на Париж, он переводил Гете, он приобщил французов к лучшему из созданного Панаитом Истрати, переводил Брехта, мечтал смешать со звонкими песнями французской земли песни Востока, Запада, Африки...

Я думаю об «Иносказании юности», которое он посвятил своему брату Пьеру еще в апреле 1917 года:

Мне кажется, что мы проспали
Всю эту сумрачную ночь.
Где же ты, спутник давний мой,
Где твое доброе дыханье?
Смотри — вот на песке прибрежном
Какой-то друг нам подал знак.
В серебряных лучах рассвета
Легко скрипит прибрежный гравий.
Легко на этот склон подняться.
Куда же, сонный, ты пропал?
Мужайся...

Повторяя эти слова, надо вызвать в памяти его лицо: в его величии, дерзком смешении мудрости и безрассудства воплощено будущее величие человека и нашего собственного удела».

Так кончается статья Гамарра. Но, поскольку сюда уже привлечен этот голос изнутри современной французской культуры, есть основание присоединить к нему высказывание старшего современника и соотечественника Жана-Ришара Блока. Вот что в 1926 году писал о нем в предисловии к его роману «...и компания» Ромен Роллан:

«Что же прибавить еще? Что в течение пятнадцати лет я его знаю и братски люблю, что эти суровые пятнадцать лет, оказавшиеся пробным камнем для многих душ и дружб, освятили и наши души и их верность, что в этом мужественном художнике, думающем то же, что он пишет, и действующем так же, как он думает, характер остается на уровне его искусства и, как ни в одной фигуре нашего времени, в нем воплощена гармония высокой степени мастерства в искусстве и глубины мысли...»

Что же прибавить к этому нам, советским писателям?

Мы многим ему обязаны — не только лично, но и как борцы одного с ним воинского подразделения. Его жизнь и труд остаются для нас образцами того, как надо жить и трудиться в наше время. Еще в 1934 году, будучи впервые в нашей стране и выступая в Колонном зале Дома Союзов в качестве гостя на Первом съезде советских писателей, Жан-Ришар Блок призывал слушателей к созданию искусства безоглядно смелого — такого искусства, которое достойно соревноваться с подвигами летчиков-испытателей, рискующих жизнью, испытывая машины, далекие от того, чтобы их пустили в серийно-конвейерное производство. В этом призыве звучала проницательная забота о будущем советской литературы. Она и по сей

день остается своевременной заботой, и призыв Жана-Ришара Блока должен и может быть услышан и оценен.

...Передо мною лежит большой том «Дон Кихота» на французском языке, на титуле которого рукой Жана-Ришара Блока написано по-русски: «Иностранний коммиссиа Союз Сов Писатели для тов. Павел Григ. Антоколски от Ж. Р. Б.» Незачем говорить о том, как дорога мне эта книга, оставленная им на память в 1944 году. А сегодня кажется, что к ней, как к светящейся точке, издалека тянутся многие гости, среди них и сам ламанчский рыцарь печального образа, и его автор, однорукий солдат, и французский переводчик сервантесовского романа, друг Тургенева, Луи Виардо, и, наконец, самый жданный из всех гостей, солдат и рыцарь двадцатого века, в потертом кожаном пальто, туго стянутом ремнем, в меховой ушанке — таким он и вернулся оттуда, из грозной вьюги нашего сорок первого года, ни молодой, ни старый,— Жан-Ришар Блок.

П. Антокольский

У ВОЙНИЧ В НЬЮ-ЙОРКЕ

К 100-летию со дня рождения Этель Лилиан Войнич

Девять лет назад я видел Войнич, разговаривал с ней. Вот как это случилось.

Осенью 1955 года группа советских журналистов совершила поездку в Соединенные Штаты Америки. Начав с Нью-Йорка, мы побывали во многих городах, встречались со многими людьми и снова приехали в Нью-Йорк, чтобы оттуда вернуться на родину.

Вечером 16 ноября Борис Полевой, возглавлявший группу, сказал нам:

— Товарищи, в Нью-Йорке живет Войнич!

— Автор «Овода»? Да может ли быть!

Историей итальянского юноши Артура-Овода упивалось не одно поколение читателей. Помню, как мы, комсомольцы двадцатых годов, зачитывались этой книгой, воспламенявшей сердца наши мужеством революционного подвига. Да что там — мы! Ведь и отцы наши читали «Овод» еще в то, уже совсем далекое время, когда они были молоды. Нам же казалось, что эта книга существует очень давно, а автора ее я, например, даже представить себе не мог — каким он был?

И вот оказалось, что Войнич живет в Нью-Йорке.

— Мне это сообщил один из наших сотрудников ООН. Завтра утром он зайдет за нами, и мы поедем к автору «Овода». Прямо-таки фантастика! — заключил Полевой.

И вот мы едем к автору «Овода» с букетом осенних цветов.

24-я улица расположена довольно далеко от центра Нью-Йорка и выглядит она мрачновато. Фасады домов обезображены решеткой пожарных лестниц. Порывистый ветер гонит вдоль тротуаров скомканные обрывки газет, клочки мусора.

Вот и дом 450. Высокий, темно-красный или, точнее, бурый фасад его кое-где оплетен поблекшим плющом.

Поднимаемся в лифте на 17-й этаж и звоним у одной из дверей. Маленькая худощавая женщина лет пятидесяти — Энн Нил, компаньонка и давняя подруга писательницы — приглашает нас в небольшую комнатку и говорит, что госпожа Войнич сейчас выйдет.

С волнением и любопытством оглядываем мы бедный приют двух одиноких женщин: стол покрыт чистой, штопаной скатертью, два стула, старое кресло, потертый диван, книжная полочка. Над диваном — сделанный пастелью портрет старой женщины. В простенке, у единственного окна,— писанный маслом портрет флорентийского юноши в бархатном черном берете. Лицо юноши печально и строго.

Из окна вид на стены и крыши соседних домов — печальные и жесткие крыши, как кладбище.

Через несколько минут из смежной комнаты вышла сухая, седенькая старушка с

палочкой, в очках. На ней была голубая дешевая кофточка, на плечи накинут черный шерстяной шарфик.

— Здравствуйте, господа,— сказала она по-русски, отчетливо выговаривая каждый слог.— Я рада... Мне очень приятно вас видеть.

Боже мой, неужели это автор пламенного «Овода»?

Да, это она, Этель Лилиан Войнич, друг Степняка-Кравчинского, человек, встречавшийся с Верой Засулич и бунтующим князем Кропоткиным, с Чайковским... Время, время, что ты делаешь с человеком!

На книжной полочке Войнич хранится издание «Овода», выпущенное издательством «Польза» в 1912 году.

— Это последнее русское издание,— говорит она.— Я не думала, что в России помнят обо мне.

Помнят ли? Миллионными тиражами на двадцати языках выпускался в Советском Союзе «Овод». Было создано два кинофильма по роману. Во многих театрах страны шла пьеса, написанная по мотивам «Овода». Вот как помнят ее!

А в Америке? Здесь она просто старая женщина, эмигрировавшая из Европы. И почти никто в Соединенных Штатах не помнит об ее «Оводе». И свой век доживает она в Нью-Йорке, не зная о том, сколь знаменита и почитаема в обществе строителей нового мира.

Войнич садится в уголок на диван, возле которого стоит лампа-торшер.

— Это мое любимое место,— слабо улыбнувшись, говорит писательница.

Мы спрашиваем, помнит ли она о России.

— О да, Россия!

Она на секунду закрывает глаза, словно хочет представить себе Россию, и начинает рассказывать о том, как она, дочь английского математика Дж. Буля, внучатая племянница знаменитого путешественника Эвереста, будучи еще совсем молодой, поехала в Россию. В Варшаве она увидела крепостной замок, в котором были заключены революционеры, и долго стояла перед ним...

Потом она уехала в Петербург. Поступила гувернанткой в семью русского генерала. Сблизилась и подружилась с народовольцами, к которым ей дал письма русский писатель Степняк-Кравчинский, живший тогда в Лондоне.

Пробыв в Петербурге около двух лет, Лилиан Буль вернулась на родину, в Лондон.

Однажды, в доме Степняка-Кравчинского она встретила молодого революционера, бежавшего из сибирской ссылки. Это был Михаил Войнич. Оказалось, что в то время, когда Лилиан Буль была в Варшаве, Войнич находился в крепости и через решетку, из окна своей камеры, видел девушку. Теперь он узнал ее.

Удивительные обстоятельства этих встреч сдружили их. Потом дружба молодого поляка с Лилиан Буль переросла в любовь. Они поженились, Лилиан стала Войнич. Их дом в Лондоне сделался домом русской революционной эмиграции. Здесь часто бывал Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский.

— Он был самым близким другом,— говорит писательница.— Мы с сестрой считали его своим учителем. Да, да, учителем...

Энн Нил достает с этажерки альбомы со старыми фотографиями, пожелтевшие письма. Вот фотография чернобородого Степняка с дарственной надписью: «Лили Буль на память. 19 декабря 1890 года».

— Он, может быть, первым укрепил во мне мысль заняться литературой,— говорит Войнич.

В одном из писем русский литератор-революционер писал к ней:

«Ах, Лили, если бы Вы знали, как хороши Ваши описания природы!..» И дальше: «...Вы непременно должны попробовать свои силы на писательстве».

Войнич говорит медленно, делая паузы то ли затем, чтобы передохнуть, то ли чтобы подобрать слово.

Мы спрашиваем у нее, как возник замысел «Овода», кто послужил прототипом Артура.

— Этого нельзя объяснить,— задумчиво отвечает она.— Очень трудно сказать, как возникает замысел книги... Если бы теперь я стала уверять, что кто-то был Артуром, это — нет... Невозможно сказать...

Она опять устало закрывает глаза, как бы вспоминая далекое прошлое, а потом указывает на портрет флорентийца, висящий в простенке напротив дивана, и говорит:

— Вот копия с картины итальянского художника. В молодости, будучи в Париже, я впервые увидела этот портрет. В Лувре. Долго стояла перед ним. Потом купила копию. Когда писала «Овод», Артур казался мне похожим на этого флорентийца. Я всегда представляла себе Артура таким. Его лицо. А душу... О, это — многое... Простите, господа, я не знаю, как объяснить.

Сухие, морщинистые, тонкие руки ее дрожат. Но сухое, также морщинистое и почти бескровное лицо озаряется светом, вдруг вспыхнувшим в старческих глазах.

— Ах, я так рада, что в России он еще жив, о нем помнят.

О России говорит она с глубокой любовью и нежностью.

А. И. Аджубей, бывший тогда редактором «Комсомольской правды» просит Войнич написать несколько слов к советской молодежи. Писательница садится за стол и медленно пишет: «Всем детям Советского Союза — прекрасного будущего в мире Мира».

Николай Грибачев фотографирует Войнич, хотя в комнате темновато. Потом хозяйка опять устраивается в уголке на диване, и мы фотографируемся все вместе на память об этой встрече.

Писательница устала. Мы не решаемся дольше утомлять ее и прощаемся.

— Спасибо,— говорит Войнич.— И там, в России,— спасибо. Я очень люблю ее... Да.

Взволнованные необычайной встречей, мы выходим на улицу. Дует пронзительный ветер. Неуютно и холодно.

Мы думаем о судьбе этой старой женщины. Как печально и странно сложилась она. Но «Овод», «Овод»! Он до сих пор воспламеняет миллионы юных сердец, и разве это не счастье?..

— Слушайте, товарищи,— говорит Аджубей,— ведь она очень бедно живет в этом богатом торгашеском Нью-Йорке. И одиноко — ни родных, ни друзей. Только Энн Нил.

Нам рассказывали, что компаньонка Войнич Энн Нил немного подрабатывает переводами в каком-то издательстве, на это они и живут.

— Надо как-то помочь! — восклицает Аджубей.— Войнич не чужая России.

...Вернувшись на родину, мы рассказали о встрече с Этель Лилиан Войнич. А вскоре старая писательница получила советские издания, копию фильма «Овод» и узкопленочный аппарат для его демонстрации. Из Советского Союза пришла и материальная поддержка.

Признание литературного подвига, как нежданное счастье, явилось к писательнице из России, из страны ее романтической молодости.

Сейчас, взглянув на листочек календаря с памятной датой «100 лет со дня рождения Этель Войнич», я как бы вновь ощутил пламень, вспыхнувший в сердце чуть ли не сорок пять лет назад, когда я, рабочий-подросток, впервые прочитал «Овод». И с новым волнением припомнилась недавняя встреча в Нью-Йорке.

Теперь Лилиан Войнич уже нет в живых. Но светлую память о ней от поколения к поколению без виз и границ несет героический образ Артура-Овода. И жить ему еще долго, быть может, века!

Виктор Полторацкий

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ЭПОПЕЯ О ЛЖИ И ПРАВДЕ

Драматичны страницы романов Яшпала. «Товарищ Дада» (1941), «Мятежник» (1943), «Товарищ по партии» (1947), «Разные люди» (1949) рисуют суровые испытания героев, самоотверженно преданных национально-освободительной борьбе. Исторические романы «Дивья» (1945) и «Атима» (1956), полемизируя с теми, кто изображает древнюю Индию как царство гармонии, полны ожесточенных социальных битв.

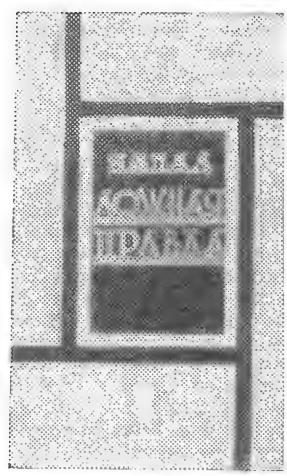
И в летописи жизни самого романиста немало драматических страниц. Уже в колледже будущий писатель сближается с деятелями патриотических движений. В 20-е годы вместе с товарищами Яшпал создает несколько боевых групп анархистского толка. В дальнейшем они вливаются в «Социал-демократическую армию Индии», руководителем которой в 1931 году становится двадцативосьмилетний Яшпал.

Полиция напала на след революционера только в 1932 году, после четырех лет его подпольной деятельности. Смертный приговор Яшпалу был заменен долгосрочным тюремным заключением; буря протестов сломила упорство колониальных властей: спустя несколько лет Яшпал был выпущен на свободу.

В тюрьме Яшпалу удается ближе познакомиться с марксистским учением. К этому времени относятся и его первые писательские опыты.

Двухтомная эпопея «Ложная правда» вышла на хинди в 1958—1960 годах. Время, охваченное эпопеей,— канун завоевания Индией независимости и первое десятилетие существования молодого государства.

...Маленький переулок Бхола Пандхе, что в Старом городе в Лахоре. Течение жизни здесь медленное, размеренное, устоявшееся. Тут властвует старина. Люди живут так скученно, что соседям, обитающим по разным сторонам улицы, не надо повышать голоса, чтобы переговариваться из окна в окно. Свадьба или похороны, рождение или болезнь кого-либо из жителей переулка — событие, касающееся всех.



Яшпал. Ложная правда. Роман. Книга первая: Родина и страна. Перевод с хинди Л. Кузнецова. Редактор А. Гольдман. Книга вторая: Будущее моей страны. Перевод с хинди Н. Толстой. Редакторы В. Зимин и Л. Плотникова. Послесловие Е. Челышева. Москва. Издательство иностранной литературы, 1963.

Герои эпопеи Тара и ее брат Джайдев Пури не хотят увязнуть в клейком быту Бхола Пандхе и ощупью ищут тропинку в иную жизнь.

Джайдев — многообещающий молодой литератор, Тара — способная студентка, готовящаяся к экзаменам на степень бакалавра. Родителям не по душе, что дочь их тянется к наукам. Куда спокойнее поскорей выдать девушку замуж. Так повелось от века, это прилично и достойно.

На первых порах Джайдев поддерживает в сестре страсть к знаниям, стремление к самостоятельности. Однако не так-то легко в колониальной Индии жить литературным трудом. День за днем перебивается Джайдев случайными заработками. Постепенно, сам того не замечая, он предает Тару. Джайдев уже забыл, что обещал сестре помощь, не помнит, что сам столкнулся с низостью Сомраджа — человека, которого родственники прочат Таре в мужья.

Между тем жизнь в стране становится все более тревожной. Голодающие крестьяне Пенджаба готовы восстать. Колониальные власти, стараясь направить гнев народа в другое русло, разжигают религиозную рознь, устраивают провокации. Резня только на руку правителям: она докажет, что индийцы «еще не созрели» для самоуправления, что передавать в их руки власть над страной «пока» неразумно.

Атмосфера в городе накаляется. Сикхи, мусульмане и индусы смотрят друг на друга как на врагов. Только небольшая, но сплоченная группа коммунистов стремится предотвратить кровопролитие. Под их руководством Союз железнодорожников и Федерация студентов поднимаются на борьбу за восстановление в провинции гражданского мира.

В предшествующих романах о современности Яшпал уделяет большое внимание людям, посвятившим свою жизнь революционной борьбе. Эпопея «Ложная правда», идейно-тематически связанная с этими романами, дает широкую картину жизни индийского народа, поэтому такое большое значение приобретает в ней вопрос о выборе пути, по которому пойдет сбросившая оковы колониализма свободная Индия. Главными героями эпопеи Яшпал делает молодых людей, избирающих дорогу в жизни.

На первых порах Джайдев Пури примыкает к движению, возглавляемому коммунистами. Но постепенно высокие рассуждения о благородстве сменяются мелкими мыслишками о личном успехе.

Наступает лето 1947 года. Покидая обобранную, нищую, но не покорившуюся страну, англичане громко хлопнули дверью. Политической свободе предшествовал трагический раздел страны на Индийский Союз и Пакистан, сопровождавшийся небывалой индусско-мусульманской резней. Старый прием «разделяй и властвуй» вновь сослужил свою грязную службу. Разодранная на две части страна истекает кровью. Расступились узкие берега маленького лахорского переулка, повествование стремительно вливается в необъятное море индийской народной жизни.

Благородство металла испытывают кислотой, благородство сердца — горем и страданием. Огонь, запылавший в стране, испепелил Джайдева и закалил Тару. Брат закрыл глаза на муки окружающих его людей, думает только о себе, о своем маленьком «я». Путь Джайдева усеян жертвами, путь Тары — это путь человека, смело протягивающего руку помощи каждому, кто в ней нуждается. Не случайно в конце романа брат и сестра оказываются во враждующих лагерях.

Презрев отжившие установления, Тара связывает свою судьбу с человеком, которого полюбила.

Раздел страны был подобен страшному наводнению, в омутах которого погибло немало достойных людей. На поверхность же выплыли дельцы, вроде Сомраджа, дешевые демагоги типа Суда-джи, политиканы, подобные господину Агравале. Все они связаны круговой порукой, каждый преследует свои низкие цели. Джайдев Пури становится их пособником, их правой рукой. Литература забыта, о служении народу нет и помина.

Яшпал показывает, как вслед за освобождением страны единство национально-патриотического фронта начинает распадаться. Передовые силы стремятся перестроить экономику Индии, однако дельцы, преследующие свои корыстные интересы, всячески мешают этой перестройке.

Второй муж Тары, доктор Натх, понимает необходимость введения государственного контроля над промышленностью. Ему помогают коммунисты. Как в горькие дни раздела, так и сейчас, в дни созидания, коммунисты несут людям правду.

Почуяв угрозу для своих доходов, клика дельцов объединяется: руками Джайдева Пури против Тары и Натха плетется грязная интрига. Бывший поборник справедливости доносит на свою сестру в тайную полицию.

Жену Джайдева Пури Канаку романист проводит через искус буржуазного благополучия. Но мир процветающих дельцов грозит раздавить легко ранимую душу молодой женщины. Канака порывает с мужем. Идейным магнитом, неотвратимо влекущим к себе Тару и Канаку, становятся коммунисты.

В рецензии на книгу Яшпала немецкий индолог Хельга Антон (ГДР) говорит о Таре и Канаке как о характерах революционных. Мысль справедливая: ведь разрыв с буржуазным миросозерцанием — это по сущности свой революционный акт.

Тара и Канака олицетворяют собой молодую Индию, которая отвергает идею личного благополучия, как лживую, бесчеловечную. Так разрешается центральная проблема антибуржуазной по своему духу эпопеи.

В «Ложной правде» можно выделить как бы три течения: сюжетное, тесно связанное с ним историческое и глубинное, философское. Проблема «коммунизм и народ» составляет идейно-философский нерв эпопеи. Утверждая в характерах героинь книги — Тары и Канаки — веру в коммунистические

идеалы, Яшпал воплотил тем самым в художественной форме свое философское кредо.

Глубинное течение эпопеи прослеживается во всей богатой проблематике книги. Религиозной и национальной розни Яшпал противопоставляет братство трудящихся; искусственному сохранению феодальных пережитков — решительное выкорчевывание их; буржуазной эмансипации женщины—активное участие ее в трудовой и политической деятельности; консервативным методам индустриализации и засилью иностранного капитала — всестороннее промышленное развитие; неприятию поступательного хода истории — уверенность в коммунистическом завтра. Если фальшивая правда буржуазного мира отъединяет мусульманина от индуса, народ от народа, труженика от своего товарища, то правда коммунизма объединяет людей.

Идейно-эстетический замысел художника заставил его обратиться к наиболее крупной форме, которую знает литература. «Ложная правда» — один из первых в литературе хинди романов-эпопей. К этой книге полностью приложимо высказывание Гоголя: «Эпопея объемлет не некоторые черты, но всю эпоху времени, среди которого действовал герой, с образом мыслей, верований и даже познаний, каким следовало в то время человечество».

Название эпопеи лаконично и образно выразило идею книги. Как нам представляется, русский перевод названия («Ложная правда») приглушает обличительную символику, заложенную в нем автором (ложный — неверный, неистинный). Быть может, точнее было бы озаглавить книгу «Лживая правда» (лживый — обманный, фальшивый).

И. КУДРЯВЦЕВА, И. РАБИНОВИЧ

КНИГА О НАШЕМ ДРУГЕ

М. Е. Шнейдер. Творческий путь Цюй Цю-бо (1899—1935). Ответственный редактор Л. З. Эйдлин. Москва, издательство «Наука», 1964, 227 стр.

Трудно поверить, что, когда Цюй Цю-бо, не успев допеть «Интернационала», упал, сраженный пулями гоминдановских палачей, ему было всего тридцать шесть лет. Того, что сумел сделать этот пламенный революционер — организатор, пропагандист, литератор,— хватило бы на несколько жизней.

Автор недавно вышедшей книги о Цюй Цю-бо — литературовед и, естественно, сосредоточивает основное внимание на его литературно-теоретической и критической работе. Вместе с тем М. Шнейдер подробно останавливается на одном из первых этапов жизненного пути Цюй Цю-бо, определившем все направление его последующей революционной борьбы,— на времени его пребывания в качестве корреспондента китайской печати в Советской России (1921—1922). Цюй Цю-бо стал одним из первых распространителей за рубежом правды о государстве рабочих и крестьян. Он писал о победах народа над интервентами и разрухой, о рождении нового человека на истерзанной русской земле. Он рассказывал о встречах с В. И. Лениным, впервые воссоздав перед китайским читателем живой облик вождя революции. Он описывал свое посещение Ясной Поляны и беседу с Маяковским. Он находил прочувствованные слова, чтобы передать то братское отношение, с каким трудящиеся России встречали представителей прогрессивных сил Китая. Пребывание в Москве помогло Цюй Цю-бо стать коммунистом; его московские корреспонденции, в свою очередь, помогли многим его соотечественникам определить жизненную позицию, посеяли семена дружбы со страной Ленина.

В эти же годы Цюй Цю-бо, хорошо знавший русский язык, начинает свой самоотверженный труд по ознакомлению китайского читателя с русской классической и молодой советской литературой. Он переводит Пушкина и Горького, Чехова и Тютчева, пишет очерк «Русская литература до Октябрьской революции». Из его статей узнавали в Китае и о Маяковском, и о поэтах «Кузницы».

Большое внимание уделяет М. Шнейдер самому плодотворному в литературном отношении, шанхайскому периоду жизни Цюй Цю-бо (1931—1933). В тягчайших условиях подполья, вынужденный постоянно менять адреса и псевдонимы, Цюй Цю-бо вместе с великим Лу Синем выступал как один из авторитетнейших наставников молодых прогрессивных литераторов, был одним из руководителей Лиги левых писателей Китая.

Литературная жизнь этих, можно сказать, решающих для судеб прогрессивной культуры Китая лет неоднократно исследовалась и советскими, и китайскими учеными. Но М. Шнейдер, широко используя не привлекавшие до сих пор внимания материалы, сумел сказать новое слово по ряду важных вопросов, углубив и расширив наше представление о процессе распространения марксистской эстетической мысли в Китае.

Так, по существу впервые, раскрывает автор картину международных связей Лиги, показывая в соответствии с историческими фактами борьбу китайских прогрессивных литераторов как часть интернационального революционного литературного движения. Сопоставляя, в частности, материалы Второй

Международной конференции революционных писателей с постановлением Исполкома Лиги левых писателей «О новых задачах пролетарской революционной литературы», автор убедительно показывает единство действий этих организаций.

М. Шнейдеру в результате кропотливой работы удалось установить, что ряд статей Цюй Цю-бо этих лет на самом деле являются переводом или переложением статей советских литературоведов (указать оригиналы Цюй Цю-бо в то время не мог по цензурным соображениям). Поражает пристальность, с какой Цюй Цю-бо следил за событиями литературной жизни СССР, и оперативность, с какой он информировал о них китайских читателей. Эти статьи, охватывающие проблемы творческого метода, отношения писателя к действительности, борьбы с буржуазной идеологией и т. п., безусловно оказали большое и в целом благотворное влияние на становление революционной литературы Китая, способствовали ее идейному и творческому росту.

Большой интерес представляют и те разделы книги, в которых подробно анализируются работы Цюй Цю-бо, посвященные литературной жизни Китая того времени. Среди них и яркие полемические статьи против проповедников буржуазной идеологии — всякого рода «националистических писателей» и «свободных людей»,—и размышления о путях создания подлинно массовой революционной литературы, и критические отклики на новые повести и романы.

Обстоятельный разбор воззрений Цюй Цю-бо в книге М. Шнейдера говорит о том, насколько несправедлива укоренившаяся в китайском литературоведении недооценка идейно-теоретического наследия Цюй Цю-бо и других критиков-марксистов начала 30-х годов. Факты свидетельствуют о том, что основные проблемы идейной направленности новой китайской литературы и путей ее сближения с широкими массами были во многом успешно решены уже тогда, в частности, в статьях Цюй Цю-бо.

Надо сказать, что автор книги не скрывает и ошибочных моментов во взглядах Цюй Цю-бо: чрезмерно суровых и не всегда справедливых оценок творчества некоторых писателей — его современников, недооценки классической поэзии и некоторых традиционных прозаических жанров, подчас недостаточного внимания к проблемам художественного мастерства. М. Шнейдер не просто констатирует наличие этих слабостей, но и вскрывает их причины, коренящиеся в условиях литературной борьбы того времени.

Из недочетов самой книги хочется указать на слишком скупо выписанный литературный фон эпохи. Думается, что более систематическое обращение к произведениям китайской литературы 20—30-х годов не только позволило бы еще более конкретизировать ряд положений книги, но и помогло бы сделать разнообразнее манеру изложения. Далее, хотелось бы, чтобы автор остановился на особенностях мастерства Цюй Цю-бо — публициста и полемиста, сопоставив его статьи, скажем, с «пестрыми заметками» Лу Синя. И, конечно же, следовало уточнить, что строки, переведенные Цюй Цю-бо из статьи М. Горького «Заметки о мещанстве», на самом деле принадлежат Ф. И. Тютчеву.

В целом же перед нами — безусловно ценное, интересное исследование. Оно рассказывает о том, как в братском сплочении с литературой первой страны социализма росла и мужала прогрессивная литература Китая, о той роли, какую сыграл в укреплении этих связей замечательный революционер, настоящий друг Советского Союза — Цюй Цю-бо. Она призывает хранить и умножать эту добрую традицию, укреплять и развивать дружбу наших народов.

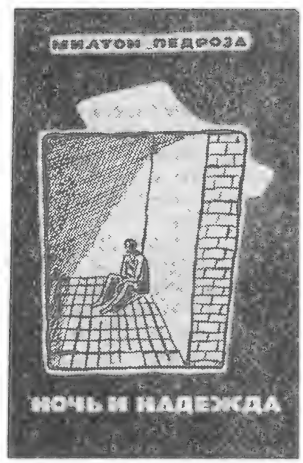
В. ВОЛЖАНИН

СИЛА — В СОЛИДАРНОСТИ

В сборник «Ночь и надежда» бразильского писателя Милтона Педрозы входят одноименная повесть и несколько рассказов. Это мастерски написанные произведения художника и в то же время почти документальное свидетельство того, что действительно происходило в Бразилии всего лишь десять-двенадцать лет назад, когда от полицейского террора гибли сотни ни в чем не повинных людей.

Советскому читателю может показаться преувеличением описание тех страданий, которые перенес рабочий Жоан Луис, главный персонаж повести «Ночь и надежда». А у людей моего поколения — у бразильских революционеров (и, можно сказать, латиноамериканских, ведь то же самое происходило и происходит сейчас во многих странах Латинской Америки) повесть «Ночь и надежда» вызывает в памяти хорошо знакомые нам тяжелые эпизоды. Как отмечает Астрожилду Перейра, это произведение связано «с одним из самых страшных моментов классовой борьбы в Бразилии».

Обыкновенный человек — далекий от политики рабочий—арестован по подозрению в революционной деятельности. Он подвергается зверским пыткам. Его палачи не верят тому, что он не связан с борьбой против полицейской диктатуры. Им невдомек и то, что, пережив чудовищные пытки, он осознает свою связь с социальной действительностью, поймет необходимость сопротивления бесчеловечному террору. В герое повести пробуждается классовое самосознание, неведомая раньше сила. Теперь он понимает, что это сила солидарности и «самая крепкая, самая чистая, она кроется в мозолистых руках, в руках, которые родятся и множатся во всех странах мира. Никто никогда не одолеет ее... И настанет день... когда она лави-



Милтон Педроза. Ночь и надежда. Перевод с португальского И. Николаевой. Предисловие Астрожилду Перейры. Москва. Издательство иностранной литературы, 1963, 82 стр.

ной скатится с гор и пронесется по долинам».

Рассказы, включенные в сборник, воспроизводят эпизоды мужественной борьбы сторонников мира в Бразилии. Мы знакомимся с мужчинами и женщинами, которые долгое время томились в тюрьме, подвергались пыткам за то, что они участвовали в антивоенных демонстрациях.

Главная тема сборника — активная солидарность трудящихся Бразилии, не отделимая от антивоенной, антиимпериалистической солидарности трудящихся всего мира.

Именно это связывает «Ночь и надежду» Милтона Педрозы с той борьбой, какую сегодня ведут трудящиеся Бразилии.

«Ночь и надежда» лишь недавно увидела свет в Бразилии, через десять лет после того, как повесть была написана. Это произведение, отмеченное острой политической направленностью, не могло в то время найти издателя.

С тех пор, как книга Милтона Педрозы была опубликована, положение в нашей стране изменилось. Вновь возникла опасность возврата к старому. Силы реакции открыто покушаются на демократию, свободу и национальную независимость страны. Земельные магнаты-латифундисты, агенты американского империализма, фашистские элементы готовы на все, чтобы повернуть колесо истории вспять, остановить продвижение страны к светлому будущему.

Но на своем посту остаются те, кто — как и герои Милтона Педрозы — уже шли на лишения, на жертвы, на гибель в борьбе за материальные и духовные интересы народа. Решающие сражения еще впереди. Никакой антикоммунистической пропагандой не вытравить из сознания масс мысль о сопротивлении и борьбе. И мрачной ночью надежда не угасает. Поэтому-то столь актуальна и в наши дни книга Милтона Педрозы.

Гуманное, прогрессивное мировоззрение, глубокий патриотизм и любовь к свободе всегда определяли содержание лучших произведений нашей литературы.

Передовая бразильская литература последних лет отражала не только жалобы и протест, но прежде всего усиление солидарности в борьбе за национальную независимость, мечты и надежды народа. Писатели совершенствовали свои произведения, гармонически сочетая народный и литературный язык. Они создавали книги для малограмотных людей, которые в нашей стране, к сожалению, составляют еще большинство и в деревне и в городе. Как пример такой просветительной литературы приведу интересную серию «Кадернус ду пову бразилейру» («Тетради бразильского народа»), выпущенную издательством «Сивилизасан бразилейра» в Рио-де-Жанейро. Это, однако, не означает, что прогрессивные писатели Бразилии ограничиваются в своем творчестве только задачами пропаганды и просвещения. Они видят в литературе и искусстве высокий смысл, связанный со всей историей человечества. Поэтому мы отстаиваем точку зрения, согласно которой художественное творчество должно развиваться в условиях признания и поощрения всех честных исканий, причем по содержанию и по форме оно должно подниматься до уровня, соответствующего высочайшей культуре и социальному развитию нашего времени.

ПЕДРУ МОТТА ЛИМА

г. Рио-де-Жанейро.

ГОВОРЯТ МАЛАЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ

Что объединяет эти рассказы, написанные о разном и по-разному, в одну интересную книгу, из которой советский читатель узнает многое о жизни малайского народа?

Вот рассказ «У обочины шоссе» Самада Саида, давший название всему сборнику. Раскаленное солнце «палит и палит, выжимая пот из рабочих», а они, «еле держась на ногах от усталости», отделывают шоссе «как игрушечку». Тяжелы корзины с выкопанной землей, но еще тяжелее мысль, что, быть может, «до смерти придется долбить землю мотыгой».

Когда Малайя была английской колонией,

У обочины шоссе. Рассказы современных малайских писателей. Составление, перевод с малайского, вступительная статья и примечания Б. Б. Парникеля. Москва. Издательство восточной литературы, 1963, 80 стр.

местные чиновники выслуживались перед «заморским королем», богатели, наживаясь на несчастьях простого люда. Во время японской оккупации малайцы «слезами умывались».

Герои рассказа Криса Маса «Наши торговые ряды» — крестьяне, которые стали борцами за независимость страны. Они ушли в леса и стали партизанами, сражаясь за то, чтобы земля Малайи принадлежала народу. Лопнуло терпение, и даже маленькие дети научились слову «мердека» (свобода).

Тогда правители Малайи послали против борющегося народа карательные отряды, надеясь удержаться у власти с помощью полицейских штыков. Но кто они, эти малайские парни, которые согласились надеть полицейскую форму? Они тоже бедняки. Их обманули, сказав, что они идут защищать родину, а на самом деле их заставили стрелять в своих же братьев. Но и они научатся думать. Эта уверенность пронизывает рассказ «Пешки» Османа Аванга. Его герой размышляет, допытывается у собственной совести: почему мы исполнительны и послушны, как машина? Почему должны убивать тех, «кого даже не знаем»? А если нас убьют, дети наши пойдут по миру с протянутой рукой.

Чтобы подчеркнуть нелепость, бессмысленность борьбы против таких же, как они, простых малайцев, писатель рассказывает случай, который был в действительности: однажды «пешки» из двух карательных отрядов перестреляли друг друга, приняв своих полицейских за партизан. И Осман Аванг берет природу в свидетели и обвинители: в сумрачном небе, проглядывавшем сквозь листву, «звезды словно насмехались над людьми, сажавшими пули друг в друга».

В следующем рассказе того же автора «Набросок» человек, оказавшийся в шкуре «пешки», уже понял, что его заставляют защищать не отчизну, а тех, кому выгодно, чтобы «чужеземные господа» продолжали заправлять в его стране. Отчетливо поняв, где граница между правдой и ложью, герой этого рассказа сбрасывает с себя ненавистную ему полицейскую форму, как сбросил ее когда-то и сам Осман Аванг, сменивший штык на перо, для того чтобы «зажечь человеческие сердца».

Малайский народ ищет большую широкую дорогу жизни, не желая навек оставаться на ее обочине, и передовые писатели Малайи стремятся помочь ему в этом. И Харун Аминуррашид, поведавший нам о печальной участи малайской женщины, которая хочет вырваться из ада лжи, корысти, продажности («Молодая»); и Крис Мас, в своей сельской хронике неторопливо повествующий о судьбе крестьян, сгоняемых полицейскими с родных мест за то, что их подозревают в помощи партизанам; и Осман Аванг, в рассказе которого «Далекое воспоминание» героиня оплакивает мужа, убитого карателями во время «охоты людей на людей» (Осман Аванг написал об этом в форме старинного сказа); и, наконец, Самад Саид, сумевший в рассказе «Утро» мастерски из мельчайших штрихов воссоздать настроение безработного, жадно читающего газету, чтобы узнать, что происходит не только в его стране, но и во всем мире, над которым летают спутники, проносящиеся и над Малайей,— всех этих не похожих друг на друга писателей роднит забота о судьбе своего народа.

Н. ОРЛИНСКАЯ

НАШ СОВРЕМЕННИК — ХОСЕ МАРТИ

Советский читатель знаком с поэтическим творчеством Хосе Марти по книге его избранных произведений, изданной в нашей стране в 1956 году. Не так давно вышли в свет сборник его публицистических статей «Североамериканские сцены» и труд кубинского историка Роига де Леучсенринга «Хосе Марти — антиимпериалист», посвященный жизни и творчеству великого кубинского мыслителя, поэта и революционера.

Эти книги привлекают внимание не только тех, кто интересуется проблемами истории Кубы. Идеи Хосе Марти — знамя

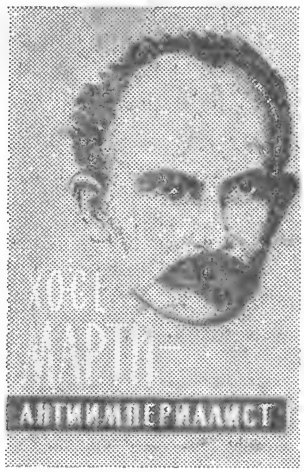
кубинского народа. В 1953 году на судебном заседании по делу участников штурма казарм Монкада Фидель Кастро заявил со скамьи подсудимых, что идейным вдохновителем их революционного выступления был Хосе Марти. С именем Хосе Марти сражались повстанцы в Сьерра-Маэстра и защитники Плайя-Хирон. Именем Хосе Марти начинаются обе исторические гаванские декларации — важнейшие документы антиимпериалистической борьбы в Латинской Америке сегодня. Исследуя наследие Марти, Эмилио Роиг де Леучсенринг показывает роль идей великого кубинца в развернувшейся борьбе против империализма.

Эмилио Роиг де Леучсенринг рассматривает значение антиимпериалистических идей Хосе Марти для Кубы, для Латинской Америки, показывает и то, как сбылись предвидения Марти.

В сборнике «Североамериканские сцены» раскрывается одна из сторон могучего дарования Марти — талант публициста. И хотя книга объединяет очерки, написанные в восьмидесятых годах прошлого века, когда Марти жил в Соединенных Штатах, многие и многие ее страницы воспринимаются так, словно они написаны сегодня.

Отдавая должное таланту и трудолюбию народа США, его борьбе за свои права, Хосе Марти обрушивает свой гнев на тех, кто заковал страну в оковы, кто «превратил ее богатство в бремя, ее достоинство — в колодки, а ее разум — в постыдное невежество». Он показывает читателю истинное лицо хищников, которые уже в ту пору управляли действиями Вашингтона. Эти «виртуозные мошенники», как их называет Марти, покупают газеты, «опутывают невидимыми цепями конгресс, ведут под уздцы законодательство, как хорошо объезженную лошадь. Сенаторы посещают их с черного хода, министры наведываются к ним в ночное время». Колымага выборов катится, как говорит Марти, на золотых осях, дарованных толстосумами в качестве авансов за выгодные для них законы. Это они определяют курс внутренней и внешней политики. Это они стремятся строить взаимоотношения с другими странами, руководствуясь двумя правилами: «Заплачу!» и «Сокрушу!». С легкой руки этих господ всячески насаждается «теория, согласно которой территория всего американского континента, равно как моря, его омывающие, суть естественные владения Соединенных Штатов, а вся Америка с ее землями и водами должна отныне и навеки смиренно поступать под опеку этой державы».

Хосе Марти беспощаден в критике Америки, ее порядков и нравов. Свои выводы он подтверждает бесчисленными фактами, которые в изобилии поставляла ему действительность Соединенных Штатов. Монополисты, говорит Марти, «считают себя жрецами силы, им кажется, что они отмечены неким превосходством и прирожденным правом» захватывать и подчинять себе не только материальные, но и духовные ценности. Свое влияние они распростерли на



Эмилио Роиг де Леучсенринг. Хосе Марти— антиимпериалист. Перевод с испанского Х. Кобо. Предисловие Ю. В. Дашкевича. Москва. Издательство иностранной литературы, 1962, 144 стр.

Хосе Марти. Североамериканские сцены. Перевод с испанского. Составление и предисловие В. Столбова. Москва. Гослитиздат, 1963, 362 стр.

литературу и искусство. Благодаря их «заботам» здесь преуспевают и властвуют декораторы и мастера сусальной позолоты, которые пресмыкаются перед его величеством капиталом, славят и возвеличивают его.

Сборник «Североамериканские сцены» завершают взволнованные и яркие статьи о творчестве великих американских писателей — Генри Лонгфелло и Уолта Уитмена.

И произведения Хосе Марти, и труд Эмилио Роига де Леучсенринга говорят о том, что в то время, когда империализм США еще только выходил на арену, Хосе Марти уже распознал его хищнический, агрессивный характер и счел своим долгом предупредить народы Латинской Америки об этой угрозе, призывая их бороться против «разбойного орла».

С. ЕМЕЛЬЯННИКОВ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

СУДЬБА ПОКОЛЕНИЯ

Günter de Bruyn: Der Hohlweg. Halle/Saale, Mitteldeutscher Verlag, 1963.

В минувшем году читатели ГДР дважды встретились с произведениями Гюнтера де Бруина. Из печати вышел сборник его рассказов под названием «Черное, бездонное озеро» и первое крупное произведение молодого писателя — роман «Овраг», над которым он работал в течение ряда лет.

Пять рассказов, объединенных в сборнике,— это пять не связанных между собой произведений, самостоятельных по мысли, теме, различных по характеру изложения и внутреннему настроению. И тем не менее все они об одном: страницы книги населены людьми, которым пришлось пройти через войну и которые стремятся осмыслить события минувших лет, потому что «былое не ушло безвозвратно». Трагична история польской девушки и молодого западноберлинского учителя в рассказе «Рената». Встретившись через пятнадцать лет после войны и полюбив друг друга, Рената и Михаэль вынуждены расстаться. На их пути встает прошлое, которое много лет назад сделало их смертельными врагами.

Герой рассказа «Встреча на Шпрее» спустя полтора десятка лет случайно получает письмо, написанное перед концом войны его другом. В письме юноша, приговоренный к расстрелу за сочувствие к русским военнопленным, завещает оставшемуся в живых продолжать их общую борьбу. Идя по следам письма, герой рассказа находит того, кого искал — бывшего лейтенанта, а ныне преуспевающего дельца Карстена, непосредственного виновника гибели Карла Швайгера. Карстен, как и тысячи его соучастников по преступлениям, отлично чувствует себя в Западном Берлине.

Но не только карстенов встречает в Западном Берлине друг убитого. Он разыскивает и вдову своего школьного учителя-антифашиста, тоже уничтоженного гитлеровцами. Это он, старый учитель Нейман, заставил юношей задуматься над происходящим. Это под его влиянием формировалась антигитлеровская убежденность Карла Швайгера. Встреча с отважной женщиной, продолжающей дело мужа, укрепляет героя рассказа в мысли, что гибель старого профессора и его ученика не была напрасной.

«Встреча на Шпрее» и «Рената» — самые сильные рассказы Гюнтера де Бруина. Думается, что герои их удались автору именно потому, что рассказы эти одухотворены страстной гражданственностью. «Мы не можем забыть прошлое»,— говорит Рената. Герои одноименного рассказа расстаются, но этот разрыв влюбленных становится для Михаэля Шварца началом нравственного обновления. Он будет отныне жить для того, чтобы «никогда не вернуться в Польшу в военной форме», чтобы его ученики никогда не смотрели на карту мира как на потенциальные владения Германии.

Прошлое, накладывающее высокую ответственность на людей, живущих сегодня, и потому непосредственно соотнесенное с

будущим,— главная тема де Бруина. Эта нерушимая связь времен, осмысленная нашим современником, определяет весь круг идей, которые в широком эпическом плане раскрываются автором в романе «Овраг».

Роман де Бруина во многом автобиографичен, как и большинство произведений о войне, написанных молодыми писателями ГДР. Закономерно поэтому, что герой его кажется в чем-то знакомым и в какой-то мере традиционным. Традиционность эта обусловлена исторически — в основе ее лежит общность судеб целого поколения, и связывает это поколение не только потерянная на дорогах войны юность. Общность эта гораздо глубже и заключается она в том, что люди этого поколения сформировались в условиях демократической Германии, в стране, строящей социализм. Именно это обстоятельство позволяет молодым писателям ГДР правильно оценить свое прошлое. Пользуясь выражением Анны Зегерс, в лучших романах о войне писатели ГДР духовно уже далеко дистанцировались, отдалились «от своего прежнего «я», и это отдаление, не имеющее «ничего общего ни с дистанцией во времени, ни с географическим расстоянием», дало им возможность показать не только противоречия, но и перспективы, найти выход и решение.

Слова эти в полной мере можно отнести и к роману Гюнтера де Бруина. Его герой Вольфганг Вайхмантель проходит путь от слепого участия в фашистской войне до активного протеста и попытки сознательного утверждения в жизни.

Этапы, которые пришлось пройти Вайхмантелю, как, впрочем, и самому Гюнтеру де Бруину, весьма характерны: гитлерюгенд, служба на зенитной батарее, военизированная трудовая повинность, вермахт.

Много позднее писатель говорил, что чувствовал глубокую внутреннюю необходимость показать ту чудовищную пору, когда люди в мундирах со свастикой, «держащие в плену, в своих серых казематах мысли и чувства» его сверстников, «взращивали в их сердцах страх перед свободой и правдой».

Преодоление страха перед правдой и поиски места в жизни составляют главное содержание «Оврага». Поиски эти начинаются для героев Гюнтера де Бруина звездной весенней ночью сорок пятого года в овраге на австрийско-венгерской границе, где тридцать немецких солдат — последнее жертвоприношение на алтарь войны — по приказу сбежавшего майора должны сложить головы за фюрера и рейх. Только двое из тридцати остаются в живых: Вайхмантель и его друг Экерт.

Трагическое событие этой ночи обретает глубокое значение, выходящее за рамки эпизода. Бессмысленная гибель двадцати восьми немецких солдат в овраге носит символический характер. Жизнь ставит перед героем книги проблемы, которые вновь и вновь заставляют его почувствовать себя загнанным в овраг, откуда нет выхода. Все чаще представляется ему, что «опять существуют два фронта, и он находится между этими фронтами в овраге... Еще менее, чем тогда, ясно, где друзья и где враги, что такое верность и что — предательство». Но жизнь требует от него решения, требует активного участия, борьбы, от которой он пытается уйти, побуждает задуматься над тем, где его место.

Вайхмантель с горечью замечает, что люди готовы «забыть войну и свой восторг перед ней» — они привыкли к развалинам, молчат о мертвых, не помнят о концлагерях. А между тем военный преступник фон Бритцов, сгубивший в овраге однополчан Вайхмантеля, разгуливает на свободе, пользуясь явным расположением американцев. С их же ведома и согласия убивают шофера Краузе, готового открыто разоблачить фон Бритцова. Вайхмантель с тоской наблюдает все это — но сам избегает каких бы то ни было действий. Ему претит всякая мысль об организованной борьбе за создание нового, индивидуализм становится для него оружием самообороны. Он по горло сыт демагогическими фразами о долге и чести, которыми его столько лет пичкали фашистские демагоги. При слове «Германия» ему слышится «Германия, Германия превыше всего», а при слове «народ» — «рейх и фюрер». В своих духовных скитаниях он навсегда расходится с бывшим другом — Гертом Экертом.

В Экерте писателю удался характерный тип интеллигента-соглашателя, сторонника «программы середины», уверенного, что можно оставаться между двумя лагерями, не связывая себя принадлежностью ни к одному из них. Но неумолимая логика жизни такова, что интеллигенты этого толка неизбежно терпят крушение, скатываясь к откровенной реакции. Так случается и с Экертом, который в конечном итоге оказывается вместе с военным преступником фон Бритцовом.

Наблюдая за эволюцией Экерта, Вайхмантель вынужден признаться себе, что «программа середины», за которую ратует его бывший друг,— не что иное, как компромисс с совестью и убеждениями; сделка, которая практически ведет к предательству. Однако пройдет еще немало времени, пока Вайхмантель найдет для себя путь утверждения нового — путь, по которому уверенно идут его друзья, коммунисты Хелла и Власков.

Решение, которое принимает в конце романа Вайхмантель, характерно: он становится учителем. Выбор профессии в данном случае говорит не только о симпатиях и склонностях де Бруина; смысл этого выбора шире. В кайзеровской и фашистской Германии немецкий учитель помогал отравлять сознание молодежи, сея в юных душах семена тупого повиновения и бесчеловечности. Не случайно одним из первых мероприятий демократической власти стала подготовка нового учителя — воспитателя молодежи в духе идей мира и социализма.

Педагогическая деятельность представ-

ляется Вайхмантелю самой благородной, самой важной в стране, где нацизм годами взращивал «старательных мучителей и безмозглых, а потому хороших солдат». Он едет учителем в деревню — «воспитывать детей так, чтобы они больше никогда не подчинились майору, который прикажет им сложить свои головы в овраге».

Решение Вайхмантеля убеждает нас, потому что подготовлено всем ходом сюжета и, главное, самим характером героя. Но не все в романе в такой же степени достоверно, не все здесь равноценно. Роман распадается на две части, и трудно преодолеть ощущение, что первая часть — конец войны — удалась писателю больше, чем главы, относящиеся к послевоенному периоду. В первой половине де Бруин сумел найти верный тон; читатель запоминает встречу Вайхмантеля с чешской девушкой Марией в лазарете, ночь в убежище, проникнутую предчувствием приближающейся развязки, короткие, но полные внутренней динамики сцены в американском лагере для военнопленных, гибель Марии и священника. Большой трагедийной силы исполнена фигура старого священника, который пытается уберечь раненых солдат от верной гибели в догорающем пламени войны. В мягких тонах выписана чешская девушка Мария с ее юным обаянием и молчаливой решительностью. Вместе с робкой, невысказанной любовью к Марии в душе Вайхмантеля просыпается ощущение бессмысленности войны, заставляющей его убивать соотечественников любимого человека. Он навсегда запоминает ее слова: «Главное, чтобы мне не надо было тебя ненавидеть».

В Марии, так же как в Ренате, прелесть «вечной женственности» сочетается с громадной внутренней силой, убежденностью и энергией борьбы.

Вероятно, именно поэтому эпизодический образ Марии оказывается жизненнее и глубже других женских фигур романа. Не случайно настоящее чувство Вайхмантеля принадлежит погибшей Марии, а не разочарованной в жизни аристократке Тее с ее душевным надломом, опустошенностью и безверием.

По замыслу автора общение с жизнедеятельной Хеллой должно стать для Вайхмантеля «духовным прибежищем». Но несмотря на старания автора, Хелле и в еще большей мере ее старшему товарищу коммунисту Бласкову недостает тех живых красок, того точно схваченного внутреннего настроения, которые заставили нас поверить в Марию и в ее чувство, озаренное светом подлинной человечности.

Эта неудача тем более огорчительна, что в других случаях де Бруин умеет убедить скупой, верно найденной деталью, метким штрихом. Выразителен меценат и бизнесмен Кауфман, который идет на сговор с убийцей собственного сына. Достоверен и правдоподобен приспособленец Холлюп, с равным умением торгующий предметами искусства и подстрекательскими статейками в своем реваншистском журнальчике.

Автор находит лаконичные способы показать обстановку Берлина, города, в котором сталкиваются два мира, раскрыть суть той «демократии», в которой решающее слово принадлежит таким, как Холлюп и фон Бритцов.

Новеллы де Бруина — это обычно повествования от первого лица. Иногда, например в «Ренате» и «Черном, бездонном озере», де Бруин предоставляет слово нескольким действующим лицам, которые по-своему рассказывают об одном и том же событии. Это позволяет писателю в мельчайших деталях раскрыть внутренний мир своих героев, в то же время не упуская объективной сути явлений. Первоначальный вариант «Оврага» тоже был написан от первого лица. Но в процессе работы автор убедился, что эта манера изложения вряд ли приемлема для большого многопланового произведения, каким является «Овраг». И де Бруин, как он сам говорит, «вынудил себя перейти к «объективному» повествованию».

Недавно, размышляя над истоками своей литературной деятельности, Гюнтер де Бруин назвал своим учителем Арнольда Цвейга, книги которого «проложили путь его мышлению». Именно творчество этого замечательного писателя и пламенного антифашиста научило молодого литератора главному — «говорить правду, в большом и в малом, в частностях и в целом».

В романе де Бруина, как и в его рассказах, ощущается живое дыхание нашего времени. О прошлом писатель говорит по-сегодняшнему. С высоты наших дней ему отчетливей видно былое, и он судит о нем с позиций человека зрелого и заинтересованного.

И. МЛЕЧИНА

ОН ВЫБРАЛ ДОРОГУ БОРЬБЫ

Jorge Semprun. Le grand voyage. Paris, Gallimard, 1963.

Хорхе Семпрун написал свою книгу по-французски, но он не француз, а испанец, «красный испанец», как он сам уточняет. Впрочем, в ту пору, когда его впервые так назвали, он еще не понимал, что значит «красный». Испанию он покинул ребенком вместе с родителями, бежавшими от франкистов. Дорога изгнания, на которую он вступил мальчиком, проходила через

концлагеря и тюрьмы; сначала это были лагеря «свободной» Франции, затем — гестаповский застенок в оккупированной Франции и, наконец, усовершенствованная фабрика смерти — Бухенвальд.

«Большое путешествие» — это рассказ о пережитом, о подвигах, борьбе и нечеловеческих страданиях. Мы знаем немало книг такого рода, однако «Большое путешестзие» написано не просто очевидцем и участником событий, но художником, и все рассказанное им несет на себе отсвет его души. Речь идет не только о таланте, но о жизненной позиции Семпруна, которая неотделима от его авторской позиции.

Я не случайно начала с того, что автор — «красный испанец». Человек не выбирает родину и эпоху, но жизнь свою он делает сам. В тюрьме Жерар (так зовут героя книги) думает о свободе, он думает о том, что свободно выбрал дорогу Сопротивления, которая привела его сюда. Быть с тюремщиками или в тюрьме — как бы то ни было, ему оставлено право принимать решение. У тех, которым доверены ключи от камер, тоже было это право. Немецкий часовой, подаривший Жерару сигареты, тяготится ролью тюремщика; он солдат, он просто выполняет приказ. Но Жерар не делает для него скидок — он слишком хорошо знает, как далеко может завести слепое повиновение приказу. Ко всем людям он подходит с единой — высшей — мерой требовательности, он не признает никаких обстоятельств, освобождающих человека от ответственности. В первые дни освобождения, когда многим казалось, что вместе с концом войны покончено с несправедливостью, злом, насилием, он принял для себя решение: «Я никогда не стану бывшим участником Сопротивления».

Вместе со своими товарищами-французами Жерар возвращается во Францию. Для них это возвращение на родину, для него — возвращение к прежней доле изгнанника. Но борьба продолжается, Жерар знает, путь на его родину ведет через новые бои, через «новые баррикады, все те же баррикады», по одну сторону которых — свобода, по другую — фашизм.

В рецензии, посвященной «Большому путешествию», Андре Стиль писал, что это одна из тех книг «концлагерной» литературы, которые написаны не жертвой, а борцом. Добавлю — борцом непримиримым, воинствующим гуманистом, не способным ни на какие компромиссы с фашизмом.

Потому что он ничего не забыл. Он помнит это «большое путешествие» — пять бесконечных суток в вагоне для скота, где ехали стоя (иначе было невозможно уместиться) и живые прижимались к мертвым; помнит самолеты, расстреливавшие беженцев на дорогах Испании; помнит еврейских детей в Бухенвальде — их привезли зимой, в эшелоне, где замерзшие трупы лежали штабелями, как дрова, но дети каким-то чудом выжили, и эсэсовцы затравили их собаками; помнит старика, с которым он был скован кандалами,— это было еще во Франции,— старик сошел с ума и все кричал: «Слышишь, как льется кровь»; помнит рассудительного парня из Сомюра, своего случайного спутника в вагоне,— тот парень, не задумываясь, поделился с ним последним, что у него было: три яблока себе, три Жерару, и к концу «путешествия» он погиб, успев крикнуть: «Не оставляй меня, приятель». Помнит своего друга Ганса, вместе с которым он читал по-немецки Гегеля и Маркса — в то время они изучали философию в лицее Генриха IV,— Ганс ни за что не хотел умирать только потому, что он еврей; он погиб, прикрывая отступление своих товарищей по маки, а Жерар так и не нашел его могилу. Помнит советского офицера, казненного перед строем заключенных — эсэсовцы устроили «показательную» казнь для устрашения; это была в самом деле «показательная» смерть: русский умер как подобает человеку, мужество погибшего словно эстафету приняли живые. Помнит он Альфредо, выстоявшего под пытками, и других, которые тоже выдержали и погибли, и тех, кто не выдержал и предал товарищей, но эти, хоть и выжили, все равно погибли... Это было время, когда «способность сопротивляться пытке превратилась в проблему, которую необходимо было рассматривать практически. Такова была жизнь, не мы это выбирали, мы просто вынуждены были с этим считаться. Человек должен бы иметь право считаться человеком, даже если он не в силах выдержать пытку, но дела обстоят таким образом, что человек перестает быть человеком, каким он был, каким бы мог стать, если он согнется под пыткой, если предаст товарищей. И поскольку дела обстоят именно так, а не иначе, возможность быть человеком зависит от возможности выдержать пытку...»

Вряд ли стоит пересказывать содержание книги, да это и невозможно. Описание пяти дней дороги вбирает в себя, в сущности, всю жизнь героя — то, что было «до» и что произойдет «потом», после конца «путешествия» и после окончания войны. Настоящее пересекается с будущим и прошлым, страшный лагерный быт, эпизоды жизни героя прерываются воспоминаниями и размышлениями, художественная проза свободно переходит в публицистику. Это исповедь, отчет перед живыми, конечно, и перед мертвыми тоже. Книга построена как своеобразный диалог с парнем из Сомюра, диалог, прерванный смертью и возобновленный Жераром, которому необходимо отчитаться перед погибшим другом, взглянуть на свою жизнь его глазами.

Автору важно не столько воссоздать во всей доподлинности картины прошлого и не только напомнить страшную правду, которую человечество не имеет права забывать сегодня, ему прежде всего необходимо заново во всем разобраться, понять, осмыслить трагический урок истории. (Семпрун не случайно вернулся к этому путешествию 17 лет спустя, лишь после того как преодо-

лел в себе страшный груз прошлого. Он вышел победителем и из этого испытания, хотя многим оно оказалось не по силам.) И если бы надо было коротко выразить суть этой книги, рассказывающей о самом чудовищном преступлении в истории человечества, я бы сказала, что эта книга о победе человека, о победе человека над всем, что мешает ему быть человеком.

М. ЗЛОБИНА

РАССКАЗЫ О ХИРОСИМЕ

Ооно Мицуко, Митараи Токиэ, Миямото Ясуко, Ямагути Юко. И все же журавлик полетит. Токио, «Токё сёбо», 1963. (На японском языке.)

Эта книга четырех японских писательниц — Ооно Мицуко, Митараи Токиэ, Миямото Ясуко и Ямагути Юко — вышла в Хиросиме. Они назвали ее «И все же журавлик полетит».

Когда над Хиросимой взорвалась атомная бомба, самой молодой из четырех писательниц было пятнадцать лет, самой старшей — двадцать девять. В тот день сгорели их школы, погибли их друзья, учителя, отцы и матери.

«Мы не можем забыть то, что произошло, то, что не должно повториться,— пишут они в послесловии к сборнику.— Хранить память об этом—долг всех, кто живет в Хиросиме».

В сборнике семнадцать рассказов. Каждый повествует о том, что случилось в японском городе на берегу моря в августе 1945 года, и о том, чем живет Хиросима сейчас, в наши дни.

Тогда, восемнадцать лет назад, сквозь пламя, сквозь огненную бурю бежали по улицам опаленные атомным взрывом люди. Они устремлялись к реке. Среди них бежал и маленький Цутому с мамой. Он упал на мосту. Мама хотела принести ему воды из реки — ведь он так хотел пить.

...«Приоткрыв глаза, Цутому долго глядел на удаляющийся мамин белый фартук. Он был белый, белый среди красного пламени». Цутому больше никогда не увидел своей мамы.

В приюте все звали его Каппа. На обожженной голове Цутому остался только черный кружок волос — во время взрыва на мальчике была соломенная шапочка. Этот кружок волос был похож на блюдечко, которое носит на самой макушке герой японских детских сказок водяной Каппа Цутому погиб под колесами грузовика, бросившись вслед за автобусом, в который села женщина в белом фартуке. (Рассказ «Каппа умер».)

Со времени окончания войны прошло уже почти два десятилетия. Хиросима возродилась из пепла. Шумно и оживленно на ее улицах, но тень зловещего атомного гриба все еще маячит над городом. Нет-нет да промелькнет на улице зеленая санитарная машина госпиталя для больных лучевой болезнью, остановится у ворот какого-нибудь дома и заберет очередную жертву атомной бомбы.

Зеленая машина увезла маму мальчика Сабуро, и остался он один в пустом доме. (Рассказ «Происшествие с Сабуро».)

Такая же машина увезла прямо из школьного коридора веселую тоненькую Садако. (Рассказ «И все же журавлик полетит».) Садако очень хотела жить. Она любила бегать по зеленой траве босиком. Садако верила, что будет жить. Она знала народное поверье: сделаешь тысячу журавликов и сбудутся все твои желания. Тоненькими пальчиками Садако делала бумажные журавлики, но она не успела сделать тысячу. Бронзовая Садако с журавликом в руках стоит теперь на берегу реки в городе Хиросиме. И люди верят, что придет все же день, когда журавлик полетит.

Такую же уверенность дает нам и книга. Она оптимистична. Люди не допустят больше взрыва атомной бомбы. Каждый год над площадью Мира в Хиросиме печально и грозно звучит песня.

На атомном пепле,
Где покоятся тела любимых,
Распустились сейчас
Белоснежных цветов лепестки.

Эта песня звучит как реквием и как клятва.

На первом листке книги писательницы из Хиросимы написали слова:

«6 августа 1945 года город Хиросима умер. И люди, и птицы, и животные...

И все же что-то осталось.

Это было человеческое сердце. Оно росло, становилось сильнее и сегодня взывает к нам: «Люди, будьте бдительны! Не дайте трагедии Хиросимы повториться! Пусть на земле всегда будет мир!»

ГАЛИНА РОНСКАЯ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

В Югославии издана повесть В. Аксенова «Коллеги».

«Горький как педагог в литературе» — такое название носит сборник статей М. Горького о литературе и ответственности художника, вышедший в Аргентине, сообщает корреспондент журнала «Куадернос де культура». Составитель сборника — аргентинский литературовед, знаток творчества Горького Нестор Лемос. По словам корреспондента журнала, сборник дает возможность молодым писателям и молодежи Аргентины ознакомиться со взглядами великого русского писателя.

Отрывки из поэм В. Маяковского «Облако в штанах», «Война и мир», «Хорошо!» в переводах известного греческого поэта Янниса Рицоса опубликованы в журнале «Эпитеориси технис». Переводам предпослано исследование Рицоса о творчестве Маяковского.

Лейпцигское издательство «Реклам» выпустило в переводе и с послесловием Гуго Гупперта сборник драматургических произведений В. Маяковского. В него вошли «Мистерия-буфф», «Клоп» и «Баня».

Сборник рассказов и повестей Аркадия Гайдара под общим названием «Судьба барабанщика» выпущен издательством «Киндербух-ферлаг» (ГДР). Наряду с повестью, давшей название сборнику, в него вошли «Голубая чашка», «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Дальние страны» и «Четвертый блиндаж». Рецензент бюллетеня «Бёрзенблатт фюр ден дейчен бухханделъ» отдает должное высокому писательскому мастерству автора.

Пьеса М. Горького «На дне» поставлена в ФРГ гамбургским «Юнгес театер». Отмечая успех постановки, рецензент еженедельника «Ди андере цейтунг» пишет: «Все, что показал Горький в этой пьесе, для России давно уже стало историей. Но для капиталистического мира драма «На дне» так же актуальна, как и 60 лет назад».

Западногерманским издательством Фишера выпущен сборник стихов А. Вознесенского под названием «Парабола» в переводах Гуго Гупперта.

Варшавское издательство ПИВ выпустило несколько книг советских авторов. Среди них — рассказ М. Шолохова «Судьба человека», сборник рассказов Ю. Нагибина под названием «Ночной гость» и повесть В. Конецкого «Повесть о радисте Камушкине», вышедшая в Польше под названием «Волна 19, 999».

В Австралии вышел роман К. Симонова «Живые и мертвые». «Симонов раскрывает в своем романе героизм и величие советского народа»,— пишет рецензент газеты «Трибюн».

Сборник произведений В. Маяковского, включающий поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», выпустило итальянское издательство «Эдитори риюнити».

В том же издательстве в серии «Советские писатели» вышел в свет роман М. Шолохова «Тихий Дон».

Под названием «Современные русские писатели» издательство «Бомпиани» (Италия) выпустило сборник рассказов Бунина, Горького, Казакова, Тендрякова, Солженицына.

Как сообщает журнал «Сьемпре», в Мексике опубликован «Испанский дневник» Михаила Кольцова.

«Тихий Дон» М. Шолохова недавно вышел новым изданием в Лондоне, в издательстве «Фор скуэр

пейпербэк». В своем ответе на анкету еженедельника «Обзёрвер» писатель Ч. П. Сноу назвал этот роман «лучшей книгой столетия».

Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» издана в Монголии в переводе поэта Ш. Цендгомбо.

На сцене Детского театра в Улан-Баторе успешно идет спектакль «Кошкин дом» по пьесе С. Маршака, поставленный режиссером О. Чойжамцем. Монгольская печать сообщает о большом успехе спектакля.

Народный театр Ивана Вазова в Софии поставил пьесу Николая Погодина «Третья патетическая».

Издательство города Варна (Болгария) выпустило роман П. Вершигоры «Дом родной».

Избранные стихотворения Н. Асеева вошли в очередной выпуск библиотечки «Советские поэты», издающейся в Болгарии.

Стихи советских поэтов Грузии — «К индийским поэтам» Ираклия Абашидзе и «Февраль» Хуты Берулавы — опубликованы в болгарском еженедельнике «Литературен фронт».

Сборник рассказов Б. Лавренева под названием «Сорок первый» выпустило будапештское издательство «Эуропа».

Романы М. Стельмаха «Правда и кривда» и Ю. Бондарева «Тишина» вышли в братиславском издательстве «Освета» (Чехословакия).

Тем же издательством выпущена повесть Б. Бедного «Девчата». Еженедельник «Културни живот» называет повесть «прекрасной книгой для молодежи».

Сборник рассказов Ч. Айтматова под общим названием «Верблюжий глаз» выпущен Издательством политической литературы в Праге. Помимо рассказа, давшего название сборнику, в него включены рассказы «Лицом к лицу» и «Первый учитель». Там же вышел роман Е. Мальцева «Стучись в любую дверь».

Чехословацкое издательство «Млада фронта» выпустило книгу Д. Данина «Неизбежность странного мира».

Белградским издательством «Нолит» выпущен сборник «Пятнадцать советских поэтесс», в который вошли, по сообщению рецензента журнала «Книжевне новины», «стихотворения советских поэтесс, начиная от старшего поколения до младшего — от Анны Ахматовой до Беллы Ахмадулиной». Переводы выполнены известной югославской поэтессой Десанкой Максимович.

Под названием «В город» американское издательство «Хаутон Миффлин» (Бостон) выпустило сборник рассказов Юрия Казакова.

Повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» опубликована в бразильском еженедельнике «Новус Румус».

По сообщению бюллетеня «Свенск бухандель», в гётеборгском издательстве «Циндерман» (Швеция) вышел «Дневник Нины Костериной».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

«ДОЧЬ УРАГАНА»

Так названа автобиографическая повесть известной австралийской писательницы Катарины Сусанны Причард, чье восьмидесятилетие недавно широко отмечалось в стране. Хронологические рамки повести — с 1900 года до середины тридцатых годов. Политические события этого времени служат как бы вехами на жизненном пути Причард от робкой девушки, воспитывавшейся в консервативной буржуазной семье, до крупнейшей писательницы, деятельницы Коммунистической партии Австралии.

Октябрьская революция 1917 года в России была знаменательным событием в жизни Причард. «Итак, «это» свершилось,— вспоминает писательница.— В облачном вечернем небе появилась золотистая полоса, которая вдруг залила все ярким светом. Волнение и радость овладели мной. Я чувствовала, что события в России изменят положение всюду. Мои мысли были полны этим событием. Оно было ответом на все мои жизненные искания...»

Рецензент газеты «Трибюн» дает высокую оценку повести Причард и в то же время выражает сожаление, что в «Дочери урагана» мало сказано о более поздних годах, когда писательница создала свои выдающиеся произведения и активно включилась в борьбу за мир.

«СЕДОЙ МЕЧТАТЕЛЬ ГЕНРИ ЛОУСОН»

«Лоусон до сих пор с нами, мы с волнением читаем его книги, он по-прежнему любим»,— пишет Стефен Мюрей Смит в недавно вышедшей книге о знаменитом писателе-реалисте, который был тесно связан с трудовым народом Австралии и посвятил ему свое творчество.

За последнее время в стране вышли в свет еще две работы: книга «Седой мечтатель Генри Лоусон» Дентона Праута, и статья Фрэнка Харди о Лоусоне в двух номерах журнала «Реалист райтер».

Обозреватель газеты «Трибюн» считает работы Смита и Праута содержательными и интересными, но наиболее значительным и глубоким признает исследование Фрэнка Харди, который дал анализ жизненного и творческого пути Лоусона и «раскрыл социальные и политические корни, питавшие его творчество».

«Эти работы очень помогают пониманию Лоусона и его богатого духовного наследия, но мы все еще ждем книгу, которая исчерпывающе покажет нам Лоусона как человека и писателя,— пишет обозреватель.— Возможно, этой книгой будет роман, а Фрэнк Харди— тем, кто его создаст...»

Генри Лоусон. Рисунок из газеты «Трибюн».

АНГЛИЯ

В ДОБРОЙ СТАРОЙ АНГЛИИ...

Скандальное «дело» бывшего военного министра Великобритании Профьюмо послужило писателю Полу Джонсону основой для создания сатирической книги «В доброй старой Англии», в которой обличаются разврат и распущенность, царящие в высших английских кругах.

По словам рецензента еженедельника «Трибюн», в книге Джонсона показан публичный дом, организованный для английской аристократии и политических деятелей различных партий, в котором «обслуживание» поставлено на широкую ногу. Автор книги постоянно использует контрасты между ханжескими заявлениями «сильных мира сего» и их неблаговидными поступками.

...Один из героев повествования, репортер, пытается опубликовать собранные им скандальные факты, но этому препятствуют владельцы газеты, в которой он сотрудничает. Тогда репортер решается на крайнюю меру: во время торжественного приема во дворце, где собрался весь высший свет, он пробирается к микрофону и посвящает гостей в тайну существования скандального «заведения». Сначала все перепуганы, но потом совместными усилиями обращают происходящее в шутку. В результате разоблачение не состоялось, подобно тому как не дошло до настоящего разоблачения в «деле» Профьюмо...

Отдавая должное остроте и мастерству сатиры Пола Джонсона, рецензент еженедельника «Трибюн» не без иронии замечает: подлинный скандал был настолько грандиозен, что пытаться с помощью вымысла конкурировать с фактами — «явно безнадежная затея».

В театре Олд Вик с успехом идет пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня», поставленная Лоуренсом Оливье. На снимке: Лоуренс Оливье в роли доктора Астрова и Джоан Плаурайт в роли Сони.

(Журнал «Тиэтр уорлд»)

«ДОЧЬ СТАРЬЕВЩИКА»

Вышел в свет новый сборник из семи рассказов Алана Силлитоу под названием «Дочь старьевщика». Рецензент Джон Гриттен пишет в газете «Дейли уоркер», что писатель попытался вскрыть в них объективные и субъективные причины тех человеческих поступков, которые могут показаться опасными или странными. В рассказе, давшем название сборнику, шестнадцатилетняя девушка, живущая в полном достатке, связывает свою жизнь с профессиональным вором; они вместе совершают серию взломов. Героиня говорит своему сообщнику: «Ты грабишь ради денег, я — в знак протеста...»

Протест против существующей действительности — вот что объединяет все рассказы Силлитоу. Несмотря на материальное благополучие, у героев Силлитоу растет внутренняя неудовлетворенность жизнью, иные даже теряют рассудок. Так, герой рассказа «Волшебный ящик» (опубликован в «Иностранной литературе» № 4, 1964) попадает в психиатрическую лечебницу.

Последний, «прекрасно написанный», по словам рецензента, рассказ сборника — «Хорошая женщина». Его герой — молодой человек, арестованный во время демонстрации протеста против атомного оружия.

Все герои рассказов Силлитоу, пишет Гриттен,— это бунтари-одиночки, которые восстают против сковывающих их условий жизни. Силлитоу как бы хочет сказать своими рассказами, продолжает Гриттен, что, если бы его герои объединились в общей борьбе против пороков буржуазного общества, то многие их личные проблемы были бы решены.

ПУШКИН НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА

В издании «Пингвин» вышел на русском языке сборник стихов Пушкина с предисловием и подстрочным переводом Джона Феннела. Помимо того что эта книга окажет большую помощь

многим англичанам, изучающим русский язык, она в то же время, по мнению рецензента еженедельника «Обзёрвер», даст неплохое представление о разносторонности поэтического таланта Пушкина.

БОЛГАРИЯ

ПОЭМА О ЮНОСТИ КОМСОМОЛЬСКОЙ

Мы не были спецами
в рок-н-ролле,
Другие, героические роли
Нам дало время...—

говорят герои «Комсомольской поэмы» молодого поэта Христо Черняева, недавно опубликованной журналом «Септември».

«Комсомольская поэма» — произведение о поколении, которое вступило в новую жизнь еще в гимназических фуражках. Автор взволнованно рассказывает читателю о первых годах после освобождения страны, когда болгарские комсомольцы, самоотверженно преодолевая трудности, включились в социалистическое строительство. Первые собрания и первые споры, первый советский фильм и первая любовь проходят перед читателем...

«Для автора, как и для многих людей, чья молодость прошла в созидательных бурях того времени, эти годы остались светлым, дорогим воспоминанием»,— сказал о «Комсомольской поэме» поэт Петр Караангов, назвав ее на страницах еженедельника «Литературен фронт» «одним из выдающихся явлений молодой болгарской поэзии последнего времени».

Известная повесть Емилияна Станева «Похититель персиков», рассказывающая о трагической любви пленного сербского офицера Иво и болгарки Лизы в годы первой мировой войны, легла в основу нового болгарского фильма того же названия. Роль Иво в фильме исполняет югославский актер Раде Маркович (на снимке).

(Журнал «Филмови новини»)

Кадр из фильма «Красные всходы»

(Журнал «Крузейру»)

БРАЗИЛИЯ

«КРАСНЫЕ ВСХОДЫ» В КААТИНГЕ

...Северо-восток Бразилии. Поселок крестьян-арендаторов. Праздник. Справляется свадьба. В самый разгар веселья управляющий поместьем объявляет всем, что хозяин продал свои земли, а новый владелец требует, чтобы крестьяне немедленно ушли. И бывшие арендаторы пускаются в долгий и трудный путь через раскаленную солнцем каатингу в поисках новых земель на юге страны — так начинается новый фильм по известному советскому читателю роману «Красные всходы» Жоржи Амаду.

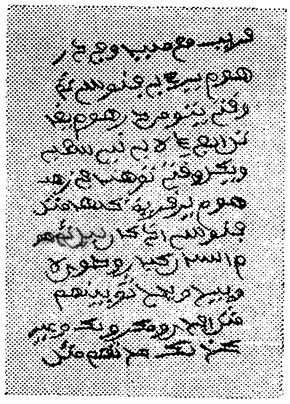
Как сообщает корреспондент журнала «Крузейру», фильм поставлен режиссером Алберту Д'Аверасом. Съемки его производились в бразильских штатах Пернамбуку и Баия.

ГАНА

У АФРИКИ ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ

В последние годы в странах Западной Африки обнаружено большое количество древних рукописей, написанных по-арабски или на западноафриканских языках с применением арабского письма. Институт африканских исследований Ганы проводит систематический сбор и изучение таких рукописей, многие из которых найдены в частных библиотеках. В настоящее время институт располагает 250 рукописями различной степени давности. Некоторые из них относятся к 12 веку н. э.

Обозреватель еженедельника «Уэст Африка», который сообщил эти сведения, обращает внимание на то, что изучение древних рукописей не может не оказать решающего влияния на отношение многих ученых западного мира к прошлому Аф-



Страница рукописи на языке котоко, написанная с применением арабского письма.

(Еженедельник «Уэст Африка»)

рики: «В то время как ученые профессора в Европе продолжают говорить нам, что «у Африки нет своей истории» — поскольку якобы нет подтверждающих это документов,— исследователи в Западной Африке добились успеха в своей работе, черпая вдохновение у своих предшественников; они пишут книги по истории Африки и готовят новые национальные кадры исследователей».

ГДР

ИНЖЕНЕР ИОБСТ ДЕЛАЕТ ВЫБОР

«Фолькстеатер» в Ростоке поставил новую пьесу известного драматурга Гаральда Хаузера «Барбара», получившую одобрительные отзывы критики. Действие пьесы происходит в демократическом Берлине, в ночь на 13 августа 1961 года, когда правительству ГДР пришлось принять решительные меры по пресечению провокаций западногерманских реваншистов. В пьесе всего три действующих лица: Барбара, инженер Уве Иобст и его дочь Карин.

Барбара — мужественная, сильная женщина, убежденная коммунистка, борется за Уве и его дочь, решивших уйти на Запад. Доводы скептика Уве разбиваются о твердую уверенность Барбары. Она видит все трудности и недостатки, о которых говорит Уве, и хочет, чтобы он, человек, которого она полюбила, боролся вместе с ней за новую жизнь, за лучшее будущее своей страны.

В эту ночь решается судьба Уве Иобста: он должен сделать выбор — за или против социализма... Барбара побеждает в этой борьбе, хотя победа дается ей нелегко.

«В споре о чувстве моральной ответственности побеждает человеческая и политическая убежденность Барбары,— пишет рецензент еженедельника «Зоннтаг».— В пьесе поставлены важные вопросы современности и на них дан ответ».

«Барбара — смелый образ героини нашего времени»,— таково мнение театрального обозревателя журнала «Нейе дейче литератур», опубликовавшего полный текст пьесы, а также информацию о состоявшейся в редакции беседе с руководителями ростокского «Фолькстеатер».

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АННЫ ЗЕГЕРС

«Я охотно путешествую на пароходе, там мне всегда хорошо и спокойно работается,— рассказала Анна Зегерс корреспонденту еженедельника «Зоннтаг» после своего недавнего возвращения из Бразилии.— Сейчас я работаю над серией новелл под общим названием «Сила слабых». За время путешествия мне удалось написать уже несколько новелл этой серии. Все это — истории о людях обыкновенных, а не о героях; о людях, которые ничем не выделяются, но в определенные моменты жизни проявляют силу и мужество».

Главной своей творческой задачей Анна Зегерс считает, однако, работу над второй частью романа «Решение». Действие его происходит в 1952—1956 годах. Многие герои романа, которые запомнились читателю по первой части, появляются и во второй. Большое место отведено Томасу, Лене Ноль и Роберту. «В первой части романа Роберт был очень одинок и нуждался в поддержке Рихарда,— сказала писательница.— Теперь Рихард сам будет нуждаться в Роберте».

Зегерс сообщила также, что собирается написать небольшую книгу вроде романа «Транзит». Она будет называться «Плоды этой земли». Ее замысел связан с поездкой писательницы в Бразилию. «Я видела много стран, я встречала множество людей,—сказала Зегерс,— эти впечатления и лягут в основу моей книги».

ДОМ-МУЗЕЙ БЕХЕРА

В Берлине, в доме № 34 по улице Маяковски-ринг, выдающийся немецкий поэт Иоганнес Р. Бехер прожил тринадцать лет. Ныне этот дом превращен друзьями Бехера, при активном участии вдовы поэта Лили Бехер, в дом-музей. Боль-

Статуя Иоганнеса Р. Бехера, установленная в его доме-музее.

(Газета «Националь-цейтунг»)

Кинорежиссер Конрад Вольф, постановщик известного фильма «Профессор Мамлок», в настоящее время занят экранизацией романа Кристы Вольф «Расколотое небо» (опубликован в «Иностранной литературе» № 1, 1964). Здесь воспроизведен кадр из фильма «Расколотое небо»: в роли Риты — Рената Блюме, Манфреда — Эберхард Эше.

(Газета «Юнге вельт»)

шую ценность, по сообщениям печати, представляет хранящийся там архив Бехера.

Недавно в доме-музее поэта установлена статуя Бехера работы Фрица Кремера.

ФРГ

«ОБОБЩЕНИЕ ОБЕЗЬЯНЬЕГО ОПЫТА»

Дюссельдорфское издательство «Карл Раух» опубликовало книгу под странным названием «Биология искусства». «В этой книге,— как сообщается в органе западногерманских книготорговцев «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель»,— впервые предпринята попытка обобщить все известные до настоящего времени данные о живописи обезьян. Результаты изучения живописи и рисунков человекообразных и низших обезьян показывают, что животные способны контролировать свои действия (?) и обладают определенными эстетическими задатками (?!). Ввиду этого стало возможным изучение основ биологической эстетики... Книга рассчитана не на этнологов. Прежде всего она должна попасть в руки художников, искусствоведов, педагогов и критиков».

Демократическая печать справедливо отмечает, что в своем безудержном стремлении к наживе «культурные дельцы» Западной Германии опустились до «обобщения обезьяньего опыта в искусстве» и отрицания в нем разумного человеческого начала.

КНИГА О ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИХ

Рольф Денеке, школьный учитель из небольшого западногерманского городка, написал роман под названием «И никто не указал ему путь».

Герой романа, пятнадцатилетний школьник Ойген Винклер, — сын инвалида второй мировой войны. Мать мальчика умерла, и отец взял в дом другую женщину. Мачеха не балует Ойгена материнской лаской, и он обращается за сочувствием к чужим людям. Сталкиваясь с трудностями жизни, Ойген упорно ищет свой путь...

«Типичны ли судьбы нашей молодежи? — спрашивает рецезент газеты «Вельт», откликаясь на выход книги.— Автор хорошо знает то, о чем рассказывает. Не щадя своих коллег, проявивших беспомощность и растерявшихся в сложной ситуации, Денеке говорит о нуждах подрастающего поколения, которое завтра вступит в жизнь. Правда, автор не дает ответа на вопрос, что же делать? Да и не в этом состоит его задача. Но он твердо убежден в том, что надо что-то предпринимать, и притом безотлагательно».

ГРЕЦИЯ

КОМУ ПРИСУЖДАЮТСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Печать сообщает имена новых лауреатов государственных премий, присужденных за лучшие произведения литературы: романистов П. Карависа и И. Каратзафери, авторов рассказов А. Яннопулоса и Ф. Маргари-Папозоглу, поэтов М. Папациониса и М. Стахтуриса.

Решение жюри вызвало серьезные возражения греческой общественности.

В мае нынешнего года исполняется год со дня гибели верного сына греческого народа Григориса Ламбракиса. Выдающийся греческий скульптор Мемос Макрис, живущий в эмиграции в Венгрии, в честь Ламбракиса создал Монумент Мира, воспроизводимый на этом снимке. Монумент будет установлен на центральной площади греческого города Дафни.

(Газета «Авги»)

Снова — в который уже раз! — не получили заслуженного признания книги прогрессивных писателей, известных не только в Греции, но и за ее пределами. Среди них греческая критика называет Андреаса Франгьяса, автора злободневного и завоевавшего широкую популярность романа «Железные ворота» (см. сообщение о нем в «Иностранной литературе» № 4, 1964); Костаса Котзьяса, известного советскому читателю по роману «Забой № 7»; писательницу Дидо Сотириу, которая в своих книгах «Мертвые ждут» и «Земля, окропленная кровью» по-новому раскрывает тему греко-турецкой войны 1919—1922 гг.

«Вопрос о реорганизации жюри, назначенного еще при правительстве Караманлиса, встает теперь с особой остротой»,— писал по этому поводу обозреватель газеты «Авги». Общественность требует, чтобы при присуждении государственных премий решающее слово было за представителями писательских организаций, которые должны войти в состав жюри. Основным критерием отбора книг, по мнению обозревателя, должна быть их художественная ценность. Решение жюри должно широко обсуждаться в печати. «Только при этих условиях,— подчеркивает обозреватель,— государственные премии в области литературы могут сыграть положительную роль в деле ее развития и совершенствования».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРЕССИВНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Афинское издательство «Темелио» («Фундамент») существует только год, однако оно уже успело выпустить немало книг, ставших крупным явлением в культурной жизни Греции. Это упомянутый выше роман Андреаса Франгьяса «Железные ворота», известный советскому читателю роман Мицоса Александропулоса «Ночи и рассветы», повествующий о том, как

Одна из иллюстраций к антивоенной поэме «Город плыл в черно-белом» Миноса Аргиракиса: на фоне фигуры воинственного адмирала — искалеченный войной матрос.

(Газета «Авги»)

мужественно сражались бойцы Сопротивления в Афинах, сборник рассказов о детях «Жестокая борьба за маленькую жизнь» старейшей писательницы Элли Алексиу, поэма Янниса Рицоса «Тюремное дерево и женщины».

Недавно издательство «Темелио» выпустило еще одну интересную книгу — антивоенную поэму писателя-сатирика Миноса Аргиракиса «Город плыл в черно-белом» с иллюстрациями автора.

Рецензент газеты «Авги», отмечая остросатирический пафос поэмы, пишет: «Автор срывает покров лицемерия, которым сильные мира сего стараются замаскировать доходный промысел, называемый войной. В своей поэме он обнажает бесчеловечную сущность милитаризма».

ДАНИЯ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Премия датской Академии за 1963 год присуждена поэту Йенсу Августу Шаде за его многолетнюю литературную деятельность (начало творческого пути поэта относится к 1925 году).

«Поэзия Шаде пронизана светом любви к жизни и к человеку,— подчеркивает в газете «Ланд ог фольк» писатель Ханс Шерфиг.— Оригинальная по форме, она вместе с тем чужда лженоваторства и модернистских ухищрений, столь характерных для многих представителей современного буржуазного литературного мира.

Именно поэтому,— продолжает Шерфиг,— поэзия Шаде переживет все эти искусственные литературные упражнения. Добрый труд Йенса Августа Шаде на поприще датской литературы увенчан заслуженной наградой».

ИНДИЯ

ПОСЛЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА...

После многолетнего перерыва в Дели вновь начал выходить литературно-критический трехмесячный журнал на хинди «Алочна» («Мнение»). Его редактор — видный писатель и критик Шивдан Сингх Чоухан.

В первом номере читатель находит имена Хазари Прасада Двиведи, Саджада Захира, Мулка Раджа Ананда, Упендранатха Ашка и других писателей, которые выступают со статьями по различным проблемам современной литературы.

Здесь же помещен отчет о дискуссии на тему «Экспериментальная поэзия и гуманизм», в которой приняли участие известные поэты, а также опубликованы рецензии на книги.

ИРАК

ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА

В Багдаде вышел первый номер ежемесячного журнала «Ат-Тирас аш-Шааби» («Народное наследие»). Как сообщает журнал «Аль-Адиб», новое издание посвя-

щено проблемам изучения фольклора. «Ат-Тирас аш-Шааби» издается одновременно на нескольких языках: арабском, турецком, персидском, английском, французском, немецком и итальянском. В издании журнала участвуют видные ученые и писатели.

ИСПАНИЯ

НОВЫЕ РЕПРЕССИИ В КАТАЛОНИИ

В последнее время франкистские власти начали новую кампанию гонений на каталонскую культуру и язык. Гонения усилились после того, как аббат Эскарре из монастыря бенедиктинцев в Монсеррате дал интервью корреспонденту французской газеты «Монд», в котором резко критиковал антидемократический характер франкистского режима.

В ответ власти недавно запретили каталонский журнал «Терradор», издаваемый монастырем в Монсеррате. Это был единственный в Каталонии журнал, который, согласно конкордату между Испанией и Ватиканом, не подвергался цензуре.

О стремлении франкистских властей задушить любое проявление национальной самобытности, унизить национальное достоинство каталонцев свидетельствуют многочисленные факты. Так, на одной лекции в Барселоне историк Рафаэль Тасис рассказывал собравшимся об историческом прошлом Каталонии. Полиция оштрафовала докладчика, владельца помещения и организацию, которая устраивала эту лекцию, лишь за то, что Тасис... говорил на родном языке. Жителей Барселоны возмутил и другой случай беззакония — власти оштрафовали на 25 тысяч песет актера Пауля Гарсабали только за то, что он возложил на могилу известной каталонской актрисы Марии Вила венок из цветов, образующих национальный флаг Каталонии. В городе Бадалоне, близ Барселоны, власти запретили молодым каталонцам слушание лекций о национальной музыке.

ИТАЛИЯ

ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Один из последних номеров общественно-политического ежемесячника «Улиссе», редактируемого Марией-Луизой Астальди, целиком посвящен Советскому Союзу. В нем помещены статьи итальянских авторов — видных политических и общественных деятелей, ученых, писателей, журналистов,— в том числе советских авторов — о достижениях Советского Союза в различных областях политической, экономической и культурной жизни. В разделе, посвященном советской литературе, помещены статьи Паоло Сприано, Витторио Страды, Иньяцио Амброджо, а также советских литературоведов Михаила Кузнецова и Андрея Туркова.

Рецензент газеты «Унита» Марио Галлетти пишет, что выход в свет специального номера «Улиссе» — новое свидетельство постоянного роста интереса итальянских читателей к Советскому Союзу.

«ГОЛЛИВУД НА ТИБРЕ»

Так иронически называют на Западе римские киностудии, владельцы которых сейчас переживают трудные дни. Печать сообщает о «самом тяжелом финансовом кризисе в истории итальянского кино». Многие из двухсот пятидесяти фильмов, сделанных в 1962 году, так и не нашли себе рынка сбыта и не вышли на экраны даже в самой Италии.

Попытки создания фильмов-гигантов — по примеру американских — с треском провалились, так что теперь ни один продюсер не рискует вкладывать капиталы в столь ненадежные предприятия. К таким неудачам, по мнению обозревателей, относится фильм «Содом и Гоморра».

Английская газета «Таймс» не без злорадства пишет, что «золотая лихорадка» итальянского кино, начавшаяся в 1960 году, кончилась. Даже такой известный продюсер, как Анджело Риццоли, старается «бить только наверняка» и согласен финансировать лишь двух крупнейших кинорежиссеров — Феллини и Рози. Для ограничения расходов на постановку фильмов обоим режиссерам предложено стать компаньонами продюсера и нести, наряду с ним, полную материальную ответственность.

«СОБЛАЗНЕННАЯ И ПОКИНУТАЯ»

Известный кинорежиссер Пьетро Джерми вслед за острой сатирической комедией «Развод по-итальянски» поставил фильм «Соблазненная и покинутая», в котором со злой иронией высмеивает предрассудки и лицемерие, царящие в среде сицилийской буржуазии.

«Я хочу, чтобы мой фильм заставлял зрителя смеяться и в то же время ужасал его»,— говорит Джерми. Любопытно отметить, что это уже пятый по счету фильм режиссера, посвященный Сицилии и ее проблемам (советские зрители помнят такие, например, фильмы Джерми, как «Под небом Сицилии» и «Дорога надежды»).

Стефания Сандрелли в фильме «Соблазненная и покинутая».
(Газета «Паэзе сера»)

КАКОВА «НАЦИОНАЛЬНОСТЬ» ДЖАНА БУРРАСКИ?

Вот уже более четырех десятков лет итальянские школьники зачитываются «Записками Джана Буррaски» — повестью о приключениях шаловливого мальчишки, «итальянского Тома Сойера», доставляющего своими проказами уйму хлопот окружающим и самому себе. Автором этой книжки всегда считался умерший в 1920 году флорентийский писатель Луиджи Бертели, выступавший под псевдонимом Вамба.

Недавно итальянское телевидение начало готовить телепостановку о приключениях Джана Буррaски, в роли которого выступит популярная в Италии восемнадцатилетняя эстрадная певица Рита Павоне. В связи с этим вновь пробудился интерес к книге, и неожиданно выяснились некоторые, то ли ранее неизвестные, то ли забытые обстоятельства. Оказывается, еще за несколько лет до выхода «Джана Буррaски» в Италии была издана в сокращенном переводе с английского книжка неизвестного автора «Воспоминания одного мальчишки», удивительно схожая с повестью Вамбы. Первая часть совпадает полностью (изменены только даты и имена), во второй имеются незначительные расхождения, и только третья часть книги Вамбы носит более самостоятельный характер. Однако, как отмечают исследователи, производившие сличение обоих текстов, именно третья часть «Записок Джана Буррaски» наименее удачна.

Возникает вопрос: неужели Джан Буррaски, этот любимец итальянской детворы, о котором в свое время столько писалось как об одном из самых характерных героев итальянской детской литературы, окажется вдруг «англичанином»?

КУБА

«НАША ПОЭЗИЯ — РЕВОЛЮЦИЯ»

Недавно на Кубе гостила делегация болгарских писателей, возглавляемая Божидаром Божиловым. Товарищ Фидель Кастро принял делегацию в старом индейском селении Гаума. Он рассказал гостям об экономических и культурных достижениях кубинского народа.

«У нас пока мало произведений о нашей современности,— сказал Фидель Кастро,— и это вполне объяснимо. Многие наши поэты в свое время создали сильные произведения о надвигающейся революции, а когда революция победила, они не смогли охватить всей широты новых горизонтов. Вероятно, это и не может произойти сразу, необходимо время».

Фидель Кастро поделился воспоминаниями о том, что когда-то в юности он тоже писал стихи. «Я очень люблю поэзию, но в последнее время мне почти некогда читать,—признался он.—Сейчас для меня поэзия, проблемы поэзии — это проблемы нашего земледелия.

Чтобы в нашей стране возникла хорошая поэзия, высокая поэзия победившей революции, необходимо, чтобы успешно решались и все другие наши вопросы — вопросы производства, земледелия, обороны. А нужно вам сказать, что дела нашего молодого государства идут хорошо. Значит, можно ожидать, что скоро мы сумеем похвалиться и большими успехами нашей революционной поэзии».

ЛИВАН

ПРЕМИЯ СОВЕТСКОМУ УЧЕНОМУ

Премия имени Саида Акля, крупнейшего современного ливанского поэта, присуждается как ливанцам, так и гражданам других стран за выдающиеся произведения литературы и искусства, а также научные труды, посвященные Ливану.

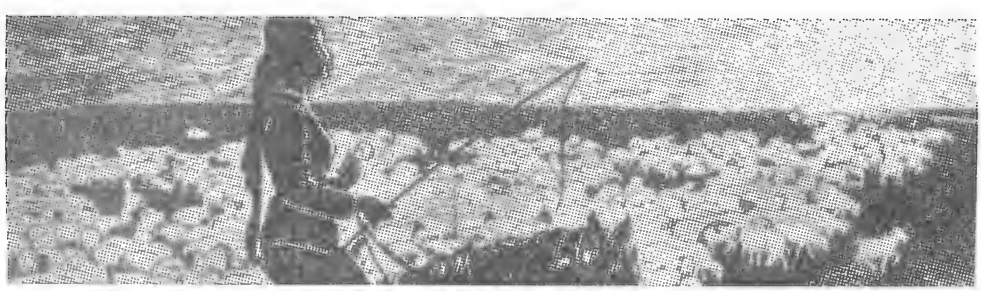
Недавно газета «Аль-Ахбар» сообщила о присуждении премии имени Саида Акля советскому историку Е. Крупнову, специалисту по древней истории народов Северного Кавказа. Ученому удалось установить наличие давних связей между Северным Кавказом и древней Финикией, располагавшейся, как известно, на территории нынешнего Ливана.

МОНГОЛИЯ

КОНКУРС НАРОДНЫХ СКАЗИТЕЛЕЙ

Издревле монгольский народ славился своими сказаниями и легендами. И ныне

Гравюра молодого монгольского художника Д. Амгалана «Утренний выпас скота».



устное народное творчество находится в почете — недавно Союз писателей Монголии объявил конкурс на звание лучшего народного сказителя.

Сейчас в городах и аймаках страны сказители соревнуются на местных конкурсах. После этого в Улан-Баторе состоится соревнование победителей, каждый из которых должен знать не меньше десяти сказаний. В них, по условиям конкурса, должен быть отражен героический труд народа, строящего социализм. Победители будут награждены специальной премией Союза писателей «Народный сказитель» и почетными дипломами. «Наше древнее искусство — устное народное творчество — обогащается новым содержанием»,— пишет по этому поводу обозреватель газеты «Соёл утга зохиол».

НОРВЕГИЯ

«ОТДЕЛЬНАЯ КВАРТИРА»

Так называется роман Лейфа Нормана Россе, недавно вышедший в издательстве «Ашехоуг». В нем рассказывается о молодоженах, мечтающих о собственном «гнездышке». Чтобы осуществить свою мечту, молодые люди вынуждены прибегнуть к услугам пронырливого спекулянта, который за хорошую взятку обещает «все устроить». Отдав спекулянту свои сбережения, молодожены и впрямь становятся обладателями маленького одноквартирного домика, который, однако, как вскоре выясняется, вот-вот развалится. Супруги с ужасом осознают свое бессилие — ведь они стали владельцами «дома» незаконным путем.

Лейф Норман Россе, по свидетельству прогрессивной критики, убедительно показывает, как буржуазное общество, следуя своим внутренним законам, увлекает рядовых тружеников в сети лжи и обмана. Прогрессивная печать называет роман «Отдельная квартира» «книгой искренней и правдивой».

ОАР

«ПРАВДА ОБ ЭТОМ БЕККЕТЕ»

Событием в культурной жизни страны стала дискуссия о так называемом «театре абсурда». Поводом для дискуссии послужили постановки пьесы Беккета «Конец игры» и пьесы Ионеску «Стулья» на сцене «Масрах аль-Гейб» (буквально: «Карманный театр») — недавно созданного в Каире драматического театра, ставящего произведения мировой драматургии. Дискуссия вокруг постановок этих пьес вылилась в ожесточенную полемику между сторонниками «искусства для искусства» и «искусства для жизни».

Видные египетские писатели и критики выступили против лозунга «искусство для искусства». «Мы не отделяем искусство от общества»,— заявил по этому поводу писатель Абд ар-Рахман аль-Хамиси. «Искусство для искусства» — это обман и враждебная социалистическому обществу пропаганда»,— писал критик Сами Дауд.

С резкой отповедью сторонникам «театра абсурда» выступил драматург Нуаман Ашур. В статье «Правда об этом Беккете», опубликованной в газете «Аль-Гумхурия», он писал: «Любому человеку, который хоть немного дорожит нашими устремлениями к лучшему будущему, трудно остаться равнодушным перед лицом столь бесплодного литературного направления. К счастью для театра «Масрах аль-Гейб», он не ограничивается постановкой абстракционистских и сюрреалистических пьес. На его сцене были показаны также пьесы Чехова».

ПОЛЬША

О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Под названием «Учитель танцев» варшавское издательство «Чительник» выпустило сборник рассказов Станислава Выгодского. По словам самого автора, «книга содержит рассказы, в которых делается попытка отойти от тематики войны и оккупации».

Станислав Выгодский известен советскому читателю как автор рассказов о польских коммунистах (его рассказы «Ян и Мария» и «Ложь» опубликованы в «Иностранной литературе» № 7, 1959), а также о тяжелых годах гитлеровской оккупации страны. И в новом сборнике, по словам рецензента «Трибуны люду» Вацлава Садковского, несколько рассказов посвящено темам оккупации и войны. Однако читатель найдет в сборнике и рассказы о польской современности. «Я сознаю все трудности, которые несет с собой современная тематика,— пишет Выгодский во вступлении к сборнику,— и хочу этими рассказами показать, из каких

В Театре Польском в Варшаве инсценирован роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Постановка осуществлена режиссером Ежи Красовским. По словам рецензента журнала «Кобета и жице», в спектакле верно передана атмосфера романа Достоевского. Грушенька в исполнении Юстины Кречмаровой (на снимке) надолго остается в памяти зрителей, роль сыграна актрисой с чарующей простотой и правдивостью, пишет рецензент.

(Журнал «Кобета и жице»)

сложных и разнообразных явлений складывается картина сегодняшнего дня».

Наиболее значителен, по мнению рецензента, заключительный рассказ сборника — «Главный доломит». Герой его — секретарь повятового комитета партии, на котором лежит ответственность за строительство близлежащего нефтяного промысла. Труден и извилист путь к сердцам людей, строящих промысел в тяжелых природных условиях, но секретарь находит его — благодаря своей настойчивости и глубокой идейной убежденности... «Именно «Главный доломит»,— пишет рецензент, — свидетельствует о серьезном и продуманном стремлении Выгодского в последнем томе рассказов перейти к современной тематике».

ПОВЕСТЬ О ЛЮДЯХ НИЖНЕЙ СИЛЕЗИИ

Имя молодого польского писателя Мацея Патковского хорошо известно в Польше. Он — автор книг «Гармошка» и «Юг» о своих молодых современниках, а также повести «Скорпионы», в основу которой лег действительный случай с американским патрульным самолетом, потерявшим атомную бомбу.

Недавно в варшавском издательстве «Искры» вышла новая повесть Патковского — «Субботки», получившая третью премию министра культуры и искусства Польши, а также премию на литературном конкурсе в связи с пятнадцатилетием польских Западных земель.

Новая книга Патковского посвящена людям, приехавшим после войны осваивать Западные земли, которые в Польше называют также «Возвращенными землями». Герои повествования — машинист Кароль и его сестра, выходцы из отдаленной польской деревни. Немалое место в повести, как об этом пишет рецензент журнала «Твурчость», отведено «предыстории» героев, то есть их прежней жизни, что делает характеры героев Патковского более убедительными.

В новой повести, по мнению рецензента, реализм Патковского получил свое дальнейшее развитие. Возросло и мастерство молодого автора: его проза стала более лаконичной и выразительной.

По сообщениям печати, «Субботки» встречены очень благожелательно — как критиками, так и читателями.

РУМЫНИЯ

ГРАФИКА ДАМАДЯНА

Большим успехом пользуется недавно открывшаяся в Бухаресте выставка графика Чика Дамадяна, работы которого, особенно карикатуры на международные темы, получили известность не только на родине, но и за рубежом.

Как сообщает корреспондент газеты «Скынтейя», на нынешней выставке представлены работы Дамадяна — иллюстратора и портретиста. Особенно интересна книжная графика художника. Здесь публикуются некоторые иллюстрации Дамадяна к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя: (сверху вниз) Ноздрев, Собакевич, Коробочка, Плюшкин.

США

КНИГИ СЛИШКОМ ДОРОГИ

В течение последних лет в США непрерывно растут цены на книги, сообщает корреспондент еженедельника «Сатердей ревью». Это не могло не отразиться пагубно на общем уровне культуры в стране. Зато издательства, получающие миллионные прибыли, чрезвычайно довольны создавшимся положением.

Еженедельник «Паблишерз уикли» приводит довольно красноречивые факты: книга, стоившая осенью 1953 года 3 доллара 29 цен-

тов, десять лет спустя стоит уже 4 доллара 52 цента, то есть подорожала на 37 процентов! В среднем на 18 процентов повысились цены на книги по вопросам истории. Так, в 1958 году вышел первый том «Истории гражданской войны в США» Шэлби Форбса и стоил он 10 долларов. В 1963 году вышел второй том «Истории» такого же объема, но его стоимость составляла уже 12 долларов 50 центов, то есть на 25 процентов выше.

«Рост стоимости знаний обгоняет даже рост стоимости жизни»,— с горечью констатирует корреспондент «Сатердей ревью».

«ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ» ТАРЗАНА...

Герой западной литературы первых десятилетий XX века — Тарзан — снова появился на книжном рынке Америки, сообщает обозреватель газеты «Крисчен сайенс монитор».

Спустя полвека после своего появления на свет вновь издаются книги Эдгара Райса Бэрроуза о Тарзане, которых было написано в свое время более двух десятков. «Тарзановский ажиотаж» возрастает в связи с ожидающимся выходом не опубликованного писателем романа «Тарзан и сумасшедшие», сданного ныне в печать его наследниками.

Не устояло перед соблазном и телевидение. Компания «Коламбия бродкастинг систем» уже объявила о серии рассчитанных на два года телепередач, посвященных похождениям Тарзана. Старые, запыленные киноленты о Тарзане снова идут в кинотеатрах... «Второе пришествие» Тарзана, по-видимому, принесет большие прибыли издателям, телевизионным и радиокомпаниям, а также владельцам кинотеатров. Только зритель не получит от этого никакой пользы...

«КРИК АВАНГАРДИЗМА»

«Мы стали свидетелями откровенно сумасшедшей недели в нью-йоркских выставочных залах,— пишет на страницах «Нью-Йорк геральд трибюн» искусствовед Эмили Генауэр.— Нам продемонстрировали картины и скульптуры, которые... движутся, шевелятся, издают звуки, визжат...»

В репертуарном театре Линкольновского центра в Нью-Йорке идет новая пьеса «После грехопадения» Артура Миллера. На снимке сцена из спектакля. В роли Квентина — Джеймс Робардс-младший, в роли его жены Мэгги — Барбара Лоден.

(Журнал «Пост»)

Настораживает уже само название выставок: в зале «Хауард уайз гэллери» открыта выставка под названием «Все в движении»; в галерее «Кордье» экспонаты названы «Для глаз и для ушей»; в галерее Сидней Джейниса группа неореалистов устроила выставку «Окружение», ибо — и тут авторам не откажешь в логике — собранные предметы «окружают» зрителя.

По свидетельству Генауэр, в числе «шедевров» имеется, например, «качающаяся скульптура», способная издавать звуки: к каркасу старого зонтика, прикрепленного к потолку, подвешены барабаны разной величины. Творец этого «чуда» — некто Джо Джоунс. На одном из холстов изображена обнаженная женская фигура; к холсту прикреплены настоящая деревянная дверь, радиатор и непрерывно звонящий телефонный аппарат. В совокупности этот истинный «крик авангардизма» назван «Композиция». «Художник» — Том Вэссельман.

Эмили Генауэр призывает ценителей настоящего искусства «взбунтоваться» против подобной профанации живописи.

ВЫХОД НОВОГО ЖУРНАЛА

Печать сообщает о выходе нового прогрессивного литературно-политического журнала под названием «Диалог», который продолжает традиции журналов «Мэссиз», «Либерейтор», «Нью-Мессиз» и «Мэйнстрим». Значительное место в новом журнале, как пишет корреспондент газеты «Уоркер», отводится статьям по вопросам культуры, а также освещению проблем социального, политического и научного характера.

Писатель и публицист Джозеф Норт в связи с этим подчеркивает, что «Диалог» должен стать трибуной для тех литераторов, художников, деятелей культуры и ученых, которые стремятся к укреплению мира и ликвидации таких позорных явлений, как расизм и антисемитизм.

ТУНИС

ГЕРОИ МОЛЬЕРА В СИДИ БУ-САИДЕ

Тунисский муниципальный театр поставил комедию Мольера «Школа жен». Творческий коллектив театра своеобразно интерпретировал произведение великого драматурга: действие пьесы перенесено в тунисский городок Сиди Бу-Саид, ее герои носят арабские имена и говорят на местном диалекте.

Обозреватель журнала «ИБЛА» дает высокую оценку новой постановке, подчеркивая, что «молодому тунисскому коллективу удалось создать подлинно народный спектакль».

ТУРЦИЯ

ТВОРЧЕСТВО ЯШАРА КЕМАЛЯ

«Земля — железо, небо — медь» — такое название носит новый роман известного турецкого писателя — реалиста и демократа Яшара Кемаля (литературный псевдоним Кемаля Гекчели), автора известного советскому читателю романа «Тощий Мемет», а также романа «Земля не кормит» и большого количества рассказов о жизни людей труда. Писатель долго жил в Анатолии среди крестьян и хорошо знает турецкую деревню, незамысловатый, но трудный быт земледельцев центральных районов страны.

Роман «Земля — железо, небо — медь» является по сути дела продолжением романа «Земля не кормит», повествующего о скитаниях бедной крестьянской семьи из горной деревушки, отправившейся на заработки в долину. В новой книге герои возвращаются домой ни с чем, не могут уплатить долги помещику, купить теплую одежду и припасы на зиму.

Литературный обозреватель выходящего в Стамбуле журнала «Ким» дает высокую оценку писательскому мастерству Яшара Кемаля, создавшего яркие картины быта турецкой деревни. Здесь и покосившиеся глинобитные домишки, и истощенные постоянным недоеданием и болезнями крестьяне, и босоногие мальчишки на снегу — в окружении мрачных, неприветливых гор. Автор затрагивает острые социальные проблемы современной Турции — безземелье крестьян, отсутствие врачей и учителей, попрание прав простых людей.

Яшар Кемаль.
(Журнал «Ким»)

ФИНЛЯНДИЯ

ПАРАДОКС ПЕНТТИ ХОЛАППА

Герой новой книги писателя Пентти Холаппа «Качества наследника» — стареющий заводчик, который назначает своим преемником молодого привратника, более способного, по его мнению, управлять делами, чем собственный сын. И новый хозяин оправдывает надежды старика: он тут же увольняет с завода кадровых рабочих, набирает случайных людей, согласных работать за жалкие гроши, и поселяет их в грязных, плохо приспособленных для жилья бараках...

Что это — реалистический социальный роман? Ничуть не бывало. Его автор Пентти Холапп — известный писатель-модернист. Мир героев Холаппа, по словам писателя Пентти Сааринкоски в газете «Кансан уутисет», подчеркнуто страшен, безумен, труден для восприятия. Стиль книги искусственно причудлив и тяжел. Люди изображены расплывчато, они как бы сливаются друг с другом. Зачастую невозможно различить, кто из героев говорит...

Видимо, как отмечает рецензент газеты «Кансан уутисет», писатель-модернист глубоко разочаровался в окружающей его действительности, если даже в своем далеко не реалистическом произведении пришел к разоблачению врожденных пороков капиталистического общества.

ФРАНЦИЯ

ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКИ

Еженедельник «Леттр франсез» опубликовал недавно перевод статьи испанского журналиста Отеро Секо, проживающего в настоящее время во Франции, о последнем интервью с Федерико Гарсиа Лоркой, напечатанном в мадридском еженедельнике «Мундо графико» 24 февраля 1937 года. В этом интервью Лорка сообщал, что закончил работу над книгой «Поэт в Нью-Йорке», в которой, по его собственным словам, «большую роль играют социальные моменты». Лорка сказал также, что закончил драму о революции, которой еще не успел дать окончательного названия.

Отеро Секо взял интервью у Лорки в Мадриде в июле 1936 года, но опубликовал его лишь через полгода. Дело в том, что на следующий день после прибытия Лорки в Гранаду город заняли франкисты, и

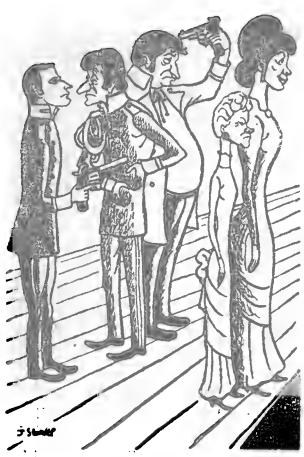
Отеро Секо боялся, как бы публикация интервью в республиканской газете не повредила поэту. Когда же не осталось никаких сомнений в гибели Лорки, интервью было опубликовано.

САГАН В РОЛИ РЕЖИССЕРА

Франсуаза Саган, которая, по свидетельству французской критики, в последнее время пишет весьма посредственные пьесы, выступила в качестве постановщика своего последнего произведения в парижском театре «Эдуард VII». Пьеса носит название «Счастье, чет и пас». Действие ее происходит в России в 1880 году, но знание реалий у Саган явно недостаточное, так как, по словам театральных обозревателей, герои пьесы «плохо вписываются в декорации конца прошлого века». Кроме того, основной конфликт пьесы Саган развертывается вокруг дуэли, а в то время в России, как известно, дуэли уже не были сколько-нибудь распространенным явлением.

Как отмечает рецензент еженедельника «Экспресс», действие пьесы с таким же успехом могло происходить и в великом герцогстве Гольштейнском, а сам сюжет весьма напоминает пьесу Мюссе «С любовью не шутят», с той только разницей, что пьеса Саган могла бы быть названа «Со счастьем не шутят». По словам рецензента, Саган как режиссер целиком идет на поводу у актеров.

Эту карикатуру еженедельник «Экспресс» поместил в связи с постановкой пьесы «Счастье, чет и пас» Саган, снабдив ее надписью «Несостоявшиеся дуэли».



КНИГА О РАБОЧИХ

Вышел новый роман Андре Стиля «Пойдем танцевать, Виолина», рассказывающий о жизни рабочих промышленного Севера. В центре повествования страстно влюбленная в жизнь молодая девушка, почти ребенок — работница текстильной фабрики. «Уже сама классовая принадлежность героев романа,— пишет Андре Вюрмсер в газете «Юманите»,— обусловливает его политический характер. В то же время «Пойдем танцевать, Виолина» — самое «литературное» произведение Стиля».

Критика отмечает, что язык книги необычен. «Мне хотелось ввести в национальный язык некоторые слова северного диалекта,— писал об этом Стиль на страницах «Леттр франсез»,— я использовал слова старофранцузского, немецкого, фламандского и испанского происхождения, что дало мне возможность создать определенный местный колорит».

МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

С первого июля нынешнего года во Франции ликвидируется «Фонд помощи кинематографии», сообщает корреспондент еженедельника «Ар». Это — результат вступления Франции в Европейское экономическое сообщество, которое запрещает своим членам выдавать государственные субсидии промышленности. Поэтому сейчас французские продюсеры и кинорежиссеры торопятся с выпуском картин, находящихся в производстве.

«Если правительство не изыщет средств для поддержки кинематографии,— пишет корреспондент «Ар»,— то предстоит значительное сокращение выпуска картин и общий застой в этой области искусства».

В галерее Лойри в Париже состоялась выставка работ Пабло Пикассо, созданных за последние два года. Как сообщает печать, главная тема представленных на выставке произведений — проблемы войны и мира. На снимке: одна из последних работ Пикассо — «Голова женщины».

(Газета «Унита»)

ЦЕЙЛОН

«НЕДЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ»

Традиционным уже стал на Цейлоне отмечаемый с 1958 года праздник любителей книги. На этот раз в честь Недели литературы были изданы новые книги, специальные номера журналов, вышли литературные приложения к газетам.

Одним из центральных событий Недели стал двухдневный семинар писателей, организованный в Коломбо департаментом культуры, на котором шел разговор о путях развития национальной литературы и роли писателей в культурном и экономическом прогрессе страны.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

МНЯЧКО О СВОЕЙ КНИГЕ

Общественность Чехословакии с удовлетворением встретила книгу Ладислава Мнячко «Запоздалые репортажи», в которой автор рассказал о некоторых трагических судьбах людей в период культа личности и нарушений социалистической законности. Недавно в интервью журналу «Культурни творба» Мнячко высказал свое отношение к этой книге.

«Я писал и буду с воодушевлением писать обо всем, что в нашей жизни имеется прекрасного, здорового, заслуживающего внимания. Однако на нашем пути осталось еще много камней от прошлого, которые нужно убрать. Молчанием здесь делу не поможешь. «Запоздалые репортажи» — продукт своего времени. Образно выражаясь, они уже давно висели в воздухе, но написать, а тем более издать их я смог лишь после XII съезда Коммунистической партии Чехословакии».

«НАДЕЕМСЯ, ЧИТАТЕЛЬ БУДЕТ РАД...»

Известный поэт Войтех Мигалик, который является главным редактором издательства «Словенски списовател» в Братиславе, недавно дал интервью корреспонденту газеты «Руде право». Издательство выпускает около ста книг ежегодно, рассказал Мигалик, а в ближайшем будущем их количество еще возрастет. В «Словенском списователе» издаются книги дебютантов и уже известных писателей, представителей самого молодого и старшего поколений.

Вскоре, например, увидит свет поэтический сборник «Открытые окна» лауреата премии Союза писателей ЧССР Лацо Новомеского (сообщение о присуждении премий см. в «Иностранной литературе» № 3, 1964), а также стихи Рудольфа Фабри, Михала Хорвата, Милана Лайчиака и других. В числе наиболее интересных прозаических произведений — первая часть трилогии «Громовой зуб» Альфонса Беднара, продолжение романа «Погасшие огни» Мило Урбана, «Княжна из Лемурии» Катарины Лазаровой.

Для литературной жизни Словакии в настоящее время характерно то, что молодые словацкие авторы ведут настоящее «творческое наступление», отметил Мигалик. Кажется, еще недавно спорили о том, существуют ли заслуживающие внимания книги молодых писателей, а сегодня издательства соревнуются, кто больше издаст хороших книг этих авторов. Среди запомнившихся дебютов — произведения Владимира Беднара, Петера Балги, Марины Черетковой и других.

«Надеемся, что читателя порадует новая книжная серия «Круг любителей поэзии», которую мы начинаем выпускать,— продолжал Мигалик.— В ней будут издаваться новые произведения поэтов Чехословакии и неизвестные нашему читателю стихи зарубежных авторов. Позаботились мы и о современном графическом оформлении книг этой серии. В некоторые сборники в качестве сувенира будут вкладываться небольшие пластинки с записями стихов в исполнении самих авторов».

ЧИЛИ

МЕСТО ХУДОЖНИКА В ОБЩЕСТВЕ

Истинный художник не может уйти от социальной действительности, заявила писательница Исидора Агирре в интервью корреспонденту газеты «Сигло». Агирре — автор нескольких пьес о современной жизни Чили: «Галерея цветов», «Деревня Эсперанса», которые с успехом шли в театрах страны и за рубежом. В ее пьесе «Газетчики» выражен страстный протест против обнищания трудящихся масс.

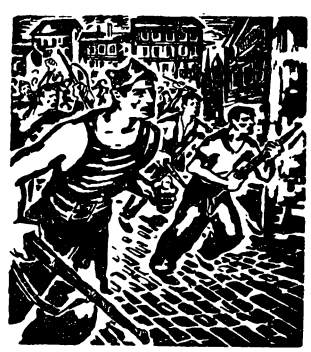
В настоящее время, пишет корреспондент, писательница занята исследованием аграрного вопроса, изучением положения крестьян — она собирает материал для своей новой пьесы.

ЮГОСЛАВИЯ

О ТВОРЧЕСТВЕ ДЖОРДЖЕ КУНА

Недавно в Белграде скончался художник Джордже Андреевич-Кун, посвятивший свою жизнь борьбе за торжество идей социалистической революции. Кун участвовал в войне против фашизма в Испании и в вооруженной борьбе патриотов Югославии против гитлеровских захватчиков. Его картины и гравюры выставлялись в крупных европейских городах, в том числе в Москве и Ленинграде. Серия зарисовок «Партизаны» в 1946 году получила первую премию югославского Комитета культуры и искусства.

Рисунок Д. Куна «Атака на укрепление фашистов» из цикла «За свободу».
(Газета «Борба»)



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЙОРДАН РАДИЧКОВ (род. в 1929 г.) — болгарский писатель. Автор сборников рассказов «Сердце бьется для людей» («Сърцето бие за хората», 1959), «Простые руки» («Прости ръце», 1961) и др. Рассказ, опубликованный в номере, взят из журнала «Пламк» № 11, 1963 г.

ВАСКО ПРАТОЛИНИ — VASCO PRATOLINI (род. в 1913 г.) — итальянский писатель. Автор книг «Виа-де-Магадзини» («Via da' Magazzini», 1941), «Квартал» («Il quartiere», 1945), «Семейная хроника» («Cronaca familiare», 1947), «Повесть о бедных влюбленных» («Cronache di poveri amanti», 1947), «Метелло» («Metello», 1955) и др. Роман «Квартал», «Повесть о бедных влюбленных», «Семейная хроника» и др. переведены на русский язык.

Роман «Постоянство разума» («La costanza della ragione») вышел в 1963 году.

ПАТРАС (АХМАД ШАХ БУКХАРИ, 1898—1958) — пакистанский писатель, общественный и политический деятель. На протяжении 7 лет был директором Всеиндийского радио, с 1954 года и до конца жизни занимал пост заместителя генерального секретаря ООН.

Рассказ «Кумир города Муридпура» взят из сборника «Рассказы Патраса, или Просто рассказы».

САА́ДАТ ХА́САН МАНТО (1912—1955) — пакистанский писатель, начал печататься в начале 30-х годов. Автор сборников рассказов «Пять дней», «Джанки», «Холодное мясо», «Открой» и др.

Публикуемый рассказ взят из сборника избранных рассказов индийских и пакистанских писателей (специальный выпуск журнала «Никуш» за 1955 год).

ГАБОР ГОДА — GODA GABOR (род. в 1915 г.) — венгерский писатель-сатирик. Автор сборников рассказов «Среди волков» («Farkasok között», 1952), «Два осленка» («Két csacsi», 1953), «Человек с шарманкой и попугаем» («Panétás ember», 1954), «Паноптикум» («Panoptikum», 1956).

Рассказ, опубликованный в номере, взят из сборника «Важные истории» («Fontos történetek», 1961).

СЛАВОМИР МРОЖЕК — SŁAWOMIR MROŻEK (род. в 1930 г.) — польский сатирик. Автор сборников рассказов «Практичные полупанцири» («Półpancerze praktyczne», 1953), «Дождь» («Deszcz», 1962), сатирических повестей — «Маленькое лето» («Maleńkie lato», 1956) и «Бегство на юг» («Ucieczka na południe», 1961), сборников пьес «Драматические произведения» («Utwory sceniczne», 1963) и др.

Публикуемый рассказ взят из книги «Слон» («Słoń», 1958).

ДЖОРДЖ МАЙКС--GEORGE MIKES— английский писатель, автор книги «Иностранец в Англии» («How to be an Alien»), которая с 1946 по 1956 гг. издавалась 22 раза. Из этой книги взяты главы, напечатанные в номере.

ЖАК ПРЕВЕР — JACQUES PRÉVERT (род. в 1900 г.) — французский поэт. Автор сборников стихов «Слова» («Paroles», 1946), «Сказки для непослушных детей» («Contes pour enfants pas sages», 1947), «Звери» («Des bêtes...», 1950), «Спектакль» («Spectacle», 1951), «Письма с островов Баладар» («Lettres des îles Baladar», 1952) и др.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Дождь и хорошая погода» («La Pluie et le beau temps», 1955).

ПЬЕР ДАНИНОС — PIERRE DANINOS (род. в 1913 г.) — французский писатель. Автор книг «Записные книжки милосердного бога» («Carnets du Bon Dieu», 1949), «Второй Всевышний» («L'Eternel Second», 1952), «Записные книжки майора Томпсона» («Carnets du major Thompson», 1954), «Некий господин Бло» («Un certain Monsieur Blot», 1960).

Публикуемый материал взят из книги «Болтовня» («Le Jacassin», 1963).

АБЕЛЬ ЖАКЕН — ABEL JACQUIN — французский поэт. Автор книги «Басни и стихи» («Fables et poèmes», 1958), откуда и взяты стихи, опубликованные в номере.

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС — MITSOS ALEXANDROPULOS (род. в 1924 г.) — греческий писатель, участник Национального Сопротивления во время второй мировой войны. Ему принадлежат сборники рассказов «Советские встречи» (1954), «Вооруженные годы» (1955), «Одна недавняя история» (1962), романы «Ночи и рассветы» (1961) и «Горы» (1963).

Рассказ, публикуемый в номере, прислан автором в рукописи.

АЛЬФ ПРОЙСЕН — ALF PRØYSEN (род. в 1914 г.) — норвежский писатель, поэт и прозаик, много пишет для детей.

Рассказы, опубликованные в номере, вошли в сборник рассказов «Любовь на спицах» («Kjaerligher på rundpinne», 1958).

АРТ БУХВАЛЬД — ART BUCHWALD (род. в 1925 г.) — американский писатель, журналист и фельетонист. Автор книг «Ночной Париж» («Paris After Dark», 1950), «Смелый трус» («The Brave Coward», 1957), «Не забудь писать» («Don't Forget to Write», 1960).

Материал, опубликованный в номере, взят из книги «Сколько это в долларах?» («How Much Is That in Dollars?», 1961).

ЛЭНГСТОН ХЬЮЗ — LANGSTON HUGHES (род. в 1902 г.) — американский негритянский писатель, собиратель негритянского фольклора. Автор сборника стихов «Утомленный блюз» («The Weary Blues», 1926), романа «Смех сквозь слезы» («Not Without Laughter», 1930), сборника рассказов «Нравы белых» («The Ways of White Folks», 1934), книг «Симпл высказывает свое мнение» («Simple Speaks His Mind», 1950), «Симпл женится» («Simple Takes a Wife», 1953) и многих других произведений.

Опубликованный рассказ был напечатан в сборнике «Что-то общее и другие рассказы Лэнгстона Хьюза» («Something in Common and Other Stories by Langston Hughes»).

КРИШНА КРИПАЛАНИ (род. в 1912 г.) — индийский литературный критик и эссеист, ученый секретарь Литературной Академии Индии и редактор журнала «Индиен литерачер», издаваемого Академией, автор биографии Тагора и книги о Ганди.

Рассказы, опубликованные в номере, взяты из книги «Вера и ветренность» («Faith and Frivolity», 1963).

МАХМУД ТЕЙМУР (род. в 1894 г.) — египетский писатель, автор более тридцати сборников рассказов, действительный член Академии арабского языка в Каире. Публикуемый рассказ прислан автором в рукописи.

МАЙК НЬЮБЕРРИ — MIKE NEWBERRY — американский журналист, специалист по вопросам внутренней политики США. Публикуемый материал взят из книги «Йеху» («The Yahoos»), вышедшей в 1964 году.

МАРЬЯН ЮРКОВИЧ — MARIJAN JURKOVIČ (род. в 1906 г.) — югославский критик. Автор сборника статей «Над заветами печали и заветами надежды» («Nad porukama tuge i porukama nade», 1958) и книги «Венцеслав Новак» («Vjenceslav Novak», 1963). Напечатанная в этом номере статья прислана в рукописи.

ХОДЖА АХМАД АББАС — KHWAJA AHMAD ABBAS (род. в 1914 г.) — индийский писатель. Автор романов «Завтра принадлежит нам» («Tomorrow is Our's», 1945), «Сын Индии» («Son of India», 1954) и многих сценариев. Статья, опубликованная в номере, прислана автором в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ** (отв. секретарь), **М. И. РУДОМИНО В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **В. Л. Шачнев.**

Адрес редакции: Москва, В-17, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 04186. Сдано в производство 6/III-64 г. Подписано к печати 22/IV-64 г.
Бумага 70 × 108 1/16 = 9, 0 бум. л. + 1 вкл.; печ. л. 24,66 + 1 вкл. Зак. 477.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС
70394